

Облака

Калужский литературный альманах



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА им. В. Г. БЕЛИНСКОГО

Облака

*Калужский
ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ*

7



КАЛУГА
2024

ББК 84(2Рос=Рус)
О-16

Редактор-составитель
А. В. Трунин

Редколлегия:
М. А. Улыбышева
О. П. Клюкина
Ю. В. Холопов
В. М. Обухов
П. С. Тришкин
П. Е. Топорков
И. А. Красовский

Облака: Калужский литературный альманах / сост. А. В. Трунин. —
О-16 Вып. 7. — Калуга: Издатель Захаров С. И. («СерНа»), 2024. — 356 с.
ISBN 978-5-907177-78-9

ББК 84(2Рос=Рус)

Адрес электронной почты редакции:
40oblaka2018@mail.ru

ISBN 978-5-907177-78-9



© Авторы. Тексты, 2024
© Трунин А. В. Составление, 2024
© Издатель Захаров С. И. («СерНа»). Оформление, 2024

В ПОЛОТНЯНЫЙ—К ПУШКИНУ

Прочитав стихи — гитару он в этот раз с собой не взял — и вернувшись на своё место, Булат Окуджава признался собеседнице: «...мне показалось, что я выступаю на стадионе». Поэт знал, что говорит. Он был участником тех знаменитых поэтических чтений, когда стихи звучали перед полными любителями поэзии стадионами. А здесь и время другое — 1984 год, и место. И тем не менее.



Многолюдно было на Пушкинских праздниках в Полотняном заводе. Приходили местные жители, приезжали в полных автобусах жители Калуги и других уголков области, охотно посещали гончаровское имение москвичи, в том числе с громкими именами, добирались и почитатели Пушкина из многих уголков большой страны.

Это был поистине народный праздник. Праздник Пушкина, праздник литературы, праздник книги. Это ведь неразрывные понятия.

Книга вообще, по свидетельству очевидцев, играла в таком многолюдстве немалую роль. Библиофильство — в самом широком смысле слова — было

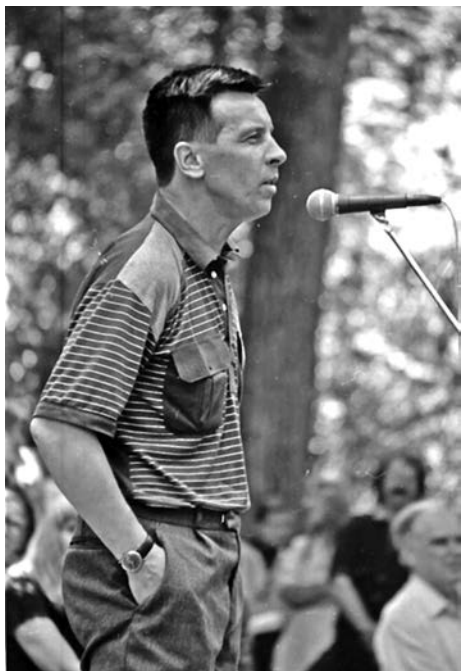




распространённым увлечением в российском обществе, начиная с 60-х годов XX века и до наступления эпохи Интернета. Тиражи в сотни тысяч экземпляров хороших — а не только выдающихся — книг расходились стремительно. Застать в магазине сборник стихов популярного поэта считалось за большую удачу. Я, признаюсь, ни разу не видел на полке книжного магазина ни Вознесенского, ни Евтушенко, ни Ахмадулиной. Да и, к слову, книг Булата Окуджавы не встречалось. Ни в провинции, ни в столице. Но хорошо помню то чувство тихой радости, когда увидел и взял в руки «Подорожники» Николая Рубцова. Или «Слуховое окно» Олега Чухонцева.

И вот представьте огромную ярмарку: раскладки, стеллажи — и книги, книги, книги. Прежде всего сам





Пушкин, о Пушкине, всё, что связано с Пушкиным. Но и другая, самая разнообразная литература — и дефицитная, и залежалая, авось заодно и это купят.

Но главным было, конечно, живое слово, звучавшее из уст писателей, артистов, почитателей пушкинской поэзии. В живописном месте, на высоком берегу речки Суходрев, под высокими вековыми соснами, на обширной поляне, где в 1956 году был установлен памятник Поэту, сидящему в позе спокойствия и вдохновенья, и начались в 1979 году литературные праздники в Полотняном Заводе (годом раньше пушкинский праздник состоялся в Калуге).

За четыре с половиной десятилетия в усадьбе Гончаровых многое менялось. Достойна благодарности деятельность





многих людей по её восстановлению. И хорошо, что никакие общественные катаклизмы не остановили этот процесс. Главный дом-дворец усадьбы начали восстанавливать из руин военного времени в 1972 году. А торжественное открытие его состоялось в 1999 году, к 200-летию со дня рождения поэта. За последние несколько лет обрели достойный вид ещё несколько зданий, в том числе храм в честь Преображения Господня. И уже совсем недавно отреставрирован замечательный дом Щепочкина, который наверняка многие посетители назовут архитектурной жемчужиной земли Калужской.

А литературная поляна, отделённая от усадьбы обширным парком, в общем-то, всё та же. И это хорошо. Здесь, вдали от массовых гуляний — пусть народу сейчас собирается меньше, — особым образом звучит поэтическое слово, романс пушкинского времени, музыка, берущая исток в вечности. Будем надеяться, что традиция пушкинских торжеств на Калужской земле не только не пресечётся, но и обретёт новую силу.

В 1834 году Александр Сергеевич писал Наталье Гончаровой: «Боже мой! Кабы Заводы были мои, так меня бы в Петербург не заманили и московским калачом. Жил бы себе барином... Ух, кабы мне удрать на чистый воздух». Можно сказать, что мечта Поэта исполнилась. И, направляясь в Полотняный Завод, каждый имеет полное право сказать: еду к Пушкину!

А. Трунин

СТИХИ
и
ПРОЗА





Вячеслав Некрасов

Вячеслав Михайлович Некрасов родился в 1957 году в городе Омске. Окончил ВГИК (художественный факультет). Работы находятся в музеях России, в том числе в Государственной Третьяковской галерее. С начала 90-х жил в Петербурге, здесь и начал писать стихи. Автор поэтического сборника «Фарфоровая дорожка» и нескольких книг прозы. Член Союза художников и Союза российских писателей. Лауреат литературной премии им. И. и П. Киреевских. С 2016 года живёт в Калуге.

ИЗ СБОРНИКА «СЕМЕЧКИ СИНИЧКАМ»

РОЗА ЗАКАТА

Казалось, становится небо
Жемчужной, мерцающей розой...

Игорь Чиннов

Новорождённый, чистый, целомудренный снег укрывает мою жизнь от строгого, чужого взгляда. Тяжёлые сети снегопада отделяют меня от мира, от горящего огнями вдали Петербурга. Они ходят волнами, накрывают дом, засыпают гуляющих собак с головой, так что горят одни глаза.

Сегодня, правда, сверху сыплются редкие снежинки... новенькие, серебряные, аккуратные. Как будто кто-то очень издалека бросает вниз светлые монетки. Над нами — роза заката. Золотая. Чуть погода — розовая. Потом — жемчужная... Она меняет и меняет очертания...

Я стою под ней, подняв голову. Иногда закрываю веки и чувствую на них свет розы. Она бледнеет... гаснет... уплывает... куда-то в глубину неба. Всё становится голубым и синим... и вот уже — только две золотых длинных иглы, оставшихся от заката, висят над моим домом.

Кружятся, падая с неба, синие лепестки погасшей там, где-то вверху, розы. Всё теперь синее. Бродят в садах синие кошки и синие люди. Синий сосед Толик идёт за «маленькой». Купит и тотчас немного отопьёт синими губами. Улыбнётся в синеву и пойдёт домой...

Когда-то у него была женщина. Потом она ушла. От неё остался берет из короткого искусственного меха. Вот Толик идёт в этом её берете, улыбаются скромно:

— Привет, это самое... Да Валерка попросил сходить за «маленькой»...

Золотые иглы тускнеют над нами... За Толиком виднеется Сашка (приехал откуда-то на заработки). Он затягивается сигаретой, кричит через забор:

— И как вы тут под Питером живёте? Сплошной лёд! Идёшь с работы — скользишь, как акробат! Балансируешь! В одной руке — бутылка водки, в другой — яйца...

Я улыбаюсь:

— Трудно. А что делать? Мы здесь ходим на полусогнутых, поближе к земле. Фокусируем внимание на бутылке. Яйца-то и битые пожарить можно. Так что настраивайся на омлет!

Уходят. Два силуэта... За ними бегут две тёмно-синих собачки. Да, трудно на наша петербургская и околпетербургская жизнь...

Ну взять хоть Александра Блока. Великий поэт, а также страдал... Скользил в лакированных ботинках под луной. Балансировал. В одной руке — шампанское, в другой — профитроли...

НЕПОНЯТНЫЙ НАРОД

Женщины и птицы, как я люблю вас...

Композитор Анатолий Лядов

Иду сквозь тёплый день. Воздух ясный. В нём хорошо слышны голоса! Вот стайка девушек. Одна из них, не особенно красивая, щебечет тоненько:

— Ну, секс это понятно, но замуж... Извините!

Я оглянулся... но они уже далеко, за золотыми ветвями берёз.

Сбоку женщина, она говорит в телефон приглушённо:

— Этим бы букетом ему бы по морде...

Я вздыхаю... Женщины!.. Всё вас тянет на «плохих мальчиков», а выйдя замуж, вы начинаете переделывать их в хороших. Вы так свято верите в силу своих чар!..

И почему вы, когда пишете акварелью (а это я говорю, как художник и педагог), гоните воду и краску вверх, в то время как сила тяжести гонит её вниз? Я даже хотел организовать группу (или партию) «Женщины против законов физики».

И почему вы начинаете рисовать человека с ног, а голову часто даже и не намечаете? Женщины в возрасте почти все говорят: я не люблю людей. И никто из них, заметьте, не уточняет: не люблю — «рисовать» людей. Но... почему же, почему с ними так приятно общаться?.. Я им говорю правду о них, а они только смеются...

Проходит немолодой, немного потрёпанный мужик, громко заявляет в трубку:

— Пятьдесят лет — самый возраст, чтобы жениться!

Я показываю ему большой палец. Надо поддержать его стремление к созданию семьи. Из дверей школы навстречу мне появляется мальчик, говорит маме:

— Я не хочу кушать, я хочу — есть!

Две пожилых, полных женщины:

— Да! Они посреди нас!..

Я не могу пройти мимо от любопытства.

Останавливаюсь:

— Извините... кто посреди нас? Инопланетяне?

Они немного смущаются..

— Ну эти... не то девочки, не то мальчики...

— А... Понятно...

Иду дальше. Молодая пара.

Он:

— Ну, извини, извини... Давай мириться...

Она:

— До свадьбы ты был парень даже нагловатый, а сейчас какой-то стал...

Ходишь за мной — извини, извини...

Пожилая пара. Он видом философ, интонация мягкая...

— Дусенька, я просто спросил...

Она в элегантной шляпке, ворчит:

— Просто спросил... И сбил мне весь настрой на прогулку. Я уже никуда не хочу!..

Сегодня женская тема словно разлита в воздухе. Я давно замечал, что окружающий мир как бы ведёт с тобой диалог. Через людей, через как бы случайные реплики, через газетные заголовки — соглашается или опровергает. Иногда — предупреждает... Спасибо тебе, о добрый окружающий мир!..

Стою под твоим тёплым, прощающим с нами солнцем на перекрёстке и невольно слушаю разговор двух невысоких, очень простых по виду девушек. Одна, чуть более красивая, рассказывает, — вторая, не слишком выразительная, слушает.

Первая:

— Он мне говорит: «Сделай мне массаж», а я ему говорю: «Что, бесплатную массажёрку нашёл?»

Вторая восхищённо смотрит:

— Молоде-ец!.. Молоде-ец!..

Первая:

— А потом он говорит: «Принеси мне, пожалуйста, чаю», а я ему говорю: «Что, бесплатную подавальщицу нашёл?»

Вторая в восторге:

— Молоде-ец!.. Молоде-ец!..

Я думаю: «Вот же две глупышки!.. Кто их воспитал?.. Что у них там в голове?» Пуаро у Агаты Кристи говорил, что люди подсознательно ищут опасности, женщины ищут этого в браке. Они желают видеть в мужчине хищника, готового выпустить когти и напасть... Поэтому им не интересен добрый и хороший человек. В этом что-то есть... Что-то есть...

Помню слова одной женщины — «зато нам было не скучно». А мне вот как раз интересна в семье предельно мирная, ровная, спокойная и даже скучная жизнь... Скучная, словно тихая пристань. Бурной жизни хватает и вне...

Смотрю: навстречу идут два знакомых, немолодых художника, немного под хмельком (меня не видят). Возбуждены.

Один с важностью поднял палец вверх:

— Пойми... женщины... это очень сложная субстанция!..

Второй тряхнул седой шевелюрой:

— Непонятный народ!..

МЕХАНИЧЕСКИЙ СОЛОВЕЙ

В эту зиму я не видел и не слышал ни одного воробья и ни одной синички. Видел только грязноватых голубей и немного серых галок на помойках. А тяжелоовато, оказывается, без щебета и теньканья этих малышей!

Куда они подевались? Город, конечно, старается. Борется с «излишней» природой. Чтоб было больше машин и стоянок, меньше деревьев, яблук и кустов.

Меньше воздуха. Меньше бабочек. Меньше старинных зданий. Меньше летающих семян растений (они словно малюсенькие стрелы)...

Чтобы всё было «прилично». Чтобы побольше всего-всего заасфальтировать и покрыть пластиком! Чтобы «окультурить». Чтобы меньше продавалось на улицах грибов и ягод. Меньше огурцов и цветов.

Весна... Идём с приятелем — природным таким, заросшим, прихрамывающим писателем. Деревья тоже по-хорошему диковатые, заросшие. Приятные! Улица живая, естественная.

Слава Богу, не всё ещё «окультурено»! Радость какая!.. Дышать можно!.. Гулять можно! Жить можно!.. Пока.

И вдруг запел соловей! Да так красиво!.. Вот она, природа!.. Трудно её убить до конца. Где же он поёт, интересно? В деревьях... или прямо на доме сидит... На чьём-то балконе, что ли?

И вдруг я вижу открытый маленький экомагазинчик. Остановился... Да, звук доносится оттуда...

Механический соловей...

Где же вы, Ганс Христиан Андерсен?

ПРОВОЛОЧКА

Зима. А я в Сибири, у родственников, в глухой деревне, где всего одна улочка. Где один магазин и совсем нет милиции. А вокруг — «реализм», как говаривал Митя Карамазов.

В данном случае это — тайга... волки и медведи... лоси с рогами и кабаны с клыками, мужики с «лапшой», солёные помидоры в бочке на улице, весьма внушительный хряк Борис Фёдорович и другая живность.

А «лапша» — это сигареты «Прима», длинные, не разрезанные почему-то. Мужики сами их режут по своему вкусу.

Я вышел в тайгу... Вокруг белым-бело! Всё искрится! Сказка!.. Впитываю красоту, её бескрайность... И вдруг вижу — проволочка... Привязана к стволу берёзы. Хорошая такая стальная проволочка.

Я подумал — а что это она тут привязана? Зачем? А, может, она в хозяйстве пригодится?.. Начал её раскручивать... упругая такая... и вдруг она как развернётся, как отпружинит... и задела меня своим загнутым концом по носу.

По ноздре, изнутри. Кровь потекла... Потом уже я рассмотрел, что ноздря была надорвана. Проволочка... Пригодится в хозяйстве...

Серебро, огнистое серебро вокруг! Недвижная, бесконечная, молчаливая тайга! День клонится к вечеру... Подними лицо к небу, смотри... не дыши... созерцай этот мир... его огромность. Читай стихи. Пой, в конце концов.

Проволочку он нашёл. А что это она тут привязана? Зачем?..

СТЕКЛЯННЫЙ ГЛАЗ И ЗЕЛЁНЫЕ УШИ

Новогодний рассказ

Творческая дача «Челюскинская». Подмосковье. Тридцать первое декабря. Мы с моим старым другом, питерским художником Сашей Загоскиным, убираемся к празднику. За окном белым-бело.

Я читаю:

— Белая берёза под моим окном принакрылась снегом, точно серебром... Знаешь, мне всегда нравилось это стихотворение. И вдруг вот сейчас осознал, что, читая, я всегда представлял себе не берёзу, а маленькую ёлочку!.. Вот странно!

Саша разгибается:

— А мне странно другое. Почему Олег Иваныч с тобой рассуждает о композиции, а на меня оглянется, помолчит... и спрашивает: «Хочешь колбасы?» Вот это странно!

Смеёмся...

Подходит ещё один художник. Лет пятидесяти, Валерий.

Говорит:

— Весёлые вы ребята! А что, может, немного выпьем за старый год? Пока бал не начался. Ваша выпивка — моя закуска.

— А какая у тебя закуска?

— Рыба. Сахалинская. Я же с Сахалина.

— Логично, — говорю я, — только давайте без фанатизма.

— Естественно! — подтверждают оба.

И вот, собрались у нас в комнате, сидим. Валерий, честно говоря, показался нам вблизи немного «тугоплавким» что ли. А рыбу он принёс действительно деликатесную! Горбуша, кета, кижуч, нерка, чавыча, лосось!.. Чего только не было. Копчёная, вяленая!

И вот улеглось первое возбуждение, какие-то общие слова... и, я уже не помню, почему вдруг, но... Валерий сделал интересное заявление. Поделился затаённым:

— Саша, я хочу твою женщину!

А друг мой приехал на дачу с очень эффектной подругой. Ничего серьёзного там не было, но... Саня вскочил, как дикий зверь и мгновенно нанёс этому Валерию целую тучу ударов по голове. Скорость бешеная! Брюс Ли просто отдыхает!

К счастью, особого урона это обидчику не принесло, так как Саня — очень лёгкий. (Кстати, если ударить его самого, то это тоже мало что давало — он просто улетал в соседнюю комнату и прилетал обратно).

И вот сидит этот Валерий (как и сидел, на стуле) смотрит недоуменно и говорит:

— А где мой глаз?

— Глаз?!!

— Стекланный глаз! Где он?

Я, вроде, видел какую-то искру, мелькнувшую, словно метеор... Интересно, что рыба тоже разлетелась — вся и по всем углам... Мы её встречали потом в самых неожиданных местах. Один раз даже в альбоме «Чинквеченто в Тоскане» — как закладку.

Глаз нашли. С трудом, но нашли. Фуршет закончился... Я смотрю на друга с укоризной...

— Ну зачем так набрасываться на человека, как зверь в лесу? Мало ли кто чего и кого хочет? Что, всех убивать что ли? У всех глаз вышибать?

Можно ведь было интеллигентно посмотреть на него свысока и сказать: «А вот, рыльцем-то ты и не вышел, братец...» Или уж кулак показать, как Шукшин в фильме: «Попробуй только сунься! Вот, видал? Быка трехлетку с ног сшибаю!» Сначала надо победить морально...

Да... хорошо ещё, кстати, что глаз в форточку не улетел, а то ведь сугробы. Они все в искрах...

Саня хмурится недовольно...

— А чего ты раньше мне это всё не сказал? Тугодум! Философ тоже, понимаешь! Задним умом-то мы все крепки!..

— А что я тебе заранее мог сказать?.. Саша, жизнь, она непредсказуема, но ты будь готов... Если придёт человек с Сахалина, принесёт тебе на вытянутых руках деликатесную рыбу и скажет: «Хочу твою женщину!», то ты ответь ему: «А вот рыльцем-то ты и не вышел...» Так что ли?.. Ладно, не шевелись, сейчас докрашу ухо и пойдём...

В этот момент я как раз красил ему уши в зелёный цвет. Докрасил, и мы пошли на новогодний бал... на котором нас ждало много интересного...

ТАИНСТВЕННЫЙ САД, ИЛИ ЗАЧЕМ ТАК МНОГО ЗНАТЬ О ЖИЗНИ...

Весенний дождь. Иду под зонтиком. Вижу издали — ворота (высокие, тяжёлые, старинные) приотворены. Такого ещё не было!

Обычно я видел только кирпичную стену над ними — высокую, щербатую — словно в упор расстрелянную какими-то дикими повстанцами. И ещё — самую макушку крыши невысокого домика, всю заросшую виноградом.

Я порой думал — кто там может жить? Ну... какая-нибудь слегка огорчённая жизнью девушка. Приютили на время родственники. Она сидит в этом домике и читает книгу. «Парадиз Елисея» Тонино Гуэрры. Окно выходит в сад, и оно в дожде...

И вдруг ворота приоткрыты... Жужжит «болгарка», розовые искры летают вокруг. Неорганизованно кружатся... А внутри нет никакой девушки... Есть сложенные штабелями доски. И стоит невысокий, но на крепких ногах, человек. Смотрит в телефон.

И зачем я заглянул в эти ворота?.. Зачем мне столь глубокое знание о мире?..

ПОСЛЕДНЯЯ ТАЙНА

Они фотографировались вдвоём. И во всех фото есть что-то общее. Я думал об этом...

Вот он улыбается. Мудрая из мудрых улыбка, ирония и, как водится у художников, — крохотной искоркой — сумасшедшинка. Она искрит где-то рядом, как проводок. А без неё тоже — ничего важного не создашь.

Кого же мне напоминает этот взгляд? Да-да... Пикассо... Я вдруг отчётливо понимаю... у него в кабинете на столе стоит маленькая золотая коробочка, внутри — длинный ряд аккуратных, маленьких дырочек. Каждая дырочка — это тайна...

И каждую дырочку надо заткнуть пупочкой. Познал тайну — заткнул дырочку. Уверен, он всё это сделал. Все пупочки в дырочках. Коробочка закрыта на замок.

Теперь он счастливо и свободно улыбается. Лучится, как солнце и, глядя со своего фото, кажется, думает: «Открыть этим людям какую-нибудь из важных тайн? Или им ещё рано?»

Она моложе. У неё тоже есть своя коробочка. И тоже все дырочки закрыты, но одна... последняя тайна, может быть, самая важная — нет, не даётся никак... Не даётся!..

Она почему-то думает, что разгадка этой тайны может быть скрыта внутри объектива камеры или смартфона. В этих таинственных линзах... Думает так неизвестно почему.

И вот, когда её фотографируют, она замирает... и с глухим предчувствием тайны (чуть подавшись вперёд) смотрит в объектив расширившимися, чёрными глазами...

Добавлю, что это безусловно самый красивый женский взгляд...

СУМЕРКИ ДЛИННЫХ ДЫМОВ

Я люблю этот дым сжигаемых кем-то прошлогодних листьев. Полосы его тянутся по земле... Хokusай, да и только... Хотя и говорят, что всё за него написала дочь, а он только пил. Ну тогда... дочь Хokusая, да и только.

«Сжигаемых кем-то»... Кем? Я никогда не видел этих людей. Они будто и не существуют... Иногда мне нравится думать вот как... А что если это тайное общество и у них есть своя деликатная философия и какие-то свои давние претензии к листьям...

У них есть свой председатель, свой уважаемый поэт и свой делопроизводитель, есть кумовство... Иногда они изящно сидят и полулежат в сумерках (костюмы, конечно, тёмные) среди этих дымов, молчат и улыбаются приятно... Хорошо среди своих-то!

А, может быть, — я ведь не встречал их... это обычные работники ЖЭКа... Но не будем больше об этом. Не надо.

МАРТИРИЕВА ЗЕЛЁНАЯ ПУСТЫНЬ

(начала на электричке, потом на поезде со смешным названием «подки-дыш». Место называется Зеленец. Выходим... Какая зелень! Какая влажность! Дождь прошёл. В каждой зелёной ямке — оранжевая от заката вода, и в ней веселятся какие-то червячки и букашки. Инфузории.

Дом двухэтажный, барак. Доски выгорели и стали синего цвета. Заходим, поднимаемся. Со мной одна церковная бабушка. Я впервые в монастыре. Привёз немного продуктов, захожу на кухню...

Батюшки! Где это я?! У печи кухарка, а дальше, у окна, длинный стол (стоит фронтально, как у Леонардо да Винчи), и сидят за ним человек шесть-семь мужичков.

Невысокие, рыжевато-бородатые, круглолицые, добродушные. В руках ложки деревянные. Смотрят на меня и улыбаются простодушно до невероятности. Гномы, что ли?

Перекрестился, сел на лавку, дали мне какое-то варево зелёное. Очень лёгкое. Ем, а мне хочется смеяться. Такого ведь не бывает! И Питер-то под боком... Удивительно!

Монастырь преподобного Мартирия. Храм большой, высокий. Кирпич, от сырости и нетопленности, мягкий и крошится... Высокие белые стены, белые облака.

Мы таскали мешки с песком, цементом, чистили храм. Меня, помню, учил (и правильно учил) мой напарник — не надо работать до изнеможения, как Стаханов. Надо в меру сил.

Ходил я как-то и за грибами. Лес, как у Шишкина! Тёмные высокие ели, полумрак, заросли папоротника. Толстый слой хвои...

Монахов было трое, остальные — послушники, трудники. Один монах из Америки. Пёк круглое печенье, угощал народ православный. Я, правда, немного опасался есть... Другой — кузнец. Ковал что-то в небольшой старинной каменной кузне.

Церковный хор состоял из трёх певчих (только мужчины) и такого прекрасного хора я нигде не встречал... Красиво очень пели, и каждое слово слышно...

Вспоминается... Всенощная, на лавке сидит мужчина. Широкоплечий, жилистый, очень загорелый, он опустил на колени тяжёлые ладони. Чёрные кудри, кирзовые сапоги. Такие шли с Ермаком покорять Сибирь.

Рядом с ним присел молодой послушник в белом, блистающем, словно иней, одеянии, светлый, тонкий, высокий, как ангел... Время, ау!.. А есть ли ты?..

Игумен в городе, на подворье, но иногда приезжает. Такой сдержанный, неспешный. Вот он идёт по двору и удовлетворённо несёт куда-то куриное яйцо. Только что снесла курочка.

Один парень, помню, планировал заниматься здесь карате (энергетическое что-то). Игумен сказал ему: «Физически занимайся, но энергии не надо. Такими все дурдомы переполнены».

Была и баня неподалёку. Старая, крепкая, тёмная. Пахнет необыкновенно! Прямо перед ней очень маленькое, круглое озеро. Рядом высокая берёза. И снова думаю — в сказке я что ли?..

Недалеко от храма — малина. Иду мимо, смотрю — в ней копается мужчина. Малину ест. Пожилой, крупный. Видно, ещё силёнка-то есть. Диковатый немного, из ушей седые волосы растут. Вылитый медведь.

— Малина-то для братии! Эй!.. — кричит женщина. А он глуховат, не слышит, ворочается в зарослях... Пошёл мелкий слепой дождик, я обернулся к солнцу, вижу две нежные, небольшие радуги. Так невысоко над землёй. Над всеми нами...

В Петербург я возвращался, как в другую страну. Или Вселенную.

МЫШОНОК

Царственная, мудрая, непревзойдённая кошка Мурка ушла в иной мир, и наступил хаос. В доме остались два молодых кота, которым никакого дела не было до мышей. Они только ели и спали.

Мыши обнаглели и стали ватагами разгуливать по дому, дерзко и открыто смотреть в глаза. Ещё немного, и они начнут цинично сплёвывать на пол, завидя меня.

Что делать? Возник такой план. Котов не кормить. Голодные, они должны зверски заинтересоваться мышами. Логично? Логично.

Дальше. Мышей — подкармливать, но — строго в одном месте, чтобы они не испытывали желания шастать по шкафам и полкам. Логично? Логично. Сытые мыши должны уютно отдыхать в своих норках.

Сказано — сделано. Коты, надо сказать, противно попрошайничали, но мышами не интересовались по-прежнему. Не люблю я, вообще, животину мужского пола. Особенно козлов. Исключение — белый красавец петух. Он поёт и блюдет порядок.

А что же мыши? Они исправно съедали кусочки лаваша у ножки моего стола, но продолжали нагло рыскать повсюду. Где логика? Может, конечно, у них была заготовительная кампания...

Друзья веселились:

— Так мыши же, они распустят слух — Некрасов кормит!

Я задумался. И в этот момент появился он...

Маленький мышонок искал кусочек чего-нибудь, тыкался носом и не мог увидеть маленького кусочка лаваша... Я взял лаваш и поднёс ему прямо к носу... Мышонок мгновенно схватил лаваш ручками, приподнял головку вверх... Он с восторгом и недоумением смотрел вокруг: «Как... неужели это всё мне?..»

Это было просто написано на его мордочке. В следующее мгновение он нырнул под диван...

Так продолжалось несколько дней. «Как... неужели это всё мне?..» Восторг!.. Шмыг под диван...

И вот однажды, сидя за столом, я почувствовал, что кто-то очень мягкий взобрался мне на ступню. По инстинктивному отращению я топнул ногой и краем глаза увидел, что серое пятнышко шмыгнуло под диван. Это был мой мышонок...

Больше я его не видел. Дружба кончилась... Но я его вспоминаю... Я у него кое-чему научился. Теперь каждое утро я смотрю на лежащий передо мной нетронутый, нехоженный, прозрачный день... и восклицаю изумлённо:

— Как? Неужели... это всё мне?..



Анна Бахаева

Анна Бахаева родилась в г. Ипатово Ставропольского края в 1979 году. Первые стихи написала в 13 лет. Окончила филологический факультет Калмыцкого государственного университета. Публиковалась в альманахе «Облака» и Калужском региональном литературном журнале «Лиффт». К изданию готовится первая книга лирики поэта. Живёт в городе Мещовске Калужской области.

ПРЕВОЗМОГАЯ УБЫЛЬ...

* * *

Сотворена из твоего ребра
и от твоей я плоти отделилась.
Не мать тебе и даже не сестра —
я та, что у тебя под сердцем билась.

И потому мы навсегда вдвоём:
здесь — на земле и где-то в жизни вечной.
В твою я душу, словно в водоём,
смотрю и отражаюсь бесконечно.

Я — часть твоей неведомой души,
как луч от солнца — свет и продолженье.
И, если вдруг я заблужусь в глуши,
найдёшь меня — ведь я твой слух
и зренье.

Да, эта тайна спрятана в веках,
и этот гимн любви давно поётся...
В переплетённых трепетных руках —
смотри — одно живое сердце бьётся.

* * *

День, умаяясь по минуте,
достиг пределов темноты,
где, до сухой отжаты сути,
зимую оба — я и ты,

где нечем крыть земную ревность
по солнцу и певучим дням,
обёрнутым в слепую нежность
былой весны, — обоим нам,

где правит бал бездушный ветер,
где всемогущество и власть
у холода, который метит,
кому — стоять, кому — упасть.

Но свет, превозмогая убыль,
стряхнув с нас мороки и сны,
даст отыграть повторный дубль,
взрастив для будущей весны.

* * *

Мне ты—как на голову снег,
как окрик в чёрном переулке,
как незадавшийся побег
чертёнка из глухой шкатулки.

Ты как пружинистый смешок,
в лицо открытое летящий,
ты—сумасшествие и шок,
поток неистово бурлящий.

Но ты—и свежесть грозовой,
невесть зачем рождённой строчки,
и нежный щебет луговой,
и клейкий запах смуглой почки.

Мне весело перечислять
сравненья вычурные эти,
благословлять и отвергать
твои значенья и приметы.

Но ни в одно не заключить
твоё проклятое искусство—
дарить и отбирать все чувства,
быть всем или ничем не быть.

* * *

Какое счастье—обходиться малым:
закатом гулким и тобой, усталым,
твоим неосторожным чутким ртом
и, улыбаясь, вспоминать потом
и лес, и сокровенный листьев шёпот,
и крик совы, и тонкий лунный обод—
всю сказку, сотворённую для нас,
для наших рук голодных и для глаз.

И, осознав удушливость избытка,
смотреть, как тянет хрупкая улитка
спираль времён, клоня травинку вниз,
не разбирая—пытка или жизнь
быть каждый миг привязанной к себе,
своим паденьям и своей борьбе.
Пока ещё ты пиршествуешь мной,
тебе безумство это не виной.

Никто не скажет—тоже не скажу,
зачем сомненьем каждым дорожу,
зачем мне роскошь трепетного лета...
Твои глаза не пропускают света
и оттого надмирно вещь твой взгляд,
в моих глазах ища пути назад.
Как лес велик и как мы в нём малы!
А луч горит, приветствуя стволы.

* * *

Если ты никогда не умрёшь,
я тебе доверяю
этот день, этот дождь, эту ложь
без конца и без края.

Если ты не умрёшь никогда,
всё решается разом:
поздний август, огни, поезда,
обречённые фразы.

Если знать бы, что там, за тобой,
ничего не маячит:
ни пылящей дороги домой,
где ты маленький мальчик,

ни объятий тревожных Отца,
где ты сын долгожданный,
ни крыльца, ни кольца, ни тельца,
то тогда бы и ладно.

Но с тебя начинается мир,
если ты не заметил,
как с чудес начинается пир
где-то в Новом Завете.

И ты смертен, и всё-таки ты
не в ответе за август,
и огни поездов, и мечты
не осилишь покамест.

Значит, быть нам с тобою вдвоём
и ты, купленный Кровью,
оправдаешься этим дождём
и моею любовью.

* * *

Когда свершится всё, к чему
мы осень долго призывали,
последний тёплый день во тьму
отступит, нас согрев едва ли.

Угомонится листопад,
сменяя золото на прелость,
и поспешит остывший сад
забыть апрельскую несмелость

перед грядущею зимой.
А мне, пока ещё живой,
каким сподручным словом метить
надсечки траурные дня,

когда ты позабыл меня?
Не знаю, верить иль не верить
пустынной площади ночной,
где ноет жизнь как зуб больной.

Нет!—жизнь старательно уносит
прохожий на пустых плечах.
Мне без тебя—и смерть не прах

и жизнь не ах. Никто не спросит:
а может, это просто осень,
в России осень на сносях?

* * *

Я—осенний листок,
я—последний листок неопавший,
бьюсь, как вена в набухший висок
вместе с ветром протяжным.

То направо кренюсь,
то налево вовсю устремляюсь,
меж любовью и страхом мечусь
и внезапно срываюсь.

Нет, не страшно упасть
на почти омертвевшую землю,
замереть, раскрошиться, пропасть—
да, я это приемлю,

но на русских лихих сквозняках
не лишайте надежды,
что легко обращённое в прах
возродится как прежде,

что любовью согревшись земной
и небесным участием
вновь с листочками нежной весной
обрету своё счастье.

Андрей Убогий

Андрей Юрьевич Убогий родился в 1963 году в городе Железногорске Курской области, в семье врачей. Окончил Смоленский медицинский институт. Хирург-уролог. Автор нескольких пьес и книг прозы. Живёт в Калуге.



ДЫМ

Дым: ... улетающие остатки горячего тела, при разложении его на воздухе огнём...

В. Даль

Дым — субстанция удивительная. Вот он вроде бы есть — а вот его уж и нет: улетел, растворился, исчез... Дым находится как бы на грани между существованием и небытием. И поэтому всё, что связано с дымом, всегда имело для меня интерес глубоко личный: как загадка возникновения, переходящего в исчезновение — а это и есть судьба как меня самого, так и целого мира. В известном смысле, всё — дым, ибо всё исчезает.

Вот возу я пером по бумаге, оставляя на ней синие завитки: разве это не дым? А мои мысли о дыме — да и о чём бы то ни было — а, вообще, вся моя жизнь? Что останется от неё — спустя, скажем, сто лет? Вряд ли больше, чем остаётся лежать на остывшей земле после того, как костёр прогорел — и его дым улетел в небеса.

Но, с другой стороны, это даже забавно: когда дым рассуждает о дыме. И в самой необычности этих дымных рефлексий заключена некая словно надежда. Может быть, то, что способно взглянуть на себя самое, что способно себя описать и помыслить — уже не вполне подчиняется правилам здешнего мира? Наши мысли находятся сразу и здесь, по сю сторону жизни — но и где-то ещё: у нас есть иная, небесная родина. И, когда я рассуждаю о дыме — я рассуждаю ещё и о вечности; утверждая, что всё исчезает, как дым, одновременно я утверждаю обратное: всё — даже дым — остаётся...

* * *

Когда дикий дым лесного пожара стал ручным дымом, вьющимся над костром или очагом? Ведь с этого времени и человек стал вполне человеком: он отделился от дикой природы и стал творить собственную — как внешнюю,

так и внутреннюю — природу. И, конечно, дым первобытных костров оставлял следы человеческой жизни на сводах пещер: они покрывались разводами копоти, этим прообразом изобразительного искусства. А следом за дымом фигуры и линии начинала чертить рука, ухватившая обугленную головню. Представляю то удивление, с каким первобытный охотник видел следы, оставляемые его собственной рукой, соотносил их с теми, что были нарисованы дымом — и догадывался о родственной близости угольных этих рисунков.

С дымом первых костров было связано и ещё одно изобретение. Речь о сигнальных дымах — тех, что были древнейшим из способов передавать информацию. Поток раскалённых частиц углерода, поднимавшийся к небу, чертил на его синеве подобие первых письмён, сообщая сородичам то, что хотел им сказать удалённый от них соплеменник. Что это как не первобытная письменность — к тому же, выполненная тем самым химическим элементом, каким, спустя тысячелетия, будут начинены наши с вами графитовые карандаши? Так что дымная роспись на небе — едва ли не первое, что написал о себе человек.

Но, кроме истории человечества, у каждого есть собственная история — и он волен писать её, как захочет. Отчего б, например, не избрать лейтмотивом дымы: тем более что и в наших воспоминаниях всегда есть нечто «дымное», зыбко-неверное, то проступающее из забвения, то вновь ускользящее от сознания? Память, как дым, то валит густо и плотно — когда от остроты, достоверности, зримости прошлого даже щиплет глаза (как от едкого дыма) — то лики бывшего тускнеют, становятся бледно-прозрачны, и уже неспособны заслонить собой неотвязных и грубых картин настоящего.

И вот я пытаюсь припомнить: а какой дым был в моей жизни первоначальным? Ведь должен же быть такой дым, тот, от которого я, может быть, и поморщился — но в котором почувствовал нечто родное: ту сладкую горечь, что принято называть «дым отечества».

Первый дым, что я вспоминаю из детства, — он стелился над огородами, когда в Выгорном (деревне, где я тогда жил) жгли картофельную ботву. Картофельным запахом в те сентябрьские дни было пропитано всё: чернозём, из которого от толчка лопаты всплывали неожиданно чистые клубни; вёдра, в которые их собирали; чугунок на загнётке печи, где остывала всё та же картошка; миска возле крыльца, откуда толчёную с хлебом картошку клевали суетливые куры; поросячий закут, где картофельный запах был смешан с пряной вонью навоза.

И, конечно, картошкой пахли те кучи подсохшей ботвы, что высились там и сям на низах огородов: кучи, поджогом которых и ставилась долгожданная точка в одной из важнейших крестьянских работ. Но для меня, пятилетнего, это была вовсе не точка — напротив, начало длинного ряда дымов, которые мне предстояло увидеть в жизни. Помню, как неохотно занималась курчава, рыхлая куча ботвы: казалось, что огонёк, ползущий по жухлым плетям, никогда не достигнет её середины — а если достигнет, то так и заблудится там, в переплетении бурых стеблей, перемешанных с зеленью сорняка под местным названием «цир», этим злейшим врагом выгорновской картошки.

Но вот из глубины сумрачной кучи ботвы начинал течь белый дым, и он поначалу так вкусно пах испечённой картошкой, что хотелось не отворачиваться от него — а жадно вдыхать. Дым становился всё гуще — и ботва превращалась из бурой в молочно-белёсую. В этом дыму всё слышней раздавался настойчивый треск, всё чаще промелькивали красные языки — и, как-то вдруг, рыхлый ворох ботвы из молочного становился пылающе-алым! Ты не мог отвести зачарованных глаз от костра: стебли были раскалены докрасна, и какое-то время держалась их хрупкая огненная архитектура. Но скоро всё это жаркое великолепие, обречённо вздохнув, оседало. Ворох искр улетал, вместе с дымом, в небо, пламя падало на почерневшую землю и погасало — а перед тобой оставался лишь круг сизоватой, мерцавшей, колеблемой ветром золы.

Только тогда гипноз костра тебя отпускал, и ты оглядывал те спускавшиеся к реке огороды, что назывались «нижние». Ботву жгли и у Копцевых, и у Титчевых, и у дальних соседей по нижнему плану. Их, соседей, дымы — как недавно и ваш — приподнявшись до уровня крыш, начинали клониться к реке, к её ивняковой урёме — и там смешивались с поднимавшимся из низины туманом. Скоро было уже и не разобрать, где туман, где картофельный дым; и ты с удивлением вдруг отмечал, что даже приречный туман, обычно сырой и холодный, в этот благостный вечер вкусно и сытно пах печёной картошкой.

* * *

Дымы отрочества были иными: уже не деревенскими, а полугородскими. Я рос, в прямом смысле слова, между городом и деревней; и уж чем-чем, а кострами мы были богаты. Ведь рядом была и вольная воля — поля, перелески, овраги — и рядом же, под рукой, в изобилии нам попадались те городские отбросы, жечь которые мы так любили. То дымила резина покрышек, то ядовито горел какой-нибудь пластик, то возле костра валялись обломки разбитого автомобильного аккумулятора (из его решёток мы выплавляли свинец на рыбацкие грузила), то чадили куски лаково-чёрного битума, подорванные на ближайшей стройке.

А любимейшей нашей забавой были «дымовухи». Для них требовались две вещи: пустая жестяная банка из-под кофе и кукла, сделанная из особого вида ломкой горючей пластмассы. И если первый предмет найти было просто — мы или приносили пустую кофейную банку из дома, или подбирали её где-нибудь на помойке — то с куклой было сложнее. Для нашей затеи годились не все, и немало часов уходило на то, чтоб найти — или в мусорном баке, или в песочнице, где недавно возились девчонки, или ещё где-нибудь на задворках — ту самую розовую куклу, которая предназначалась к сожжению. Это и были, по сути, наши первые поиски женщины — пусть пока лишь модели её, изготовленной из горючей пластмассы — поиски, в которых мы репетировали как раз то, чем будет наполнена наша жизнь в будущем.

Но вот кукла была в наших нетерпеливых руках, и начиналось её расчленение. Нет, я далёк от того, чтобы видеть символ и в этом — чтобы в отрывании

кукольных рук и голов видеть прообраз войны меж женщиной и женщиной, что ведётся и будет вестись до скончания мира — но превращение розовой гладкой красотицы в горсть ломких пластинок выглядело и впрямь жутковато. Мы набивали отломками банку (перед этим пробив в её крышке отверстие), затем поджигали пластмассу и закрывали банку как можно плотнее.

Из отверстия в крышке выросал тугой и свистящий султанчик белого дыма: скоро он поднимался выше наших голов. Потом раздавался хлопок — крышку срывало — и из банки начинал валить густой едкий дым. В нём мгновенно скрывались заборы, деревья, сараи, мы сами — и, жмурясь и кашляя, все пускались бежать врассыпную. Но вырваться из дымного облака удавалось не сразу — поэтому все мы потом долго кашляли и протирали слезящиеся глаза.

Вот как объяснить это наше пристрастие к дыму, это желание снова и снова увидеть весь мир — скрытым густой пеленой? Может, нам смутно мерещилось, что в этом дыму может произойти, что угодно — и, когда он рассеется, мир предстанет волшебным переменившимся? Может быть, наше влечение к дыму было стремлением к тайне и сказке: к тому, чтоб законы привычной реальности не всецело довлели над нами — но чтобы мир, под густой дымовой завесой, мог хотя бы немного пожить на свободе? А ещё мы любили размахивать тлеющей веткой: эта забава знакома любому. Если вытащить из костра обгорелую ветку с тлеющим кончиком — то уголёк на её конце станет быстро тускнеть, и над ним будет виться сизоватая дымная струйка. Но если помахивать тлеющей веткой — уголёк тут же проснётся, открыв свой рубиновый глаз. А если размахивать веткой сильнее, то перед тобой, на холсте темноты, возникнут светящиеся овалы, зигзаги, восьмёрки. Замедлишься — сразу тускнеют и огненные рисунки; но стоит ускорить махи руки — как восьмёрки и кольца становятся ярче и толще. Меж тобой и светящимися письменами возникала прямая, и даже немного пугавшая, связь. Словно то, что светилось во тьме — уже было, отчасти, тобою самим; и поэтому дать тем рисункам погаснуть — было почти то же самое, что исчезнуть и самому.

Вот поэтому ты и размахивал тлеющей веткой, как заведённый, в каком-то уже иступлении: лишь бы длилась и длилась вот эта игра с темнотой и с огнём, лишь бы светились овалы, круги и восьмёрки. Ты понимал, что живёшь — лишь пока прилагаешь усилие жить; если же ты остановишься, то светящиеся восьмёрки — хоть это и знак бесконечности — тут же исчезнут во тьме...

* * *

Потом было студенчество и стройотряды. На целое лето мы уезжали в глушь смоленских лесов и болот, и работали там от темна до темна, с каждым днём приближаясь к истокам, к тем деревенским корням, что таятся едва ли не в каждом из нас.

И здесь вновь, как смоленский печальный пастуший рожок, начинает звучать тема дыма. В одном из стройотрядов, в деревне по имени Сяковка,

мне не раз доводилось топить баню «по-чёрному»: и уж чего-чего, а дыма я в ней наглotalся изрядно.

Думаю, мало кто из моих современников застал «чёрные» бани — а тем более сам их топил. Согласитесь, от таких бань недалеко и до курных изб — до той скудности жизни, что уже в XIX веке, и то считалась архаикой и пережитком почти первобытных времён. Но тем не менее «чёрные» бани на Смоленщине были нередки ещё лет тридцать назад; и тот, кто их топил, кашляя и задыхаясь в дыму — совершал настоящее путешествие как в народное прошлое, так и в глубины собственной родовой памяти.

Дым в той бане выходил через небольшое волоковое оконце, проделанное в потолке. И печи там, по сути, не было: был просто очаг, свод которого покрывали округлые валуны, нагревавшиеся разведённым под ними огнём. Стены и потолок были так закопчены — что, неосторожно потрогав их, а затем случайно коснувшись лица, ты был обречён ходить с перепачканной сажей физиономией, вызывая смех окружающих. Но меня это ничуть не смущало: я так любил всё, связанное с парилкой, — что всегда в банные дни вызывался быть истопником. И вот только тогда, наглотавшись-нанюхавшись дыма, я и мог осознать, какое же место дым занимал в народном быту — и мог вполне оценить те пословицы и поговорки, что были сложены об этом навязчивом спутнике человека. «Свой дым глаз не ест»; «Много дыму, да мало пылу»; «Нет дыма без огня, а огня без дыма»; «Бесстыжих глаз и дым неймёт»; «Стыд не дым, глаза не выест»; «Кто ветру служит, тому дымом платят»; «Мужик пахнет ветром, а баба — дымом»; «Солдат шилом бреется, дымом греется»; «Не летит пчела от мёду, а летит пчела от дыму»... Наверное, есть и ещё поговорки — но и этих достаточно, чтобы понять, до чего же «продымлённой» была наша крестьянская жизнь.

Топка бани на окраине Сяковки начиналась с того, что я раздевался до пояса — и уже очень скоро лоснился от пота и был чёрен от сажи, как тот кочегар в морской песне: «Товарищ, я вахты не в силах стоять — сказал кочегар кочегару...» Как и он, стоять я был не в силах: потому что в задымлённой баньке передвигаться можно было только на четвереньках. Очаг гудел и трещал, пламя расплёскивалось о камни свода, и густой дым не просто наполнял — а набивал тесную внутренность старого банного сруба. Волоковое оконце не справлялось с дымным потоком; и, если взглянуть на баню снаружи, то можно было увидеть, как дым сочится сквозь крышу и щели меж брёвен.

Только у самого пола оставался слой более-менее чистого воздуха, высотой с полметра: вот в нём я и ползал на четвереньках, подкладывая дрова в ненасытно гудящий очаг. Жар был такой, что трещали волосы на голове; и я совал в очаг чурку за чуркой почти наугад, отвернувшись и не дыша. Потом, всё так же на четвереньках, выбирался в предбанник, вываливался за банный порог — и даже полуденный зной мне казался блаженной прохладой.

А дым всё валил и валил: сквозь крышу и стены, из двери и волокового оконца — но по мере того как очаг раскалялся, этот дым становился всё более чист и прозрачен. Это был уж не столько дым, сколько огненный воздух: он струился над кровлей, словно расплавленное стекло — и дома Сяковки сквозь

него казались миражами. «Всё, — решил я, — больше подкладывать дров не буду: а то не ровён час вспыхнет кровля...»

Не успел я подумать об угрозе пожара — как с картофельных огородов за баней послышался тонкий, пронзительный бабий крик. Признаюсь, я мало что в жизни слышал страшнее. В том крике — не очень-то даже и громком и как бы случайном среди безмятежного летнего дня — я распознал вековой и отчаянный голос народной беды. Тот бабий вопль резанул мне по сердцу, как нож; и когда я, мгновенно похолодев, поднял взгляд — то увидел, что над крышей бани поднимается столб аспидно-чёрного дыма: верный признак, что вспыхнула кровля...

Забежав за угол бани, я увидел над крышей алое пламя. Тяга огня была столь велика, что она срывала с кровли листы рубероида — и они взлетали в столбе чёрно-алого дыма. Я заметался, ища ведро — нашёл, побежал с ним к водоразборной колонке — а когда возвращался, увидел, что к бане со стройки бегут наши ребята.

Удивительно, до чего быстро и слаженно все включились в спасательные работы. Видимо, в нашей генной памяти сохранился не только бабий истощенный вопль — но хранится и то, как надо вести себя в общей беде. Быстро выстроили цепочку, передавая вёдра с водой от колонки до полыхающей бани. Быстро сообразили, что баню уже не отстоять — и поливали стены и кровли ближайших сараев.

Минут через десять всё было кончено. Пожарной машине, приехавшей через полчаса, осталось лишь полить пепелище — отчего повалил такой густой пар, что кто-то из нас, засмеявшись, предложил в нём и попариться. Что ж, уже можно было шутить — и громкий, нервический хохот то и дело взрывался в чумазой и потной толпе, окружавшей то место, где стояла сторевавшая баня...

* * *

Так что мы подчас сами не знаем, когда дым костра или очага станет дымом пожара. Дым, как тот волк из поговорки: его сколько ни корми, а он всё смотрит в лес, всё мечтает о дикой свободе.

Но о свободе мечтаем и мы, городские оседлые люди. Кого не влечёт из рутины обыденной жизни — на вольную волю, к походным кострам и дымам? Меня — очень даже влечёт; до сих пор я скучаю по дыму, что поднимается над костерком, где-нибудь на речном берегу — той порою, как в котелке поспевают ужин.

Встречались ли вы с удивительным этим явлением: с тем, что дым костра назойливо тянется к сидящему возле огня человеку? Если нет ветра — который, понятное дело, относит дым вбок — то, где б ты ни сел к костру, дым непременно отыщет тебя, отклонится к тебе, и придётся, зажмурясь и кашляя, пересаживаться — чтобы вскоре опять оказаться в дыму. Можно подумать, что дыму скучно быть одному — или что между вами существует родство.

Я долго не мог догадаться, в чём дело, и уж смирился с тем, что этой загадки мне вовеки не разгадать. Но недавно меня озарило. Ведь горящий костёр, поднимая нагретый воздух, создаёт над землёй как бы ветер

иного, холодного воздуха — текущий к костру со всех сторон сразу. Если же на пути этого «ветра» присел человек, то перед ним образуется тихое место — к которому тут же и тянется дым.

«Понятно тебе? — сказал я мысленно дыму, присев в очередной раз к костру. — Я тебя разгадал, и теперь-то я знаю, чего стоит вся твоя привязанность ко мне: ты просто-напросто подчиняешься ветру. И никакой тут нет мистики...» Но дым продолжал лхнуть к коленям, затем подниматься к лицу и выжимать слёзы из глаз. Ему, дыму, не было дела до моих объяснений: наша с ним тайная связь всё равно была много глубже и много прочнее...

* * *

Костры и дымы — столь обширная тема, что даже в пределах собственной жизни вспоминается множество разных дымов.

Сейчас за окном сухой, солнечный март, и с полей нашей окраины там-сям выются дымы травяных палов. Они редко бывают густыми: чаще это просто струение жаркого воздуха над прерывистой огненной линией. И, глядя на эти палы, проходя вдоль их фронта, взбивая ногами седой прах золы — я вспомнил тот пал, которому сам, как и в случае с деревенской баней, стал невольной причиной.

Мы с другом шли на байдарке по апрельской реке со смешным названием Вытебеть — и увидели, под глинистым рыжим обрывом, закопчённую кучу камней, что братья-туристы оставили с прошлого года.

— А не истопить ли нам баньку? — предложил я Виталию.

— Отчего же не истопить? — отозвался он.

Мы причалили под обрыв — мутная Вытебеть недовольно взбурлила под килем байдарки — и стали устраивать баню. Нам надо было развести над камнями большой костёр — а пока они нагреваются, сплести из прутьев каркас, которым мы после накроем горячие камни.

Сухостоя вокруг было сколько угодно; скоро огонь поднимался до кромки обрыва, покрытой высохшей прошлогодней травой. Но мы слишком поздно — когда трава вспыхнула и затрещала, и огонь двинулся к недалёкому лесу — осознали своё непростительное легкомыслие.

Лес надо было спасти — и мы, с вёслами наперевес, выскочили из-под обрыва вслед за огнём. До леса было не более сотни шагов, и часть сухой луговины, что отделяла от него, уже оказалась прочерчена ломаной огненной линией. А уж дым валил так, что синего неба за ним почти не было видно. Мы с Виталием заматались, как угорелые. Сначала пытались затоптать пламя или сбить его лопастями вёсел — но проку от этого было немного. Спасло лес — и нашу с Виталием совесть — то, что по всему лугу висилось множество чёрных кротовин. Мы, как лопатой, зачерпывали рыхлую землю вёслом, швыряли на пламя — и в огненной линии появлялась полуметровая брешь.

Но хоть способ тушения пала и был нами найден — на то, чтобы остановить и надёжно похоронить огонь, ушло около часа. К тому времени как мы засыпали тлеющий луг — и только остаточный дым курился там-сям от горячей земли — мы задыхались, были облиты потом и перепачканы сажей.

Конечно, мы так напарились, бегая в огне и дыму, что баню уже можно было и не затевать; но, с другой стороны: что ж мы, напрасно устроили пал? И потом, хотелось смыть пот и сажу: а то мы и сами без смеха уже не могли смотреть друг на друга.

Пока догорал костёр на камнях, сплели банный каркас. Получился он невелик: сидеть внутри можно было только на корточках. А накрыли его всем тем тряпьём, что нашли среди наших вещей: байдарочными чехлами и дождевыми накидками, куртками и кусками полиэтиленовой плёнки. Банный чум получился — на загляденье; оставалось поставить его на раскалённую каменку. Мы это и сделали, когда повыбрасывали из костра недогоревшие головни и вымели угли: нахвататься угара никому не хотелось. А, когда опустили каркас на горячие камни, он надулся, словно воздушный шар.

Я, пожалуй, не буду подробно описывать, как мы парились: как швыряли горячую воду на камни, как нам обдавало лицо влажным жаром, как мы хлестались колючим еловым венником и как затем бросались в мутную ледяную Вытебеть. Оттуда, из обжигавшего холода, тело само рвалось обратно, к горячему пару; а из жаркого банного чума хотелось вновь броситься в холод реки. Ты уж не знал, как остановить сумасшедшие эти качели, что носили тебя из холода в жар, и обратно; и, помнится, крикнул другу:

— Брось мне на пути бревно — я иначе не остановлюсь!

Виталий, смеясь, так и сделал — и только сухая, с колючими сучьями, ель остановила безумие моих банных метаний. Но в голове ещё долго клубилась какая-то смутная смесь из воспоминаний о пале и бане, из обрывков реальности, и недоумения: что со мной происходит и где я нахожусь? Видно, угара я всё-таки нахватался: словно дым застилал мою душу и мысли. Я был одновременно и здесь, у костра, на котором бурлил котелок, над обрывом и мутной рекой — но был где-то ещё: там, откуда мог видеть себя — словно со стороны. Я будто знал, что когда-нибудь опишу этот день, эту баню и реку — и дым костерка, что стелился по-над обрывом...

* * *

Но пока мы ходили в походы — а большая часть путешествий выпала на конец прошлого века — небо коптили ещё и иные дымы.

Тогда, на изломе эпох, одна жизнь рушилась, другая ещё не утвердилась — и вся эта гибель былого и мусорно-дикое зарождение нового происходили в какой-то воистину дымной, болезненной атмосфере. И хоть центральной России было полегче, чем многим окраинам бывшей советской империи — но дымы поднимались и здесь. Горели бандитские джипы и особняки «новых русских», подождённые их конкурентами, горели пригородные дачи, занятые замерзающими бомжами, а на свалках чадили костры тех бомжей, кому дач не досталось.

Дымящие свалки — для меня самый наглядный образ той смутной поры. К тому же я жил и живу километрах всего в четырёх от главного мусорного полигона Калуги — и, когда ветер дул с той стороны, наша окраина вдоволь могла надыхаться сладковато-приторным дымом тлевших отбросов. А когда

мне доводилось оказаться рядом со свалкой — то можно было видеть, как по ней бродят люди, как они роются в мусорных кучах и жмутся к тлеющим там-сям костеркам. Вся свалка тогда представлялась огромным костром, на котором сгорают отходы не просто ближайшего города — но сгорает и вся та эпоха, в которой мы жили прежде. И люди, что бродят по свалке, — живут первобытною жизнью, похожей на жизнь самых первых людей; только те начинали историю человечества, а эти, похоже, её завершают. В общем, невесело было смотреть на дымы, что курились над свалкой. И хорошо, что мусорные костры в конце концов перестали дымить: теперь отходы здесь сортируют, и большую часть везут на цементный завод, где они служат топливом.

Хочется думать, что в преодолении хада и хаоса, который в конце прошлого века задымил страну — была и заслуга нашей семьи, терпеливо державшей свою оборону на восточной окраине города. Мы в те годы держались за землю, кормясь тем, что сами же посадили и вырастили неподалёку от дома — благо, на нашей окраине можно было найти пустовавшие «неудобья».

И вот там, отдыхая от крестьянских трудов, мы тоже жгли костерки — но как же они отличались от тех, что дымились на свалке! Наши костры были полными жизни, надежды и радости — тем более что к ним сходилась вся наша семья. Мои мать с отцом, я с женой и наш шестилетний сын Дима — мы устраивались в тени дикой яблони, в живописной долине ручья, над рядами окученной тёмно-зелёной картошки, и начинали готовить обед.

Большой костёр нам был не нужен: на дрова вполне хватало и тех сухих сучьев, что мы находили под старой яблоней. И скоро к потрескиванию горящих дров добавлялось шкворчание сала на сковородке, а к горькому дыму костра, что стелился над склоном оврага — вкусный запах яичницы. Корзинки яиц — благодарность натурой — мне в те годы нередко приносили мои пациенты; так что наш обед на природе был натуральным во всех смыслах слова.

И, конечно, вкусней той яичницы — с зелёным лучком да с «дымком» — мало что доводилось поесть. Бывало, откинешься к склону оврага — и, полужёжа на травке, подумаешь: «Господи, как хорошо! Вся семья в сборе, картошка окучена, все накормлены, костерок почти догорел, сизый дым стелется по-над зелёной травой — да что ещё нужно для полного счастья?»

* * *

Даже в трудные годы нас манили дороги и странствия; и вот, подкопив немного денег, вдвоём с молодой женой мы отправились в Крым. Поездка вполне удалась — тем более Лена увидела море впервые — и одно из ярких воспоминаний о ней, как ни странно, но связано тоже с дымом.

Поселились мы в Коктебеле, во дворе колоритной старухи Ляли Ивановой: об этом дворе и его обитателях можно писать отдельную книгу. А долгие жаркие дни мы завершали прогулкой по коктебельской набережной.

Эти вечерние променады бывали чудесны. Непривычная нам праздность и пестрота, многолюдье и гомон не только не раздражали — но казались забавны, милы, и неспешно плыть по течению галдящей курортной толпы было само по себе наслаждением. А поскольку всё это происходило не где-нибудь,

а в Коктебеле — то чудилось, что на гуляющую по набережной толпу отовсюду устремлѐн взгляд поэта, некогда жившего здесь. Он смотрел и с вершины горы Кучук-Еньшар, где лежит его прах, и с холма Юнге, у подножья которого теперь белеют ягодицы нудистов, и с балкона Дома Поэта, возле которого ныне стоят аж целых два его памятника; и, конечно, поэт смотрел на нас с Карадага, где застыл его скальный двойник — где, как он писал сам, «огнь древних недр и дождевая влага двойным резцом ваяли облик мой...»

Но мы ехали в Крым не для того, чтобы просто бродить в хмельноватой курортной толпе; мы ехали, помимо прочего, к морю — и в наши вечерние планы входило ещё и купание. Пока совсем не стемнело, мы выбирались из толчеи, хрустели по гальке — благо, опустевший пляж был буквально под боком — и раздевались на ещё не остывших лежаках. Как известно, ранним утром и на закате морской бриз стихает, и море становится гладким. Оно в эти минуты даже не накатывало на берег, а просто бесшумно то выгибалось, то опускало свою прозрачную спину, и в стеклянной толще воды кое-где были видны сиреневые парашюты медуз.

Скользнув в перламутровый сумрак, сделав пять-шесть длинных гребков — ты выныривал уже на порядочном расстоянии от берега. Вперѐд уходила морская, всё более синяя, гладь; небо над ней было нежно-дынного цвета. Поведя взгляд направо, в сторону Карадага, ты видел тот самый профиль Волошина, что давно стал символом Коктебеля, а над ним — розовевшее облако, озарѐнное светом только что севшего там, за Святой горой, солнца; далее, замыкая дугу залива, тянулась полоса набережной, где тѐмная зелень акаций и тамарисков перемежалась заплатами разноцветных крыш. Два одинаковых ровных холма поднимались над пестротой набережной, и ты с удовольствием вспоминал как их татарское имя — «Ким-Чек» — так и русский его перевод: «Девичьи Груды».

Затем взгляд соскальзывал к пляжу, и ты видел, как твоя молодая жена аккуратно и не спеша входит в воду. Это было красиво. Балансируя, словно гимнастка на проволоке, она ступала по гальке, и гладкое море так острожно принимало в себя её стройное тело — как будто Понт сам рад тому, что красивая юная женщина — имя которой Елена! — совершает сейчас омоложение в его водах.

Мы долго плыли вдоль берега — я, фыркая и отдуваясь, а Лена бесшумно, без брызг — и вот тут-то нас и накрывал тот самый шашлычный дым. По набережной курилось не меньше десятка жаровен; пахучий их чад стекал к морю и повисал над вечерней водой. Мы плыли в таких густых ароматах жаркого — что риск захлебнуться слюной был куда больше, чем риск нахлебаться солѐной морской воды. Скоро наш молодой голод становился невыносим; и, уже выйдя на берег, я с восторгом читал Мандельштама:

Человек бывает старым,
А барашек молодым,
И под месяцем поджарым
С розоватым винным паром
Полетит шашлычный дым...

* * *

А теперь пусть на сцену выходят тандыры. И, после крымских ночей — где морской воздух был смешан с полынною, тёплого горечью степи и где непрерывно трещали цикады — я вспомню бухарское утро. Его главные звуки — это плач муэдзина, доносившийся от ближайшего минарета, гуление горлинок под застрехами саманных домов, и треск хвороста, разгоравшегося в тандырах. Я так хорошо помню звуки утренней Бухары — потому что работал тогда молотобойцем в кузне оружейника Закира, и мне надо было вставать пораньше.

А следом за треском горевшего хвороста до меня доносился и запах дыма: такой домашний и даже родной, что мне начинало мерещиться, будто я всю жизнь прожил в Бухаре, поднимаясь ни свет, ни заря, выпивая пиалу-другую кок-чая под старой шелковицей и с наслаждением чувствуя, как ноют плечи после вчерашнего махания кузнечной кувалдой. Горчащий тандырный дымок поутру стелился над всей ремесленной Бухарой, над её плоскими крышами, над дувалами и над айванами; и ещё низкое солнце пронзало косыми лучами его сизовато-седые слои.

Не успевал я допить свой утренний чай, как к горьковатому запаху дыма, которым я был разбужен, примешивался иной, хлебный: значит, сырые лепёшки теста уже были налеплены на раскалённые стенки тандыров. Что ж, пора было завершать чаепитие и отправляться в кузню. Выйдя из дома, я бодро шагал между изгибающихся заборов-дувалов в направлении Ляби-Хауза и с удовольствием думал, что скоро буду вдыхать не вот этот уютный тандырный дымок — а горький угольный дым, что завьётся под сводом кузнечного горна. Этот дым тоже был очень хорош: он сопровождал одно из древнейших ремёсел Востока. И не его ль завитки и узоры застыли на гладии вручную откованной стали — те завитки, по которым ценитель с одного взгляда распознаёт настоящий дамасский клинок?

* * *

Но мне доводилось забраться ещё дальше, чем в Центральную Азию, — и подышать дымами совсем уже экзотических мест. Вот я схожу с самолётного трапа в аэропорту Дели и жадно втягиваю воздух ноздрями. Но вместо чего-то экзотически-незнакомого мой нос неожиданно чувствует нечто родное. Это запах кизячного дыма: то, что и мне самому довелось обонять в раннем детстве (которое началось в степной курской деревне), и то, что вошло в мою генную память, как чуть ли не самый привычный из запахов, какими дышали мои отдалённые предки. По сути, это запах коровы, сохранившийся в тех подсохших навозных лепёшках, которые и называются кизяком.

А корова в Индии — всюду. И просто на улицах, где она стоит или лежит, задумчиво жуя жвачку; и в виде бесчисленных чайных стаканов и плошек — потому что чай в Индии варят на молоке; и в виде сладкой простокваши «ласси», предлагаемой на каждом углу; и, наконец, в виде священной коровы — того божества, чьи фигуры и изображения тоже видишь здесь часто. Кстати, и подношения иным божествам — а их в индуизме тысячи — это тоже

молочная чашка, стоящая в храме или вылитая в Гангу во время пуджи: так что, не будь в Индии коров, голодали бы не одни только люди, но и местные боги. И мне даже странно, отчего индусы не утверждают — что, дескать, наша Земля, со всем её движимым и недвижимым содержимым, покоится на спине какой-нибудь вечной великой коровы?

Но мы вели речь о кизяке и его сладковатом дыме — таком неожиданном посреди современного мегаполиса. Я вскоре познакомился и с его источником: уличными печурками первобытного вида, в которых тлеет кизяк и которые являются столь же характерной деталью индийского городского пейзажа — как шивалингам (символический фаллос Шивы) или свастика, знак древних ариев.

И вот именно сладковатый дымок кизячных жаровен, которым я часто дышал в старых индийских кварталах — он пробуждал во мне странные мысли и чувства. Я думал: вот точно такие жаровни тлели здесь даже не сотни, а тысячи лет назад; и одна из древнейших цивилизаций планеты вдыхала вот именно этот пахучий дымок. В этом дыму вскипал чай и подрумянивались лепёшки-чапати, и в этом дыму бормотали горшки с чечевичной похлёбкой, древнейшею пищей индусов. Менялось многое — века и тысячелетия, имена властелинов и облики храмов, в страну приходил то буддизм, то ислам, то английское христианство — а этот кизячный дымок оставался всё тем же, пахучим и неистребимым. Так, может быть, именно дым есть самое прочное и неизменное из того, что меня здесь окружает? Или, иными словами: всё то, что я вижу вокруг — эти дома и машины, идущие люди, коровы и нищие, велорикши и обезьяны на фонарных столбах — вот эта реальность как раз и является дымом: ибо она, с точки зрения вечности, утекает меж пальцев, она возникает и исчезает, чтобы снова возникнуть и вновь обмануть нас иллюзией существования.

Выходит, что дым, струящийся над первобытной жаровней, рядом с которой присели на корточки два полуголых, насквозь прокопчённых индуса — этот дым сохраняется дольше всего? И действительно прочно лишь то, что бесформенно, зыбко и неуловимо?

Тогда-то, окутанный дымом, я и постиг — насколько мне, европейцу, это возможно — парадоксальную мысль индуизма. Высшее и глубочайшее, до чего здесь дошёл человеческий ум — оно выражается мифом о снах и пробуждениях Браммы, плывущего по водам вечности на цветке лотоса. Когда верховное божество засыпает, оно видит сон — который и есть наша жизнь и наш видимый мир. Когда же Брама просыпается и открывает глаза — его сонные грёзы растворяются и исчезают, подобные дыму...

* * *

В Индии есть и дымы погребальных костров Варанаси. В этом древнейшем из городов человечества, на причалах у Ганги, день и ночь горят мёртвые. Быть сожжённым именно здесь — предел мечтаний индуса: в Индии верят, что душа вместе с дымом вырывается из докучного колеса превращений и улетает из Варанаси напрямую в нирвану.

Я посетил Маникарника-гхат (главное место кремации) поздним вечером. Горело всего одно тело; два других, прикрытые белыми погребальными пеленами, ожидали очереди. Как турист, я мог оценить, до чего же грамотно сложен погребальный костёр. Кривоватые жерди, длиной в рост человека, были уложены сквозным штабелем в метр высотой — так, что меж ними возникла сильная тяга. Пламя с гулом рвалось сквозь дрова, обливало лежащее сверху тело — которое скоро было неотлично от обугленных дров — а те вспыхнувшие покрывала, какими был укрыт мёртвый, срывало с него, и уносило в дымное небо. Я никогда б не поверил, что человек, состоящий в основном из воды — сгорает так быстро. Вся кремация заняла не более часа; и всё это время я сидел рядом, на поленнице дров, ожидающей очередного покойника, и пил густой чай с острым перечным вкусом масалы.

Погребальный дым был хорошо различим в темноте тёплой ночи: широкой белой полосой он поднимался к звёздам, словно мост, соединяющий землю и небо. Он был так осязаемо-плотен, что казалось: не составит большого труда взойти по нему туда, где горит Млечный Путь — который является словно прямым продолжением погребального дыма. В каком-то смысле так именно всё и было: хоть и не весь человек целиком, но частицы его, разделённые и вознесённые пламенем, улетали от земли к звёздам.

И не это ли превращение плотно-тяжёлого в неуловимо-летучее, не эта ли жаркая сублимация тела — наполняла меня, созерцателя, чувством такого покоя? Я уже представлял, что ведь мог бы и я, завершив земной путь в Варанаси, расстаться с тяжёлой, изрядно уже надоевшею плотью — и улететь в виде лёгкого белого дыма в мерцавшую звёздами тёплую тьму...

* * *

Поговорим теперь о курении. Сразу признаюсь: я не курильщик, и мой личный курительный опыт ограничен парой кальянов в Египте и несколькими сигарами, которыми угостил меня друг Антон.

Первым настоящим курильщиком, кого я увидел, был мой отец. И то, как он курил трубку, осталось одним из важных воспоминаний детства — тех, какие, возможно, и формируют мировоззрение человека. Интересно, что я помню не только детали курения — все эти чашки трубок и мундштуки, коробки спичек и табачные рыжие крошки, просыпанные на столе — но помню мысли и ощущения того шестилетнего мальчика, что зачарованно наблюдал за дымящим отцом.

Бывало, я тихо сидел в уголку кабинета, наблюдая, как отец открывает курительную шкатулку и не спеша достаёт из неё предмет за предметом, готовясь к предстоящему ритуалу. Надеюсь, читатель разделит со мною внимание к частностям: так мне самому будет проще осмыслить то, что творилось в моей душе пятьдесят лет назад. Итак, из шкатулки (она, как и две прокуренных трубки, сохранилась доселе) извлекались: одна из тех самых трубок, пакет с табаком — точнее, два пакета: обычно отец смешивал болгарское «Золотое руно» с табаком «Капитанский», и получалась смесь с упорительным горько-медовым запахом, напоминавшим мне, в свой черёд, то, как

пахли дымом и мёдом улы прадеда в Выгорном, где я провёл раннее детство — затем доставалась вязальная спица и комок ваты (из них изготавливался шомпол для прочищения мундштука), и коробок спичек: он сухо гремел в кулаке, если им потрясти. Эти предметы раскладывались в привычном порядке на истёртой локтями писателя поверхности письменного стола, а рядом ставилась треугольная пепельница из тёмно-зелёного малахита, привезённая отцом из Нижнего Тагила, где он служил врачом ракетного полка.

Потом отец чистил трубку. На вязальную спицу наворачивался клочок ваты — получался этакий белый цветок на чернеющем стебле — затем мундштук отсоединялся от чашки трубки, и шомпол с белым султаном из ваты туго входил в его просмолённый канал. Ватный блондин мгновенно делался жгучим брюнетом. Сбросив смоляную липкую вату в пепельницу, отец прочищал мундштук ещё пару раз, продувал его, а затем принимался готовить табачную смесь. Щепотью он брал табак из двух разных пакетов — стружки «Золотого руна» были светлей и длинней «Капитанского» — и высыпал его прямо на стол. Затем перемешивал эти два сорта — получалась пахучая, пёстрая чёрно-рыжая кучка — и начинал набивать табаком трубку. Причём все эти действия производились обычно в молчании; точнее сказать, я был так поглощён созерцанием, что никаких слов — даже если они и произносились — моя память не сохранила.

Смахнув ребром ладони остаток табачной смеси в один из пакетов, отец приступал к самому волнительному для меня моменту: раскуриванию трубки. Вложив мундштук в губы, он сначала шумно втягивал воздух сквозь плотно набитый табак, проверяя: хорошо ли тянется трубка? Потом брал в руку гремящий спичечный коробок. Верней, даже так: он сначала встряхивал им возле уха, чтобы узнать, есть ли там спички; а для меня это сухое погромыхивание коробка было, как нервная барабанная дробь перед эффектным цирковым номером. Я даже переставал дышать, чтобы не пропустить самое главное: чудо опрокидывания огня.

Вот отец шаркал спичкой о борт коробка — головка искрила — и над спичкой качался лоскуток алого пламени. Поднесённое к трубке, пламя являло собой колеблющийся треугольник, направленный острой вершиной вверх. Но, когда отец с силой втягивал воздух, — треугольник огня опрокидывался вниз!

Этот огненный переворот длился доли секунды — но совершенно меня поражал. Тогда, шестилетним, я впервые увидел и осознал, что в мире возможно чудо: то, что попирает законы привычной жизни и словно выворачивает мир наизнанку — или, как это вот пламя, опрокидывает наоборот. И, спустя много лет, вспоминая эффект опрокидывания огня, я стал думать: а вдруг и само время, при известных условиях, может быть обращено вспять? Да оно отчасти и обращается, начиная течь в прошлое — например, при воспоминаниях об отцовской курительной трубке...

...А отец, пока я неслышно сидел в уголку его кабинета, попыхивал трубкой, и клубы синего дыма всё сильнее заволакивали его лицо. К тому же, как всякий настоящий курильщик, он в эти минуты становился

задумчив и отрешён. Можно сказать, он уходил от меня сразу в двух направлениях: в клубящийся дым — и в себя самого. И мне очень хотелось задать ему тот вопрос, который за всю свою жизнь я так и не задал: куда ж ты уходишь, отец?

* * *

Ни трубок, ни сигарет курить мне не доводилось — а вот несколько сигар я выкурил. Мой друг, художник Антон, состоит членом сигарного клуба; и, в гостях у него, приходилось взять в руку продолговатое, кожисто-хрусткое тельце сигары.

Курение сигары — это настоящее театральное представление. Недаром для него полагается надеть специальный костюм под названием «смокинг» и заплатить немалую сумму за входной билет в этот театр: настоящая кубинская смуглянка стоит дорого. Мы с Антоном, конечно, обходились без смокингов и без курительных кабинетов с камином и старым дворецким, подающим нам длинные «сигарные» спички; но и наш упрощённый театр был всё-таки театром. Было очень приятно сесть развалившись, принять в дар от хозяина эту самую смуглянку-актрису, чья талия перехвачена ярким бантом — и покрутить в пальцах продолговатое и совершенно живое на ощупь тело сигары.

А затем полагалось приступить к декапитации, отсечению головы. Конечно, так обрезание сигары не называют — это уж я ввернул для красного словца — но инструмент для обрезки сигар окрестили именно гильотиной. Когда кончик сигары, хрустнув, отпал под ножом — курильщик затягивается ею вхолостую, ещё не поджигая: чтоб узнать разницу между холодной, пока равнодушной красоткой — и той, что вот-вот, распалаясь всё больше, отдаст вам свою жизнь и душу.

Разумеется, каждый сигарный курильщик знает предание о потном бедре кубинки, на котором, якобы, сворачивается настоящая «Гавана». И, наверное, каждому чудятся — в том пряном запахе, что он вдыхает сквозь лист ещё не зажжённой сигары — карибские жаркие женщины, что живут только страстью, и ради неё. Не потому ли сигару так долго ласкают и глядят, мнут в пальцах, подносят к ноздрям и губам, мечтательно прикрывая при этом глаза — что все эти действия есть замена того, что возможно только во снах или грёзах, в мечтах о какой-то безумной и недостижимой любви? Но так ведь и сцена театра порой заменяет нам жизнь, и мы утоляем томление души — бутафорскими теми страстями, что видим в сиянии рампы?

Однако не пора ли зажечь нашу с вами сигару? Тут свой ритуал, свои тонкости: от прогревания обёрточного листа — сигара при этом медленно проворачивается в огне — до раздувания тлеющего табака, напоминающего раздувание углей костра.

Но вот сигара раскурена, и перед каждым дымится ручной ароматный костёр. Если в комнате сумрачно (а впотьмах курится лучше всего), то при каждой затяжке лицо твоего собеседника на короткое время выступает из тени — крупно и резко обозначаются очки, губы, нос — а потом его профиль

опять тонет во мраке. Выглядит это эффектно, но чуть жутковато: кажется, твой друг жив лишь постольку, поскольку дышит и тлеет его сигара; но стоит ей догореть — и он сам растворится во тьме...

Вот теперь, окуренные сложным дымом сигары, да ещё чуть захмелевшие от коньяка — два бокала стоят между пепельницей и бутылкой — мы можем поговорить о серьёзных вещах: например, о жизни и смерти.

В театре сигары всегда ставят одну и ту же пьесу: разыгрывают сюжет о нашем будущем исчезновении. Ведь тлеющая сигара — это, можно сказать, само воплощённое время. Вот её прошлое — седой пепел, вот настоящее — дымный огненный пояс, в котором смыкаются прошлое с будущим, — а вот будущее: то, которое скоро само станет прошлым. Само прогорание сигары, с продвижением тлеющего огонька по её продолговатому телу, от мертвенно-пепельной части к пока что живой и упругой, согретой не только твоими губами и пальцами, но и неотвратимо близящимся огнём — само это неудержимое продвижение к смерти есть образ и символ нашего земного существования.

Но главный-то фокус в другом. Развалясь в клубах дыма, как в партере театра, мы переживаем не собственное исчезновение как таковое — а лишь его черновой набросок: присутствуем, так сказать, на репетиции небытия. Вместо того чтобы умирать по-настоящему, мы довольствуемся смертью актёров на сцене — и тем как бы обманываем смерть собственную. Не оттого ли так тянет нас в театр — а кого-то так тянет к сигаре — что и тот, и другая дарят поклонникам иллюзию бессмертия, делятся острым и дразнящим опытом преодоления небытия? Досмотрев представление (лучше всего, чтобы в нём, как в античной трагедии, умерли все) или оставив сигарный окурочок дотлевать в крематории пепельницы — мы с изумлённой, немного постыдной радостью чувствуем: Боже мой, а ведь мы ещё живы!

* * *

Вообще, моя жизнь — точнее, её осознание — помещается между двух истин, которые, при их видимой противоположности, неразрывно сосуществуют и дополняют друг друга. Одна гласит: «Всё есть дым», — а другая: «Всё — Бог».

И за каждой из них стоит целое мировоззрение. Взгляд на мир, говорящий нам, что всё мимолётно и тленно — что, в сущности, нет ни мира, ни нас самих, пытающихся его осознать, — этот взгляд мы привыкли обозначать как буддийский.

Взгляд же иной — «Deus conservat omnia» — это взгляд христианский. Согласно ему, даже дым — это некая сущность, живущая в Боге, угодная Богу и хранимая Им. «Однажды — значит, навсегда»: вот формула этого мировоззрения. Даже краткое, призрачно-неуловимое, даже то, что мы едва можем увидеть, познать, ощутить — вот такое, как дым — это всё же часть бытия, часть Творения: значит, это действительно существует.

И сейчас, размышляя о дыме — и вспомнив известную поговорку: что, дескать, нет дыма без огня — я подумал: а ведь она выражает ещё одно

доказательство существования Бога. И, как нельзя — точнее сказать, глупо — сомневаться в этой народной мудрости, так же глупо и отрицать существование Бога. Только в нашем случае «дым» — это то, что люди всех стран и эпох думают и говорят о существовании высших, творящих мир сил. Сколько живёт на Земле человек — столько он и размышляет о Божестве; но помыслить возможно лишь то, что действительно существует: «дым» наших мыслей может быть вызван только «огнём» реально сущего Бога. Да, вот именно так: всё, даже дым — говорит нам о Боге, о том, что есть связь между этим земным исчезающим миром — и миром небесным. Всё исчезает — и всё остаётся; всё тленно — и всё сохраняется в вечности.

Вот и в храме, когда идёт служба — и ладанный дым, вытекая из мерно звякающего кадила, наполняет пространство, окутывает прихожан, поднимается к куполу — и в храме дым ладана говорит нам о том же: о Боге. Ведь ладанный дым — это символ присутствия Духа Святаго; не случайно же и волхвы — Каспар, Балтазар, Мельхиор — принесли в дар младенцу Христу, кроме золота, ладан и смирну: то, чему надлежит воскуряться и благоухать, что возносит людские сердца от юдоли земной — в бесконечность...



Дмитрий Кузнецов

Дмитрий Валерьевич Кузнецов—поэт, журналист. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького, работал тележурналистом, пресс-секретарём, в настоящее время—главный редактор журнала «Калужское наследие». Автор стихотворных книг «Русская рулетка», «Белый марш», «Империя», один из авторов предисловия и составитель книги Ивана Савина «Всех убиенных помяни, Россия». Лауреат литературной премии им. генерал-лейтенанта барона П. Н. Врангеля (Врангелевская премия). Живёт в Калуге.

ГОЛОС СКРИПКИ В ДРОБИ БАРАБАННОЙ

* * *

В череде огней, в веренице дней,
На развилках жизненных трасс
Можно тысячу раз позабыть о ней,
Чтобы вспомнить тысячу раз.
Там, где скрипка пела в ночной тиши,
Где струна под смычком рвалась,
За изгибом тела изгиб души
Заявлял роковую власть
На тебя, на память твою, на всё,
Сопряжённое с ней одной,—
Не любя, любовью ты был спасён
Юной, трепетною, шальной...
И с годами память о том сильнее,
Но—к чему паутина фраз?
Пусть осколки дней чередой огней
Догорят средь пустынных трасс.

Скрипка и барабан

Жизнь бывает муторной и странной,
Но, решая быть или не быть,
Голос скрипки в дробь барабанной
Мы не можем, не хотим забыть.
Догорело сумрачное пламя
Жадных инквизиторских костров,
Истрепалось, потускнело зная
Гордых разрушителей миров.
Новые века раскрыли двери

Новым поколениям людей.
Но—остались Моцарт и Сальери,
Но—остались гений и злодей.
Снова зависть, золотая рыбка,
Тянет нас в заманчивую топь,
И лишь только умолкает скрипка,
Слышится воинственная дробь.
Правят миром ангелы и волки,
Только вместе им не выжить тут:
Скрипка, ты, пожалуйста, не молкни,—
Смолкнешь ты, и ангелы уйдут.
Под завесой красного тумана
Дробью сокрушая времена,
Вылезет из чрева барабана
Лютая последняя война.
Разлетится время на осколки,
На осколки будущих веков...
Скрипка, ты, пожалуйста, не молкни
В мире барабанов и волков.

* * *

В лёгкой дымке нежного тумана
Видится, как давней боли след,
Девочка из школьного романа,
Девочка из юношеских лет.
Память, ты пугающе бездонна,
Страшен омут вечной глубины.
Снова белокурая мадонна,
Словно луч, прорезывает сны.

Я её лица не помню даже,
Только—ночь, шаги, пустынный зал.
Дорогая, милая пропажа,
О тебе ль Вертинский рассказал?
Я ту песню до конца не слышал,
Болью растрожена она...
Просто я опять, как в бездну, вышел
К девочке из прожитого сна.

* * *

Ещё не скоро до победы,
Но на неделю с фронта—в тыл:
Прогулки, лес, велосипеды,
И—фотокадром день застыл.
Любовь Алёши и Наташи,
Блеснув орлом на пяточке,
Казалась всех романов краше
Девцам в Вышнем Волочке.
Лишь возмущённая курсистка
Срывалась на суровый тон:
«Позвольте... велосипедистка
Для офицера—моветон».
У них же не было вопроса,
Внимать ли отзвукам молвы?
Шуршали тонкие колёса
Средь увядающей листвы.
Двум окрылённым и уставшим
Мир улыбался как дитя.
...Признали без вести пропавшим
Его три месяца спустя.

Спой, сестрица!

Лазарет, истомлённые лица,
В белом фартуке—девичий стан,
Еле слышно хрипит: «Спой, сестрица!»
Умиравший штабс-капитан.
Чуть нахмурились тонкие брови...
—Спой, сестрица, родимая, спой!
Ну какие же песни средь крови
Под ударами смерти слепой?!
Лампа тусклая светит, мигая
(Это в вечность уходят войска...),
И в глазах, полных болью, такая

Леденящая душу тоска.
Подошла, скрыв сердечную смуту:
—Что же спеть вам? Ах, этот романс!
Стихло всё, словно здесь на минуту
Жизнь давала единственный шанс
Искалеченным и обречённым
Не истлеть в пустоте временной,
А салонным словам утончённым
Стать словами надежды земной.
И навстречу предсмертному жару
Зазвенела, всех прочих сильнее,
Песня та, что уносится к «Яру»
Вместе с тройкой ретивых коней.
«Эй, ямщик, не задерживай, милый,
Погоняй!..» В тишине навсегда
Белоснежной пургой заносило
Тех, кто слушал и плакал тогда.

Белый отряд

Кириллу Ривелю

Стремя в стремя, за рядом ряд
С лёгким звоном чеканной стали
Мы уедем, и наш отряд
Растворится в туманной дали,
Где за гранью ночей и дней
В измерении пятом, вечном
Только шаг боевых коней
Раздаётся на тракте млечном,
Только тускло щиты блестят,
Только слабо гербы мерцают...
Те, кто в наши ряды хотят,
Сей картины не отрицают.
Мало нас. Но, колодой карт
Рассыпаясь в веках и странах,
Старый рыцарский авангард
Бьётся в книгах и на экранах.
Чёрно-белое домино –
Жизнь и смерть в бесконечной рубке.
Нам Романтика льёт вино,
Наполняя сердца и кубки.
И уж если уйдёт она,
Сытой пошлости не приемля,
Мы уедем сквозь времена
Вслед за ней, покидая Землю...



Ольга Клюкина

Ольга Петровна Клюкина—прозаик и драматург. Родилась в посёлке Приволжский Саратовской области. Окончила филологический факультет Саратовского университета имени Н. Г. Чернышевского. Публикуется с 2001 года. Автор романа «Эсфирь», серии книг «Святые в истории. Жития святых в новом формате», других произведений для взрослых и детей. На сцене калужского ТЮЗа поставлена её пьеса «Беликов. Реабилитация». Лауреат премий им. В. Д. Берестова и И. В. и П. В. Киреевских, дипломант XI Международного Славянского Литературного Форума «Золотой Витязь» 2020 года. Член Союза российских писателей. Живёт в Калуге.

СНОВИДЕНИЕ МОЛОДОЙ ЖЕНЩИНЫ

Жена сама сказала ему: «Пошёл вон». И сама же расстроилась, что так грубо получилось.

Муж так и сделал — вышел на балкон и закурил.

«Перестань дымить на ребёнка!» — хотела выкрикнуть ему вслед. Но споткнулась взглядом о напряжённую, злую спину и промолчала. Кто-то первый должен остановиться.

Чтобы успокоиться, заперлась на кухне, тоже мстительно вставила в рот сигарету, зачиркала спичками. Она и так больше года не курила, имеет право.

— Не кури, мамочка, ты же курильщицей станешь, умрёшь быстро! Ну же, не кури, — забарабанил в стеклянную дверь старший сын.

— Я от такой жизни скорее умру! — крикнула женщина, давась слезами. — Иди лучше папочку своего поучи...

— Папка, хватит курить! Все курильщики быстро умирают, я по телевизору видел, — слышалось из комнаты. — Хоть ты не кури, а то мама с тебя пример берёт. Ну же, папка!

От шума в коляске на балконе длинно, словно нехотя, заскрипел младенец. А ведь мог бы ещё полчаса поспать. Женщина смяла окурки и привычно поспешила на зов. Столкнувшись в балконном проёме с мужем, они оба так изогнулись, чтобы не касаться друг друга даже одеждой.

Женщина принялась монотонно качать коляску, отвернувшись к дереву, чтобы никто не видел её слёз. Когда четыре года назад они переехали в этот дом, тополь рос почти вровень с окнами, а теперь почти вымахал почти до самой крыши. Старший сын тоже вырос, гуляет во дворе один. И только она как будто всё время уменьшается, скукоживается изнутри, как сдутый воздушный шарик.

— Мамочка, я открою тебе тайну: мы в садике выслеживаем чудовище, — незаметно подкрался со спины сын. — Его зовут Гордон. Он ростом больше, чем весь наш садик. В одном месте из-под земли выглядывает его большой коготь, а все думают, что это камень...

Сын протиснулся ей под локоть — его голова была круглой и твёрдой как орех, с шёлковой макушкой.

— Ты почему сегодня пришёл с улицы с мокрой головой? Дождя же не было? — вспомнила женщина.

— Два Андрея в нашем дворе такие непонятные. Сначала мы дружили, а потом они стали на меня с качелей плевать. Ну и пусть, зато меня природа любит. Знаешь, почему почки никогда от ветра не трясутся и не падают на землю? Потому что их ветер любит. Со мной даже машины здороваются, они нарочно громко гудят, когда я по улице иду...

Сын явно подлизывался. Утром он притащил с улицы на картонке облезлого котёнка, который едва подавал признаки жизни. Держать в одной комнате с трёхмесячным младенцем такое блохастое, большое существо невыносимо, и котёнок ожидал возле порога транспортировки обратно в подвал.

— Ничего он не заразный, я проверял, — ластясь, снова завёл свою песню сын. — Котёнка или щенка надо просто поднять за шкурку и досчитать до десяти. Если мяукнет — значит, лишаястый, если не мяукнет — здоровый... А наш ни разу не мяукнул.

Младенец в коляске заснул, и женщина на цыпочках перешла на кухню, сын потянулся следом.

— Я много всяких заклинаний знаю, могу и тебя научить, — сказал он, подобострастно заглядывая в глаза. — Если нападёт оса, нужно сказать: «Соль-вода, соль-вода, соль-вода». Оса сразу вспомнит, что ей нужно лететь за солью и водой и от тебя отстанет... Ну, мамочка, ты же у меня такая добрица! Никакой он не помойкой пахнет, а рыбками из аквариума...

— Потом поговорим. У меня голова болит, иди с папой поиграй.

— Ой, мамочка, а ты правда все буквы забыла? А кто мне тогда будет на ночь книжки читать? Только папка, да? Я люблю хорошие книжки, но чтобы там были гордость и немного отвращения... Помнишь, про того богатыря? Там была гордость и отвращение к Соловью-разбойнику.

Сегодняшняя ссора с мужем началась с пустяшного разговора. Все новые книги и журналы прочитывал муж и потом куда-то уносил из дома, она даже заглянуть в них не успевала и скоро все буквы забудет. Ну, а потом пошло-поехало...

Сын уже был за дверью в комнате и звонко выкрикивал детскую считалку:

А на буковке — звезда,
Где проходят поезда,
Если поезд не пройдёт,
Пассажиры с ума сойдут.
Он полез на потолок,
Прищемил себе пупок.
А жена ему в ответ:
— У меня таблеток нет!

— Точно, сроду у неё таблеток нет, — весело отозвался муж.

Судя по голосу, он почти не обижался.

Женщина попыталась подумать о чём-нибудь интересном, подперев рукой щеку, ничего на ум не приходило. Наоборот, голова становилась всё легче и вдруг превратилась в голубой воздушный шарик, отделилась от шеи и медленно поплыла к открытой форточке. Женщина испугалась, что шарик сейчас лопнет или вылетит на улицу, но он не проходил по размеру и застрял в проёме: ни туда, ни сюда...

— Не услышишь, что ли? Ребёнок плачет...

Женщина подняла голову: над ней склонился муж. Оказывается, она незаметно заснула за кухонным столом.

— Кормить пора пацана. Да я и сам не прочь поужинать... Слышь, а шшивогон наш оживает потихоньку, мяукнул, поди жрать хочет. Пусть остаётся, чего уж там?

— Ура-а-а! — завопил от радости сын. — Я сочинил стихотворение. Родители, слушайте меня все:

Кошка — это вам не сигара.
Кошка — рай на земле всегда.
От сигареты просто кайф.
А от кошки целый рай.
Сигару выкурил, и всё.
Но кошка в сердце остаётся навсегда!

Как вам?

Пока женщина пеленала младенца, целуя его в серьёзный, сморщенный лобик, сын принёс в комнату котёнка и объявил:

— Его зовут Гордон. Он вырастет великаном — и всех нас будет охранять.

ХОККУ ПО-РУССКИ

— **Д**ерево за окном... как оно называется?

— Американский клён, вроде.

— А не японский?

— Откуда тебе японский? Ладно, гляну сейчас.

Валентин достал из кармана телефон, начал тыкать в него пальцем с чёрным ногтем. Неделю назад молотком отбил, до сих пор смотреть жалко.

— Клён ясенелистный, американский или калифорнийский, — произнёс громко, почти по слогам. — Пишут: агрессивное дерево-сорняк... клён-убийца. Хоть руби его, хоть жги, всё равно выживет. От сгоревшего пня до двадцати новых побегов вырастает. Ну пока, мне на стройку века пора.

Сын теперь приходил раз в неделю, по субботам: загружал продукты в холодильник, выносил мусор, минут на десять заходил выпить чаю и рассказать, как продвигается строительство. От бесконечных забот он заметно осунулся и как-то вдруг постарел: скорбный профиль, брови домиком, залысины на полголовы.

С удивлением вслушивалась Вероника Петровна в незнакомые слова: вагонка, гипсокартон, гофра, шуруповёрт, серпянка — забавные, как из детской песочницы.

На столике возле кровати — поднос с двумя чашками, сухое печенье и несколько разноцветных кусочков мармелада на блюде. Так и должно быть в комнате для чайных церемоний: ничего лишнего. Сочетание простоты и бедности, которое японцы называют «ваби-саби», или печальная прелесть обыденного.

В чайном ритуале ча-но-ю первая чашка чая увлажняет губы и горло, вторая — излечивает одиночество, но до неё обычно дело не доходит.

Когда-то Вероника Петровна работала на крупном химическом предприятии, её посылали в командировки по всей стране и однажды пообещали поездку в Токио. Она купила русско-японский разговорник, проштудировала книгу Всеволода Овчинникова «Ветка сакуры» и даже научилась есть рис палочками — их по рисунку в энциклопедии выстругал Валя. Зарубежная поездка тогда сорвалась, зато любовь к Японии осталась навеки.

Тетрадки с иероглифами, репродукции рисунков Хокусая, вырезки из журналов про японские достопримечательности до сих пор лежали где-то в неразобранных коробках.

Собирались быстро, как на пожар. Вероника Петровна и опомниться не успела, как её посадили на такси, перевезли в трёхкомнатную квартиру сына и положили в маленькой угловой комнате на кровать.

Всё было как во сне: вышла в магазин, вроде бы шла по тротуару, вдруг сзади машина толкнула. «Скорая», больница, операция, перевязки, постельный режим. Два месяца домой, как по расписанию, приезжали сын, невестка Наталья, внук, но сколько можно через весь город? Легче к себе забрать, а в однокомнатную квартиру в Заводском районе внука с семьёй переселить.

И вот — пустая квадратная комната. Никаких картинок, фотографий, ковриков. Кровать, тумбочка, стул и дерево в окне четвёртого этажа — как картина-какэмоно на развёрнутом шёлковом свитке. К полудню тёмно-лиловая ткань выпцвевает до белизны, и кажется, что за несколько часов проходят столетия.

Чтобы не затосковать на новом месте, Вероника Петровна взяла себе за правило каждый день сочинять по одному хокку про дерево, потому что ничего другого перед глазами не было. Не всегда получалось уложиться в точное количество слогов — пять, семь и снова пять — и свои трёхстишия она снисходительно называла «хокку по-русски».

Капля дождя.
Зачем целуешь украдкой
Ветку сухую?

Примерно через неделю после переезда в комнату вошёл Димка, сел возле кровати и стал о чём-то говорить, прикусывая нижнюю губу. Внук и в детстве, когда волновался, кусал губы и смешно двигал из стороны в сторону ртом, как маленькая обезьянка.

Сквозь свист слухового аппарата Вероника Петровна не сразу разобрала, что Димка уходит из дома, потому что полюбил Аню. Но Марину со Славиком он всё равно не бросит и материально будет им помогать. Сегодня утром Димка наконец-то во всём признался жене, объяснился с родителями и вот теперь зашёл попрощаться с бабушкой.

Вероника Петровна молча гладила руку внука, не зная, что сказать. Странно было слышать от него такие тяжёлые, взрослые слова, как «развод», «алименты», «идиотка». Чёрные тонкие усы совершенно не шли к пухлым Димкиным щекам и казались приклеенными.

Тишина в квартире изменилась. Марина заперлась в комнате и не пускала Славика даже на кухню.

Валентин молча приносил еду на подносе и старался скорее уйти. Наталья — завуч в школе, женщина с железными нервами, с которой у Вероники Петровны всегда были сложные отношения, — и та ходила по дому с красными, заплаканными глазами.

По восточной философии время бывает календарное, а бывает событийное, или историческое. Начинается историческое время всегда неожиданно. Это можно сравнить, когда от маленького упавшего камешка в горах происходит обвал, который будет длиться до тех пор, пока вниз не просыплются последние песчинки.

В трёхкомнатной квартире наступило новое время. Устойчивый и старательно налаженный мир семейного благополучия в одночасье рухнул, и никто не понимал, как построить его заново.

Наконец Валентин зашёл поговорить и присел на край кровати. Ничего не поделаешь, жизнь продолжается, и Димке, единственному сыну и внуку, в любом случае надо помочь. Тем более выяснилось, что его новая Аня ждёт ребёнка, может быть, даже двойню.

В квартире Вероники Петровны на дальней окраине Заводского района молодые жить не хотят, но выход найден. Пока что они приютились на даче — в частном домике без удобств в центре города, доставшемся Наталье в наследство от родителей. Но если там провести газовое отопление, сделать пристройку для кухни и нормального санузла, то без всяких кредитов и ипотеки у Димки будет приличное жильё.

Марина со Славиком со временем переедут в однокомнатную квартиру в Заводском, всё-таки тоже родной внук, и через год она уже выйдет на работу. А Веронике Петровне можно не волноваться, для неё ничего не меняется. В любом случае, ей теперь нельзя одной жить.

Как-то в комнату забежал Славик и притаился за тумбочкой.
— Давай с тобой в Японию играть, — сказала Вероника Петровна.

Славик кивнул, прислушиваясь к шагам в коридоре. От волнения он прикусил нижнюю губу и широко раскрыл озорные Димкины глаза.

— По-японски это называется дза-бу-тон, — показала Вероника Петровна на маленькую подушку для сиденья.

— Дза... дзу... бу... — тонко зазвенел Славик, делаясь похожим на остроногого комарика.

— А день по-японски — хи. Легко запомнить: хи-хи. Прошёл — и вот тебе хи-хи-хи...

Славик тоже неуверенно захихикал. Но тут в комнату забежала Марина, схватила его в охапку и потащила к себе. Она постоянно была не в духе.

В начале мая в гости к Веронике Петровне пришла Люся, бывшая соседка.

Валентину пришлось заранее договориться с Мариной, чтобы та в назначенный день была дома и по звонку в домофон открыла дверь. Весной они с Натальей каждый день после работы ехали на свою стройку и часто оставались там ночевать, валясь с ног от усталости.

Веронику Петровну теперь кормила Марина, за что её тоже обеспечивали продуктами и освободили от платы за жилплощадь. Еда часто была пересоленной, словно обильно приправленная слезами.

— Одна кукуешь? Ну и где же, Верунчик, твои вещички? — с порога спросила Люся, оглядывая комнату, и сама же ответила: — А я тебе скажу, где: на помойке за гаражами. Пошла я на днях в погреб к Валентине с первого этажа свёклы взять, у неё с зимы много остаётся, гляжу: батюшки мои! Все твои книжки, открытки, тетрадки в грязи валяются... Я халат твой с журавлями сразу в луже узнала, весь как собаками разодранный.

Громогласную подругу Вероника Петровна хорошо слышала и без аппарата, но притворилась, будто не поняла, и ответила не сразу.

— Да знаю я. Сама им велела коробки туда вынести, — сказала как можно спокойнее. — К чему сюда лишние вещи тащить, квартиру захламлять. А тетрадки? Пусть их... Что запомнила — то и моё.

— Давно бы так! — почему-то обрадовалась Люся. — Сколько можно голову бесполезной чепухой забивать? Пора тебе на землю спуститься... Значит, тут теперь кукуешь? Слушай, я вашу Маринку сразу и не узнала: чёрная стала, как ведьма, и со мной даже не поздоровалась. Тебе, Верунчик, нормальный соцработник нужен.

— Соцработники одиноким полагаются, а я в семье живу, — ответила Вероника Петровна.

— Не одинокая, как же! И где она, твоя семья? Бросили тебя с этой ведьмой, а сами, я слышала, второй этаж там себе возводят. Понятно дело, соцработнику тоже платить надо, а им денег много надо... Хоть врач к тебе сюда приходит?

— Зачем? Я и так знаю свои лекарства.

— Как это — зачем? Как зачем? Они обязаны тебя наблюдать. Или твоя карточка до сих пор в нашей поликлинике лежит?

— Вале сейчас не до меня...

— Погоди-ка, как же так? Они хотя бы тут тебя прописали? Карточку тогда бы автоматически перебросили... В паспортный стол, Верунчик, тебя возили?

— Все доверенности на Валентина давно оформлены, я не спрашивала.

— Поздравляю тебя, Верунчик, ты — бомж! — объявила Люся и в изумлении плюхнулась на стул. — По документам тебя нет нигде. Из квартиры твоей тебя, наверняка, выписали, они её продавать будут, сама риелторшу видела, а сюда забыли прописать. Вот изверги! А чего время зря тратить? Не в новый же двухэтажный коттедж тебя тащить, лучше напрямиком на кладбище.

Самурайский кодекс Бусидо («путь воина») гласит: «Настоящая смелость заключается в том, чтобы жить, когда нужно жить, и умереть, когда нужно умереть».

Вероника Петровна молчала, сжав зубы. Только отметила про себя, что лоб, щёки и руки до локтя у Люси покрылись красными пятнами — верный признак подскочившего давления.

— Говорила же я тебе: не соглашайся, не переезжай! Зубами за свои стены держись! — в голос кричала подруга. — Подумаешь, ногу сломала. Не шейку же бедра! Ну, поболит немного, потом, глядишь, и завоцает. Шоколадку тебе на новый год принесли, как же, и ты сразу разнюнилась. За одну шоколадку они себе целую квартиру заграбастали. Иуды! Ограбили тебя, Верунчик, как липку. Но я этого так не оставлю. Мы с тобой так просто не сдадимся, сейчас заявление будем писать, во все колокола бить. Ишь, семья, родные! У меня нет никого, так в гробу я таких детей и внуков видела. Фашисты они у тебя! Сволочи!

— Замолчи, — строго сказала Вероника Петровна. — У меня хорошие дети. Не буду я ничего писать. Иди-ка ты домой, Людмила, спасибо, что навестила, устала я, отдыхать хочу.

— Ах, так? Гонишь меня? — задохнулась от возмущения соседка. — Подыхать ты тут одна будешь, а не отдыхать! Ты всегда с приветом была. Мы все возле подъезда на лавочке сидим, а ты одна на балконе, да ещё с веером... Жалела я тебя, дуру, да, похоже, зря. Спасибо тебе, подруга, за тёплую встречу, за чай с кофеом — век не забуду.

Соседка убежала, а Вероника Петровна заставила себя подняться с кровати. Опираясь на палку, она медленно подошла к окну.

В первый момент ей показалось, что вдруг наступила зима, и Люся бежит по двору на лыжах. Но потом пригляделась и поняла: просто площадки между многоэтажными домами были сплошь заставлены легковыми автомобилями, среди которых почему-то было много светлых.

Люся ловко переставляла перед собой палки для спортивной ходьбы и ни разу не оглянулась на окна, чтобы на прощание махнуть рукой. Она с такой со злостью одной палкой отшвырнула из-под ног бумажку, что стало понятно: подруга больше не придёт.

Как-то поздним вечером в комнату вошла Марина, театральным жестом достала из кармана халата фляжку с коньяком или каким-то другим сакэ и отхлебнула прямо из горлышка.

— Будете? — засмеялась она, широко раскрывая рот. — Или завязали?

Марина откинулась на спинку стула, её длинные тёмные волосы свисали почти до пола, лицо в полумраке напоминало маску с чёрными прорезями глаз и капризно вывернутыми губами. Такие маски носят актёры японского театра Ноо.

Похоже, Марина была основательно пьяна и решила выговориться.

Слуховой аппарат Вероники Петровны окончательно вышел из строя, и она разбирала лишь отдельные слова и обрывки фраз.

Продали... нашу с вами квартиру...тю-тю... шиш... нам со Славиком... на комнату в коммуналке и то не хватит... жабы лицемерные... мы с Митькой со второго курса...клялся...любовь до гроба... одноклассник в Аткарске... с детства меня любит... а я дура... уроды... ждут не дождутся, когда вы кони двинете...эту квартиру тогда тоже продадут, а мне шиш... хоть бы все сдохли... пандемия...надо бежать из города... никогда в жизни больше Славика не увидят ... алименты на карточку... у меня вся жизнь впереди...

В театре Ноо пьесы играют на фоне единственной декорации в виде одинокой сосны. У Вероники Петровны тоже перед глазами было дерево — клён ясенелистный, американский или калифорнийский. Сухие гроздья его семян, подсвеченные из нижних окон, казались тяжёлыми, налитыми золотом.

В синем кимоно
С золотыми цветами
Ночь промелькнула.

Последний раз личная жизнь у Вероники Петровны случилась незадолго до выхода на пенсию. Начальник отдела кадров, симпатичный вдовец Сергей Владимирович Коробейников вдруг начал оказывать ей в столовой знаки внимания. Он был пониже ростом, с животиком и круглыми карими глазами, как у доброй собаки. Дело дошло до того, что Сергей Владимирович предложил вместе сходить в кино.

Вероника Петровна согласилась с условием, что выберет фильм по своему вкусу. В прокат как раз только что вышел фильм «Легенда о Нараями», призёр Каннского фестиваля, а ей давно хотелось познакомиться с японским кинематографом.

Сергей Владимирович купил билеты в пятом ряду, но лучше бы они сели подальше. Мёртвый младенец на оттаявшем после зимы рисовом поле, крысы и трепыхающийся кролик, которого на глазах у зрителей заглывал удав, оказались ещё не самым страшным. Но — секс! Таких откровенных, на весь широкий экран, натуральных сцен секса никто из советских зрителей никогда в жизни не видел. Ну и сопутствующие диалоги: «Сколько у тебя волос на лобке? Хочешь, я сосчитаю?»

Вероника Петровна вжалась в кресло и боялась вздохнуть. Сидящий по правую руку Сергей Владимирович тоже окаменел. После сеанса,

не глядя друг на друга, они бочком вышли из кинозала и молча разошлись по домам.

На следующий день начальник отдела кадров вообще не пришёл в столовую, а через полгода женился на тихой миловидной женщине из планового отдела.

А Вероника Петровна после этого увлеклась самураями.

Наутро после пьяной истерики Марины в квартире появилась новая тишина.

Одолев на костылях привычный долгий путь от кровати до туалета, Вероника Петровна изменила маршрут и заглянула в соседнюю комнату с распахнутой дверью. На полу валялся детский носок в полоску, смятые бумажные салфетки, одежный шкаф зиял пустыми полками. Похоже, Марина выполнила вчерашнее обещание: забрала Славика и ухала к маме или к однокласснику в Аткарск.

Из-за неисправного слухового аппарата Вероника Петровна перестала пользоваться мобильным телефоном, да и зарядка куда-то подевалась, так что позвонить Валентину или Димке она не могла. Оставалось только ждать...

До обеда в квартире никто не появился. Тогда, опираясь по палку-посох, Вероника Петровна двинулась на кухню и шла так долго, что сочинила по пути хокку в стиле Басё.

Весь день я иду
Тропой к водопою.
Цветы на обоях.

В холодильнике обнаружился запас продуктов: начатый пакет молока, почти целая пачка масла, семь яиц, кетчуп, зелень. В пластиковых ёмкостях в шкафу просвечивали рис, гречка, вермишель, мука, сахар, всего понемногу.

Вспомнилась сцена из «Легенды о Нараями»: сыновья мастеров для матери гроб, а она выходит на улицу выплеснуть помойное ведро.

«— Мама, разве ты не умерла?

— Нет ещё. Съела чашку риса, мне и полегчало».

Японцы своим национальным символом выбрали цветущую сакуру. Нежные цветки сакуры облетают, не успевая завянуть, что навеивает мысли о красоте и хрупкости жизни.

Вероника Петровна сделала своим символом клён ясенелистный, наоборот, за его живучесть. Когда-то дерево под окном пытались спилить, но из пенька выросли два новых кривоватых ствола и дотянулись до третьего этажа. Их тоже спилили — и клён стал похож на обглоданные куриные кости с торчащими жилами отростков, но вскоре снова покрылся листвой и зазеленел. Круглый год сухие кисти семян-самолётиков крепко держались на его ветках как привинченные.

Валентин Сергеевич вышел из лифта и остановился возле входной двери. Ноги сделались ватными, руки дрожали и не сразу смогли найти на связке нужный ключ.

Прежде чем войти, он снова мысленно повторил про себя всё, что твердил всю дорогу.

Никто ни в чём не виноват, он сам чуть не умер, две недели в реанимации пролежал с коронавирусом. У Натальи дома полная изоляция, температура под сорок. Когда очухался, перевёл Маринке деньги, никто же не знал, что она уехала в свой Аткарск. Вроде бы Димке позвонила, наорала как всегда, тот не понял ничего, к тому же как раз в своей геофизической командировке был на краю света. Три недели мать тут одна, почти месяц. Наталья телефон похоронного агентства дала. Или сначала надо в милицию звонить? В любом случае — вначале войти...

В квартире вкусно пахло оладьями. Мать стояла на кухне и что-то готовила возле плиты. Величественная, прямая, с седыми волосами, собранными в пучок на затылке. Свободной рукой она опиралась на плиту, а палка торчала у неё из-под халата как самурайский меч.

Вероника Петровна заметила сына, который сидел в коридоре прямо на обувной полке.

— Валя? Ты почему там? Ты плачешь? Что случилось? — спросила она как прежде, когда сын зарёванный возвращался из школы. — Тебя кто-то обидел? Скажи, кто? Ну что ты молчишь?

И в этот момент лицо у неё было молодое, ясное — как на той фотографии, когда однажды после командировки она перекрасилась в блондинку.

СКИДКИ-СКИДКИ-СКИДКИ...

На самом деле Серёга почти уже жениться на ней решил. А что? Симпатичная женщина. И характер нормальный. Как сейчас говорят, стрессоустойчивый. В «Пятёрочке» на кассе все на него прямо зверьми смотрели. А эта всегда с улыбочкой.

— Товары со скидкой желаете? Кофе растворимый, килька в томатном соусе?

Или, один раз:

— Денежки на ленту не кладите — засосёт. Тут недавно одна тысячную положила, потом полдня разбирались.

Спрашивает однажды:

— У вас есть карта нашего магазина? Как же так? Ай-ай-ай, надо непременно завести.

— На кой мне ваша карта? — удивился Серёга.

— Будете бонусы накапливать и на рубли их менять. Одна моя знакомая на пенсию уходила, так для своих на работе стол по карте накрыла, чем не экономия?

В другой раз посмотрела на Серёгу с прищуром и поинтересовалась как бы между прочим:

— Не на пенсии?

— Какая пенсия? — покраснел он от обиды. — Ещё и полтоса нет. Мне до пенсии пахать и пахать как до Луны.

Вообще-то Серёга поначалу не очень обращал на неё внимание. Просто отметил про себя, что лучше к этой, вежливой, на кассу идти. А тут как-то дома кошелек забыл, пришлось за хлеб с сигаретами мелочью из кармана расплачиваться. Стал возле кассы считать беленькие и жёлтенькие монеты, а она смотрит на него в упор и загадочно улыбается. От этого её пристального взгляда он два раза со счёта сбился, не выдержал и рявкнул в сердцах:

— Чего ты у меня над душой стоишь? Сядь хотя бы, перед глазами не маячь.

— Мне нельзя, — ответила она грустно. — Я бы с радостью, но нам со вчерашнего дня запретили за кассой сидеть.

Серёга прямо в осадок от таких слов выпал.

— Как это — запретили? Весь рабочий день, что ли стоймя стоять? Ноги отвалятся.

— Сказали за кассой стоять. Из уважения к вам, покупателям. Новый директор велел.

И тихо засмеялась, с ямочками на щеках.

— Сколько же у вас тут смена? Восемь часов, не меньше? Да от такой работы все вены наружу повылазят!

— В табеле закрывают восемь, а работать иногда приходится и все двенадцать. Если сменщицы болеют.

— Фашисты! Надо мной даже в армии так не измывались, — вскипел Серёга. — Покажи мне вашего нового директора! Я с ним поговорю, и он у меня сам потом месяц присесть не сможет. Тьфу ты, опять сбился со счёта...

— Да не волнуйтесь вы так! Нам разрешают перекуры минут на десять, и перерыв на обед...

— А вы какие курите?

— Никакие. Я чай травяной пью. Только скучно одной. Кассирам же полагается по одиночке обедать, чтобы очередь не создавать...

А очередь на кассе за Серёгой давно собралась: один что-то кричит, другая железной корзинкой трясёт, а кассирша и бровью на них не ведёт.

— Надо же, какой чуткий, переживательный мужчина, — засмеялась она, и опять с ямочками. — Защитник угнетённых. Сейчас это большая редкость. Только новый директор совсем ни при чём, ему правила сверху спускают. Давайте-ка сюда вашу мелочь, а то очередь волнуется.

Перегнулась она через кассу и стала помогать Серёге отсчитывать на ладони восемьдесят пять рублей пятьдесят копеек, острым ноготком щекотать. А он уставился на её указательный палец с белыми завитушками по красному лаку и задумался про себя: вот же силища! По двенадцать часов как солдат за кассой стоит и ещё успевает каждый свой ноготок как картинку расписать.

После того раза Серёга стал ещё чаще в «Пятёрочку» заходить. Бонусную карту завёл, фамилию кассирши узнал, а имя ещё раньше по карточке на груди прочитал: Наталья. Скоро им всем в «Пятёрочке» опять сидеть за кассой разрешили, не получился эксперимент. Хотя если взять

конкретный случай с Серёгой, то сближение сотрудников магазина с покупателем очень даже произошло.

Как-то в свой выходной день Наталья к себе домой Серёгу пригласила. Он ей ещё раньше выложил начистоту, что подыскивает себе жену, надоело одному мыкаться. Да и мать все уши прожужжала: мол, разведённые мужики как мухи быстро дохнут, кто от пьянки, кто от сердца, и скорую помощь некому вызвать. А женатые — живут себе спокойно до глубокой старости.

Дома у Натальи было чисто, пахло духами сладкими, а в ванной так вообще целый магазин из всяких кремов и шампуней на полках. Угощение на столе хорошее: сыр, колбаса в нарезке, всё лучшее из «Пятёрочки». Вино, правда, Серёга сам принёс, не с пустыми же идти руками. Так Наталья его за это даже поругала, что зря деньги тратил, у них в магазине для сотрудников большие скидки.

После лёгкого перекуса Наталья в ванную ушла, а Серёга стал по квартире гулять и с хозяйским видом вокруг присматриваться: тут на комодке ручка декоративная отвалилась, надо бы заменить, там дверца на одном шурупе еле держится. Сразу видно, что в доме давно мужика не было, много всяких неполадок накопилось по мелочам. Взял Серёга с книжной полки фотографию в рамке поглядеть: на фоне моря стоит Наталья, рядом с ней девушка в купальнике с длинными волосами, на обратной стороне надпись... Опаньки!

В этот момент как раз Наталья из ванной в шёлковом халате с малиновыми розами вышла, вся из себя смущённая и загадочная.

— Кто это тут с тобой? — показал ей Серёга на фотографию.

— Подружка, — отмахнулась она беспечно. — Мы с ней летом в Анапе вместе были.

— А почему на обороте написано: «Любимой мамочке»?

Наталья вспыхнула малиновой розой и сказала недовольно:

— Странная у людей манера: по чужим шкафам лазать... Ты, Сергей, мой салат из кальмаров ещё попробуй.

Серёга за стол сел, а фотография никак из головы не выходит. Резиновых кальмаров жуёт, а сам исподтишка Наталью разглядывает. Прикидывает, сколько ей лет, если дочка уже такая взрослая. Лицо беленькое, круглое, без морщин и подозрительно гладкое, щёки от крема блестят.

— Слушай, подруга, сколько тебе всё-таки лет? — не выдержал и прямо спросил Серёга.

— А в чём дело? Я не нравлюсь тебе как женщина? Тридцать восемь. Устраивает?

— Брось, давай. Дочке твоей четвертной, если не тридцатник. Ты что, во втором классе её родила?

Наталья от злости губы сжала, но свою профессиональную стрессоустойчивость не потеряла.

— А ты, Сергей, оказывается, грубый и невоспитанный человек, — сказала дрогнувшим голосом. — Кто тебя только воспитывал? Не ожидала... Я же

не спрашиваю тебя про жену, детей, сколько тебе лет? Для первой встречи это необязательно.

— А мне нечего скрывать. Сорок восемь было в марте. С женой развёлся ещё в прошлом веке. Детей нет. Мать говорит, надо завести. Ты как, родишь мне парочку?

— Тебе домой пора, — резко поднялась Наталья из-за стола. — Вспомнила: мне срочно в одно место сходить надо, пока там не закрыли...

— В пенсионный фонд, что ли?

— Хам! Может, и туда... Твоё какое дело? Уматывай отсюда.

— Да я и сам хотел... Знаю я таких: прицепятся, хуже чем репей. Чао какао, бамбино! Тоже мне, скидки: намалевалась на тридцать пять, а самой сто лет в обед...

— Проваливай, пока милицию не вызвала. Живо!

Серёга вразвалочку вышел в коридор, неторопливо обулся, снял с вешалки пальто — оно как-то особенно солидно смотрелось рядом с рабочей курткой Натальи, где на спине пятёрка с надписью: «Подскажем, что, где, почём». Перед уходом посмотрелся в зеркало, и увидел, что по бокам натыканы какие-то детские рисунки, а на одном из них кривыми печатными буквами написано: «Любимой бабуле от Артёма». Что и требовалось доказать!

С того дня Серёга стал за продуктами в «Магнит у дома» ходить. Наталью он больше не видел, но мысленно часто с ней разговаривал и спорил, особенно по ночам. Ну, никак ему это история не давала покоя. Что за жизнь вообще пошла? Скидки, бонусы, какие-то кэшбэки, в продуктах красители, консерванты, пальмовое масло, даже женщины — и то не настоящие. Только и думают, как бы надурить и возраст скинуть. Хорошо, что у них с Натальей ничего не было, не отвязался бы потом. А с другой стороны: что уж тут хорошего? Лучше бы он потом на книжную полку за фотографией полез, и без всяких кальмаров.

Как-то не выдержал и рассказал за ужином матери, как чуть с «бабулей» не связался, так та и не поняла ничего. Спросила: да на кой тебе, Серёжка, дети свои сдались, какой в них толк? Одни мучения до самой старости, по себе знаю. Люди по-всякому живут, вон, на Аллу Пугачёву с Галкиным посмотри, а ты чем хуже? Главное, чтобы женщина была хозяйственная, спокойная, чистая и с твёрдым характером — тебя, дурного, на привязи держать.

Как-то утром Серёга не выдержал и в «Пятёрочку» зашёл, чтобы с Натальей помириться. Встал, как положено с покупками в очередь.

— Пакет надо? Карта магазина есть? — автоматически спросила кассирша и подняла на Серёгу глаза. Знакомые такие, светло-серые. Но они сразу же сделались какими-то скучными, пыльными, с чёрными пауками приклеенных ресниц.

— Ага... сейчас... есть карта... столько времени зря попадала... — засуетился Серёга, изобразив на лице фирменную, виновато-озорную улыбку.

— Не надо доставать, — сказала Наталья с ледяным спокойствием. — Я вам уже пенсионную скидку пробила.

Владимир Карпенко

Владимир Николаевич Карпенко родился в 1968 году в посёлке Знобь-Новгородская Сумской области. Публиковался в альманахах «Облака», «Галерея», в областной газете «Весть». Выпустил малым тиражом книгу «Птица в рукаве», за которую получил премию имени М. Цветаевой для молодых авторов. Живёт в Калуге.



СВЕТ ИЗНАЧАЛЬНЫЙ

* * *

Вопреки, неведомо откуда,
Вечно к небу голову задрав,
Шло по жизни этакое чудо,
Сто синичек прятало в рукав.

Им тепло и сытно было в зиму,
И не снились добрые коты.
Исполняло чудо для любимых
Самые заветные мечты.

Всё сбывалось, а для ротозея
Уплывало вдаль, за окоём,
Облако похожее на змея,
Огненным пронзённое копьём.

Лето на память

Аромат аира,
Марево реки,
Из другого мира
В травах мотыльки,

Синие стрекозы,
Сонная вода
Не приснятся, может,
Больше никогда.

* * *

Рыжей луне—облако,
Робкой душе—разговор,
Острому ножкику—яблоко,
Только ветру—простор.

Собаке бродячей—друга,
Дереву—певчую птицу,
Сердцу—искусство слуха,
Только небу—зарницу.

* * *

Шире неба руки раскидав,
Он парит, не ангел и не птица.
Выше—безвоздушная среда,
И нельзя уже остановиться.

Комната. В распахнутом окне
Звёздочка холодная упала.
Мальчику, летящему во сне,
Мама поправляет одеяло.

* * *

Падает, падает свет изначальный,
Небо прозрачно до дна.
В травах несокошенных мальчик печальный
Поздно гуляет без сна.

Всмотришься, влюбишься, мир фиолетовый
Крыльями режет сова,
Мальчик гуляет по краешку лета
И собирает слова.

* * *

Гул состава, уходящего
От заброшенной платформы.
Свет целует сладко спящего
Рядом в одиноком доме.

Лето. Буйствуют растения,
Кот крадётся в сонной чаще.
Кажется, ещё мгновение,
И тебя коснётся счастье.

* * *

Среди трав, у неба с краю,
Я босой во сне гуляю.
Где у самой мглы тихи,
Льются родником стихи,
Горькие, как райский мёд.
Кто в них сердце окупёт?

* * *

Вертоград. Смолы кедров и сосен,
Вечность в солнечном пении птиц.
Сад цветущий, не знающий осени,
Рядом отблески дивных зарниц.

Омываемый неба ветрами
И органно поющий в ответ,
Всеми красками, всеми мирами
Попирающий время и смерть.

* * *

Лучше звёздное небо
Смотрится из-под моста,
Как соль на корочке хлеба,
А рядышком высота.
Можно каждую звёздочку
Просто лизнуть языком,
Ангел в серебряной лодочке
Близко и далеко.
Ночь, и не горько—солону,
И от того светлей,
Что солнышко нарисовано
Пальчиком на стекле.
Лето в самом начале,
Воздуха—через край,
Лодочка у причала,
Озеро, детство, рай...

* * *

Человейники бетонные,
В лабиринте шум машин,
За проёмами оконными
Одиночество души.

Как спрессованным без жалости
Коротать железный век?
Вероятно, не от старости
Умирает человек.

* * *

Глядят в небеса человеки,
А там полноводные реки
Горят негасимым огнём,
И мы растворяемся в нём.
Небесные чудо-теченья
Полны неземного свеченья.
В разрыве мерцает звезда.
Чьё сердце попало туда?

Юрий Убогий

Юрий Васильевич Убогий родился 19 сентября 1940 года в Курской области. Окончил Воронежский медицинский институт и Высшие литературные курсы. Более двадцати лет работал врачом-психиатром. Автор многих книг и публикаций в журналах. Лауреат премий «Отчий дом» имени Леонида Леонова, «Большая литературная премия России» и других. Член Союза писателей России. Живёт в Калуге.



ОБРАГ

Дедчайшее было событие, в одночасье изменившее жизнь огромной страны и всех в ней людей поголовно. Чем-то открытие памятника напоминало: сдёрнули покров и увидели ошалелого, с вывернутыми карманами человека.

Вот и мы зашли с сыном утром первого января 92-года в ближайший большой магазин, новые просмотрели ценники, прошлись вдоль витрин, переглянулись, а потом и смеяться стали. Странная реакция, но, поозиравшись, поняли, что мы в ней отнюдь не одиноки. Так откуда ж она? А от той простоты, с которой всех нас, весь народ то есть, оставили вдруг в дураках. Предупреждали, конечно, о грядущем отпуске и росте цен, но не в десять же раз! Ну что тут было делать? Конечно, посмеяться над собственной глупой доверчивостью. Хорошая на первый момент реакция. И ещё оживление некоторое среди людей в магазине было заметно от резкой перемены к худшему. Пусть хуже, но зато по-другому. Обновление!

А вскоре, куря ночью сигарету, поймал себя на том, что дым подольше в груди задерживаю. И опять засмеялся: предел экономии, как будто это не табак, а травка какая-нибудь дорогая. Много потом эпизодов похожих бывало, и хорошо, что сначала посмеяться духу хватило, ну а потом, глядишь, и помрачнеть.

Шёл в ту же пору по рынку и услышал: «Дед, махорки купи!» Впервые меня вот так, со стороны, дедом назвали — окликнули. Продавал мужичок махорку не пачками, а стаканами из мешка, как бывало в детстве на поселковом нашем базарчике. И именно от этого на душе потеплело как-то. А потом Василий Васильевич Розанов вспомнился, который, живя в Сергиевом Посаде в 18-м году прошлого века и будучи страстным курильщиком, окурки у чайных и пивных собирал. И это тоже странно согрело. Типичная наша картина: как только очередной «обвал» социально-экономический, так перво-наперво с солью и куревом зарез. До сбора окурков у меня, правда,

не дошло, но недокуренную сигарету несколько лет обратно в пачку засовывал. И в этом тоже была некая теплота из детства, собирали мы тогда окурки папирос и различали с первого взгляда, до мундштука бумажного докурено или ещё с табачным остатком. Остаток бывал изредка большой, в половину, и назывался такой окурочек «богатым».

* * *

Ранней весной того же года ехали с сыном на лыжах и увидели, что на дне нашего, близкого к дому, оврага колья, вешки, стало быть, расставлены-вбиты. Участок, значит, кто-то застолбил. Обсудили, опять посмеялись: «Клондайк-де», золотоискательство напоминает, а потом и посерьёзнили, и помрачнели. Решили, что надо и себе участок застолбить, и сделали это вскорости. Странно было в землю, снегом покрытую, колья вколачивать. До холода в спине: к гладу и мору готовимся, что ли?

Недели через две иду в ранних сумерках по почти бесснежной уже земле и слышу сильные, эхо в овраге дающие, удары железа по железу. Пошёл на звук и увидел мужика, стоящего на торце железной бочки и трубу железную в землю вбивающего. Ограду, выходит, вокруг своего застолблённого участка человек начал строить. И так это меня вдруг достало! Крайняя какая-то ощутилась в этом нужда, пепелищам и землянкам войны и первого послевоенья близкая. И сближение такое с временем раннего детства уже не согрело, а древний какой-то вызвало ужас.

* * *

Время и раньше было не из лёгких, а теперь наступило и совсем уж тяжкое, вот именно, что «овражное». Руками своими, давно отнюдь не мозолистыми, надо было картошку свою засушную добывать, понимая её как последнюю самую линию обороны. Тогда и пришлось на свою семью-команду посмотреть, насколько она боеспособна и как может показать себя в наступившей заварухе. Матушке моей к началу наших овражных работ было за семьдесят, и участвовать в них она никак уж не могла по возрасту и плохому очень зрению. Опыт же огородных работ имела громадный: почти всю, в сущности, жизнь. Живя с ней вдвоём, имели мы половину небольшого дома и двадцать соток земли. Работала она фармацевтом, и эта огородная добавка была ей трудна. Я помогал, конечно, по мере сил — картошку полон и окучивал, воду для полива носил из колонки метров за пятьсот. Ну и посадка-уборка, само собой. Тяжёлое это дело, большие огороды иметь. Так, помню, и говорили буквально: «Вот пойдут огороды, света белого не увидишь». И так же она потом, у нас живя, тосковала по этой огородной торговле! Стоит, смотрит, смотрит, как мы работаем, и, чувствую: плачет без слёз внутри себя. И если удавалось хоть что-нибудь сделать — счастлива была. Как-то сажали мы с ней рябину под окнами, и она вся сияла, потому что саженцы при закапывании поддерживать могла.

Успели мы сводить её и в овраг, на наш участок. Долгое было шествие с её возможностями и местностью, весьма пересечённой. И печальное для

неё, конечно. Жили-жили, работали-работали, и вот в овраг какой-то идём, в котором надеемся подкормиться...

О происходящем в стране она меня почти не спрашивала. Мудрая была, догадывалась, что я ей немного объяснить смогу. Радио, однако, в своей комнате слушала постоянно. Как-то спросила: «Что ж, и Ленин теперь плохой?» «Говорят, что так...» «А что же дальше будет?» «Будем надеяться, что лучше». Вдохнула: «Пока солнце взойдёт, роса очи выест...»

Жена Ирина работала психиатром в больнице, рядом с которой мы и жили. Острое отделение, всё сложно, ответственно, напряжённо. Особенно в «новые» времена трудно стало, *наплыв* больных увеличился резко. Раньше-то многие из них сторонились больницы, а теперь стали воспринимать её, как некий островок спасения в опасном, обезумевшем прямо-таки мире. Казалось, местами поменялись психиатрическая больница и обычная, повседневная жизнь.

Работник Ирина поразительный, про таких именно говорят — в руках всё горит. И умела она все огородные дела делать уж если не лучше, то во всяком случае быстрее нас всех.

Андрей, сын, работал хирургом в больнице скорой помощи. Там тоже, конечно, работы резко прибавилось, а обеспечение лекарствами и всем остальным резко упало. Медсанбат, а не больница, так говорил. И с работы, особенно с дежурств суточных, возвращался чуть живой, с лицом серым, взглядом замученным.

А землю любил, с детства был у него на нашем огороде собственный маленький участок, и что-то он там растил самостоятельно. Теперь же тяжесть огородной работы на него и легла — всё то, что наибольшего мускульного усилия требует. Рюкзаки, например, неподъёмные, которыми картошку из оврага домой носили осенью.

Очень хорошо бывало вдвоём с ним какую-нибудь работу общую делать. Помню, привезли весной КАМАЗ навоза, для ближайшего, у самого дома, участка, вот мы и перетаскивали его на носилках по густой, по щиколотку, грязи, разговаривая при этом о самом, что называется, «высоком», метафизическом. И так хорошо, естественно как-то совпадали разговор этот — и навоз. В одном они были рядом, только на разных концах.

Жена Андрея Елена учительствовала в школе. Тоже дело из самых трудных, особенно в то смутное, дикое время. И на земле, конечно, работала, если возможность и силы находились.

Внук Дмитрий пережил в овраге первое, по-моему, увлечение: девочкой с соседнего, через ручей, участка. Он за ней всё бегал, а она от него убегала со смехом. Классическая картина, хоть в пять лет, хоть в двадцать пять. Но ведь и работал он тоже, жуков колорадских собирал, называя это: «Ловить мерзавцев...»

У меня работа была лёгкая — редактором в издательстве «Золотая аллея», да ещё и с графиком рабочим свободным, почти надомная. Вот я, компенсируя хоть как-то эту лёгкость, побольше времени в овраге и проводил. Чудесно было одиноко поработать до заливающего глаза пота, а потом

перекурить, сидя на берегу ручья. И писалось мне в ту пору, как никогда раньше — легко и свободно. Самые светлые вещи в те тяжкие, мрачные времена были написаны, словно бы наперекор, в противовес...

Вот такая у нас была овражная команда. И отношения в ней, команде-семье, были тогда лучше, чем когда-либо раньше.

Удивительное совпадение: в начале наших овражных работ посетили нас два моих старых друга, людей очень разных и очень похожих в одном — в прирождённом аскетизме натуры и образа жизни. Жизнь наступила совсем уж скудная, и они, друзья, как бы говорили мне: вот и хорошо, вот именно так жить и надо.

Один из них, Всеволод Катагощин, философом был не по образованию, а по складу личности и ума. Лет тридцать мы с ним дружили и беседы философически-метафизические вели, каждый раз подолгу, по несколько часов кряду. И всё хотелось поглубже, ещё поглубже уйти, как хочется ещё рюмку выпить, хотя пили всегда один лишь чай. И предел хмеля этого метафизического в конце концов обозначался — всё, дальше некуда, хватит. Даже чувство, похожее на похмелье, бывало, когда беседа заканчивалась: неприязнь к подобным разговорам возникала и нежелание впредь их вести. Но проходило небольшое время, и вновь к ним тянуло, как пьяницу к вину. Что же за хмель это был, да и теперь бывает, хоть и гораздо реже? Пожалуй, хмель свободы полной умственно-духовной, когда можно идти, куда хочешь — дальше, глубже, выше...

Любопытно, что объективная оценка этой «глубины» и «высоты», если б она была возможна, существенного значения для меня бы и не имела. Главным и притягательным было субъективное ощущение свободного погружения в сущность вещей и явлений. Профессиональный философ оценил бы такое, возможно, как праздную болтовню, да и скорей всего. Эта мысль, кстати, мне и приходила, особенно с «похмелья» разговорного, и я был доволен, когда статьи моего друга появились в «Новом журнале» и в «Вестнике русского христианского движения». Последняя его публикация, к великому сожалению, посмертная: «Проблема существования зла».

Хорош был мой друг в своей рванине нищенской: настоящий философ-бродяга. Хотя, при всей бедности архивного работника, мог бы и вполне обычно одеваться, но такой уж у него стиль был: нравилось, наверное, нищим бродягой себя чувствовать. И быт в одинокой жизни был у него такой же. Хлеб-чернушка, похлёбка чечевичная, капуста морская да чай. Квартира выглядела тоже вполне по-нищенски, не считая обилия книг. Похоже, судя по воспоминаниям современников, Николай Фёдоров, аскет-философ известный, так жил. Такой образ жизни не только приобретённым, но и врождённым, вероятно, бывает, доставляя человеку некое особенное удовлетворение. Прочитал где-то, как жили вдвоём монахи-аскеты, расстались и потом один написал другому: «Помнишь, как мы наслаждались аскезой?» Рассказал об этом своему второму другу — писателю Владимиру Богатырёву, и он кивнул спокойно и согласно, потому что сам жизнью аскета жил, пришлось это

понаблюдать. И радость, и удовлетворение от этого получал и получает. Минимальные потребности минимальную зависимость от мира иметь позволяют, свободу, насколько она вообще возможна. А большие потребности и большую зависимость налагают, прикованность к комфорту покупному. Заботу, неволю. Ту самую «золотую клетку».

Писатель и по виду внешнему, и по образу жизни очень философа напоминал. И беседовать с ним было не менее интересно, но совсем иначе. Был он немногословен и в немногословности своей очень ёмок и глубок. Скажет две-три фразы, и запомнишь их надолго. И очень конкретен, как чистый, истинный художник. Тут уж никакого метафизического «полёта» не было и в помине, а лишь конкретность и образность. Спросил как-то его о здоровье и услышал в ответ: «Чем дальше, тем лучше. Как валун замшелый». Гуляли с ним недалеко от нашего дома весной памятного 1992-го, он посмотрел на наш овраг с участком застолблённым и сказал: «Ничего, выживем на неудобьях». Угадал, на них мы тогда и выжили.

Правда, два исключения он в своём стиле жизни всё-таки сделал. Одно — сортир во дворе своего дома в орловской деревне Каменке, капитальнейший, чистейший; второе — письменный стол в квартире в Долгопрудном под Москвой, антикварный красавец, очень дорогой. Два таких просвета, отдушины в нищете и аскезе.

Во время его гощения у меня в Калуге гуляли по городу, и он, завидев церковный купол, останавливался непременно, снимал шапку, крестился широко, размашисто — и кланялся, заставляя прохожих недоуменно сторониться. На другой прогулке, за городом, присел вдруг на обочине перед какой-то железкой, начал ковыряться в ней. Оказалось, штучку какую-то блестящую отламывал, чтобы икону свою домашнюю приукрасить. Видел потом у него эту икону, всю окружённую стекляшками цветными, бусинками, фольгой... И с удивлением вдруг почувствовал, что это не смешно, не нелепо, а очень как раз хорошо. Вот прямо из-под ног, из жизни окружающей что-то подходящее найти и самое для тебя дорогое приукрасить. Спросил его однажды, как он одинокую жизнь переносит? Ответил, не задумываясь: «С тех пор, как верю, не бываю одинок». Вот признак веры истинной и дар её великий... Или такое о нём: присел на краю горохового поля и ел созревший горох очень долго, а потом заявил: «Всё, пообедал. Люблю подножный корм». Нечто тут от жизни отцов-пустынников древних христианских есть, питавшихся акридами и диким мёдом. Прочитал где-то в его прозе рассуждение о склонности употреблять что-нибудь попроще. Именно о том, что если б у него был выбор между зубным порошком и пастой, то он выбрал бы порошок по причине именно простоты. Казалось бы, какие пустяки всё это, но тут ведь и громадная, важнейшая, принципиальная развилка для всего человечества: или потреблять безудержно — или самоограничиваться. Первое опасно, а то и погибельно, второе благотворно-спасительно.

А прозаик он первоклассный, дебютировавший совсем молодым в «Новом мире» Твардовского.

* * *

В овраге, с делами своими земледельческими, провели мы шесть лет. Чудесное было место — лужок у самого ручья в долинке такой уютной с крутыми, матёрыми берегами. А сверху небо — всё то же и всё разное в разную пору и погоду. Одну весну и начало лета рядом с нашим огородом даже утка дикая гнездилась, и утят вырастила, и улетела с ними в конце концов. И журавли каждый год летели и летели то на север, то на юг, огромными иногда треугольниками, вызывая в зависимости от направления то радость, то грусть. Мелких же птиц, трясогузок особенно, было великое множество, а однажды пролёт гусей увидеть пришлось, таких мощно-неторопливых, тёмно-серых, огромных в низком своём полёте. Царственный был у них и вид, и полёт. И слова Бориса Шергина вспомнились, которые он часто говаривал: «А дни, как гуси, пролетали». Даже ондатру видел как-то в апреле, плыла к верховью ручья. Не было бы у нас многолетней овражной работы, то ни этого, ни многого другого не увидел бы и не узнал...

* * *

С древности и по наши дни существует понятие «гений места». Некий дух, покровитель, хозяин тайный какой-то определённой местности, связывающий человека, душу его с местом обитания. Вот и у нашего околотка такой «гений» для меня есть, чувствуется — наш овраг. И ещё точнее, излучина ручья в овраге с омутком и перекатом каменистым, с берегом крутым, почти обрывистым, с лужком аккуратным, ровным напротив. Даже камень большой, обтёсанный вблизи лежит, в землю вросший, с вырубленной на нём, неразборчивой, полустёртой временем, надписью.

Когда иду по этому месту по тропинке торной, то теплеет на душе. Энергетика особенная, подогрев некий, приятно бодрящий из глубины земли словно бы идёт. И красиво очень, сын в детстве много времени здесь проводил: и один, и со мной, и с приятелями. Вон там, за ручьём, в кустах густых, штаб у них был, тайник, захоронка, как оно в такие годы и полагается. Вот у этого омутка он подолгу сиживал, водяных насекомых наблюдал, а то и ловил и приносил потом в дом. А на этом обрывчике песчаном ос выслеживал. Целый небольшой период в жизни был у него такой энтомологический, и я заодно кое-что в этом смысле почитывал, и кое на что поглядывал. Отсюда, от детства сына, идёт, конечно, часть теплоты этого места овражного. А ещё и история греет — именно сюда, в лесок за оврагом, Наполеон из Москвы шёл к продовольственным нашим складам главным, там расположенным. Шёл, да не дошёл, не пустили. В сущности, в овраг наш не пустили, к гению места нашего.

Именно здесь, на обрывчике над ручьём, возвращаясь с Оки на велосипедах, остановились мы с внуком Дмитрием посидеть-отдохнуть. На четвёртом курсе Смоленского мединститута он, кажется, был. Сидели, переговариваясь неспешно, и вдруг слышу: «Я хочу, как вы с папой, жить». Проняло это меня, дорогого стоит такое признание.

А километрах в трёх от этого места кладбище, где матушка лежит, и мне лежать, конечно. Ну, там другой «гений», деревня Тиньково о нескольких

дворах, где главная святыня земли Калужской была обретена: икона Пресвятой Богородицы. Богородица написана с Библией в руках, единственное такое её изображение.

Думаю, что «гений места» у каждой местности, а, значит, у каждого человека есть, если даже он о существовании этих «гениев» никогда ничего и не знал, и не знает. Просто чувствуется — вот место лёгкое, милое, тянет сюда приходить и быть подольше.

Если уж про «гения места» написал, то надо и дом наш помянуть, неподалёку стоящий: кирпичная восьмиквартирная двухэтажка, расположенная совершенно чудесно: с одной стороны город, подошедший уже вплотную, с другой овраг с ручьём, лесок, пруд, поле. И дальше лес и поле, поле и лес на многие километры. Сколько здесь живу, столько и судьбу благодарю за место такое прекрасное. У самого дома цветы, сирень, шиповник, жасмин, матёрые берёзы, клёны, липы, рябины, груши дикие, цветущие вот именно, что с дикой, ошеломляющей прямо-таки силой. Да и плоды дающие в диком каком-то количестве. Виды из окон дома один другого лучше, особенно со второго этажа, где, прямо над нашей с женой квартирой, сын с семьёй живёт.

Не раз в центре города смотрел с грустью на ждущие сноса старинные, тоже двухэтажные, толстостенные дома с дырами дверей и окон. Заглянешь — Господи, какое всё маленькое внутри, комнатки крохотные. Потому, наверное, что пустые, убитые уже. А какая жизнь радостная и мучительная шла, бурлила, кипела годы многие, столетия даже в этих комнатках, коридорчиках, уголках! Шла, да вся и вышла, только стены помнят её, да и они вот-вот исчезнут...

Наш дом стоит на земле полсотни лет, а мы живём в нём больше сорока. Часто, возвращаясь поздним вечером из Москвы домой, видел я наконец его горящие огни на фоне тёмного или звёздного неба и думал-чувствовал с облегчением, что наконец-то из пустыни громадного города к людям, к жилью человеческому вышел. К дому своему!

В городе Тарусе есть художник, который много лет пишет картины с одним и тем же названием: «Домик, в котором ждут». Вариантов тут множество, чем он и пользуется. Картины маленькие, в ладонь, и покупают их очень охотно. Это можно было бы и заранее угадать — всем хочется иметь домик в котором ждут, хотя бы на картинке. Уютный такой, с оконцами светящимися... А мне такую картинку и покупать нужды не было, меня всегда ждали и ждут — и дом, и родные в нём люди.

Дом был хорош и, главное, мил мне и снаружи, и изнутри — моя крепость, моя хижина, моя берлога. За многие годы совместной жизни мы словно пропитались взаимно: он мной, а я им. И оторвать нас друг от друга было бы, как по живому резать. Два дома в сущности и было у меня в жизни — первый, детский и юношеский, в Тиму, посёлке районном на Курщине, и вот этот, точно уж последний, на окраине Калуги. Между ними многократно и очень по-разному было просто жильё, крыша над головой...

Пять соток целины поднять нелегко, и времени на это уходит довольно много. Копали чаще всего вдвоём с Андреем. Неторопливо копали и так же,

в лад работе, неторопливо разговаривали. Чудесно разговор при такой работе идёт, словно под неким хмельком равномерного мускульного усилия. И открытость, и задушевность бывает тогда совсем особенная, чистая, лёгкая.

Разговор часто в сторону воспоминаний уходит — и общих, и у каждого отдельных. И в сторону родичей, близких и дальних. К предкам, в общем-то, поближе. Земля, наверное, которая была перед глазами и перед лопатой, к этому склоняла, в одном они были рядом: род, родина, земля родная... Недавно, кстати, Андрей по Интернету вышел на «Центр генеалогических исследований» и нашёл там в ревизских сказках за 1756 год пять носителей редчайшей нашей фамилии, казаков разных куреней (полков то есть). Все из Войска Запорожского, переселённого потом Екатериной Второй на Кубань, откуда и отец мой, и дед, и прадед. Глубокий какой корень нашёлся — 250 лет! И так это меня порадовало, будто я награду некую вдруг получил...

Было в нашем овраге и кое-что, напоминавшее мне крохотную курскую деревушку Красный Камыш, в которой мы с матушкой провели всю войну. Ручей, очень похожий на речонку Тим, у которой мы жили, близкий, рукой подать, горизонт там и здесь, небо низкое, как крыша над головой. Потому, может, он и вспоминался мне часто, тот мой Камыш, когда я в нашем овраге одиноко работал. Самые давние это были воспоминания, самые первые.

Копашь, режешь лопатой луговину густо, плотно затравевшую, с сочным, влажным хрустом — словно по живому режешь. Да оно и есть по живому, как же ещё? Зелень молоденькой травки в черноту вывернутой наизнанку земли превращаешь. А вот и ручей совсем рядом, можно остановиться, выпрямиться, спину размять, вздохнуть глубоко, постоять... И вдруг почувствовать, что тебя далеко-далеко, в рай какой-то перенесли: кочки в прозрачной воде, шелковистость травы под босыми ногами, солнце, слепящее не только сверху, но и снизу, одиночество, но не тревожное, а спокойное, надёжное. Словно ты и один, но и под присмотром чьим-то. Не материнским, не людским вообще, а иным совсем. Ты и растворён в окружающем, но и отделён от него, одновременно как-то... Может, это первым шевелением Бога в душе было, думаю я, очнувшись? Лишь в чувстве, без понимания всякого, без слов...

Продолжаю копать и слышу треск мотора, резкий, напряжённый, злой даже какой-то. А это мотоплуг неподалёку запустили, и мужик-сосед идёт за ним, пошатываясь, делянку свою, очень большую, распахивает третий уже день. И опять в Камыш уход: трактор колёсный на дороге, гул его мотора, кольца синего дымка над трубой. Вот надвинулся вплотную, подавив меня и всё окружающее грохотом, колёсами громадными, зубастыми, протыкающими дорогу, вонью удушливой. Хочется убежать, но стыдно. И утешает-успокаивает, что человек живой на этом чудище сидит, весь чёрный, масляно-блестящий, с лицом тоже чёрным, но улыбающимся. Натик, говорили тогда, Натик! Такое, значит, имя было ему, трактору, на человеческое похожее, свойское: Толик, Валик...

Самое сладкое в работе — покурить на берегу ручья, глядя на воду, на водоросли, как зелёные волосы под ветром, на водомерок, танцующих

из заводи вечный свой вальс. Чиркнул зажигалкой, а сразу за ней возникают, проявляются вдруг могучие мужицкие руки. В одной синеватый камень, кремль, прижатый к нему жгут серой ваты, трут, в другой светлая прямоугольная железка, кресало. Удар, удар, удар кресалом о кремль — и сыплются искры, крупные, яркие, на трут падают, и он начинает дымиться понемногу. Мужик дует осторожно, и в вате трута растёт, рыжеет всё ярче огонь. И что-то важное, торжественное чувствуется во всём этом: только что не было огня, и вот он есть, из камня и железа получился на моих глазах...

Кресало было первым металлом, ж-е-л-е-з-о-м, которое запомнилось. А вторым немецкая ложка-вилка оказалась, складная, на заклёпке. Белая, блестящая, из нержавеющей стали, как потом узнал. Крутить её в руках, складывать-раскладывать было любопытно, но есть ею я не мог никак. Думал, ею же немец, враг заклятый, ел! Казалось, что след губ его на ней всё ещё сохранился. Удивительно, что ложка-вилка эта до сих пор цела, семьдесят почти лет! В ящичке со всяким мелким железным хламом лежит, нет-нет, в руки и попадёт. Возьмёшь, и на мгновение оцепенеешь. Одна из старейших вещей в доме, «из той зимы, из той избы...» А того раньше из какого-то неведомого окопа, блиндажа. Крупновская сталь... Не раз выбросить хотел и оставлял всё-таки. Она ж не только немецкая, она ж и наша. Трофей...

Последний раз я был в Камыше человеком более чем зрелым. И он принял меня с тем вечным спокойствием, с которым всегда принимает нас родина, ничего от нас не ожидая и не требуя. Хочешь, люби её, хочешь, нет. Это твоё дело, а она, вот она, просто есть. И какая в этом сила, великодушие и доброта. И какая для нас свобода!

* * *

Первый год был нелёгок не только вскапыванием целины, но и сильной засухой весной и в начале лета. Поливать пришлось картошку вёдрами из ручья. Жутковато было видеть, как пар из горячей, пересушенной земли поднимается, и неведомые жуки-пауки, сколопендры-саламандры какие-то из неё вылезают.

А вообще было прекрасно: копать-сажать, полоть-окучивать, урожай убирать. Опустив руки в землю, как в воду нежно-теплую, достанешь картофелину огромную, овальную, розоватую, и лежит она на ладони, как драгоценность, только что добытая-найденная. Странно и трогательно эта наша картошка называлась: «Детскосельская». Можно, конечно, догадаться, что в Детском селе под Ленинградом, Санкт-Петербургом теперь, сорт этот вывели, но и это ведь приятно. Другие сорта тоже назывались неплохо: «Кристалл», «Лорх», и самый распространённый, какой-то народно-простецкий, но вполне как бы и сортовой — «Синеглазка». Очень мило, как сестрёнку или подружку. А цветение картошки! Бело-сине-сиренево-розовое полотнище ситца громадное лежит перед тобой. И скромное, и роскошное одновременно как-то. Отдельный же цветок изящен и утончён, и даже вдруг ювелирное что-то в себе показывает. И понятным становится, почему когда-то

дамы при французском дворе такими цветками платья и шляпки свои украшали. Полобуешься на всё это, да и вспомнишь картошку послевоенья, когда была она в наших курских местах не вторым хлебом, а первым. Так и говорилось: на картошке сидим, картошкой живём. И памятник ей я прямо-таки вижу: ладонь, а на ней та самая, «Детскосельская», картофелина, как дар Божий, спасительный. Одна из моих любимых картин, кстати, «Едоки картофеля» Ван Гога. Сидят эти едоки за столом, лица некрасивы, уродливы почти, но такой в них, во всех, свет ангельской доброты и любви! И протягивает один из едоков своей соседке картофелину так, словно это не еда самая простецкая, бедняцкая, а прекрасный цветок...

* * *

Посадили картошку, и началось строительство заборов. Я сомневался, что они нужны, но когда у соседей выкопали только что посаженную картошку, сомнения кончились. Смешно это было и горько и даже страшновато: такое сделать! Подобного даже после войны не припоминалось...

На колючую проволоку вдруг возник великий спрос, бухтами небольшими, аккуратными её стали продавать на рынке, и очень дорого. А мы от ограды базы военной, бывшей неподалёку, огромную бухту «колючки» ржавой, своё уже отслужившей, утащили. Прилаживаемся нести, а тут мужик с карабином на плече подходит, и овчарка с ним. Стоит, смотрит, молчит. Внук пятилетний ему и крикнул: «А ты чего здесь делаешь?» Тот ответил не сразу и странно как-то: «Песни пою». И ушёл. Молодец, ведь мог бы и покричать, и прогнать нас хотя бы для развлечения. Может, и сам себе участок для картошки выгородил где-нибудь на пустыре с такой же «колючкой»...

Разбирал я эту бухту громадную очень долго. Казалось бы, нет занятия неприятнее, а ведь привык, едва ли не полюбил его. Да и вообще, все свои физические, ручные работы в жизни вспоминая, думаю, что со всякой можно сродниться, какой-то интерес в ней найти. Ну, почти со всякой, так скажем. Войти в неё, работу, надо и вот изнутри-то она окажется и полегче, и поинтереснее, чем если со стороны только её видеть. И это утешительно. Говорят же, что даже раб галерный в конце концов начинает любить своё весло.

После мороки с «колючкой» надо было заготавливать для забора столбы. Часть оврага неподалёку была густо заросшей осиной, берёзой и ольхой и вот тут-то и началась великая порубка. Крупные деревья не трогали, конечно, а те, что потоньше, так и затрещали под нашим топором и многими-многими соседскими. Неловко, стыдновато было это делать, но успокаивало одно — необходимость крайняя. Ради картошки насущной это творили всем миром, и если был тут грех, то невеликий, простительный. А потом, с годами, оказалось, что порубка только на пользу оврагу пошла: была урема сырая, тёмная, местами непролазная, а стало место светлое, просторное, весёлое. Только пеньки во множестве торчали, да и те потихоньку заросли кустарником и высокой травой.

В конце концов, выстроились заборы вокруг тридцати, примерно, участков, в чём-то разные, но в главном одинаковые вполне — в виде нищенском. Оставалось ждать роста картошки и появления злодеев-воров.

* * *

Когда увидел большой довольно-таки по площади кусок выдернутой и чуть только подвявшей картофельной ботвы и множество маленьких, с орех, клубеньков, то испытал редчайшее, считанное число раз в жизни бывавшее чувство — ярость! И желание поймать того, кто всё это сделал и побить беспощадно. Когда же волна, распирающая грудь и голову, схлынула, удивился на самого себя. Ну, подёртали ботву, ну, сколько-то картофелин мелких сумели найти и унести, пустяк же сущий! Откуда же реакция такая, инфарктная прямо-таки? Много чего за жизнь долгую у меня воровали — деньги, часы, велосипеды, — но никогда ничего похожего я не испытывал. Весь убыток-то теперешний в мелкий грош! И понял тут же, что теперь плод работы прямой, потной украден, вот именно поэтому так и повлияло. Сложная очень была реакция — что-то и детски наивное было в ней, и что-то мудрое, из старины глубокой. Некое первичное преступление было совершено по отношению ко мне — был забор, граница, мною обозначенная, а кто-то взял, да и преступил её...

Прикопал я выдернутую ботву, всю покрытую по краям белыми горошинами, да только не прижилась она.

* * *

Вот и стали мы овраг свой, участки свои драгоценные сторожить по очереди, по графику такому устному. Днём это женщины делали, а по ночам мужики. Брали термос с чаем покрепче, чуть-чуть еды, фонарь сильный, дальнобойный, палки в роли оружия. Много таких объединений огородно-картофельных в городе и вокруг него образовалось, и чего только в них не бывало. Там вышку наблюдательную построили, там вора избили крепко, там подстрелили даже. И в СМИ не раз обсуждалось, как с ворами этими быть, насколько силу к ним применить можно?

В первый раз на караул шли с чувством, похожим на то, с которым новые ценники в универсаме увидели — и смешно, и дико. Ухмылялись, посмеивались с сыном, переглядывались. Дожили, приехали! Идём в овраг с дубьём картошку свою кровную сторожить-защищать. Потом попривыкли и напоминали друг-другу вполне обыденно — наша смена завтра, не забыть...

В начале лета пришлось мне в Москву съездить, и я с некоторым даже удовлетворением увидел, насколько мы в своём картофельно-огородном деле не одиноки: вся полоса отчуждения вдоль железной дороги раскопана была. И успокоился окончательно — конечно, выживем и даже вороватых своих сограждан подкормим.

* * *

Людей в овраге оказалось много, и кое с кем познакомиться и даже подружиться пришлось. Ничто так не сближает, как общее, постоянное, на годы многие, дело. То сдача или приём караула, то отдых-перекур совместный, то нужда в совете земледельцев более опытных, чем ты сам.

Ближайшими соседями были Анна Ивановна, «Баба Аня», как мы её между собой называли, и муж её Николай Иванович. Пенсионеры, в больших уже, по сравнению с нами, годах. Он всю жизнь газопроводы «тянул», а она на стройках штукатуром-маляром работала. Изредка дочь их появлялась с мальчиком лет пяти, явно стеснявшаяся родительского занятия.

Баба Аня поражала живостью нрава и работоспособностью, совершенно неуёмной. Как возьмётся за лопату или тяпку, так и не разгибается и час, и два. Посмотришь в очередной раз на неё, отдыхая, и не верится, что можно в её годы так работать, с энергией такой и напором. И выражение лица на этой нашей овражной работе. Не озабоченность, а какой-то свет, и радость потаённая. Оказалось, что и родители, и деды-бабки у неё «вечные крестьяне», как она выразилась, были — и она, всю жизнь работая на стройках, всю жизнь мечтала до земли «дорваться». Ну вот и дорвалась наконец, в нашем овраге. «Тут мне рай» — её слова.

Муж её Николай Иванович был человеком крутого, тугого замеса и телесно, и душевно. Говорил веско и медленно, часто употреблял, как при словье: «Поймите меня правильно». И ясно так представлялась его работа мастером на прокладке газопровода, тяжкая и грубая, мат-перемат кругом, и вдруг объяснение какое-нибудь и оправдание перед появившемся начальством. Вот тут-то его фраза и была хороша: «Поймите меня правильно». И въелась на всю жизнь, которой оставалось ему уже и немного. Умер на четвёртый, кажется год нашей овражной работы. «На ходу, — рассказывала баба Аня. — На ходу!» В ту пору смерть «на ходу» стала чаще встречаться, так мне казалось. Вот и второй сосед с участка над нами, полковник-врач в отставке, тоже «на ходу» умер. Копался я как-то у себя ранней весной, вижу, сошлись в стороне баба Аня и жена полковника. И вдруг крик громкий горестный, и баба Аня за голову обеими руками держится. Новость узнала — умер полковник на днях. А какой был здоровяк по виду, какие ступеньки от ручья наверх к себе аккуратно вырубил, как ведра с водой носил на участок неторопливо и солидно. И легко, казалось...

* * *

Сразу за участком бабы Ани вдруг пара молодая появилась с ребёнком, мальчиком лет двух. Поздновато они пришли, уже и трава была подросшая, и участок им остался совсем крохотный. Приятная, интеллигентная была пара, и работали они с какой-то особенной тщательностью: слой дёрна, например, срезали, и стряхнув землю, в сторонку откладывали, рыхлили вскопанное, как грядки лишь рыхлят. По инструкции книжной действовали, скорей всего.

Грустно было их видеть — ну что они надеялись собрать с такого клочка? Два мешка картошки в лучшем случае? Тревога, что ли, их сюда привела, тревога о том, что, глядишь, вообще есть нечего будет? Приходили они ненадолго, но часто, и я стал постепенно замечать, как им здесь хорошо. Работают себе дружно и неторопливо, а сын по травке бегаёт или рядом толчётся-мешает. А потом сидят в тени берёзовой на подстилке синей

и перекусывают, и смеются, и с сыном играют-дурачатся. На следующий год они не появились, и я подумал: а вдруг эти месяцы с мая по сентябрь в нашем овраге у ручья окажутся лучшим временем их жизни? И очень может быть...

* * *

Мужик, забивавший ранней весной железные столбы, стоя на бочке, тоже оказался соседом. Пенсионер Степаныч, ещё вполне крепкий, всю жизнь оттрубивший на турбинном нашем заводе слесарем-инструментальщиком. Корневой такой работяга, на которых многое у нас в стране держалось. Он и дом сам себе построил, одним из первых на нашей окраине. Мы брали у него тачки при необходимости — одна оказалась музейной прямо-таки: вся, как из железа целиком вылитая, несокрушимая, на одном колесе. Из первых пятилеток, из лагерей, из войны... Вторая самоделка, платформочка жестяная на велосипедных колёсах. Может, у него и третья была для третьей какой-нибудь надобности.

Настоящим мужиком этот Степаныч оказался, спокойно-приветливым, надёжным, прочным. Думалось, глядя на него, что уж он-то всегда выживет, да и другим поможет. А счастливым я его видел, когда он траву, в ближнем леске накошенную, на своей тележке-платформе домой вёз, а рядом внучка лет семи шла. Сказал, улыбаясь: «Помощница!»

Запомнился вечер знакомства с ним. Сидели с сыном у костерка (ночь дежурства впереди была) и пригласили его к нам по-соседски. Тут я и затеял, не вовремя как-то, дерево небольшое на краю своего участка срубить. Смотрю, Андрей подходит. Оказалось, что Степаныч ему сказал: «Помоги отцу!» Посмеялись, а чего, собственно, было смеяться? Хорошо сказал для первого знакомства.

* * *

В начале нашего оврага есть пруд, в котором мы лет двадцать купались, пока не стал он постепенно очень уж грязным. Любил я после купанья на плотине посидеть, глядя, как пацаны с высокой ограды водостока в воду прыгают и сам с каждым в воображении прыгал то так, то эдак. И казалось, что вечно мог бы вот так сидеть, и не надоело б. Есть занятия и состояния, которые привкус вечности имеют: вот это и было одно из них.

Сразу за плотиной много никем не занятого места осталось, потому чтолюдно, и в смысле воровства и всяческой порухи опасно. И вдруг место оказалось занятым — вагончик жилой там поставили, надо же! Сложное ведь дело — грузить его на платформу краном, везти, сгружать, тоже краном. Весь подъезд к участку колёсами тяжёлых машин был размят, разбит. Серьёзный человек укрепляется, подумал я, и с намерениями серьёзными. Оказалось, пациентка психиатрической больницы, лежащая в ней периодически по поводу депрессий. Средних лет, крупная, сильная, мужеподобная. Огородила участок, самый из всех большой, посадила садик, раскопала землю под огород и стала в вагончике постоянно жить с апреля по октябрь год за годом.

Сад подрастал, огород процветал. Мне, проходящему часто мимо, предлагала порой то огурцов, то кабачков. В больницу за все овражные годы не попала ни разу.

Иду как-то летом к плотине, и вдруг по глазам ударило — вагончик стогрел. Каркас железный остался да кое-где куски жести чёрной, покоробленной на огне. Сожгли, конечно. Хозяйка рядом что-то делает, но подойти к ней у меня духу не хватило.

Немного поуспокоившись, вспомнил из Гёте: «Меня не трогает крах царств и падение тронов. Пожар крестьянского двора — вот истинная трагедия».

Нередко нечто подобное приходилось видеть и в советские времена, и гораздо чаще, после них. Словно бес какой-то людей толкает: разломать, разбить, изуродовать, сжечь... И без малейшего, пусть даже негативного, смысла. Только бы погубить или испоганить. С детства помнятся кучи дерьма на торных тропинках, и собственное недоумение — чего ж было в сторону не сделать хоть шага три?

А хозяйка слепила шалашик в стороне от пожарища, убрала осенью урожай и больше здесь уже не появилась.

* * *

Картошку окучиваю в палящий полуденный зной. Если земля, как сейчас, слежавшаяся, убитая, то нет, пожалуй, труднее огородной работы. Даже ряд тридцатиметровый, примерно, сразу не пройти, приходится постоять на половине. Весь мокрый, конечно, глаза пот разъедает, во рту горечь полынная. Но я, странно, люблю эту работу и именно в зной. Всё мне тут мило — и усилие, и терпение, и усталость, и звон в ушах, и предвкушение скорого отдыха. Ну вот этот рядок добыю — и перекур в тени, у ручья, у воды.

Во время перекура наплывает вдруг давнее-давнее, и похожее, и иное совсем.

...Склон жёлтый, пологий, уходит куда-то вдаль, теряется в туманце знойном, серо-голубом. Щётка стерни блестит скользко, под ногами шуршит, проминается, укалывает лодыжки. Пахнет разогретой на жару пылью, соломой и чуть-чуть хлебом.

Мы колоски в мешочки собираем. Нас много, по склону рассыпанных, бредём и бредём вверх, наклоняясь и выпрямляясь снова и снова. Глаза ловят колоски, а руки вперёд тянутся, хватают их и хватают, и нет этому конца. Колоски шершавые, колючие, упругие. В упругости их есть что-то живое, кажется, выпрыгнуть из горсти могут, как кузнечики.

Сначала работается легко, играючи, но потом становится всё тяжелее. Жарко, голова тяжелеет, пот глаза ест, ладони горят и саднят. Мешочек наполняется медленно, а уминается с обидной, разочаровывающей быстротой — нажал сверху, и будто нет в нём почти ничего...

Помочь надо, сказали нам перед выходом в поле. Стране помочь, которой трудно. Это приятно было услышать, некую особенную значительность делу нашему, такому простому, придало. Стране помочь... А что это, страна? Все люди наши, и вся наша земля. Значит, сами себе и помогаем, вроде бы так.

С приходом утомления и, особенно, жажды чувство значительности нашего занятия тает и исчезает. Такие эти колоски маленькие и так их набралось мало, что уже и невозможно связать их со словами «наша страна», «наша земля». И какое-то далёкое, как укол, чувство жалости к чему-то, к кому-то возникает вдруг. К себе, что ли, ко всем нам, по склону ползущим, к самой нашей стране?..

* * *

Метрах в трёхстах от нашего участка проходит железнодорожная ветка, к месту тех самых продовольственных складов, к которым Наполеон в 1812 году рвался, покинув Москву. В насыпи тоннель для пропуска ручья, очень внушительный. Особенно гранитные блоки, которыми выложены торцы тоннеля, поражают своей величиной и мощностью. Сколько ни ходишь мимо, а непременно на них взгляд остановишь. И что-то говорят тебе эти блоки, что-то успокаивающее, заставляющее замедлить торопливый свой шаг. Высокой тоннель метров в шесть и в пределах досягаемости человеческой руки исписан густо. Слова из времени нашего детства из трёх и пяти букв не встречаются уже, а жаль. Было в них для нас что-то греховно-священное, потому их и писали, а теперь так они обыденно затёрты, что и писать их незачем. А вот о том, кто кого любит, надписей много, и это радует. Есть, стало быть, ещё горячее для продолжения жизни.

Тоннель в жару прохладен, в непогоду уютен, и случается постоять в нём, подумать о чём-то. Ни о чём — а значит, обо всём сразу.

Живое местечко — тут и альпинисты начинающие костыли в зазоры между торцовых блоков каменных вбивают и на тросах потом болтаются, тут и туристы соревнования проводят, бегают по брёвнам через ручей или на тех же тросах через него переползают, тут и парашютисты, тоже начинающие, конечно, бегут с насыпи вниз сломя голову и подлетают совсем немного на парашюте-крыле... И, конечно, всякие любопытные случаи бывают.

Иду как-то со своей картофельной работы и вижу на лужке у самого тоннеля множество детей детсадовского возраста и двух женщин, воспитательниц, стало быть. Надо же, думаю, как далеко зашли, самим, наверное, в такую чудесную погоду прогуляться захотелось. И тут же другое вижу — утка с утятами маленькими совсем плывёт по ручью против течения мне навстречу. Утят, как сейчас помню, девять было. Утка меня увидела и к берегу под нависающую над водой траву повернула, и спряталась там с утятами. Рядом со мной пережат каменистый, бурливый: неужели, думаю, она с крохами такими преодолеть его хочет? Ну и стал за куст, жду. Вижу, и воспитательницы меня заметили: смотрят, переговариваются, смеются. Про утку-то с утятами они не знают и недоумевают, конечно: чего это мужик стал за куст и стоит?

Утка наконец выплыла из-под травы — и к пережатию, а утята за ней. И так они лихо вслед за мамашей его преодолели, меж камней юрко пробираясь по струям сильным, бурлящим, что я в полный восторг пришёл. Прохожу потом мимо воспитательниц, и одна из них спрашивает с улыбкой: «Что это

вы там высматривали? «Утка с утятами проплывала», — говорю. «Ой, и нам бы посмотреть!» И побежали они с детьми вверх по ручью, только ничего, наверное, не увидели...

Вспоминал я этот случай с грустью какой-то прощальной, как ни странно. С грустью, потому что ничего подобного теперь не может быть никак. Ужас перед маньяками-недоделками накрыл не только страну, но, кажется, и весь мир. Тут уж и гулять так далеко с детьми не уйдёшь, и с мужиком, за кустом прятавшимся, приветливо не заговоришь. Тут полицию сразу вызывать надо.

Всю жизнь я с детьми и ближними, дворовыми, и иными-разными пообщаться любил, имел такую слабость. И они меня отнюдь не чурались, особенно когда бороду белую завёл. Что-то дед-морозовское во мне их, похоже, привлекало. Сижу недавно в нашем скверике ближнем и чувствую вдруг чирканье по спине раз и другой. А это девчушка лет пяти каким-то хлыстиком со мной забавляется. Станный такой хлыстик, покупной, что ли? Спросил её об этом, она начала отвечать, и вдруг такой ужас в глазах у неё плеснул! Повернулась на полуслове, и бежать во все лопатки. Всё ясно. Наказы родителей вспомнила... Да я и сам теперь, если даже ребёнок и подойдёт, и заговорит, тут же его, что называется, «отшиваю».

Помню, в пору оврага ещё, подсели ко мне на лавочку в том же скверике маленький, спокойно-важный толстячок с девчушкой. И так хорошо мы посидели, поговорили «за жизнь». Теперь уж так не посидеть...

* * *

Кроме земли, помогала выживать и живность всякая-разная. С того же 1992 года начались по ночам петушиные крики — и на нашей окраине и, рассказывали, даже в центре города. У нас петухи кричали дружным хором, по часам, как в настоящей деревне. Да что там наши петухи — в Обнинске, безусловно ухоженном городе науки, возникли кое-где на месте уличных газонов загончики такие аккуратнейшие, с оградками изящными, художественной почти выделки. А внутри куры во множестве. И так всё это выглядело приятно и мило, что можно было и оставить навсегда...

Появились у нас и коровы. Пасли их чаще женщины интеллигентного вида. У каждой пастушки две-три коровы, крупных, выхолощенных, с большими выменами. Тоже было мило: коровы едят важно так и значительно, а пастушки на раскладных стульчиках сидят, вяжут или книжки читают. Посмотришь и подумаешь — при таких живых заводиках по переработке травы в молоко чего же и не прожить...

Надежда Мандельштам, жена поэта, вспоминала, что в поисках возможности хоть как-то прокормиться была у них «идея коровы». Поселиться они с этой целью хотели как раз в наших краях, в Малоярославце, но как-то не получилось. И Пришвин вспоминал, что в первую же ночь с женщиной, на которой он потом женился и с которой многие годы прожил, они решили завести корову. А через несколько лет и завели, поселившись в Сергиевом Посаде. И молоко продавали на рынке...

Чаще всего пасла коз и главной «козопаской» была у нас Зинаида Семёновна, бывшая больничная санитарка со стажем чуть ли не в полвека. Был у неё и самый большой участок, наполовину засаженный свёклой для коз. А их было не пересчитать. От совсем малых до матёрых с выменами коровьей почти величины. Жила она одна в собственном домике, и там тоже был участок земли немалый, безупречно всегда ухоженный. И стадо она пасла, и на земле работала с раннего утра до темноты с венами на ногах жуткими. Вот я и думал: зачем она каторгу такую себе устраивает, куда всё это, наработанное девать? Оказалось, в Харькове дочь. Жила она с ней вдвоём, проживала, потом мужичок какой-то вдруг появился да дочь и увёз. И осталась Семёновна одна. И посылает теперь дочери с семейством самодельную тушёнку из козлятины в банках стеклянных.

Шёл как-то через поле над оврагом и увидел камень большой и привлекательный. Присел на корточки, осмотрел, пошатать попытался, прикидывая, нельзя ли его домой как-нибудь притащить? Вдруг козлёнок подбежал, другой, коза здоровенная... Оглянулся — Зинаида Семёновна со всем стадом. «Ой! — смутилась. — А я думаю, чтой-то мужчина нашёл? Клад, что ли?» «Да вот, — говорю, — камень красивый». «А зачем он?» «Ну, как... Посмотреть приятно». Помолчала она с явным недоумением. «А как же его до дома переть? На носилках если или на тачке? Или, знаете, к сумке с колёсиками приладить как-нибудь...» Хороший был совет, на сумке камень этот я и привёз...

Как-то дежурили мы с Андреем, и сменить нас должна была Зинаида Семёновна, на дневной пост заступить. Ночь была с грозовым ливнем, и мы прятались под кузовом легковушки, специально для того приспособленным. Ранним утром смотрим, Зинаида Семёновна идёт, часа на два раньше условленной пересменки. Объяснила, подойдя: «Дай, думаю, ребят отпущу, всё равно сна нет».

А потом вдруг не появились по весне ни она, ни стадо её великое: умерла от инсульта, и тоже «на ходу».

* * *

Сколько жизней людских девяностые годы унесли, и представить страшно. Потому, может, и думалось о смерти тогда часто: маячила она постоянно вокруг.

Кто не перебирал варианты ухода, всякий, наверное. А главных-то и немного, можно прикинуть. Во-первых, классически — в своей постели. Желание большинства, а в пору войн, революций, иных бедствий часто и мечта несбыточная. Противоположный вариант: смерть при напряжении сил максимальном — в бою, в схватке, в борьбе со стихией, с роковым стечением обстоятельств. Пушкинский вариант, ему желательный. Он так и писал: «в бою ли, в странствии, в волнах...» И даже о смерти Грибоедова написал едва ли не с завистью, что она была «мгновенна и прекрасна, посреди смелого, неравного боя и не имела в себе ничего томительного». А вариант «постельный» описывает он с некоторой насмешливой неприязнью, говоря о возможном

конце жизни героя своего Ленского: «Скончался посреди детей, плаксивых баб и врачей...» Сам же ушёл по пути какому-то среднему — и схватка была, и пуля в живот, и двухсуточное потом страдание в постели.

Кажется, что желание смерти быстрой и лёгкой должно быть всеобщим, не желать же долгого и тяжкого умирания? А вот поэт Иннокентий Анненский такого и хотел, считая, что умереть быстро всё равно, что уйти из ресторана, не расплатившись. Умер же «на ходу», на ступеньках Царско-сельского вокзала. Народный взгляд на умирание близок взгляду Анненского: «смертное страдание» принять надо — им грехи искупить, насколько возможно.

Теперь смерть в больнице, в реанимации очень часта. Оно и хорошо, оправдано практически, но уж очень казённо, холодно. Что последним человек увидит: медсестру, врача или потолка белизну безучастную? И кто последние его слова услышит-разберёт? И кому их сказать?

Последних слов много у людей, которые на всеобщем виду жили, запомнено и записано было. У Пушкина они просты и конкретны: «Дышать тяжело, давит...» Чехов бокал шампанского выпил, сказал по-немецки: «Я умираю...» — из вежливости, наверное, к немцу-врачу — и умер. А Толстой, писавший, как никто, глубоко и много о смерти, даже договорился с дочерью о знаке, который подаст ей, если говорить уже будет не способен. Знак о понимании смысла жизни в самый последний перед смертью момент. Смыслом же он полагал приближение к Богу и увеличение любви. И вот если он именно так, уходя, продолжает считать, то опустит веки согласно, а если нет, то посмотрит вверх. Весь Толстой в этом поиске высшего смысла до самого-самого предела. Насчёт знака о смысле жизни не знаю, а в последних словах: «любил много...» согласие с самим собой как раз и есть.

«Приближение к Богу...» Но ведь и в приближении к смерти или быстром, или медленном, или даже пережитом мгновенно, когда она проходит рядом и мимо, что-то высшее, вот именно божественное, ощущается. Не только верующими, но, подсознательно, и всеми, скорей всего. Близость смерти и ужасает человека, но и приподнимает его над обыденностью жизни. В «Моцарте и Сальери» пушкинском Моцарт играет для Сальери дважды. И оба раза музыка потрясает слушателя своей мощью, гармонией и красотой. И оба раза она о смерти. Из объяснения Моцарта к первой игре: «Я весел... Вдруг виденье гробовое, незапный мрак иль что-нибудь такое...» А в объяснении ко второй Моцарт говорит о том, что пишет «Реквием» и что заказал его ему «чёрный» человек. И играет отрывок из этого «Реквиема». Сальери, который, разумеется, знает музыку Моцарта прекрасно, чувствует именно в этих двух последних вещах вершину его, полного жизни и жизнелюбия, творчества. А они-то о смерти, о переходе жизни в смерть. И выходит, что смерть не только уход из жизни, но одновременно её вершина. **З а в е р ш е н и е .**

И в литературе нечто похожее. Какие мощные, истинно боговдохновенные страницы именно умиранию героев посвящены! «Война и мир» Толстого, князь Андрей, тяжело раненный, глядящий в небо и готовый облегчённо

уйти в него, раствориться в нём. Анна Каренина под колёсами поезда, свеча, вспыхнувшая в её сознании, чтобы затрещать и навеки погаснуть. Герой толстовской же повести «Смерть Ивана Ильича» с его последним ощущением: «Вместо смерти был свет...» Или Григорий из «Тихого Дона», который, похоронив Аксинью, поднял голову и увидел над собой «чёрное небо и ослепительно сияющий, чёрный диск солнца». Предел трагизма и предел художественной мощи при этом!

Смерть, уход, конец — и какая энергия жизни и творчества у художников, которые всё это выражают! И парадокс, и доказательство, что жизнь и смерть связаны неразрывно некоей единой силой. Высшей, небесной, божественной.

А в те далёкие девяностые при мыслях о смерти про бомжей иногда вспоминалось в сильные морозы. Как они-то их перемогают: вымерзают, наверное, как воробы? И чудилось даже, что весной их становилось меньше...

* * *

Побывал в нашем овраге гость ночной, неожиданный. Сидим у костерка, стражу отбываем, и вдруг со стороны поля и леса человек возникает, приближается медленно и как-то зыбко. Наконец обозначился в свете костра: мужик как мужик, пристойного, городского вполне вида, но без обуви, в одних носках. Вроде бы и не пьян, но какой-то очумелый, растерянный. И спрашивает: где центр города примерно? Показали, куда идти, и поинтересовались, почему блуждает ночью босиком. Оказалось, приехал на пикник с компанией, прилёг под кустом в сторонке подремать, а проснулся в темноте и одиночестве. Ну и побрёл на зарево городское, а потом на свет костра. Трудно будет ему до центра добрести, все ноги побьёт. Самое же худшее он сам и высказал: «Не пойму, то ли не нашли меня, то ли просто забыли? И туфли кто снял?» Погрелся чуть у огня, да и побрёл в темноту. И тема для размышления была у него такая, что до дома хватит...

Случился и ещё один гость, совсем другого рода, и в пору он попал совершенно особенную. Решили мы с Андреем засеять осенью, после уборки урожая, весь наш участок озимой пшеницей, делал так кое-кто из соседей. Весной надо было дожидаться подросшей хорошенько «зелёнки» и всё вскопать, удобрив ею землю.

Сеял Андрей, беря горстями пшеницу из ведёрка и размашисто — как сеятель некий древний — её перед собой полукругом разбрасывая. Даже рубаху к этому случаю красную, распояской, с воротником на русский манер надел — хоть картину с него пиши.

Рассеянное зерно надо было землёй прикрыть, и мы приспособили для этого железную трубу, длинную и тяжёлую. Привязали к концам проволоку и стали неторопливо и аккуратно по участку её взад-вперёд таскать. Таскаем-таскаем и, смотрим, Григорий Фидлер, друг детства Андрея, с овчаркой на поводу к нам идёт. Прекрасный парень, всегда ему симпатизировал: спокойный, добрый, скромный, как девушка, и силы совершенно непомерной, изумляющей. И её он по славной своей натуре хорошо очень употреблял — восточными единоборствами занимался, без прямого контакта с противником.

Ушу, так, кажется. Там и философия целая, и учитель Лао-Цзы. Григорий же в советские времена инженером стал и на крупном заводе работал.

Поговорили, конечно, и оказалось, что он бизнес торговый завёл и на днях в Италию улетает по делам. Беседуем, и вижу, обоим им как-то неловко: один по миру разъезжает, а другой в овраге железку какую-то по земле волочит. Очень уж сопоставление странное! Что ж способы выживания всего-навсего, подумал я. Натура тут решает, обстоятельства, случай, судьба в конце концов...

Особенно ушедшие из развалившейся тогда армии офицеры меня удивляли, солидные такие майоры-подполковники отставные. Один рыбной ловлей занимался как работой прибыльной, большой был этого дела любитель и знаток; другой веники берёзовые, банные во множестве заготавливал и перекупщикам из Москвы продавал; третий шампиньоны выращивал, тоже в основном для Москвы. И думалось иногда, что, может, эти занятия им службы армейской оказались милее, да и прибыльнее: как знать?

* * *

Страна заборов... Особенно тогда, в 90-е, это в глаза стало бросаться. Из чего только их не городили: куски жести, пластика, отходы штамповки, сетка «рабица» ржавая, даже подносы общепитовские древние... А один большой участок был сплошь кроватными сетками и спинками огорожен, и видеть такое было тревожно: нечто госпитальное, из войны, из беды. А другие заборы, не овражные: у бедных хилые, кособокие, у богатых несокрушимые, до неба почти? А ограды на кладбище вокруг могил? От кого и чего загораживаемся? Друг от друга? Да, конечно. А ещё, может, подсознательно и от пространства своего бесконечного, которое словно бы угрожает нахлынуть вдруг, как потоп. Но оно же, пространство, не только угрожает, но и влечёт, иначе б не дошли мы мало-помалу аж до Тихого океана...

Случился у меня в самое «заборное» время приступ радикулита. Очень не хотелось на диване лежать, а хотелось столбы, вокруг участка уже поставленные, ошкуривать. Сделали анестезию, я и пошёл в овраг радостно и пробыл там на ногах часа три. Утром проснулся, а левая сторона отвисает — парез. Так он до конца и не исчез, напоминает о битвах за выживание давности двадцатилетней.

И ещё воспоминание «заборное». Копал ямы под столбы, а рядом старый друг, мудрый собеседник Всеволод Катагощин стоял-наблюдал. Хорошо очень было: денёк серенький, смиренный, приятная, неспешная работа, приятный, неспешный разговор. Суть его хорошо помню: как оценить смерть под забором? Ужасна ли она (как, в общем-то, предполагается) или, может, не так и плоха? И решили дружно, что не только не ужасна, а чуть ли не хороша. Долгим и очень уж мучительным такое умирание быть не должно, да к тому же под небом, а не под потолком. И сейчас вот вдруг вспомнилось, что самый первый в жизни рассказ я написал на близкую этому разговору тему: о том, как лесник уходит самовольно из больницы, чтобы на воле помереть...

Ещё очень славно было привозить из леса на лыжах столбы для ближнего, у самого дома, участка. Засунешь топорик за ремень, побегаешь, сколько хочешь, по лесу, а потом столб и вырубил из подходящей сухостоины. И на плечо его, и вперёд. А лучше всего было столбы эти, за зиму накопленные, в палисаднике ошкуривать на мартовском пригревающем солнце: синь неба плотная, блеск солнечный, горьковатый запах коры и древесины...

Вижу теперь, что и заборы наши, и стража были, в общем-то, условно-стью, знаком таким для потенциальных воров: да, огорожено, да, охраняют. Но если нужно, то в тёмное время бери дрын, продырявливай потихоньку забор в любом почти месте и забирай, что хочешь. Ну даже и забрал, так не от хорошей жизни, а по горькой нужде. Точно такое же суждение по телевизору от ветерана войны как-то услышал. Вернулся он из госпиталя домой и увидел, что комната его в коммуналке открыта и из неё вынесено всё, что можно было вынести. Сказал он это, помолчал и добавил: «А я и не осуждаю, крайность у людей была. Ну и взяли, ну и что ж...»

А картошка все самые трудные годы была на рынке удивительно дешёвая. Потому, конечно, что все почти её и выращивали. Даже Ельцин сказал как-то, что обязательно два мешка картошки каждый год для пропитания семьи сажает. Соврал скорей всего, но кого-то, может, и подбодрил — не робейте, мужики, я с вами...

* * *

Приехал в Москву, когда на неё вдруг упал сильнейший, под 30° мороз. Люди оказались одеты не по погоде, бегут по улице растерянно-испуганные. Надо было дорогу спросить, но, вижу, всем не до вопросов. Наконец подошёл к тётке, продававшей с лотка какие-то газетки, журналчики тоненькие, жалкие. Она съёжилась, нахохлилась, ногой об ногу стучит, лицо угрюмое, посиневшее. А когда к ней обратился, в лице у неё такое вдруг вспыхнуло участие, такая готовность помочь, такая доброта, что на меня словно бы теплом пахнуло и даже согрело на мгновенье.

Очень мы все мрачны в последние, многие и многие уже, годы, недоступно-озабоченны, словно пылью какой-то безнадежно-безрадостной покрыты. А вот так обратишься к человеку, по виду мрачному, даже злому — и он меняется неожиданно на нечто прямо противоположное. Тяготятся люди своей угрюмостью одинокой и готовы по первому поводу её отбросить. Отбросить-то на малое время можно, а вот чтобы преодолеть, изжить — нужно время большое. Жизнь, в сущности, нужно прожить...

А ещё стоял как-то в нерешительности: то ли вниз по скользкой, крутой, льдистой тропинке рискнуть спуститься, то ли в обход пойти? А внизу передо мной два мужика, хмельноватых, похоже, остановились, ждут, что делать буду. И я, по детскому какому-то позыву не оплошать перед зрителями, к крутизне и шагнул. Тут один из мужиков, толстяк краснолицый, и крикнул вдруг: «Стой, дед! Костей не соберёшь!» Ну я и послушался с чувством облегчения и в обход пошёл. И до сих пор того мужика с благодарностью помню. Порыв его невольный словно бы какой-то. Такой мужик

в подобном порыве и ребёнка из-под колёс, рискуя собой, выхватить может. Для Шопенгауэра, смотревшего на натуру людскую весьма мрачно, было в ней нечто несомненно светлое и доброе: «первичный моральный импульс». Он, похоже, у того мужика и сработал. А второй мужик, хорошо запомнил, лишь с любопытством на меня смотрел, ожидая потехи. Вот по такому признаку люди тоже делятся — есть ли способность к «импульсу» этому или нет? Помогут — или мимо пройдут?

Ну, это всё моменты, случаи, а бывает, что идёт от человека сильный, ровный, негасимый свет и тепло. Такой у нас продавщица в ближнем маленьком продуктовом магазинчике была в «овражную» нашу пору: Тамара Ивановна. Только, бывало, и слышишь её имя — когда к ней люди обращаются или даже между собой говорят. Средних лет, небольшая, плотная, круглолицая, сероглазая. Равномерно, постоянно приветливая со всеми. И не то чтобы улыбочивая, нет, скорее, сдержанная даже. Вот от неё-то эти свет и тепло и шли, и всех людей вокруг согревали: словно фара некая таинственная у неё внутри была.

Всегда в этом магазинчике народ толпился, хотя рядом, в двух буквально шагах другой, точно такой же по набору товара был. К ней шли, к Тамаре Ивановне. Словом перемолвиться, посмотреть на неё, погреться. Кое-кто из женщин даже ожидал терпеливо, когда очередь иссякнет, чтобы лишним словом с ней без помехи перекинуться. Смотрел я на всё это и думал: психотерапия настоящая! Впору деньги ей, Тамаре Ивановне, по медицинскому ведомству платить. И немалые.

Когда же ушла она с этой работы, то и количество людей тут же в магазине резко уменьшилось. Не к кому стало ходить.

Встретил её недавно, и оказалось, что живёт она по-прежнему с мужем и двумя сыновьями и больше всего боится, что дом её частный снесут и дадут вместо него квартиру. Кошек и собак держать будет негде, и деть их некуда. На вопрос же, зачем ей такая их орава, ответила, что натащили бездомных и увечных. Узнали, что берёт, и тащат. Отказать же не может, хоть и клянёт себя за это...

Свет не без добрых людей... Приятная вроде бы пословица, успокаивающая. А вдумаясь, то и не по себе станет. Не без добрых... Стало быть встречаются, как редкость, как исключение. Вдруг и встретится добрый человек, если повезёт тебе очень...

Кажется, что в новые времена доброты в людях меньше стало, но это вряд ли. Не меняются глубинные свойства человеческие так быстро. А вот что проявлять её, доброту, люди сдержаннее стали, словно боятся в ответ оплеуху получить, это истинно так. Тут уже и отвага некоторая нужна — и самому доброе сделать, и на чужую доброту понадеяться.

Оказались мы с матушкой лет шестьдесят назад в Курске по пути домой. Машины из-за долгих дождей и непролазной грязи не шли, и мы простояли на выходе из города целый день в тщетной надежде уехать. Начало темнеть, и матушка вдруг повела меня к маленькому домику рядом — проситься переночевать. Там оказалась девчонка, чуть меня постарше, и разрешила посидеть,

подождать прихода своей матери. И я, клевавший на табуретке у двери носом, скоро и на кровать был уложен, и заснул. Проснулся под разговор матушки с вернувшейся хозяйкой, которая говорила, что она кондукторша на трамвае, а муж её в тюрьме, но скоро выйдет. Я послушал немного и заснул уже до утра.

Поведение матушки, по теперешним понятиям недопустимое, наглое даже, объяснялось просто. Она сама была человеком доброты безразмерной и от других, естественно, ожидала того же. И ошибалась редко. Излучение добра, исходившее от неё, имело такую силу, что и окружающие теплели и добрели прямо на глазах...

* * *

Чего только в те родненькие девяностые не приходилось делать — мешки тяжеленные женщинам и старикам помогать носить-возить, пьяных или «паленкой» отравленных мужиков со снега или раскалённого морозом асфальта в места потеплее перетаскивать, в заварухи пьяные вмешиваться... Много плохого, а то и ужасного было, но вдруг случалось и хорошее.

Попал я тогда в милицию, и зачитывает мне старший лейтенант протокол на утро. Мелькнули там и слова: «оказал сопротивление». Я как-то и внимания на это не обратил, собираюсь подписывать и вдруг слышу: «Мужик, ты что? Это ж тюрьма!» Глянул: напротив открытой в коридор двери сержант на рундуке каком-то сидит — он, стало быть, и крикнул. Рывкнул на него лейтенант злобно, он и исчез. И так на душе вдруг потеплело: тот самый «первичный моральный импульс», о котором я уже упоминал, у человека сработал. Не всё, значит, потеряно ...

Бывало и забавное, как не бывать. Подходит как-то бабёнка лет под тридцать, вида пропойного — и говорит: «Лапуль, дай рубль, не хватает...» Да я бы ей и десятку дал за такое слово! Никогда меня так трогательно-тепло не называли и уже не назовут...

Бомжи тогда были очень тяжелы — те, которые и до нашего дома, до подъезда, добирались. Зайдёшь, а человек лежит на лестничной площадке в углу, калачиком свернувшись. Пульс нормальный, запах понятный: бомжовский с самогонной добавкой. Вот что с таким делать? В квартиру тащить?

А тяжелее всего было видеть старушек с лицами учительниц начальных классов, которые в мусорных бачках копались. Вот их я никак не мог власти тогдашней простить. И не простил.

* * *

Эти шесть лет в овраге вспоминаются теперь как целая маленькая жизнь. Лучшее в ней время посадка картошки было, пожалуй. Совпадало оно с майскими праздниками, вот люди по праздничному и настраивались: одежонка поярче и поновей, музыка то здесь, то там, выпивка-закуска в конце работы. Помню, копаюсь один на участке после вчерашнего праздничного застолья и слышу крик: «Дед, иди пива выпей». Смотрю, на бугорке через ручей мужик — сосед дальний — сидит, знакомый лишь по виду. И что-то меня

остановило: то ли слово «дед», не вполне ещё привычное, то ли тон снисходительный, хоть и приветливый. Ну и отказался: «Спасибо, нет». Тут же и пожалел, но поздно было. А потом даже и вспоминал этот случай с чувством пусть и мельчайшей, но всё-таки потери.

У Твардовского, кстати, есть нечто похожее в очерке «Память первого дня». Идёт он по полевой дороге в самый канун войны и видит на обочине, в тенёчке, старика, сидящего перед четвертинкой и скудной закуской. Поздоровался с ним, а тот и говорит: «Садись, поднесу». Отказался, а потом, в войну, вспоминал это с сожалением — будто не только от чарки отказался, а от многого ещё дорогого и невозвратимого. Мы же от участка своего в овраге отказались в конце концов, и теперь вспоминается он, как нечто близкое и дорогое. А вот насчёт невозвратимости жалеть, наверное, не надо — да и не гарантирована она, эта невозвратимость. Для сына и внуков, во всяком случае...

* * *

Вспоминаешь «время оврага», и, параллельно как-то, вся жизнь вспоминается кусками-кусочками произвольно совершенно, из глубины некоей тёмной вдруг выплывая и в неё же уходя. Хаос воспоминательный, но есть в нём и тайный, лишь порой едва различаемый строй и лад. Ход жизни самой на родине твоей, большой и малой.

Впервые чувство родины шевельнулось во мне лет в десять по пути в Пятигорск и обратно. Горы утром появились за вагонным окном — они выступали прямо из ровной-ровной земли громадами одинокими, одна, вторая... Каждая подолгу держалась в окне, будто двигалась, плыла рядом с нами едва заметно.

Матушка сказала, что это уже родина отца за окном, здесь где-то неподалёку он родился, в казачьей станице. И я вдруг, то ли от её слов, то ли от внутренней какой-то, подсознательной перемены в душе почувствовал, что и степь, и горы мне милы, что они мне тоже родные, что я неким чудом уже бывал здесь когда-то. И с тех пор по дороге на юг всегда то же самое чувствовал.

А потом, на обратном пути, было утро в наших уже, курских местах. Оно было мглистым, дождливым и печальным до тоски. Холмистые поля, пологие косогоры плыли-разворачивались за окном, и так они были пустынные, и так скудны! Чёрные, грязные дороги вились вдоль хода поезда, телеги с тощими лошадёнками едва-едва тащились по ним, стаи ворон и грачей летели низко и неохотно неведь куда. Деревеньки с избами хилыми, скособоченными, крытыми серой соломой, появлялись и исчезали, и возникали вновь, и начинало казаться, что одна и та же деревня идёт и идёт по кругу без конца... После всего яркого, праздничного, сказочного, что я видел в Пятигорске, это было таким скудным, таким жалким и таким родным. Именно в то утро чувство родины пронзительно укололо меня больно и сладко. Уж сколько раз я его испытывал потом в разных ситуациях, но суть оставалась та же, первая — сладкая, щемящая боль. Об этом же, буквально об этом у Блока через много лет прочитал: «...твои мне песни ветровые, как

слёзы первые любви». Может, и слёзы были, да я их не заметил или решил, что соринка попала в глаз...

А вот и ещё о том же. Сходили с Андреем в мой родной Камыш (он впервые), постояли у могилы деда-прадеда, немцем во дворе собственного дома заколотого, и возвращаемся домой, в Тим, где моё детство прошло и кусочек Андреева тоже. По пути перекусываем в тени лесозащитной полосы, да и засыпаем...

* * *

Сон тут, на родной земле, совсем особенный, напоминающий полёт с закрытыми глазами. Оттуда, где хорошо, — туда, где ещё лучше. Летишь, но как-то и остаёшься на месте, слыша шорох листвы на ветру, птичий писк и щебет, стрекот кузнечиков и, кажется, мерный, спокойный, роевой гул земли под ухом. И тело продолжаешь ощущать, но уже как что-то далёкое, не вполне и твоё — с толчками сердца в землю, с шумом крови в ушах, с бегом букашки по ноге. И мысли мелькают — короткие, редкие и тоже не вполне твои, а с кем-то другим общие. А может быть, это и не сон даже, и не дрёма глубокая, а просто покой? Тот самый, который все ищут и никак не находят? Но тогда почему он именно здесь ко мне приходит? Родина потому что вокруг, и сын рядом? Наверное, так...

Это состояние сна-покоя или покоя-сна хочется длить и длить бесконечно, но оно неудержимо уходит, редет, пропуская в себя всё больше чёткой реальности — далёкий, напряжённый зуд мотора, коровье мычание, хлопок пастушьего кнута. А вот звук совсем близкий — Андрей уже сидит с покрасневшей, примятой щекой и с хрустом ест яблоко...

Солнце клонится к закату, зной смягчается, и идти ещё приятней, чем раньше. Тянет ускорять и ускорять шаг, но я и себя, и Андрея придерживаю. Как недавно хотелось пробыть в покое-сне подольше, так и теперь хочется идти и идти без конца по полевой нашей дороге. Она так легка, что уже и не понятно: мы ли по ней идём, она ли нас на себе несёт всё ближе к Тиму?

Первые его очертания наконец вырастают впереди из степи. Именно отсюда я увидел их когда-то впервые, а теперь вот увидит и Андрей. Идём и идём, Тим растёт-подрастает, но я молчу. Пусть сам заметит как можно позже, впечатление будет сильнее. Весь день, а сейчас особенно, у меня такое чувство, словно я некое наследство ему передаю.

Андрей замедляет шаг, косится на меня вопросительно, и я киваю: да, Тим. Приостанавливаемся, молчим, смотрим. Я ощущаю непривычную, редкостную силу и ясность своего взгляда и вдруг понимаю, что он как бы удвоен сейчас...

* * *

Хорошо помню погреб детства с его лазом узеньким, ступеньками хилыми, дощатыми, норками мышинными в стенах, с чудесной прохладой в летнюю жару и могучим запахом земли. Главное же, выбраться из него и хотелось и нет, одновременно как-то. Вот и сидел, затаившись, а потом вдруг пугался словно бы, что так можно невзначай навсегда здесь

остаться — и поспешно выбирался на волю, на солнце. И опять было двойственное чувство — и рад, что выбрался, и жаль чего-то.

Рядом с домом нашим была аптека, в которой работала матушка, и там аптечный подвал. Тут было совсем иначе — пространства много, свод каменный высоко над головой, ящики с лекарствами. Что-то мощное, крепостное, древнее. Когда «Скупого рыцаря» пушкинского впервые читал, то представлялся мне живо тот подвал, аптечный. Вот в таком вполне могли бы стоять и сундуки с золотом.

Спросил однажды знакомого белорусского поэта, молоденького, хрупкого, бледного, как он лето провёл, очень в том году жаркое. Ответил, что в погребке сидел, стихи там писал. Оно и смешно, оно и понятно.

* * *

До постройки погреба картошку мы хранили в закроме под лестницей и в картофельной яме. Яму я выкопал в нашем саду и сделал это с удивившим меня самого наслаждением. А потом подумал, что это ведь всегда было, с детства раннего: ковырять землю железкой какой-нибудь, просто палкой, с песком, с грязью возиться. Бессмысленное, казалось бы, занятие, но смысл некий всё-таки брезжил — притяжение земли, желание до чего-то тайного и нужного в ней докопаться.

Даже первые свои деньги на покупку часов я заработал лет в четырнадцать, копая траншею на кирпичном заводе. Копал одиноко, и было мне хорошо: вот чернозёма слой полуметровый, вот песок приятно-влажноватый, а вот и глина твердевшая, которую приходилось рубить уже ломом. Потом ямы бесконечные пошли под посадку кустов и деревьев, а потом могилу для матушки обустроить случилось. И как ни горька была эта работа, но ведь чем-то и утешительна. Вот именно, что осознанием ясным общности человеческой судьбы: все в неё ляжем, в землю. И хорошо бы не в какую-нибудь, а в эту вот, свою. Недаром некоторые люди, долгие годы на чужбине прожившие, хотят в старости на родину вернуться. Для той же, наверное, цели...

Недавно узнал, что закапыванием в землю невроты лечат. Душу лечат, говоря проще. Роят нечто вроде могилки мелкой, желающий полечиться укладывается в неё, и его землёй засыпают, вставив трубку для дыхания. Время такого сеанса оговаривается заранее. Ну и досрочно можно освободиться, знак наверх подав. Станный, жутковатый даже, метод лечения, но ведь и резон какой-то в нём есть: полежи, подумай о жизни своей, о смерти своей неизбежной. Пустяки житейские от важного отдели толком. Предварительно итоги подведи. Многое там, в земле, может с душой человеческой случится. И плохого, и хорошего, целебного. Хорошего, думаю, должно быть больше...

* * *

Погреб мы сделали за два, примерно, летних месяца — как песню спели. Работали втроем, мы с Андреем и сосед Виталий, прекрасный человек и работник умелый.

Обстоятельства нам благоприятствовали, словно кто-то говорил со стороны или сверху: давайте-давайте мужики, нужное дело делаете. Рядом завод, начавший строиться и вскоре заброшенный, был — и мы оттуда всю железную «снасть», для погребов и погребки необходимую, притащили. Многие в округе так делали, и правильно: не пропадать же добру брошенному?

Потом машина кирпичная красного нам как с неба свалилась случайно и в самый подходящий момент. Горячий ещё был кирпич, прямо из печи, сквозь рукавицы жар его чувствовался. А ещё потом дверь для погребки появилась, и тоже ко времени. Роскошная дверь, филёнчатая, полированная, для начальственного кабинета была бы как раз. Долго не мог к ней привыкнуть, всё казалось — не по чину честь.

Что ж, громадная империя рухнула, и обломки её подбирали кто как мог. Вот и к нам во двор какие-то её крохи случайно попали...

В студенческих стройотрядах Андрей работал каменщиком, и это теперь пригодилось. И погреб он кирпичом выложил, и стены погребки поставил. Хорошо вышло, и стоит все до сих пор, как штык: ни трещинки нигде. Можно гордиться.

Кирпичные стены погребов обмазывали смолой, растопленной на костре. И так смола глубинно-чёрная бугрилась медлительно, тяжело и грозно, закипая, что делалось как-то не по себе. То штурм стен крепостных представлялся и вот такая же смола, на штурмующих сверху льющаяся, то нечто совсем уж адское, на иконах, на лубочных картинках виденное. Даже дядюшка мой тимской Николай Панюков вспомнился. Встретив на улице своего начальника, с которым у него была долгая тяжба по поводу какой-то несправедливости, он говорил ему: «Котлы кипят!» Неплохо бы и сейчас эти слова на митингах выставлять для предостережения власть предержащим.

Очень тревожно, страшновато даже было, когда я в одиночестве (ребята мои отлучились куда-то) машину-бетоновозку встречал. Подъехала она, громадная, к краю погребов, стала «вертушку» медленно наклонять, я и оцепенел, и потом мгновенно покрылся. Хлынет, подумал, раствор на наш потолок погребной да его и проломит. Долго потом всё это расхлёбывать придётся. Потолок, к счастью, выдержал, и чувство удовлетворения радостного вспыхнуло — хорошо сделали!

Да и во всей нашей стройке больше всего радости и было. И усилия потные в радость, и отдых потом. Смеялись много, порой и до слёз. Чай крепкий пили часто, и подавала нам его Ирина в окно, выходящее в палисадник с лавочкой. Прекрасные были чаепития: лучших, может, и не было никогда, а теперь уж и не будет...

* * *

Погреб и погребка, то есть сарай кирпичный над ним, получились такими большими, капитальными, что и не верилось — мы ли это всё сделали, своими руками? И подумалось, что можно ведь и совершенно самостоятельно, автономно, если понадобится, выжить-прожить. Земли в овраге и вокруг сколько хочешь, «буржуйку» можно смастерить, дрова рядом в лесу и воду

добыть можно. Прожили же матушка с тётушкой и мной, сопливым, всю войну в маленькой курской деревушке на полном самообеспечении! В мысли этой было что-то успокаивающее, гордое даже, но что-то и горчило, саднило. Побаливало. Вот именно, что за державу обидно было: неужели и до этого докатимся?

Есть у Толстого в «Войне и мире» мысль, что победила Наполеона прежде всего не армия, а та русская барыня, которая, сказав, что она Бонапарту не слуга, взяла, да из Москвы и уехала. Вот и тогда, в начале девяностых, прожили-выжили потому, что всем миром на землю вышли с лопатами на плечах. Или, как написал мне друг детства Генка из-под Ленинграда — наперевес...

Вспоминаются эти тяжкие, в общем-то, годы с удивительной теплотой. Всё вторичное, наносное, мелкотщеславное отодвинуто, отброшено было главным — продержаться, устоять. И отношения людские в моём пространстве наблюдения улучшились, потеплели. Семья сплотилась, соседи сдвинулись потесней. Все словно бы чувствовали подсознательно, что выживать надо не только поодиночке, но и всем миром. Чем-то это время первое послевоенное напоминало: ценностью резко возросшей хлеба насущного, одежды, утвари обыденной, рабочего усилия потного, прямого. Весомостью слова доброго, приветливого и, самое может, главное — надеждой. Верили, что ещё немного, ещё чуть-чуть, и полегче станет. Продержимся, «перетрём», как у Твардовского в «Василии Тёркине» сказано.

А ещё у того же Твардовского есть строчки о мечтах юности перед отъездом из дома в «большую» жизнь. О многом мечтали: в частности, «и о том, в каких мы брюках домой заявимся п о т о м». А я в своё время мечтал о велосипеде, а внук уже о машине, что каждый и получил в конце концов. Вот что тут было, в мечтах этих, ярче и важнее? Брюки, конечно. И оценка внутренняя сокровенная богатства, бедности, нищеты тоже громадный имеет разброс, до парадоксальности. Написал же Мандельштам: «В могучей бедности, в роскошной нищете живи, спокоен и утешен». Напоминает чем-то Франциска Ассизского: «Бедные, алмазы божьи».

Вообще, заметно было в лихие девяностые, что те, кто пережил войну и первое послевоенье, были как-то спокойнее. Знали, чувствовали по опыту, что жизнь, она всегда жизнь. В самой сути, в самой основе своей близкая, сходная и в бедности, и в богатстве. Не было бы только совсем уж грубого, мучительного голода-холода, но и тут варианты существуют. Помню рассказ покойного приятеля, замечательного художника Петра Петровича Козьмина о том, как он, пехотинец, лежал на животе в болоте поздней осенью, и вдруг счастье непонятное ощутил — а это, оказывается, миномёты немецкие замолчали...

Улучшение жизни постепенное я заметил в повседневности по уменьшению количества съедаемого хлеба. И почти жаль его стало, как старинного, главнейшего друга детства и молодости. Моё поколение институты кончало на бесплатном хлебе в студенческих столовых. Всегда можно было плотно поесть за две чайные копейки: сначала хлеба с горчицей, потом

хлеба с чаем сладчайшим (сахар сыпался в стакан собственноручно). А если на три-четыре стакана раскошелиться, то можно было из столовой уйти, пошатываясь от сытости. Хлеб чаще всего бывал «Орловский», серый такой и совершенно чудесный.

* * *

Что-то уж слишком благодным у меня всё получается. Почти одни радости, а где же растерянность, страх, тоска, ужас даже порой — куда нас несёт неудержимо и чем всё это кончится?

Писал, как вспоминалось, а вспоминалось в основном именно хорошее, как оно, в общем-то, и быть должно. У памяти хороший вкус, есть такая поговорка. Да и тогда, в овраге, к тому, что получше, душа поворачивалась, чтобы выжить, уцелеть. Плохое перетерпываем, перемогаем, а за хорошее держимся, стоим на нём. На любви, коротко говоря. К миру, к людям, к самому себе в конце концов. Сказано: «Возлюби ближнего, как самого себя». Вот и сделай так, с себя начиная, всё на свои законные места и станет. Понятно, что каждый грош приходилось тогда считать, а подойдёт к тебе на улице мужичок замученный и так посмотрит, что и отдашь ему этот грош. И станет тебе самому полегче.

Кстати, тогда я чаще подавал, чем теперь, хотя о грошах речь уже, в общем-то, давно не идёт. Забогател, видно, зачерствел. По пословице: мозолистая рука таровата, а мягкая неподатлива. Вот мозолей-то у меня теперь уже и нет. Да и меньше их гораздо стало, просящих, и отношение к ним изменилось. Недавно высыпал мелочь в ладонь мужику раза в два меня моложе и слышу: «Вы кому же это даёте?» Строго так, начальственно. Посмотрел — приличный господин, за дверцу хорошей машины держится, готовясь садиться. Развёл я руками почти виновато — и он по-своему прав был, конечно.

А ещё неловко как-то казалось о своих трудностях-горестях писать, потому что очень многим пришлось гораздо, гораздо труднее. Чего уж тут со своими соваться? Вполне средними они были, всеми, кто честно свой кусок хлеба зарабатывал, переживались.

О делах же социально-политических ничего не написал, потому что совершенно к этому не способен. До тошноты и отчаяния при попытке. Есть люди, которым такое дано, они о переломных-костоломных девяностых годах писали и ещё напишут. Вот и дай им Бог получше написать и к правде-истине поближе.

Лихие девяностые не то что научили, а напомнили хорошо знакомое с военно-послевоенных лет — жизнь, она всегда и всюду жизнь, со всеми её главными ценностями. И трудные времена эти главные ценности как раз и обнажают. В этом их благо великое.

Как-то услышал в троллейбусе: «Я муху свою берегу, что ты! Раз до девятого этажа долетела, пусть живёт». Посмотрел — мужик пожилой, вида простецкого. Вот это ко всему живому любовь, позавидовать можно! Есть у Льва Толстого дневниковая запись о том, что во всяком положении человек радость может найти, даже в тюремной одиночной камере: луч света, муха...

* * *

А что ж овраг? А овраг «пребывает веками», как и вся земля, по слову Экклезиаста. Пребывать-то пребывает, но и защищать его пришлось в конце девяностых. Объездную дорогу по нему проложить собрались, впритык к нашей улице и рядом с больницей. Пришлось письмо протестное писать, подписи под ним собирать по ближнему народу и в пикете стоять утром у городской управы. Пикет был — мы с Андреем, внук Дмитрий и сосед Виталий. И плакатик мы держали такой жалкенький. Потом сочувствующие подошли, человека три-четыре, и девушка из городского радио. Постояли, постояли, да и пошли восвосяи.

А в овраге тем временем работа разворачивалась вовсю: технику пригнали, ручей начали спрямлять, землю овражную ворочать так и эдак. И вдруг всё остановилось и исчезло — ни техники, ни людей. Остался на память лишь прямой, как стрела, кусок ручья и выровненное в этом месте, как стол, дно оврага. Загадка для будущих жителей: откуда эта странная, не природная какая-то, ровность и прямизна?

Внезапное прекращение работ тоже осталось загадкой. Не пикет же наш подействовал — смешно и думать! А вот упоминание в письме об овражном пруде, периодически уходящем куда-то в землю, вполне могло подействовать. Карстовые явления, не шутка! Проверили да, глядишь, их и нашли. Как бы то ни было, но дорогу отодвинули метров на пятьсот в сторону, и овраг наш живёт себе по-прежнему. Только вот огородники из него ушли, осталась лишь баба Аня и сосед её милиционер Вовка, как она его называет. Полицейский, по-теперешнему. Полезное соседство в смысле защиты от воров.

Бабу Аню встречаю время от времени в нашем околотке, останавливаемся словом перекинуться. И, кажется, что она почти не изменилась за эти годы многие. Вижу её и в овраге во время прогулок, и работает она всё так же, не разгибаясь. Понимаю, что не может такого быть, а вот есть же!

Иду недавно мимо нашего футбольного поля и слышу оклик дальний, зычный. А это баба Аня ко мне прямо через поле с играющими футболистами поспешает.

— Что ж ты огурцы не взял? — кричит. — Я ж тебе и рисовала, где лежать будут!

— Так дождь же целый день был, — отвечаю виновато.

— Дождь, да... А, стой, стой!

Ставит сумки свои ветхие, возится в них суетливо.

— Ради Бога, не надо!

— Ничего, возмёшь чесночка... Возмёшь, возмёшь!

И остаюсь я стоять с увесистым пучком чеснока в руках. Не едим мы его, но ведь не откажешься! Баба Аня уходит торопливо, а я смотрю ей вслед так, будто старого боевого товарища этим взглядом провожаю...

СТРИЖИ ТОЛЬКО В НЕБЕ*Из дневника писателя*

Софья Губайдулина, в интервью по ТВ. Возраст под 90, композитор с мировым именем. Живёт одиноко в Германии, на окраине деревни в маленьком домике. Рядом возделанные поля и тучные стада. В речи и манере держаться непосредственность, простота, мудрость, наивность, и яркая, взрывная эмоциональность. Через некоторое, сравнительно небольшое время просмотра возникает подозрение: не гений ли она? Тут же вспоминаю, что нечто похожее уже было когда-то.

Терентий Мальцев, тоже интервью по ТВ. Возраст преклонный, почётный академик Академии сельскохозяйственных наук СССР и всю жизнь колхозный агроном. Живёт в деревне в Курганской области почти безвыездно.

Дом скромный, библиотека в нём громадная. В речи и манере держаться поразительно близок Софье Губайдулиной. И даже внешне они похожи чем-то.

Вот и о нём, когда смотрел и слушал, помню, подумалось: не гений ли он? И это при том, что я очень мало смыслю в музыке и ещё меньше в агрономии. Да и сферы деятельности какие разные, до противоположности. Так откуда же мысль такая странная, редчайшая, о гениальности? А от поразительного впечатления о личностях обоих. От соединения в них воедино мудрости, непосредственности, наивности и простоты.

А недавно совсем умер композитор Эдуард Артемьев. Вспомнились передачи по ТВ о нём, и стал он третьим моим «гением». С тем же самым набором мудрости, наивности, непосредственности и простоты. Но кое-что и добавилось: «бомжеватость» внешнего вида и выражение лица туповатозастывшее. И размах творчества огромный, от простецких песен-песенок до музыки к «Преступлению и наказанию» (экранизации романа) и к «Сталкеру» Тарковского.

Если «Бог есть любовь», то дьявол, по противоположности, есть ненависть. Если Бог соединяет — то дьявол, соответственно, должен разъединять. Так я и думал, довольный простотой и ясностью такого рассуждения. И всё-таки сомневался именно из-за его простоты. А на днях узнал, что слово дьявол — «ди-авол» — значит «делящий надвое». И как некоторое подтверждение мысли своей получил.

Вспомнить детство — как в раю побывать. Только там есть любовь ко всему, что вспоминается, вплоть до трещин и щелей на стенах и дверях родного дома. Потому в старости и уходишь в эти воспоминания всё чаще и глубже, словно остаться там хочешь навсегда.

Больница. Курю на балконе. Докурил сигарету, а окурки в карман. Сосед, тоже куривший, заметил и усмехнулся. Объясняю, что внука приучила. Два года её из школы приводил, дальняя была дорога. Она бумажку

от конфеты в карман — и я, на неё глядя, окуроч в карман. Сосед: «А я сам по себе привык как-то». Посмеялись и даже душой, показалось, соприкоснулись, как друзья...

Отметишь про себя глубокое и тонкое понимание поэзии у какого-нибудь литературоведа, да и подумаешь: «Почему бы ему и самому стихов не писать?» А именно поэтому. «Синдром сороконожки» это напоминает: как задумалась она, с какой ноги надо ходить начинать, так и осталась на месте. А ещё и пушкинское вспоминается: «Поэзия, прости Господи, должна быть глуповата».

Много в душевной жизни человека черт, признаков и хорошего, и плохого. Один из самых плохих — трудность, почти невозможность с самим собой быть, в себя смотреть. Ну и куда же тогда? А в смартфон. Великое благо, и великое зло.

Всё живое, кроме человека, замкнуто само в себе. Только человек — разомкнутая система, способная менять себя по собственной воле, отличать добро от зла и двигаться по этой шкале «вверх» или «вниз».

Не спи, не спи, художник,
 Не предавайся сну,
 Ты вечности заложник
 У времени в плену.
 Не спи, не спи, работай,
 Не прерывай труда,
 Не спи, бодрись с дремотой,
 Как лётчик, как звезда.

Как это пастернаковское помогало когда-то и как не помогает почти теперь! Теперь надо другое: тоску унять, день оправдать... И ещё помогает простецкое, когда-то услышанное: «Не спи на закат». Бытует эта примета в народе. И в старости её относишь не только к дню, но и к жизни вообще...

Перед окном сойка клюёт красное, крупное яблоко. И по сторонам посма тривает, головой дёргая: не помешал бы кто. Как и мы, грешные...

И вдруг улетает без всякой вроде бы причины. А наелась. Наклевалась то есть...

Всегда спешил закончить любое почти дело — чтобы потом что? А писать или хотя бы думать об этом. Или окружающее созерцать бездумно. Хотя и тут прорывается что-то от работы: гул, слово, картинка... Пробовал бросить писать уже и по возрасту, но не смог пока. Куда деть себя, не знаешь...

Нужна медленная, пристальная жизнь с чувством любви ко всем и ко всему. Мне, во всяком случае, и в моём возрасте. А недавно встретилось где-то в тексте: «Медленное бытие». Мощная какая желанию моему поддержка.

А ещё потом разглядел вдруг, что так, медленно и пристально, живёт невестка Алёна, стилист-модельер, давний приятель Антон, художник, чудесная наша соседка Наташа. Думаю, что и с любовью у них всё хорошо. Если любишь, то и спешить некуда.

Только что написал это, курю у открытого окна. Жена, человек очень торопливый, подошла.

— Еду в город, с приятельницей погуляем не спеша. Я не могу больше торопливо жить. Хочу жить размеренно.

Хотите верьте, хотите, нет.

«Бог есть любовь». Апостол Иоанн. Главное в христианстве, близко и понятно. А если: «Любовь есть Бог?» Ещё ближе и понятнее.

Осенью столетний юбилей Александра Зиновьева, автора широко известного романа «Зияющие высоты». По мощи и разносторонности уникальный был человек: учёный, писатель, художник. А, главное, социолог, борец за справедливость социальную. Вот тут-то, думая о нём, я и загнулся. Евангельская притча о виноградарях вспомнилась вдруг. Одни работали 12 часов, как и назначено было, а другие, опаздывавшие, всё меньше и меньше, вплоть до одного всего часа. А оплату получили все одинаковую. И смысл тот, что это хорошо, правильно. Так где же справедливость? А человек выше справедливости, единственный ответ. Сказал же Христос, что «человек выше субботы», то есть правил. Вот и о справедливости можно думать так.

Собрались мы — я, жена и правнучка Анюта восьмилетняя — сходить на наш, рукой подать, пруд. Я замешкался и отстал сильно. Подхожу и издалека ещё странную вижу картину: жена и Анюта на плотине в окружении непонятных каких-то ползающих существ величиной с кошку. И никак не могу сообразить: кто же это? С глазами что-то или вообще «глюки»? Оказалось, что утки молодые вышли из воды на плотину и угощаются Анютиным хлебом.

А на следующий день ещё одно чудо природное, которое наблюдали мы в расширенном уже составе. Речные чайки, обычные на пруду — две в этот раз — кружили над водой, время от времени складывали крылья и падали стремительно в воду, как чайки морские, снова и снова. Добычи было не разглядеть, но она была, конечно.

Впервые, как и с утками, такое увиделось, за 55 лет наблюдений регулярных. Такой, стало быть, нужен был срок, чтобы такого изменения в повадках уток и чаек дожидаться.

«Работа и любовь» — из рекламного плаката, выпущенного когда-то Калужским бюро пропаганды художественной литературы для моих выступлений. Вспомнил вдруг и подумал, что заголовок очень неплох, я бы и сейчас от него не отказался.

Удивительное было дело эти выступления, по разбросу качественному и количеству аудитории, и местам проведения. То десяток доярок на скотном

дворе, на соломе сидящих, то обнинские умники-учёные в НИИ, то сотни рабочих в цеху. То милиция, то школа, то больница...

Интересно было очень и очень нелегко. Для меня, во всяком случае.

Платили за это хорошо, и можно было подумать: какая халява! Нет, решительно нет, если не «голое» выступление бывало, а разговор в конце концов получался. Суть писательства именно в разговоре состоит. Или через книгу — или даже вот так, живём.

Посмотрел сериал о Маяковском. Маяковский уж такой идеальный красавец, что кажется не живым, а на компьютере сделанным. Лиля же его дурнушка почти, но жизни в ней через край. И обольстительность такая бесовская, что серой отдаёт. И всё ведь в конце концов выиграла, и при жизни его, и после смерти даже...

Смотрел и вспоминал свою увлечённость Маяковским в юности. Стихи его вспоминались, и оказалось их поразительно много, сам не ожидал. Годам к семнадцати он от меня ушёл, и как дверь захлопнулась. Не читал и не вспоминал почти. А поэт-то великий, ясно так представлялось, просматривая сериал. Но для молодых, для бунтарски настроенных, вообще для слома эпох. Трудно представить человека, для которого Маяковский был бы любимым поэтом всю жизнь, как Пушкин для очень многих. Да, кстати, и вспомнилось кое-что у него о Пушкине. За точность не ручаюсь. «Я бы даже яблом подсюсюкнул, чтобы быть приятней Вам». «Вот уж и рассвет лучица выкатил, как бы милиционер разыскивать не стал. На Тверском бульваре очень к Вам привыкли, дайте подсажу на пьедестал». «Нам стоять почти что рядом: Вы на П, а я на М».

И ведь угадал! Стоят, и хорошо стоят...

В газете «Культура» есть интервью с одним из наших космонавтов. Спросили, что он думает о возможности внеземных цивилизаций. Ответил, что если они и есть, то с нами, теперешними, и связываться не будут. Подождут, как всё дальше пойдёт и чем кончится. Истинно так.

В юморе есть нечто божественное, как в единственной возможности подняться над собой и миром. И на всё, хоть на мгновение, сверху посмотреть. То ли весело, то ли насмешливо, то ли горько. Или со смесью этого, скорей всего...

И спал долго на редкость, и кошмаров не снилось, и утро в окне чудеснейшее после дождей. И даже мысль первая приятна была, о лучших для меня рассказах о любви в русской литературе: «Даме с собачкой» Чехова и «Солнечном ударе» Бунина. Подумал вдруг, что хорошо бы три иметь для порядка, как в пословице: «Бог троицу любит». И он «выскочил» тут же, третий рассказ: «Слепцы» Соколова-Микитова. Собственно, о любви там совсем немного, но какая глубина бездонная...

Перечитал «Слепцов» и другое многое. Совершенно чудесный писатель. И дружба его с Твардовским тоже чудо. Говорится, браки совершаются

на небесах, но и дружба, может быть, тоже. Вот эта — пример одной из них. Редчайшее совпадение личностей и объективных обстоятельств.

Только что прочитал последнее из написанного (продиктованного из-за слепоты) Соколовым-Микитовым: «Желание смерти: «Хочу домой»». Как у ребёнка: спать, спать, спать... И ничего-то, ничего страшного в самой смерти нет, когда «уходят домой...».

Прочитал и вспомнил рассказанное о смерти, недавней сравнительно, прекрасного поэта Юрия Кузнецова. Перед самым выходом из дома утром на работу он сел вдруг в кресло. Жена: «Что ты, Юра?» Сказал: «Домой». И умер.

В 17-м году прошлого века Россия поднимала весь мир на борьбу эксплуатируемых классов с эксплуататорами. В 22-м году текущего века поднимает эксплуатируемые страны на борьбу со странами-эксплуататорами. Вот суть происходящего сейчас в мире. Особенно на форуме «Россия — Африка» это видно стало.

По-народному годам к пятидесяти, детей накопив и внуков дождавшись, супруги перестают понимать друг друга, как мужа и жену — а понимают уже, как отца и мать. Так друг друга и называют. Но это когда-то, а теперь уже такого не услышишь. И вдруг один знакомый, прекрасный врач и самобытнейший человек, мой примерно ровесник, назвал в разговоре свою жену «мамкой». Прекрасно, но это другое уже, от возраста идёт, от заботливости и любви давней и вдруг уцелевшей.

Вот и моя жена недавно сказала по какому-то поводу: «Не могу же я оставить тебя некормленным?» Добавлю в пояснение, что никаких признаков беспомощности у меня пока нет.

Все мы грешны, и искушают нас слуги дьявола: бесы, черти, чертенята. А вот великих грешников искушает сам дьявол, скорей всего, достойную выбрав жертву, на слабостях её, зависти и ревности, сыграв. Потому и удержаться от великого греха почти не в силах такому человеку. Не волен он в самом себе, в руки дьявола попав. Но ведь может, согрешив, и спасённым, прощённым быть, если покается искренне. И даже святым стать, великое же пройдя покаяние. Показано такое в романе Томаса Манна «Избранник». Путь, самый для человека трудный: от избранника дьявола до избранника Бога.

Есть устойчивые словесные сочетания, формулы такие образные, которые не сразу и поймёшь. «Говорит на голубом глазу», — то есть врёт беззастенчиво. «Не ловись на басах», — то есть не поддавайся внешнему, весомо-солидному впечатлению, за которым или ложь, или пустота. Кстати, первое и второе — об одном и том же почти.

В советские времена вера в Бога часто бывала прикрытой. И сознательно, и бессознательно даже, но всё-таки прорывалась иногда.

Соколов-Микитов: «Никогда не должно быть пусто и праздно сердце. Это самый большой грех». А что такое «пустое сердце»? Отсутствие любви, способности любить. Вот это и понимал, как самый большой грех, Соколов-Микитов, совершенно по-христиански.

Твардовский, из письма тому же Соколову-Микитову: «Он, лукавый, только и ждёт, чтобы мы опустили руки». Что ж, кто верит в «лукавого» — тот верит и в Бога неизбежно.

Всё пишешь в старости глубокой. Кому, зачем? А отметить, чтобы не забывали, что ты есть на свете. Ну и самому себе напомнить, что ты живой ещё вполне...

Сколько ни сижу перед окном, за столом рабочим — сосну средних размеров рядом совсем вижу, а подалее тоже сосны. И верхушки огромных тополей за ними. И чем-то они близки-близки и душе, и телу.

Сегодня солнце, ветер сильный, и листва тополей дрожит, мерцает дробно, рассыпчато. Как мурашки по спине, мелькает вдруг. А стволы сосен, как тело человеческое, загорелое...

Август. Всегда ход времени притормаживает в эту пору, в задумчивости словно бы. А вокруг семена, плоды, корнеплоды... Завершение годового цикла. И лёгкая, прозрачная печаль. Печаль достижения цели.

Чем душе заниматься в раю, если случится туда попасть? Вечность ведь впереди, не шутка! Одно нашёл — текст сочинять. Но без трудности и тяжести, как в этой жизни, а легко, свободно, упоительно. Гениальный такой текст. Во сне такое бывало, но проснёшься — и нет его, текста, и не вспомнить никак.

И ещё одно занятие представилось недавно, когда в нашем сквере у игровой детской площадки сидел. На детей играющих вечно можно смотреть. Так показалось...

Пью коньяк «Коктебель» перед сном, как в постель ложиться. Для сна, «ночной колпак», так это называют. Коньяк такой, что проглатывать жалко. И вдруг вспоминаю рассказанное недавно. Старушка древняя за столом впервые в жизни стопку коньяка выпила. И закуску тут же ей кто-то протянул. А она: «Нет-нет, батюшка, пускай погорит ещё...» Вспомнил, и стала мне на мгновение та старушка неведомая как старый товарищ...

Поразительна уникальность всего: и листа древесного, и дерева каждого, и походки человека, и взгляда на мир философского. И твой собственный посильный взгляд уникален, конечно.

Читаешь философов крупнейших: тот малопонятен, тот занудливо скушен, тот даже противен чем-то... И вдруг понятно всё, ясно, живо. Вот он, твой. А ведь все классики, все в одном ряду стоят.

Бывало, стоишь у гроба близкого человека, холодный и пустой. И странно это, и жутковато даже. Так вот ты, значит, какой! А потом, когда-нибудь, в месте самом неподходящем и времени, всё вдруг и почувствуешь. И хоть плачь...

Мысли большей частью мелкие в голове, случайные, как водоворот в мусорной воде. И вдруг обрываются, бездумьем сменяясь. Но нет, не бездумье это, а одна какая-то мысль, всегда всё та же, большая и бессловесная. И думает её не одна голова, а всё твоё существо. О чём она, не понять, не высказать. Догадаться лишь попробовать можно. О том, что всё связано со всем, и ты частица мельчайшая во всеобщей этой связи. И плывёшь, плывёшь вместе со всеми в хорошую, нужную какую-то сторону. Чудесные такие бывают минуты, случались бы почаще...

Тяжёлый час, минута тяжёлая, нестерпимая... Тут главное действий резких и непоправимых не совершать. Зубы стиснуть, Бога вспомнить. Вспоминаются люди, руки на себя наложившие: не перетерпели они той минуты, не смогли. Грех, но не такой же, чтоб и на кладбище их нельзя было хоронить? А как же милосердие Божие бесконечное?

Смысл жизни в увеличении в себе любви и приближении этим к Богу.

Посмотрел на днях по ТВ беседу политолога Дмитрия Саймса с философом Александром Дугиным. До чего хороши! Умны, говорят прекрасно, точно, ярко. О делах на Украине, конечно. Но и в историю удаляются до Римской аж империи, до войн мировых обоих. И прогноз у них для России благоприятный. Добьётся своего она, потому что на кону само её существование стоит.

Хороши собеседники, судьбы народов и государств видят в прошлом, и в будущем их прозревают. И подумал я вдруг, что есть и другие провидцы, незаметные почти поначалу. Фрейд, например, с его ранней, уж такой простенькой по заголовку работой: «Психопатология обыденной жизни». Целый мир огромный человеческий он в ней приоткрывать начал, мир подсознательного и бессознательного. И почти религию в конце концов создал, «фрейдизмом» именуемую. Вот тебе и «обыденная жизнь», вот тебе и оговорки, и описки...

И ещё пример. Человеком, наиболее повлиявшим на ход истории в 20 веке, американцы признали Генри Форда своего. По очень простой и важнейшей одновременно причине. Он доказал, что создавать хорошие условия для рабочих (зарплата, школы, больницы, жильё и т.д.), в конечном счёте выгоднее, чем держать их в «чёрном теле». Рост производительности труда перекрывал с лихвой все издержки. Как ни возмущались конкуренты Фордом-еретиком — но были в конце концов вынуждены последовать его примеру.

И ещё один важнейший результат поворот этот имел: уводил США и Европу с пути, по которому пошла Россия в 17-м году прошлого века.

Другие по живому следу
 Пройдут твой путь за пядью пядь,
 Но поражения от победы
 Ты сам не должен отличать.
 Но должен ни единой долькой
 Не отступаться от лица,
 А быть живым, живым и только,
 Живым и только — до конца.

Две последние строфы стихотворения Пастернака «Быть знаменитым некрасиво». Поразительно, что они, строфы эти, поддерживают и укрепляют меня в трудные минуты. Чуть не полсотни уже лет. Первая в работе писательской, а вторая в жизни вообще. Остальное же в стихотворении трогает мало.

И ещё нечто похожее со стихотворением Заболоцкого «В этой роще берёзовой...». Оно всё прекрасное, но особенно близки лишь строки: «Спой мне, иволга, песню пустынную, песню жизни моей». А в них одно лишь, главное для меня, слово: «пустынную».

Какая тончайшая, поразительная избирательность! Да и у многих так, скорей всего. Не только в поэзии, но и во всём. В этом и чудо, и дар, и бремя...

Человек умирает душевно и духовно, когда начинает лгать самому себе. Тогда же умирает и творчество его, если оно было. Поэтому искренность — первая и главная основа личности человека вообще и творца в частности.

Читаю кое-что из Библии, перечитываю в основном. И вот книга Иова, спор Бога с сатаной. Крепость веры Иова Бог сатане показывал. Всё отнял у него: детей, богатство, здоровье. И сидел Иов на гноище, весь в язвах. И всё равно Бога славил. Выиграл Бог спор, а Иову за верность всё вернул. Только вот дети, которые у Иова родились, были другие уже. И это нехорошо. Да и сам Иов в споре роль карты такой игральной исполнил. И это тоже нехорошо. А искушение Авраама Богом и того хуже, ужасно просто: сына любимого тот принести готов был в жертву, собственной рукой убить! А как же заповедь, самим же Богом данная: «Не убий»?

Эти и им подобные вопросы возникают при чтении Библии неизбежно. А ответов на них не находится. Или находится один и тот же: «А ты не спрашивай, а просто верь. На то она и вера». Так-то оно так, только зыбко от этого становится в душе и зябко...

Написал я всю эту «кашу» мучительную, курю у окна — и вдруг Никита, герой рассказа Толстого «Хозяин и работник», вспомнился. Замерзает, умирает Никита смиренно и о грехах своих думает. И что-то там близкое моей мысленной «каше» есть. Посмотрел в тексте рассказа. «Грехи? Известно, грехи. Да что же, разве я сам их на себя напустил? Таким, видно, меня Бог сделал. Ну и грехи! Куда ж денешься?»

Вот это Никитино рассуждение потому, видно, и запомнилось, что к себе его невольно примеряешь. И представляется оно вполне резонным, на первый взгляд. А на второй, прямо наоборот. Это же все свои грехи на Бога свалить можно...

Но в конце концов понял-сообразил так: все мои вопросы к Ветхому завету относятся, а в Новом завете, в Евангелии, они разрешаются или просто снимаются словами Христа: «Новый завет даю вам: да любите друг друга». И словами любимого ученика Христа апостола Иоанна: «Бог есть любовь».

А Ветхий завет надо читать осторожно и помнить, что живём мы, христиане, по Завету Новому.

Ледяная ночь, мистраль, он ещё не стих.
 Вижу в окнах блеск и даль гор, холмов нагих.
 Золотой недвижный свет до постели лёг.
 Никого в подлунной нет, только я да Бог.
 Знает только Он мою мёртвую печаль,
 Ту, что я от всех таю: холод, блеск, мистраль...

Одно из любимых мною стихотворений Бунина. Но уж очень оно тяжёлое, мрачное, безысходное. Всегда так думал-чувствовал. И вдруг на днях что-то как перещёлкнулось во мне, светом осветилось. Какой мрак, какая безысходность?! Бог рядом с поэтом — и знает о нём всё!

Трудный был текущий год: четыре операции, одна из них тяжёлая, чуть концы не отдал. После неё уже был момент: всё, ничего не хочу, во тьму хочу, там лучше, легче... Ирина вдруг представилась, да молодая совсем, но с лицом скорбным каким-то. И что-то переключилось: нет, надо ещё побыть...

И во весь этот год замена, сначала даже и незаметная, во мне произошла. Молиться стал всё меньше, а о любви, в христианском смысле, ко всем и ко всему, думать всё чаще. И чувствовать её одновременно. Любовь-то и всегда была, но тут она молитву стала вытеснять, что меня и смутило. Попробовал остановить это, но нет, закашивает к любви. Да явственно так! Молишься Богу — и пусто внутри. А вспомнишь-представишь любовь — всё оживает.

Так оно и шло, пока я вдруг в главных для меня словах апостола Иоанна «Бог есть любовь» слова не переставил, поставив любовь вперёд. И как-то для меня всё прояснилось и облегчилось. И даже разговор с Богом представился, в котором я всё это объяснил. И сомнение, и смущение своё высказал. А Он как бы и ответил: «Не смущайся, чадо. Если тебе так лучше, то и ладно».

А потом вспомнилось в подкрепление и поддержку давно знакомое: «Любовь, что движет солнце и светила». Данте, конец «Божественной комедии». «Вечная женственность тянет нас ввысь». Гёте, конец Фауста. «И море, и Гомер, всё движется любовью...» Мандельштам: «Бессонница, Гомер, тугие паруса...».

И ещё. Молился я до этой перемены слов, обращаясь всегда к Богу-Отцу, Творцу и Вседержителю — но понять, почувствовать Его никак не мог. Да и знал что-то о Нём лишь из Ветхого Завета. Но мы-то, христиане, молиться должны прежде всего Христу, а заповедь Его главная и первая: «Да любите друг друга». В ней всё. А у апостола Павла даже так: «Если веру имеешь такую, что горы можешь передвигать, а любви не имеешь, то ты ничто».

У птицы есть гнездо, у зверя есть нора.
 Как горько было сердцу молодому,
 Когда я уходил с отцовского двора,
 Сказать «прости» родному дому!
 У зверя есть нора, у птицы есть гнездо,
 Как бьётся сердце горестно и громко,
 Когда вхожу, крестясь, в чужой наёмный дом
 С своей, уж ветхою, котомкой!

Вспоминается это стихотворение бунинское много лет, время от времени. А на днях узнаю, что английские учёные открыли: люди, живущие в своих домах, живут дольше людей, живущих в домах наёмных.

Порадовался вскользь этому открытию и вдруг подумал: «Так это дома, а если взять в том же смысле родину и чужбину?» Не по себе даже стало, и дантовское вспомнилось: «Горек чужой хлеб и круты чужие лестницы».

Лет тридцать назад спросил я за рюмкой профессора Литинститута, доктора филологии: «Ты веришь в любовь?» Он вздрогнул изумлённо и расхохотался. Ну и я посмеялся, осознав дикость вопроса.

А теперь вот понимаю, что вопрос-то для меня важнейшим был. Оказалось, что в неё-то я и способен действительно верить, а потом уж в Бога, имея в виду слова апостола Иоанна: «Бог есть любовь».

Ещё вспомнилось: опять сидим с тем же профессором, и опять за рюмкой. И опять я спросил его, для самого себя неожиданно и прямо в лоб: «Ты в Бога веришь?» Он помолчал и спокойно ответил: «Я верю в интуицию Пушкина».

Ответ меня восхитил и неожиданностью, и полной для меня вдруг понятностью. И я ведь верю в интуицию Пушкина, именно в неё, как ни во что другое. После любви, конечно...

Высшее и самое глубокое определение сущности человека: человек это — или не человек. И в народе так бытует: «Это человек!»

Был у меня когда-то давно замысел, который я называл про себя «любовь колёс». Точнее, шестерёнок, которые зубцами заходят друг в друга и крутятся. Но так и не написал, дико уж очень показалось. А теперь вспомнил и пожалел. Можно было хотя бы попробовать. Даже закон всемирного тяготения, главный, может быть, закон Вселенной, вспомнился. Он ведь тоже любовь напоминает. Всё в мире тяготеет друг к другу, подумать только! Яблоко на ветке тянется к Земле, но ведь и Земля — к яблоку. И сливаются они в конце концов как в объятиях...

Несколько последних лет ставил жёлтые листья кленовые в вазу, и хорошо они менялись день ото дня. Изгибались медленно, замысловато — и наконец замирали. Получалось нечто вроде памятника самим же себе, бронзового такого.

А в этом году вдруг просто на подоконник их положил в ряд, один к одному. Приятно выглядели. Потом вижу: оживать словно бы начали и привставать, пока не застыли. И в этой застылости порыв вверх обозначился явно. В букете, в вазе то есть, такое смазывалось, не замечалось, а на подоконнике просто в глаза било: вверх и вверх!

Ольга Шилова

Ольга Васильевна Шилова родилась в 1960 году в г. Мещовске Калужской области. Окончила библиотечное отделение Калужского культурно-просветительного училища. Работала художником-оформителем в различных организациях, художником-постановщиком народного театра. Сейчас—журналист районной газеты. Автор четырёх книг стихотворений, публикаций в журналах «Новый мир», «Дружба народов», «Сибирские огни», «Фома», «Человек на Земле», антологии «Молитвы русских поэтов» и других изданиях. Лауреат всероссийской премии им. В. Прокошина и областной премии имени М. Цветаевой. Член Союза российских писателей.



НЕСИ МЕНЯ, ТЕКУЩЕЕ МГНОВЕНЬЕ...

* * *

Вот и нет зимы почти.
Солнце лакомится снегом.
И на всём моём пути —
быстрым шагом, лёгким бегом —

под ещё не ломким льдом
речка движет свои воды.
Уж вдали родимый дом —
но родима и природа.

Что ей? Скоро скинет лёд,
рыбок выпустит из плена,
к лету ряской зацветёт
и рогозом неизменно.

Загустеют берега
остролистою осокой
и окрестные луга —
мне до плеч — травой высокой.

По мгновениям — вперёд
мчится время быстротечно.
День-другой — и лопнет лёд —
тая тихо и беспечно...

* * *

Когда разгуляется сонный апрель,
омоется в лужах, ручьях,
и жаворонка залихватская трель
вовсю зазвенит на лугах —

мы выйдем из дома навстречу всему —
что встретится нам на пути.
О, эта отрада душе и уму —
по хоженным тропам брести!

И видеть двух цапель в сухих камышах,
и пару влюблённых лягух,
и кротких овечек на вольных лугах,
и суетных пчёл и мух.

О, как событийна природа весной!
О, сколько таит новизны!
И это ль не радость — войти в мир цветной
из строгой, былой белизны?

* * *

Проклюнется строкой стихотворенья...
Уж сколько их проклюнулось—не счесть!
Неси меня, текущее мгновенье,
о жизни подавай любую весть,

которую я вмиг переиначу:
нездешними чертами наделю
и мифологизирую. В придачу —
как бабочку на рифму наколю.

Кругом весны знакомые приметы...
Вот-вот и доживём до соловья...
И строки растолкуют всё об этом —
первопроходцы инобытия.

* * *

По берегам калужница цветёт,
рогозники колеблются сухие,
и пчёлы собирают первый мёд,
с украсивших ольховники нагие,

серёжек красноватых... В вышине —
высококрылых жаворонков пенье...
По-тютчевски—легко и вольно мне...
Я вся восторг, покой и умиленье...

* * *

Глянешь издалека—лес загустел листвою.
Выровнялись луга бархатною травой.

А подойдёшь—вблизи—листья кувшинок и
лилий—в ладонь руки—стелятся вдоль реки.

Как хороша земля в поздние дни весны!
Как—всё начав с нуля—млеет от новизны!

Глянет с небес Творец: «Ух, и красавица!
Но—кто же под венец—с нею отправится?»

* * *

Кузнечиков в лугах—бесперебойный хор,
и—стайками—клубничные поляны.
И в зарослях малины спелой—косогор,
и травы опьяняюще-духмяны.

А к вечеру вода—парное молоко
в реке. Плывёшь вблизи горсада...
И снизу—глубоко, и сверху—высоко,
и широка полоска у заката.

* * *

Из семечка—что выплонула Ева —
с огрызком уплетая первоплод —
разросся на единую потребу
роскошный сад—и он же огород!

И вот уж переполнены корзины
и яблоком, и свежим огурцом...
О многом я у Бога не просила,
и телом не потела, и лицом.

У яблоней в крови свои законы:
цвети и плодоносить через год.
И тыквы, и «тарелки»-патиссоны
ни дня не доставляли мне хлопот.

Им нянькою—весёлая погодка!
И солнце, и дожди—ну чем не рай?
Я к чаю испекла себе шарлотку,
в ней яблочной начинки—через край.

Поклон тебе земной, праматерь Ева,
за дивные кругом меня сады!
Респект, Адам, признательность—forever!
Мы с тыблоком теперь—любим—на «ты»!

* * *

Ночные прогулки по городу спящему.
Начало июля. Кузнечиков звон.
Всё в жизни моей было по-настоящему.
А глянешь назад—не приснился ли сон?

В глухом переулке по крупному гравию
с трудом колесишь—и упрёшься в тупик.
Придумать бы Жизни какое название?
Но если придумывать—то каждый миг —

другое. Поскольку—
в калейдоскопичности —

её непредвидимая Новизна.
Ни в чём нет застывшей, как воск,
историчности.

Вон—в омуте неба сверкнула блесна!—
и чувство живое летит за наживкою!—
и этим полётам не будет конца—
как облачным конницам, сплетшимся
гривками,

что нам обещают к утру дождеца.
Куда я лечу? Впереди не видать ни зги!
У слившихся коней глазницы пусты.
Очнёшься однажды—что было—всё
вдребезги!
А ты—цел-целёхонек! Вечен бо ты.

* * *

Виды выдавшие ноги мои,
велосипеда колёса!
Всё бы скитались вы где-то вдали
от удушающей прозы.

О, как чудесен природы обряд!
Боже, я—обрядоверка!
Как эти воды и звёзды бодрят,
вспыхивают фейерверком!

Доколесим до огромной луны—
в небе повисшей так низко.
Как всё же страшно мне от новизны,
ежемгновенного риска...

Дух Твой—се ветер, а парус—душа.
Чуткий—его напрягаю.
Как эта ночь и тепла и свежа.
То колешу—то шагаю.

* * *

Выходишь—охотница за строкой—
в открытое Мирозданье.
Стоишь в суперлуние над рекой,
и с нею лишь ждёшь свиданья.

Повсюду тревожаще-бледный свет,
не дремлют под ним поляны.
И вырисован надо мной портрет
богини ночной Дианы.

О, как её взор отбирает сон,
внутри будоражит влагу!
Кругом первоавгустовский трезвон
кузнечиков по оврагам.

Богине надменной Земля к лицу.
Поэту прилично бденье.
И строки навстречу бегут ловцу,
не ведая принужденья.

* * *

Здесь катятся волны, гудят шмели,
и воздух стригут стрижи,
и утицы кормятся на мели,
и греют тела ужи...

А я? Что здесь делаю среди них—
глядящая вверх и вдаль?
Ах, да: сочиняю вот этот стих,
из сердца гоню печаль...

Тяну свои руки привычно ввысь—
(так лечатся позвонки)
и молча твержу себе: улыбнись!
Пусть губ твоих уголки

во всякое время стремятся вверх
без всяких на то причин!
Ещё культивируй почаще смех
в пучине своих кручин!

Естественной радости час придёт!—
себе на пути твержу.
И птице завидую, что поёт,
и бабочке, и ужу...

* * *

Душа некоторым образом
обнимает всё существующее.

Аристотель

Когда я вижу в небе стрижа,
и томик открываю Басё —
я слишком понимаю: душа
есть некоторым образом — всё:

и дымчатая в небе вуаль,
и в парке золотые листья,
и степи необъятная даль,
и свет уже погасшей звезды...

...Есть некоторым образом — всё —
что создали Гомер и Шекспир,
живописали Мунк, Пикассо,
и выразил Шопена клавир.

И гаммы, и слова, и туше —
примериваемые в душе —
есть некоторым образом — всё —
Но в хокку облачился Басё,

и, в пробах — за эскизом эскиз —
свой «Танец» разглядел вдруг Матисс.
А бездны прозревающий Дант —
примерил на себя рай и ад.

И всё же — что такое душа?
И если она всё и во всём —
то в Вечность что с собой унесём?
Себя ли, малыша-голыша?

* * *

Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик...

Ф. Тютчев

Природа — Сфинкс.
Он же

...И не надо событий иных,
осознавшей Событием Жизнь.
Я на грани держусь двух отчизн,
и довольно мне стеблей сухих
дикорослых, некошенных трав
и февральских снегов белизны.

Но — конька своего оседлав —
тотчас чувствую всплеск новизны
в каждом миге... О, как разнолик —
этот — в Вечности длящийся миг!..

...И уже — на Поэзии дух —
мир земной отозвался — и вдруг —
в одночасье метнулся ко мне
в жажде выговориться вполне!

...Так, лишь солнца пригреют лучи —
в реку с горок несутся ручьи!
Вперехлёт — и журча, и звеня —
полня паводок день ото дня...

...Я захлёбываюсь, я тону,
я заглатываю всё подряд...
Но не втиснуть мне в строчку одну
всё, что хором они мне вопят —
одичавшие от немоты —
эти травы... деревья... кусты...

Я глаза замыкаю и слух,
обострённый на запахи нюх...
Ускользаю от этой беды
в добытийственный Мрак Пустоты...

...О блаженство! Свобода... покой!
День творенья ещё не второй
и не третий... всё носится Дух
над водою... лишь Бездна вокруг...
...Вот от тьмы отделяется свет...
Над землёй разгорается шар...
В день шестой сотворён был Поэт,
получив стихотворчества дар...

...С той поры — хоть в луга не ходи,
грибы-ягоды в лес собирать:
ибо, что ни окликнет в пути —
в ту же дудочку будет играть —
красотою маня и пленя —
умоляя: «О д у х о т в о р и...
сотворённого Словом — меня —
за меня — меня п р о г о в о р и...»

...Но как скуден язык мой, как слаб!
Неподатлив—хоть смейся, хоть плачь!
Счастье мне—что поэт—не толмач,
не транслятор природы, не раб!

Всё—о чём я природе шепчу:
стихотворствовать мне помогай.
Но—любому из нас—рифмачу—
не с к а з а н н о с т ь ю рот затыкай.

* * *

Совы царствуют в ночи.
Царственные совы!
Огонёк горит свечи,
на дверях засовы.

Смолкла жизни беготня—
суета всечасна.
Ночь таинственнее дня—
оттого прекрасна!

Даже музыка звучит
неземным мажором—
когда лунный свет сочи-
тся в проёмы шторы...

Их расширишь—светлота!
И свечи не надо!

Звёзды яркие блиста-
ют! Душе—отрада!

Спите жаворонки, спи-
те... Так долги ночи!
И до мая не скорби-
те—что дни короче...

* * *

Запоминай: лиловый георгин
и в тон ему—ромашки-сентябрины.
И гроздья горько-жаркие рябин,
что вспыхнули к рождению Марины.

Ещё наголодается твой взор,
и потому вбирай прощально-страстно—
берёзы—обнищавший—но убор,
и клёна, что ветшает ежечасно.

Благословляй, спешащих до снегов—
покинуть край насиженный, родимый—
и утиц у Туреи берегов—
и длинный клин над лугом журавлиный.

Но если не аукнется строкой
среди зимы всё это—и не надо.
Пусть неоглядно жизнь течёт рекой,
внимая листопаду, снегопаду...



Ольга Ерёмина

Ольга Александровна Ерёмина—поэт, прозаик. В 1987 году окончила школу № 5 города Калуги, затем факультет русского языка и литературы КГПИ им. Циолковского. Сейчас живёт в Москве. Исследователь творчества И. А. Ефремова, автор исторических романов. Лауреат АБС-премии (2017).

УГРА

*(Отрывок из романа-хроники «Белые кречеты»,
дилогия «Котёл Господень». В сокращении)*

Глава IV. Кол-звезда

6988 год от сотворения мира. (1480 год.)

Москва, Боровская дорога, берег Угры, Кириллова обитель

Восток ещё не розовел, а на Коломну уже скакал вестник. Начинаем то, что задумано.

Первое: князю Холмскому с верным владимирским полком и частью Двора спешно идти на Угру — через Боровск, Кременец и Медынь. От Серпухова и Алексина к Калуге выходят полки Ивана Молодого и Андрея Меньшого.

Второе: из Коломны на Сарай Волгою отправится Василий Иванович Ноздроватый, князь Звенигородский, с двумя сотнями, и Нур-Девлет верхом со своими нукерами. Подле Сары-тау им встретиться. Пчела ужалит вовремя.

Третье: всем полкам, оставляя сторожи на Берегу, двигаться к Боровску.

Было и четвёртое: инока Марфа отправила своего дворецкого Александра в Великие Луки, к сыновьям: сыны милые, забудьте распри, спешите к Калуге — грядёт великая битва за землю Русскую.

На выходе из Боровска, в перерыве между дождями, Холмский с Маркелом объезжал своё войско: впереди Двор, за ним телеги с тюфяками и пищалями, пушкари во главе с муролем, затем владимирцы. В хвосте воевода заметил некий отряд, державшийся на небольшом расстоянии.

Пустив коней намётом, Холмский и Маркел поскакали к остановившейся коннице.

Во главе отряда пылала рыжая борода: всадников вёл Иван Руно.

Воевода от неожиданности натянул поводья. Послушный жеребец встал, как лист перед травой.

— Иван?

— Не Иван я отныне! Атаман Руно! — ощерился Иван, положила руку на саблю. — Вот мои орлы!

Орлы были как на подбор — вооружённые до зубов, на крепких степных лошадях. Воевода прикинул: пять десятков! Да ещё один: на соловом коньке красовался Ивашка Найдёныш.

— Откуда?!

— Товарищи мои пословны. Я позвал! Против татар — в охотку вместе пойдём.

Холмский приподнялся на стременах:

— Братья! Благослови вас Господь. Встанем против супостатов.

— Встанем! — зычно отозвались молодцы.

В последних числах сентября полки Холмского вышли к Угре. На правом её берегу лежали уже земли Великого княжества Литовского. Ступить туда — значило перейти границу, начать войну с Литвой. Тут-то и пригодились всадники Руно: вольные люди, они переплывали Угру, скакали до Перемышля и далее, вести несли: идут! Всея ордой валят — конца-краю не видно.

Холмский послал гонцов к Ивану Молодому и Андрею Меньшому — дабы поспешали. Двадцатидвухлетний наследник и его двадцативосьмилетний дядя торопились — прибыли наконец, стали близ речки Вепрь, что впадает в Угру против города Залидова, принадлежащего князю Воротынскому. Холмский как набольший обозначил каждому полку место — от устья Угры до Товарковой слободы на речке Шане. Разведали броды. Подле них поставили пищальников и пушкарей — ясно было, что у людей воротынских татары броды знают, в омуты соваться не будут. Здесь и надо ждать нападения.

Левый берег низок, пойма велика. За ивняком не углядишь, куда мчатся татары, где напасть собираются. Валили сосны — каждые пять вёрст в лугах от устья Угры до речки Шани ставили вышки, готовили хворост, сырые ветки и солому, чтобы знаки дымом подать.

Стучали топоры.

Воины обустривали станы, засекали лесные пути. Готовили дрова для костров. Тоню учинили — рыбы на все полки хватило.

Дожди прекратились, земля подсохла.

— Не так-то легко тут переправиться, — вглядываясь в алые угли очага, говорил Холмский.

— Угра эта — хитрая речка, — подтвердил Руно. — Вроде отмели везде, и неглубока, но под берегами омуты, тащит.

— На Оке броды каменистые, — встрял Маркел. — А здесь один песок. Ногу ставишь — и затягивает, песком обметает.

— Хуже, чем в болоте, — поддакнул Ивашка Найдёныш. — Да ещё течение в бок толкает.

Отроки сдружились в пути и теперь почти не расставались.

— Такое нам на руку, — огладив бороду, усмехнулся атаман. — Ротмистр в Залидове грамоту от Казимира получил — открыть Ахмату город. Сегодня дымы пускали — знать, поджидают.

Глава V. Броды

6988 год от сотворения мира. (1480 год.)

Берег Угры

Русские заметили татар к полудню — подле устья речки Росвы, что круто падает в Угру с высокого берега. Маркел поднял свой лук, прицелился и, поморщившись, покачал головой:

— Нет проку стрелы пуцать. Тут сажений шестьдесят, не пробьёт.

Холмский глянул строго: брысь с берега! Маркел исчез.

Первый арбан (десяток) татар покрутился на жёлтой отмели, затопленной поднявшейся от дождей водой, и поскакал в гору.

Вскоре татары показались везде — от Городка до Залидова. Там, где берег был пологим, деловито разнуздывали коней, вели их на водопой.

Назавтра новые и новые джагуны (сотни) тут и там подходили к Угре.

Расставляли юрты, разводили костры.

— Больше двух туменов! — блестя глазами, быстро говорил Маркел. Ивашка Найдёныш судорожно сглатывал.

— Это вы плохо считали, парни, — отвечал Руно. — От Залидова до Шани ещё подошли. Всю реку обсели.

— Сказывают, самого царя видали! — тараторил Маркел.

— Ну уж и самого!.. — с показным сомнением произнёс Холмский. — А где?

— Прямо против брода! Версты три от шатров княжеских.

На закате под стягами князей Ивана Молодого и Андрея Меньшого собрался совет. Гонец принёс весть: войско великого князя только-только подходило к Боровску. Стало быть, четыре дня надо продержаться. Разрядили полки по всему берегу — от устья Угры до Шани — более тридцати вёрст. Против брода под Залидовом поставили кулак из всадников двора, костромских лучников и — главное — пищальников и пушкарей. Их спрятали за телегами, поваленными против брода на бок, чтобы татары не заметили тюфяков.

До времени не заметили.

В ночи голоса отдавались особенно гулко. Вся река, казалось, не спала: блеяли овцы, ржали кони, доносились выкрики татар.

К утру смолкло, русло обволокло туман. Слушали. За рекой почудилось движение, раздался конский топот, тихие приказы, зашлёпала, забулькала вода.

Вот оно.

Пращники разом поднялись из-за телег, залпом послали камни — на звук, в туман. Встали лучники — полетели стрелы.

Татары глухо вскрикивали, некоторые свешивались с коней, шлёпались в воду, но сзади напирали, переплывали стремнину и пытались выкарабкаться на отмель. Ноги коней застревали в текучем песке дна. Но вот уже первые татары выскочили из глубины на мелководье, потянулись к лукам.

Русские выбежали на берег, метали камни, посылали стрелы.

Предводитель первого джагуна выбрался на траву, конь вертелся, татарин искал глазами воеводу — сразиться. Иван Руно налетел на него, заставил отступить в вязкий песок. Схватка была короткой: отсечённая рука татарина упала в воду.

Натиск ослаб. Нападавшие разворачивались.

Река опустела.

Поднялось солнце, ветром сдёрнуло туман с воды — и открылся брод. Несколько тел лежали на отмели.

Наверху, на горе, строились новые джагуны, собирались в минганы. По сторонам брода, на полого поднимающихся над излучиной обрывах, встали татарские лучники, принялись обстреливать русских, не давая подняться в полный рост.

Лавой понеслись с горы джагуны.

Аристотель оглядел пушкарей и пищальников. У всех дымились фитили, все были сосредоточенны. Губы шептали молитву.

— Ждите! Цельте в гуцу! — обходя напряжённый ряд воинов, говорил княжий зодчий. Сердце его трепетало не меньше, чем тогда, когда он замыкал свод срединного купола собора.

Татары с ходу влетели в воду, не сбавляя скорости, подскакали к глубокому участку. Кони погрузились по грудь, поплыли, едва касаясь дна, и уже цеплялись копытами за отмель, пытаясь выбраться.

И грянул залп. Пищали и тюфяки бахнули почти одновременно. Татарские кони от испуга ржали, вставали на дыбы, бешено неслись вперёд, на русский берег, — дальше от страшного грохота. Возле леса на седоков набрасывались обозники.

Один из всадников, рубанув обозника, на всём скаку гнал мимо вышки к реке.

Маркел отодвинул Ивашку, расставил ноги, достал из колчана стрелу:

— Дай-ка!

За мгновение до того, как всадник поравнялся с вышкой, Маркел спустил тетиву. Стрела вонзилась в бок татарина, под правую поднятую руку. Бусурманин начал медленно сползать с седла.

— Где ты так стрелять наловчился?

— В степи.

У брода кипел бой.

Поднимались из-за телег костромичи-лучники, что белке в глаз попадут. Одну за другой пускали стрелы. Працники уже не метали камни — схватились за копья. Пищальники спешно заряжали своё оружие.

Но стекавшая с холма волна врагов не иссякла — казалось, она неостановима. Вот уже новые арбаны бросались в воду, переплывали стремнину. Бой кипел на берегу — татары, успевшие переплыть, выпустив несколько стрел, хватили сабли.

И вновь грохнул залп.

Теперь татары откатывались назад, ловили взбесившихся лошадей.

Пищальники отирали пот со лбов.

Товарищи омывали убитых, перевязывали раненых.

На правом берегу задымились костры — татары опять варили баранину.

За полдень с вышек стало видно: орда пришла в движение. Скакали целые минганы — кои вниз по течению, кои вверх.

Холмский послал Маркела и Ивашку вестниками на устье Угры: пусть готовятся стать против Городка. <...>

Третий день приступов начался, как предыдущий, — боями по всей реке. Лишь после полудня что-то изменилось: целый туман собрался против княжеских дворцов, на залидовском берегу, у самого широкого брода.

Холмский срочно послал на другие броды — чтобы отправляли подмогу. В запасе никого не оставалось.

Дождей не было уже давно, вода спадала, отмели обнажались. Это было на руку татарам.

— Ну, теперь держитесь! — объезжая плоский берег, говорил бойцам Данила Дмитриевич.

Пушки, отлитые Аристотелем в Москве, не подвели. Ни одну не разорвало. Порох был отменным. Каменных и железных ядер довольно: не зря толкали по грязи тяжело нагруженные телеги от самой Москвы. Рядом щерился Руно, рыжая борода его, выставленная вперёд, горела.

На холме над поймой показались бунчуки — царь вёл своё войско.

В тишине русские смотрели, как несётся конный поток, готовый смести всё на своём пути.

Всё — но только не реку.

Грохот пушек. Лай пищалей. Ловкий заход пращников. Залп из самострелов, укрытых по бокам от переправы, — не в лоб, а в бок, по лошадям. Сабли, сверкающие на берегу, и кровь, струящаяся в реку.

И ещё раз.

И ещё.

Татары лезли к опрокинутым телегам, меж которыми торчали жерла пушек. Если отбить тюфяки и пищали — русские не удержат переправу.

Сражение кипело на русском берегу. Руно метался подле пушек, отбиваясь от нападающих татар. Аристотель, отбросив дымящуюся пищаль-рушницу, схватил копьё, нацелился в грудь замахнувшегося нукера. Холмский рубился хладнокровно, думая лишь об одном — не сунулись бы в схватку Ивашка с Маркелом. Что-то их давно не видно.

Татары, скопившиеся на том берегу реки, опустили луки: выстрелишь — попадёшь в своих.

Вдруг дрогнули арбаны, уже ступившие в воды Угры, разворачивались прямо в реке, выбирались на правый берег: из дальнего леса намётом выскочили всадники — помчались к княжеским стягам. Во главе полка — удалой воевода князь Василий Михайлович Верейский.

— Подмога! — закричал Руно, бросился в воду, преследуя татар.

— Дождались! — выдохнул Холмский и, не выпуская саблю из руки, осенил себя крестом.

В пылу битвы не сразу заметили, как напоздла с полудня огромная туча. Налетел ветер, опажнул духом молодой травы. Туча захватила небо, поглотила солнце — и молния вспорола темноту. Гром прокатился по долине.

— Порох! Порох укрьть! — вскрикнул Аристотель.

— Господи, помилуй! — шептал Ивашка.

— Кабы не подмога, нам бы не выстоять, — всхлипывая, перекрикивая потоки воды, говорил Холмскому Маркел.

— Дяденька Руно! Это мы князя привели! — вытирая капли с лица, выкрикнул Ивашка. — А то бы не сдюжить против такой силищи!

Хан более не напирал. Татары поили коней, резали баранов, и в этом однообразии скрывалась опасность.

К Холмскому и Руно на берег подскакал князь Верейский.

— Андрей и Борис с братом замирились, от Великих Лук сюда идут. С верховьев, я чаю, будут.

Руно кивнул, прищурился.

— Совсем тихо. Не верю я царю, Данила Дмитрич.

— Что у нас там выше по течению, за речкой Шаней? — спросил Верейский.

— Там по обе руки берега крутые! — встрял всезнающий Маркел.

Холмский глянул на него укоризненно: не лезь поперёк батьки в пекло. Сам не спешил. Думал.

— Они могут подле Опакова сунуться, оттуда обойти. Андрея с Борисом от нас отрезать.

— То-то, — тихо сказал Руно. — Мы обрадовались подмоге, варезку раскрыли, а они нас в бок пырнут.

Верейский решил быстро:

— Я своих возьму. Они в бой рвутся, им огня не досталось.

— Добро, — кивнул Холмский.

— Василий Михайлович, — обернулся к Верейскому Руно. — Не откажи мне, с тобой заедин хочу.

Глава VI. Лествица

6988 год от сотворения мира. (1480 год.)

Берег Угры у Опакова

До ночи скакал полк Василия Михайловича Удалого до церкви Николы, что против литовского города Опакова. Путь ему показывали ребята атамана Руно, успевшие разведать все окрестности. Рядом с атаманом скакал Ивашка Найдёньш — не отставал.

Уже за полночь, в деревенских избах, улеглись, выставив сторожи. Руно повёл своих ребят на берег. Рассупонились, легли в темноте под соснами прямо против брода.

Когда рассвело, в деревню прискакала с берега всполошённая сторожа: татары лезут через Угру! Атаман со своей полусотней против тысячи стоит!

Василий Михайлович выбежал на двор, зычным голосом поднял всю деревню. Спешно одевались, хватали сабли, копыя. Слуги седлали коней. Белозерцы мчались на взгорье, перегораживали врагам дорогу. Копьями встречали смявших сторожу Руно татар. Завязалась сеча.

Джагуны втягивались в схватку, теряя натиск. Они не ожидали встретить здесь целый полк, думали пройти по свободному пути — и теперь постепенно откатывались назад, пятась по крутой горе, пока кони не повернули, не скакали вниз, к переправе.

Отбились! Удержали!

Василий Михайлович, спускаясь в долину по крутой дороге, среди раненых и убитых наехал на Ивана Руно. Тот стоял на коленях, упёршись рукой в рыжую глину обочины. Чуть выше, на угоре, на розовых кустиках чабреца, цветущих не ко времени, лежали тела его товарищей. Кровь быстро впитывалась в землю.

Князь спрыгнул с коня, склонился:

— Атаман! Ранен?

— Цел.

Руно поднял голову — глаза горели глухим огнём. Огляделся, с трудом поднялся на ноги, закричал:

— Эгей!

На крик собралось лишь около десятка его бойцов: костромичи, вятчане, нижегородцы, устюжане. Они молча смотрели на брод, подле которого стояли на одной стороне татары, на другой грозно выстроился полк белозерцев, на серую башню Опакова, высившуюся над горой берега, на сосны, где сегодня ночью легла спать полусотня — а сейчас остался лишь десяток. Они ещё не до конца осознавали, что им довелось сотворить.

— Где Ивашка? — хрипло спросил Руно.

— Здесь я, дяденька, — пискнул Ивашка, протискиваясь из-за спин бойцов с котелком, полным воды. — На вот, водицы испей.

Руно взял котелок, глотнул.

— Ты тревогу поднял?

— Я за водой к реке потёк, а они лезут, — словно извиняясь, сказал Ивашка.

Князь Василий Михайлович Удалой приподнял отрока, поцеловал его в грязные щёки:

— Понимаешь ли ты, что содеял? Коли бы татары прорвались, они бы на Кременец ударили, великого князя захватили. Или ко дворцам в тыл зашли — и тогда от Залидова снова бы на броды полезли, в клещи наших зажали!

Василий Михайлович обнимал каждого из бойцов атамана:

— Вы Русь спасли! Душу положили за други своя! Без страха пред Христом братья павшие предстанут.

Бойцы снимали шапки, крестились. Слёзы сползали по щекам.

Священник Никольской церкви, согбенный, седой, пробирался к убитым с крестом через рытвины дороги, творил молитву.

Обернувшись, Василий Михайлович приказал своим сотникам:

— Разрядите людей по всему берегу крепко. За подмогой в стан пошлите. С этого дня зачалось стояние. <...>

11 ноября минганы и тумыны Ахмата ушли с угорского берега совсем. Добровольно. Хан удалялся, так и не посмев ступить на землю Московского княжества. Не перейдя ни Угру, ни Оку. Не дождавшись от Москвы обещаний выплатить прошлые выходы. Грабил в отместку за измену короля Казимира верховские княжества.

Берегами Оки уходил не просто хан — убегал, поджав хвост, тот, кого на русской земле именовали царём, — законный наследник Чингисхана. Таким, как он, Чингизидам почти два с половиной века кланялась Русь, считая их владыками. Великие князья были лишь данниками царей.

Ахмат отныне недолго протянет.

Мамай после поражения на Куликовом поле был убит своими соперниками. Найдутся ли соперники у нынешнего хана? Вожак промахнулся — вождя должен умереть. Кто объявит себя его преемником? Под чьим крылом вновь соберутся рассеянные по степи ордынцы?

Но всё это случится позже. А сейчас — царь отступился. Несколько сотен погибших на берегах Угры — плата за то, что не сгорели русские города, не гуляют от Оки до Волги татары, не гонит царь с собой многотысячный полон, не стонут русские рабы на турецких рынках.

Ныне сызнова к трудам — отстраивать посады, кормить покинувших свои заокские поля, возводить новый кремль. Может, свет и кончится, но заботы — никогда.



Виктор Чернявский

Виктор Анатольевич Чернявский родился в Луганской области, в Калуге живёт с 1988 года. По образованию химик-технолог. Стихи пишет недавно. Автор книг «Радуга в октябре» и «Стихи капитанше».

ДУША ЖИВА. И ЕЙ СВЕТЛО

* * *

Серая мостовая
Из прямоугольных кирпичиков
На улице Театральной
Выглядит мозаично.
Её уложили узбеки,
Так дети собрали бы кубики
Бульонные из бомж-пакетов,
Прессованных вредных продуктов
Типа Gallina Blanka,
Когда сидишь на мели.
Дворники спозаранок
Чистоту навели.
Серебристого цвета
Осенняя кружится пыль,
Попутные сильные ветры
К бездне несут Пересильд.
Известный в округе учитель,
Отставив велосипед,
Разглядывает орбиту
Острой бородкой вверх.
Свежекрашенной бронзой
Велик на солнце блестит,
В блаженных, сбывшихся грёзах
Спутник к звёздам летит.
Тихо парят в невесомости
Церкви, жилые дома,

Старый тополь без кроны,
Вывеска «Шаурма»,
Дамы с тату, подростки,
Подпившие мужики.
Стынет над городом осень,
Город застыл у реки.

* * *

Хотелось покоя, уюта, достатка.
Папа позвал в выходные с собой на рыбалку.
Брат занимался стрельбой в ДОСААФовском тире.
Я всё мечтал о веснушчатой девочке Ире.

Пули легли на мишени в районе десятки.
Мы были с нею Антоний и Клеопатра.
Под натянувшимся парусом плавно скользили
По африканскому Нилу в Александрию.

Рыба клевала на кашу, и не было краше
Глаз голубых, обрамлённых пейзажною яшмой,
Взмахов предлинных ресниц, удивлённых бровей,
Жемчуга зёрен перловых на девичьей шее.

Цезарь прислал нам рабов с золотыми носилками.
Позже они колотили ковёр, вытряхали подстилки.
Мама любила порядок, хотела покоя.
Мы с Клеопатрой поплыли в открытое море.

* * *

Наш пекинес с утра выходит в лес
Пометить придорожные деревья.
Ровесник мой, ему всего лишь девять,
Он знает все природные явления.

Его отцы застали Лао Цзы,
Я помню Чан Кай Ши и Мао.
Воспоминания роями пронеслись,
Их набралось у нас немало.

Мой друг подслеповат и молчалив,
С ушей свисают шерстяные ости.
Его глаза похожи на маслины,
Подвижен и прохладен чёрный нос.

Мы проникаемся ученьем дзен
И наблюдаем наш суетный мир.
Товарищ мой спокоен и смирен,
Его взволнуют лишь желток и сыр.

Философ и к тому ж натуралист,
Он оставляет метки на деревьях.
Мы сверстники, хотя ему лишь девять —
Короткая она, собачья жизнь.

* * *

Зарозовел восход царапиною свежей.
Ещё чуть-чуть, глаза обратно смежил,
Во мне моё очнулось естество.
Сон растворился, звёзды гаснут в небе,
Такими их не видит большинство.
Растущий тонкий месяц, блеснув холодным лезвием,
Вот-вот исчезнет.
Пора. Встаю с постели, сбросив одеяло
Раскованным движением тореро,
Включая свет, как завещанье
ГОЭЛРО.

* * *

Она являлась под Калугой
Легально, в первом акте драмы,
Паря над всем заглавной буквой
Из белого в прожилках мрамора,
Рисованной поэтом Приговым
На титулах истлевших книг,
Где захмелевший сонный пригород
В тени деревьев дремлет вековых,
Аукалась музейной редкостью,
Неведомым шедевром Боттичелли,
Венерой утренней пригрезилась —
И всё вокруг неё вертелось.
Я снова возвращался в детство,
Кружась до рвоты в пёстрой
карусели —
Всё смазано, лица не разглядеть
Лишь кожа в поздних сумерках белеет,
Подумавши, что это снится.
Укалывал себя иголкой с ниткой,
Ища зеленоватый СНИЛС

Чтоб ламинат в углу зашить —
Сон был не сон, день беспросветный
Смотрелся в окна бледной строчной буквой,
Согласной, оттого бесцветной,
Пока не наступало утро.

* * *

Хрупкая, бледная, слабая женщина
С встроенным супинатором —
стержнем,
Волнующая, как соната Крейцера,
Ппустила меня в одиночное плавание
В виде изломанного крейсера,
Каким его малевал бы Пикассо
На дворовых заборах-этюдах —
Меня, болеющего кубизмом,
Нежданно явившегося чуда.
Без помпы купивши билеты в кассе,
Прошедши через искателей дуги,
Я просто отчалил в дождливый Питер
Под поездов отправления фуги
К излишне строгому папе Фиттих,
К холодной и стильной Ларисе Рейснер,
По мокрому, серому, скользкому небу
К рыбок-анчоусов лёгким теням,
Дрожащим на продуваемом рейде
Слабосолёного неевского соуса.
Тучи рассеялись мало-помалу,
Солнце осеннее показалось,
Рыжее, как Алиса Фрейдлих.
Я понял, что всё здесь кругом вертится,
Как когда-то предсказывал Бруно,
Что этот туманный деланный город
Просто засасывает турбо
Людей с их фрейдовскими эго,
Крылатых богинь с пароходными трубами,
А после долго не отпускает,
Намазав оттенками серых гаваней
Из алюминиевых тубиков
Мастихином адмиралтейства
На огуречную корюшку-фугу,
С наслаждением смачно хавая —
С прозрачной фунчозой,
Под залпы крейсера.

* * *

Крылатые ракеты «воздух — воздух»
Сбивают скоростные самолёты.
От самолётов остаются слёзы,
На парашютах розовые пятна
Под облаками из аптечной ваты.
Я был живой торпедой
«море — бледность»,
Неуправляемой, замедленного действия,
Замаскированной седым вуалехвостом,
Плывущим то ли в море, то ли в воздухе
К укрытой в шхерах атомной подлодке
С фарфорово-голубоватой кожей,
Взрываясь позабытой песней
«Нежность».
В другом, оптимистическом финале
Я выглядел надутым дирижаблем
Из латаной, застиранной джинсы,
Бомбя заезженной мелодией попсы
Сквозь сети заградительных вуалей.

* * *

Скрипят деревья унисекс,
Ветвями истово трясут,
Как будто шлют вам СМС
Что назревает Страшный Суд.
Он не минует никого,
Что атеист там начихать —
Един для всех стоит закон,
Раскатным громом громыкает.
Ты внемлешь, весь такой-сякой,
Со слабостями и страстями.
Несётся жизнь перед тобой
Мгновением. Перед очами
Создателя стоишь в Суде,
В чём только мама родила.
Там видишь мать... Прядёт кудель
На два изогнутых крыла,
Глядит со странною тоской
(Она ведь сроду не пряла,
Такой казалась городской) —
Льняную нить оборвала,
Её прозрачная рука
Ложится на твоё чело...
Плывут по небу облака.
Душа жива. И ей светло.

Юлия Рахаева

Юлия Александровна Рахаева родилась в 1978 году в Калуге. Окончила Калужский государственный университет имени К. Э. Циолковского, получив квалификацию учителя английского, французского и русского языков. Работала журналистом в различных печатных изданиях области. Сейчас преподаёт английский язык в школе. Автор 11 книг в жанре социальной фантастики. Живёт в Калуге.



ИВУШКИ

Тёмка Савин проснулся от собственного крика. Его первой мыслью было, что он разбудил своих соседей по палате, но потом вспомнил, что они оба были в изоляторе. Тёмка прислушался — вроде тихо, слышно было только, как бешено колотилось его сердце. Он уже хотел снова лечь, но вдруг почувствовал, что скрутило живот. Тёмка свесил ноги с кровати, сунул в сандалии и в одних трусах и майке вышел из палаты. В коридоре горел тусклый свет. Держась за живот, Савин добрёл до комнаты воспитательницы и постучался. Елена Кузьминична открыла не сразу. Тёмка переминался с ноги на ногу, размышляя, постучать ещё раз или вернуться обратно, когда дверь со скрипом открылась, и зевающая воспитательница, кутаясь в халат в цветочек, спросила:

— Чего тебе опять, Савин?

— Елена Кузьминична, у меня живот болит.

— Так сходи в туалет и ложись спать, — снова зевнув, сказала воспитательница и закрыла дверь, прежде чем Тёмка успел что-то ответить.

Развернувшись, он пошёл обратно. Свет вдруг стал ярким-ярким, таким, что глазам было больно, и Тёмка зажмурился. Когда же он открыл глаза, всё было, как раньше. Он пошёл дальше и почти дошёл до своей палаты, когда вдруг почувствовал, что был здесь не один. Тёмка заставил себя обернуться. В центре коридора собрались девчонки из соседней палаты, Ленка, Райка и Нинка, все в длинных ночнушках и с распущенными волосами. На головах у них были венки, только не из одуванчиков, как любила плести его бабушка, а из каких-то других лесных цветов. Девчонки взялись за руки и пошли по кругу, как будто вокруг ёлки на новогоднем утреннике.

Тёмка хотел спросить, чего это они, но язык словно прилип к нёбу. По спине вдруг побежали мурашки, а руки покрылись гусиной кожей.

Савин подумал вернуться в палату, но этот странный хоровод завораживал. Девочки запели:

— Над рекою плачет ива
Этой ночью под луной.
Слышишь голос мой красивый?
Видишь танец озорной?
Подари мне гребень, милый,
Угощу тебя на славу.
Приходи ко мне под ивы,
Коли я тебе по нраву.

Всё началось неделю назад, когда Тёмка приехал в пионерлагерь «Ивушки». В первый же вечер после отбоя они с пацанами-соседями по палате соорудили шалаш из одеял и, забравшись туда с фонариками, стали рассказывать друг другу страшные истории.

— А знаете, почему этот лагерь называется «Ивушки»? — спросил Макар, который прошлым летом уже ездил сюда.

— И почему? — отозвался рыжий Дениска.

— Наверное, потому что тут растут ивы, — скептически заметил Тёмка.

— Ты прав, — кивнул Макар. — Но и не прав.

— Как так?

— Растут-то они растут, но где?

— И где?

— У реки.

— Пф, тоже мне новость.

— А что ты скажешь на то, что прошлым летом мой сосед по палате пошёл купаться на эту речку и не вернулся?

— Утонул? — воскликнул Дениска.

— Его русалки под воду утянули, — с видом знатока ответил Макар.

— Врёшь ты всё, — сказал Тёмка. — Русалки — это сказки. А утонул он, потому что нечего было сбегать из лагеря. Он же сбежал, чтобы искупаться?

— Ну, сбежал.

— Так нам же не просто так запрещено ходить на речку. Если ты хочешь плавать, у нас тут есть бассейн. Нам же сказали, что нас туда поведут.

— Бассейн вонючий, и там мы будем плавать с тренером. А в речке вода чистенькая и привольно, — возразил Макар. — Вот только там русалки. Но я их не боюсь.

— Не боишься? — переспросил Дениска.

— Нет, потому что я знаю правила. Правило номер один: нельзя слушать их песни. Правило номер два: нельзя давать им свою расчёску. Правило номер три: если первые два правила не сработали, нужно сказать: «Водяница-лесовица, отвяжись, отступись, на моём дворе не кажись!»

— Я не запомнил, можешь повторить?

— Зачем тебе это? — хмыкнул Тёмка.

— Ну а вдруг?

— Водяница-лесовица, отвяжись, отступись, на моём дворе не кажись! — повторил Макар.

— А ну марш спать! — послышался громкий голос вожатого. — Отбой для кого был?

Наутро все забыли о ночном разговоре, закрутилась лагерная жизнь от подъёма и пионерской линейки до вечернего кипячёного молока, от которого морщились почти все, и отбоя. Но через неделю, когда мальчишки уже разошлись по кроватям, Тёмка вдруг услышал громкий шёпот Макара:

— Хочешь, докажу тебе, что русалки существуют?

— Это как?

— В полночь надо будет встать, и мы вызовем русалку. Я знаю, как.

— А если я усну?

— Я тебя разбуджу. Я не буду спать.

— Пацаны, я с вами! — оказалось, что Дениска тоже не спал.

— Всё, тогда ждём.

Макар и правда умудрился не уснуть. Ровно без пяти минут двенадцать он разбудил своих соседей и включил фонарик.

— И что надо делать? — спросил Тёмка.

— У кого есть деревянная расчёска?

— У меня пластмассовая.

— И у меня, — кивнул Дениска.

— Вот я так и знал, что с вами каши не сварить, — проворчал Макар и достал из своей сумки деревянный гребень. — Теперь берём стакан и наливаем в него воду. Дениска, метнись.

Кивнув, рыжий схватил с тумбочки гранёный стакан и убежал с ним в коридор.

— Вожатый или воспиталка тебя не спалили? — спросил Макар.

— Неа. А даже если бы и спалили, я бы сказал, что пить хочу.

Макар с деловым видом поставил стакан на пол и положил на него гребень.

— Теперь становимся вокруг, — сказал он, — и берёмся за руки.

Тёмка и Дениска послушались.

— Повторяйте за мной: «Русалка, приди! Русалка, приди! Русалка, приди!»!

Савин не сомневался в том, что ничего не произойдёт. Он ничего и не увидел, и даже не почувствовал. А вот рыжий Дениска вдруг побледнел и рухнул на пол. Пока Макар бил его по щекам и пытался привести в чувства, Тёмка рванул к Елене Кузьминичне. Он так барабанил в дверь, что воспитательница, должно быть, подумала, что начался пожар.

— Там Ромашин в обморок хлопнулся! — закричал Тёмка, как только она открыла.

У Макара так ничего и не получилось, перепуганная Елена Кузьминична позвала вожатого, и тот на руках отнёс Дениску в медпункт.

— Он, что, так перепугался? — спросил Тёмка, когда они с Макаром остались в палате вдвоём.

— А ты не понял?

- Чего я не понял?
- Это русалка приходила. Он её увидел, и она на него свой морок навела.
- А почему я ничего не видел?
- Твоё счастье.
- Откуда ты узнал, как её надо вызывать?
- Райка рассказала.
- Это из соседней палаты?
- Ага, она знает. И это её гребешок. Она одолжила для обряда.
- Райка тоже вызывала русалку?
- Конечно, вызывала.
- И русалка к ней приходила?
- Тебе надо, сам у Райки и спрашивай, а я спать, — Макар забрался на кровать и демонстративно накрылся одеялом с головой.

Райка Тёмке не нравилась. Она смотрела на всех будто свысока и часто смеялась, и у Савина почему-то всегда было такое чувство, что над ним. Спрашивать Тёмка у неё ничего не стал, но подумал, что можно попробовать поинтересоваться у Ленки, одной из её соседок. Он начал следить за ней сразу после линейки и следил до обеда, но Ленка всё время была вместе с Райкой и Нинкой. Тёмка решил попробовать после тихого часа, но к нему подошёл Макар и спросил:

- Пойдёшь со мной навещать рыжего?
- А можно? — удивился Тёмка.
- Я спросил у воспиталки, она говорит, что да.

Медпункт располагался на другом конце лагеря недалеко от забора. Врач, дородная румяная женщина в очках, пропустила ребят в изолятор, но предупредила, чтобы они там не задерживались. Заходя в дверь под вывеской «Изолятор», Тёмка подумал, что это странно. Разве название не предполагает, что сюда никому нельзя?

Дениска лежал в кровати, и его лицо было чуть ли не одним цветом с белой подушкой. Тёмка думал, что рыжий им обрадуется, но, когда они вошли, его буквально перекосило от ужаса, он подскочил на кровати и с каким-то жутким криком бросился прямо на Макара. Савин отпрыгнул в сторону, а Дениска вдруг схватил Макара за шею, словно хотел задушить. Тёмка испугался, но всё-таки попытался оттащить рыжего, и в этот момент в изолятор зашла врач.

— Что вы тут устроили? — закричала она. — Ромашин! Ну-ка в кровать! У тебя постельный режим! Вы двое, прочь отсюда! Ну, третий отряд, всё расскажу вашему воспитателю.

Дениска весь словно обмяк и безвольно вернулся на свою койку, а Тёмка с Макаром стремглав выбежали на улицу.

— Чего это он? — отдышавшись, спросил Савин.

— А это не он, — серьёзно ответил Макар. — Это русалка. Знаешь, что? Спасать надо пацана.

- Как спасать?
- Ты же теперь веришь в русалок?
- Ну, я не знаю... Может, и верю.

- Надо ночью снова её вызвать и попросить отпустить рыжего.
- Так она его и отпустит?
- Мы заговор против неё прочитаем. Только сделать это надо в изоляторе. Сечёшь?
- Там же врачаха дежурит.
- Она ночью спит, как все нормальные люди. А мы в окно залезем. Сейчас ночи тёплые, окна нараспашку. Ну так что? Ты со мной?
- Стрёмно, конечно, но ладно, с тобой.

Оставшийся день Тёмка весь провёл как на иголках. Перед глазами стояло бледное лицо Дениски с застывшей гримасой ужаса. От этого по спине бежали мурашки. Вспоминались разные страшилки про зелёные глаза и чёрную руку, в которые Савин никогда не верил, но теперь почему-то они казались пугающими до дрожи. После отбоя Тёмка так и не уснул, а когда часы показывали полчаса до полуночи, Макар сказал:

— Пора.

Он взял гребень, засунул его в карман, затем подошёл к двери и, открыв, осмотрел коридор.

— Никого. Идём.

Тёмка пошёл за ним. Стараясь ступать как можно тише, мальчишки добрались до выхода и побежали в сторону медпункта. Савин подумал, что если их застукают, их не только из лагеря выгонят, но ещё и из пионеров могут исключить, от чего ему стало только ещё страшнее. Он уже в красках представлял весь этот позор, слёзы мамы и немой укор в глазах бабушки.

Макар был прав: окно в изоляторе было открыто. Вдвоём они быстро забрались внутрь. Дениска спал. На прикроватной тумбочке очень кстати стоял стакан с водой. Наверное, врачаха налила ему, чтобы больной мог попить ночью, если проснётся. Макар поставил его на пол и положил сверху гребень. Тёмка встал напротив, они взялись за руки и стали повторять, как прошлой ночью в палате:

— Русалка, приди! Русалка, приди! Русалка приди!

Денис проснулся и в ужасе уставился на своих соседей.

— Водяница-лесовица, отвяжись, отступись, на моём дворе не кажись! — заговорил Макар. — Повторяй тоже!

Тёмка повторил. Он сам не знал, какого эффекта ожидал, но явно не такого. Макар вдруг рухнул на пол как подкошенный, повалил стакан и разлив воду. За стеной послышался шум, и Савин понял, что они разбудили врачаху. Он схватил гребень и в панике выскочил через окно на улицу. Тёмка сам не помнил, как вернулся в свою палату и забрался в кровать. Всю оставшуюся ночь ему почему-то снилась Райка, которая бродила под окнами их корпуса и повторяла:

— Отдай мой гребень! Отдай мой гребень!

И вот теперь Тёмка стоял в коридоре рядом со своей палатой и понимал, что не может глаз отвести от Райки. Девочки закончили петь, и она вдруг повернулась к нему, посмотрела прямо в глаза и проговорила:

— Отдай мой гребень!

Тёмка сам не знал, где взял силы, но он вспомнил те самые слова и заплетающимся языком произнёс:

— Водяница-лесовица, отвяжись, отступишь, на моём дворе не кажись!

Только после этого он смог отвести взгляд. Не желая видеть, что происходит с Райкой, Тёмка влетел в свою палату, вскочил на кровать и залез под одеяло, укрывшись с головой.

Проснувшись рано утром ещё до подъёма, Савин подумал, что всё это было лишь кошмарным сном. Ну не могло такое происходить в реальности! Тёмка же не в кино и не в книжке. Он обычный советский пионер, с которым просто не могло происходить ничего подобного тому, что он видел ночью. Окончательно успокоившись, Савин пошёл умываться и чистить зубы. На Райку и других девчонок он, правда, старался всё-таки не смотреть ни за завтраком, ни на линейке.

Тёмка сам не знал, почему, но его словно что-то тянуло к медпункту. Решив, что он только одним глазком заглянёт в окошко, Савин отправился на другой конец лагеря. Он уже хотел подойти к открытому окну изолятора, когда его взгляд упал за забор, вернее, на то, что на нём висело — веноч. Точно такой ночью был на Райке. Тёмка замер. Неужели это был не сон?

Савин всё-таки заглянул в окно изолятора. Оба: и Макар, и Денис, лежали в своих кроватях и, казалось, спали. Тёмка подошёл к забору и потрогал веноч — он точно был настоящий. Сам не до конца понимая, зачем это делает, он снял веноч с забора и пошёл разыскивать Райку. Она нашлась как всегда в компании Ленки и Нинки. Девочки качались на качелях. Увидев Савина да ещё с венком в руке, они замерли.

— Это вроде твой? — Тёмка протянул веноч Райке.

— А гребень мой где? — вдруг как-то странно рассмеявшись, отозвалась девочка.

— У меня.

— Вернёшь?

— А что мне за это будет?

— Чего ты хочешь?

— Чтобы ты вернула Макара и Дениску.

— Я их не брала.

Если бы Райка сейчас удивилась, Тёмка бы решил, что всё себе придумал и что веноч — это всего лишь совпадение. Но Райка не удивилась.

— Давай договоримся, — предложил он. — Я верну тебе твой гребень сегодня ночью. Приходи к медпункту в полночь.

— Дурак ты, Савин, — и Райка снова заливисто рассмеялась.

Тёмка молча развернулся и, оставив девочек на качелях, направился к главному корпусу, в котором, кроме столовой, кабинета начальника лагеря, вожатской и радиорубки, была ещё и библиотека. Савин долго бродил между многочисленными стеллажами в поисках чего-то, что могло бы ему помочь, пока ему на глаза не попала старенькая потрёпанная книжка «Сказки славян». Тёмка взял её с полки и начал листать. На одной

из страниц он вдруг увидел рисунок, на котором была изображена девушка точь-в-точь как Райка прошлой ночью. Такие же распущенные волосы, веночек на голове и длинное одеяние, похожее на ночную сорочку. Тёмка принялся читать.

— Савин, ты там уснул, что ли? — услышал он голос библиотечарши и понял, что успел потерять счёт времени. Он захлопнул книжку, поставил на полку, буркнул «до свидания» и покинул библиотеку.

Тёмка был у медпункта без пяти двенадцать. Он сумел бесшумно вырваться из палаты и корпуса, не разбудив ни воспитательницу, ни водителя. Окно изолятора было по-прежнему открыто. Савин подошёл к нему и заглянул внутрь: Макар и Дениска спали. Тёмка хотел забраться внутрь, как вдруг услышал голос позади себя:

— Отдай мой гребень!

Вздрогнув, Савин обернулся. Перед ним стояла Райка, а чуть поодаль её подружки. Все трое были одеты как те девушки из книжки и всё в тех же венках на головах. Лица у них были мертвенно бледные, словно обескровленные. Или это Тёмке только так казалось при свете одного тусклого фонаря над медпунктом.

— Отдай мой гребень! — повторила Райка.

— Верни пацанов! — нашёл в себе силы ответить Тёмка.

— Отдай мой гребень или я заберу тебя вместе с ним!

— Ну, попробуй, заведи!

Райка пошла к нему, и, приблизившись почти вплотную, вдруг отпрянула. На её лице вдруг отразилась неприязнь, смешанная с ужасом.

— Не ожидала? — Савин довольно улыбнулся. — А я подготовился.

— Польнь? Чур, тебя, сгинь!

Её резкий запах шёл из его карманов, полных этой травы, которую, он нарвал у забора ещё днём.

— Сама сгинь! Только сначала верни пацанов!

— Сёстры мои, подруги мои верные, заберите у него мой гребень!

Нинка и Ленка двинулись на Тёмку, но тот лишь немного отошёл в сторону, туда, где у стен медпункта были заросли крапивы, и, не обращая внимания на то, как её листья жгли ему ноги, зашёл прямо в них. Обе, и Нинка и Ленка, сделали шаг за ним, но, зашипев, остановились.

— Что ж вы не идёте дальше? — спросил Савин. — Гребень-то у меня.

— Отдай его мне! — закричала Райка.

— Так заведи! — Тёмка сорвал крапиву, на глаза навернулись слёзы. Смахнув их другой рукой, он помахал жгучей травой перед Райкиным носом.

— Чего ты хочешь? — спросила та, и её голос стал похож на шипение.

— Я уже сказал: верни пацанов!

— Да подавись ты ими! — крикнула Райка.

Не бросая крапиву, Тёмка вернулся к окну и снова заглянул в изолятор. Затем забрался на подоконник.

— Пацаны! — позвал он громким шёпотом. — Макар, Денис!

Те вдруг открыли глаза и подскочили на своих кроватях.

— Тёмч? — первым ожил Макар. — А что случилось?

— Всё уже в порядке, — улыбнулся Савин. — Ну, почти.

Сказав так, он обернулся на улицу, достал из-за пазухи гребень и, швырнув его в Райку, крикнул:

— Сгиньте!

Весь следующий день Тёмка провёл в изоляторе. Руки и ноги больше не жгли, но зато чесались так, что хотелось скулить. Врачиха сказала, что у него аллергия на крапиву. После обеда Савина пришли навестить Макар и Дениска. Оба выглядели румяными и абсолютно здоровыми. Их выпустили из изолятора ещё утром. Они рассказали Тёмке, что все три девчонки из соседней палаты куда-то пропали. Макар спросил у вожатого, и тот сказал, что их забрали родители.

Вечером Тёмка попросился на свободу и пообещал врачихе, что больше не полезет в крапиву. Та поворчала немного, но согласилась его отпустить. Уже в палате, разбирая свою кровать перед сном, Савину вдруг почувствовал что-то под подушкой. Засунув туда руку, он обнаружил там деревянный гребень.

Игорь Красовский

Игорь Андреевич Красовский родился в 1984 году в Калуге. Поэт, драматург, инсценировщик. Выпускник Калужского областного колледжа культуры и Литературного института имени А. М. Горького (2012). Работал заведующим литературно-драматургической частью в Калужском театре кукол. Автор шести поэтических и драматургических книг. Публиковался во многих сборниках и альманахах. Лауреат литературных премий им. М. Цветаевой и им. братьев П. В. и И. В. Киреевских. Член Союза российских писателей и Союза театральных деятелей.



СОСЕДИ

(многофигурная поэтическая, слегка драматургическая композиция)

Действующие лица

*Нагорный Николай – нач. по дому, майор в отставке.
Мина Исаевна – старушка,
Петров Виктор – токарь
Петрова Надежда – домохозяйка и мать
Петрова Мария – старшая дочь, студентка
Петрова Лидочка – младшая дочь
Шевцов Пал Палыч – стареющий интеллигент, доцент
Шевцова Рая – жена Шевцова, нянечка
Григорий Леселидзе IT-шник,*

НАГОРНЫЙ

Шестое. Март. Поминальный день.
Из дома на сутки отправлен сын.
Майор в отставке китель надел,
снял календарь, отвернул часы,
стопки расставил. Сегодня пить
за четверых: за себя, за тех,
кто не вернулся, тоску топить
в спирте разбавленном.
Хриплый смех.

Бормотание.
Грохот.
Утробный вой.
Медленно отступает боль
на год.
Ровно в ноль-ноль ноль-ноль
майор закрывает глаза.
Отбой.

ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ МИНЫ

Негромко стучит костылёк кривоватый —
Мина Исаевна вверх
к себе поднимается. Благо, не пятый —
два этажа. Дольше всех
из ныне живущих здесь обитает
она, так сказать, старожил.
Пучок, мундштучок, брошь золотая —
поклонник один подарил
полвека назад. Несомненно, подделка
дешёвая, но как блестит!
Ключики в связке звякают мелко —
кистевой застарелый артрит.
Обычно замок поддаётся не сразу,
«не подведёт» и теперь...
Щёлк.
— Нагорный всё-таки смазал.

Оставляет незапертой дверь.
Часто заходят местные дети —
в квартире много зеркал,
ЛФЗ статуэток в стеклянном буфете.
Не квартира — музейный зал
Мины Исаевны. Фотоальбомы
пухлы — не пересмотреть.
Мы пересмотрим.
Из лиц незнакомых
найдётся добрая треть
лиц Мины Исаевны.
Крайнее фото —
старуха со шваброй, роддом,
фото с последнего места работы,
она ей гордится. Потом,
то есть раньше (промотано время

назад, лет на тридцать назад),
проводы с должности, где она с теми,
кто боится смотреть в глаза,
но прекрасно при этом позирует.
Срочно
сместили. Не взорвалась.
Потом были срывы на нервной почве,
когда поменялась власть
и больницу закрыли. Дальше листаем,
листаем... Она и он.
Тот самый поклонник.
«Моя золотая,
твердил,—я тобою пленён!
Дарю тебе брошку на долгую память,
золотую, а мне пора
вместе с преданными друзьями
осваивать севера».
Патлатый геолог—клешёные брюки—
вспышка счастья—желанная ложь
для женщины в возрасте, спрятанный кукиш
в кармане, фальшивая брошь...
И эту потерю перетерпела,
стиснув в зубах мундштук.
Обратно листаем. Она в платье белом,
он—чёрная зависть подруг—
водитель директора мелькомбината,
красавец—цыган, балагур.
Когда это было?
Когда-то.
Когда-то
он по пьяни замёрз в снегу.
Тогда она, собственно, и закурила.
Без изящества, без мундштука.
«Прости меня, Боря, прости меня, милый,
не спасла».
В первый раз рука
задрожала. Быстрее, быстрее,
пролистываем эпизод.
Мина в платочке копает траншею—
комсомольская стройка. Печёт
солнце нещадно.
—Мина, а Мина,
перетрудишься, а потом
рванёшь ненароком сама
или спину

сорвёшь...
Мина ниже платок
надвигает, копает, привычных подначек
не слыша. Участок не сдан
по плану.
Её основная задача —
перевыполнить план.
Есть!
И последний снимок в альбоме,
первый в жизни.
Его бережёт
больше других. Событий не помнит.
Сорок третий? Четвёртый год?
Кулёк, в нём девчушка с улыбкой невинной.
Мама отправлена в тыл.
Новорождённая названа Миной —
папа-сапёр пошутил.

ПЕТРОВ

Токарь Витя думает, как мир спасти,
потолок исследуя—долгая ночь впереди.
В специальный контейнер сбрасывает отходы.
Хотелось бы, чтобы так делал ещё хоть кто-то
по соседству с его обветшалой «сталинкой»,
где завод турбинный рядом, и садик маленький.
Для доченьки—конопатой Петровой Лидочки —
Витя жизнь положил на заготовки и выточку.
Поздний ребёнок Лида—после пятидесяти,
Для неё двор достойный хочется не найти,
но создать. Занимается мелкой починкой и сборкой
детской площадки: качели, лесенки, горки;
гоняет пришлых бичей матюками с этой площадки,
(от них получает порой—здесь нечасто живётся сладко);
учит детей заботиться о природе.
Мусора поубавилось у помойки.
Вроде бы.

ОТ ЛИЦА ПЕТРОВА (посвящение жене)

И ты пришла, такой тебя не ждал:
с шуршащими пакетами, во взгляде
загадка... Извини, в твои года
немного удивило это, Надя.

Сняла решительно промокшее пальто.
Похоже, дождь пошёл, а я и не заметил...
Ко мне уселась на коленки. Стоп-стоп-стоп!!
А как же дети? А, у деда дети.
Так это все меняет. Хо-хо-хо!
Сейчас тебя... Ну да, сначала ужин.
Давай откупорю бутылочку сухо...

—Молчи, сиди, ты для другого нужен.

Пакетов содержимое на стол.
Не ждал от матери тройной такого пыла —
продуктов—блюд, наверное, на сто
(училище своё не позабыла).
А я-то, что? Как древний пылесос
в углу пылиюсь. Не допускают к тёрке,
Встаёт такой большой мужской вопрос:
—Пять сек и Вам, мадам грозят разборки.
Вы...
Долгий поцелуй. Ещё один.
Набросилась—я весь в муке обвален.
Не знаю, что там будет впереди,
Но, дамочка, Вы заинтриговали.

Особенно порадовал сюрприз...
но это личное. Шикарное, но всё же.
Короче, вечер получился—«сектор приз» —
на удивление совместное. Похоже,
страсть не прошла. А думали—прошла.
Спасибо тебе, Наденька, за чудо.
Я обещаю, с первого числа
Пойду в спортзал и бриться чаще буду.

КРИЗИС

Живут, никому не мешая,
нянечка и доцент —
Пал Палыч Шевцов и Рая
Шевцова. Интеллигент
Пал Палыч в научном мире
непризнанный гений, но
женой у себя в квартире
признан давным-давно.
Рая ему внимает,
когда он вещает об

экономике Пермского края,
допустим, как сделать, чтоб...

.....

— Не важно, моя дорогая,
эти замыслы не воплотить
в реальность...

— Я предлагаю,
развеемся. Можем сходить
прогуляться по городу или
в театр, или в музей?

— Рая, мы всюду были.

— Давай, позовём друзей.
Расскажешь им о причинах
инфляции...

— Ни к чему.

Я старый, больной мужчина.

— Ты мой любимый муж.

— Толку с меня, как с мужа?

У нас даже нет детей.

— Только сейчас обнаружил?

Ты же их не хотел.

— Захотел.

— Поздно.

Рая, рыдая,

уходит.

Больной вопрос.

Пал Палыч, её обнимая,

щиплет себя за нос.

— Будет... Не стоит, Рая...

— Отстань, дай мне пару минут...

— Я вот что тебе предлагаю,
рядом есть детский приют...

Г + М = ЛЮБОВЬ

(Леселидзе и Петровой посвящается)

Заканчивать субботник не спешили —

Мели, болтали больше, чем мели.

Особенно те двое. Их сдружили

совок и веник вечером в пыли

подъездной;

тряпки старые и тазик

эмалированный.

Г. воду подносил,

а М. на лестнице от застарелой грязи

подолгу оттирала стёкла.

Сил

у них хватило бы на пять таких подъездов,
но вечер близился.

К Петровым «на борщи»
пошли бригадой, как заведено, все вместе,
но парочку «стахановцев» тащить
с собой никто не стал.

«Пусть намывают, —
сказал по дому старший, — молодёжь!
Подъезд, апрель... Эх, я их понимаю.
Да, эту песню не задушишь, не убьёшь».

Подглядывают звёзды, как Григорий
с Марией тряпки выжимают, а вода
по капле наполняет их историю:
из тазика — на долгие года.

ЛИДОЧКА

Лида «ВИТИЕВНА» голоногая
в свои шесть с половиной лет
знает про многих многое,
но это большой секрет.
Под подушкой в тетради клетчатой
хранятся «СЛЕДЕНИЯ»
обо всех, кто был ей замечен
в чём-то странном.

«У Машки стоят
в вазе розы ЗАСОХЛЫЕ гришыны.
Гриша спит до обеда как сыч.
Ходит какойто абиженный
папин друг ПАЛПАЛАЛАВИЧ
у него паявились ПРЯМБЛЕМЫ
так папа утром сказал.

И у Раички тоже ПРЯМБЛЕМЫ
я увидела по глазам.

У бабушки Мины спросила —
она мне ПРАЯСНЯЕТ слава...»

—Лидочка, Лидочка, милая,
рано тебе узнавать
о взрослых «ПРЯМБЛЕМАХ»,

—А кто же им
поможет?

Мне... мне...

—НЕВТЕРПЁЖ?

Ты славная девочка, может быть,
и поможешь,
когда подрастёшь.

Павел Никиткин

Павел Маркелович Никиткин родился в д. Новосёлки Калужской области. После смерти родителей воспитывался в Азаровском детском доме г. Калуги. Окончил Абрамцевское художественное училище и историко-филологический факультет Благовещенского педагогического института. Литературные произведения печатались в журналах «Амур», «Амур-батюшка», «Дальний Восток», альманахах и коллективных сборниках дальневосточных авторов. Автор романа «Русский берег» и нескольких книг рассказов, повестей, стихотворений. Член Союза российских писателей и Союза художников России. С 1974 года живёт в городе Благовещенске.

ОХОТА НА ВЕПРЯ

В потёмках, сквозь пургу Алексей шёл, преодолевая тугие напоры студёного ветра, закрывая свободной рукой лицо от колючего снега. В другой руке у него было зачехлённое ружьё, за спиной — увесистый рюкзак. Шёл, не видя дороги. Да и разглядывать её нужды не было. Он мог по этой дороге идти и с закрытыми глазами, поскольку знал её с детства. Много лет путь от станции до села измерял ногами и босыми, и обутыми в гражданские и солдатские ботинки, валенки... Здесь была его малая родина, здесь он вырос. И где бы он ни был, его постоянно тянуло сюда, и он возвращался. И во сне, и наяву. Здесь прошло его босоное детство, озорная и бесшабашная юность и первые годы становления взрослой жизни. А потом он уехал...

Сейчас, от воспоминаний, на душе становилось тревожно и радостно. Он шёл в гости к своему другу Ивану Марину, который пригласил на охоту.

С Иваном они выросли на одной улице. Росли как братья. Одни интересы, одни увлечения, пополам все беды и радости. «Друзья по несчастью» — так называла их мама. Давно это было. До призыва Ивана в армию. «Несчастье» — это охота. Ходили вместе на тетеревиные тока, утиные зори, вместе удили рыбу. О кабанах в ту пору в округе, почему-то и разговоров не велось. Давно это было.

После возвращения Ивана из армии... Это и случилось.

Причина банальна — влюбились в одну девушку Галю, которая выбрала Алексея.

С тех пор они не встречались.

Иван как-то быстро исчез. Говорили, что уехал куда-то на севера, а молодая пара, сыграв свадьбу, стала искать место для самостоятельного жительства и приложения своих сил и знаний, скитаясь по городам области, пока не оказалась в стольном граде.

В Москву их пригласил брат Галины. Но, дав на время угол для проживания, он не мог подыскать места работы. Алексей, после долгих мытарств, устроился работать слесарем на заводе в Подмосковье.

Галина, окончив аграрный университет и получив красный диплом со специальностью «технолог виноделия», найти для себя работу никак не могла. Где и кому в наших местах нужен такой специалист? Самогон варить? Так этому за неделю можно научиться у народных умельцев. Правда, и у этих умельцев есть свои секреты и рецепты, но это дело наживное. А так... Бывали у неё, конечно, случайные заработки: дворника подменить или уборщицу в соседнем магазине, но такие подработки происходили редко. Сидела без работы дома и щёлкала орехи. Орехи... Откуда у неё эта страсть? Самое лучшее для неё угощение — орехи. И не какие-то конкретные: грецкие, лещина или кедровые... а все! Без разницы. Из-за этого Алексей зовёт её не Галкой, а Белкой. Она готова сидеть и щёлкать орешки весь день. Прощёлкали... почти десять лет... Наконец и она нашла работу оператора почтового отделения, временно замещая работницу, ушедшую в декретный отпуск. Постоянная работа — проблема.

Теперь арендуют жильё в Люберцах. По утрам разъезжаются в разные стороны. Он — на электричке с Павелецкого вокзала, она — в Сокольники. Надежды на улучшение жизненных условий никакой...

Галя, агитируя за переезд в Москву, говорила, что там большие перспективы для развития их будущих детей, для их продвижения и роста. А, извините, продвижения куда? Какого роста? Сначала должна быть перспектива завести этих детей... А где она — эта перспектива? Таскаться с детьми и вещами по съёмным квартирам — это перспектива?

Сейчас Алексей в отпуске... бессрочном. На завод не поступают заказы по производству продукции. Опять проблема.

Позавчера в метро случайно встретил Ивана. Встреча была!!! Больше десяти лет не виделись! За вечер и наговориться не успели. Вспомнили всех товарищей и родственников, все, или почти все, приключения. Иван пригласил к себе на охоту. Хотя, как «к себе» — в их село, на родину! Правда, сначала спросил: есть ли у Алексея охотничий билет? Конечно, есть! А что толку? Только взносы платит, а на охоту уже забыл, когда выбирался. Договорились и о том, каким поездом Алексей приедет. Но! То ли соскучился по родным местам, то ли одолела охотничья страсть, он сорвался раньше условленного времени и выехал не завтра утром, а сегодня вечером. Да, время идёт, неся с собой и перемены в жизни.

Ванюха, оказываясь, избородив много тысяч океанских миль на рыболовческом судне МРТ — малом рыболовном траулере, нажив двоих детей и изрядную лысину на голове, вернулся в родные пенаты, не пожелав

встречать закат жизни на скалистых берегах Камчатки. Здесь занялся фермерством, и небезуспешно!

Идти осталось уже недолго, и Алексей скоро увидит (если увидит в этой темноте) село, свою улицу и дом, в котором вырос. Ещё должен увидеть новый дом, которым хвастался Иван. А гордиться и на самом деле есть чем. На месте, где раньше стоял ветхий домишко, в котором Ванюша вырос, возвышается двухэтажный особняк из отборного леса.

Встретил хозяин:

— Мы ждали тебя завтра. Я и на станцию за тобой приехал бы. Невтерпёж... Понимаю, понимаю.

Всю ночь не спалось, а под утро, как в яму провалился. Разбудил «друг по несчастью»:

— Вставай, вставай. Ждём к завтраку... Иди умываться и одевайся. Уже все прибыли. Шесть часов. Скоро выезд.

В первой комнате суетились незнакомые люди. Иван представил:

— Знакомься: Евгений Анатольевич — наш городской покровитель и добытчик лицензий, — подвёл к мужчине, заросшему бородой, которую тот периодически прятал в воротнике свитера ручной вязки. — А это Фёдор Михалыч. Между нами, попросту — Хохмач, — указал на невысокого ростом мужичка. Это — Сергей, два Виктора. Всего нас семь человек. Для охоты на кабана вполне достаточно. Потом, в ходе охоты, познакомишься со всеми поближе. Как видишь: все городские, наших сельских, кроме тебя да меня, тут нет. Местное население по-прежнему мало интересуется охотой. А теперь достань охотничий билет, и Евгений Анатольевич впишет тебя в путёвку.

На дворе темень — хоть в глаз коли. Луна, отстояв свою вахту, ушла за горизонт. Выехали на «буханке». За рулём Иван. В салоне, кроме охотников, были и возбуждённые собаки.

— Сегодня поедem на Алёшкину пасеку, — сказал водила. — Там остались неубранные углы полей кукурузы, там и зверь держится. Номера поставим по просеке, которая ведёт к Горелому болоту, а загон будем делать со стороны речки. Собаки зверя выгнать должны. Остальное — за нами. Конечно, ещё маленько рановато, но лучше подождать, чем опоздать. Зверь, возможно, ещё не лёг на днёвку, но нам этого ждать не надо.

От машины, освещая путь карманными фонариками, гуськом двинулись вслед за Иваном. Собаки на сворках путались под ногами, но отпускать их было ещё рано.

К месту охоты пришли, когда на небе начали меркнуть звёзды. Серело.

— Становись вон под ту сосну и поглядывай на поляну. Она скоро начнёт просматриваться до самого ручья. Да что я тебе говорю? Сам всё знаешь. Правда, пейзаж с нашей поры немного изменился — забивает поляны молодая поросль осинника да березняка, но ты определишься. Следующим на просеке, метрах в ста от тебя, станет Олег, — сказал Алексею Иван, и охотники удалились.

Постепенно в окружающем пространстве начали проявляться контуры окружающих деревьев, кустов, полян. Прав был Ванюха, когда предупреждал,

что одеваться нужно теплее — ночи холодные. Пока шли, согрелся до пота, а сейчас уже начинает пробирать дрожь и постукивать зубы. Ничего, скоро солнышко встанет — согреет. А солнце обязательно будет — небо-то всё было звёздами усеяно. Морозец бодрит, и сон гонит.

Пока не взошло солнце, все краски, вся живопись природы проявляется только на небе. Каких только переливов цвета там не увидишь: от холодной синевы до жарких, словно угля, редких и тонких облаков, освещённых ещё не видимым солнцем! Завораживает буйство красок над серой действительностью.

Наступил рассвет. Вот первый луч солнца коснулся верхушек деревьев, тени от которых, переломив гладь поляны, достали противоположной стены ельника.

Солнце показалось над лесом, и всё вокруг заиграло, задышало, засеребрилось! Какая красота! Даже не верилось, что после вчерашней пурги наступит такое прояснение. Хочется глубоко вздохнуть, чтобы вобрать в себя всё это утро, раствориться в нём. Красота! А кто её видит? Большинство людей ещё спят, а в городе даже при желании такое увидеть невозможно. Жалко... Стоп! Сам-то когда видел подобную красоту? Давно, очень давно не встречал рассвет в лесу. Сейчас можно только упрекать себя в том, что живя в столице, всего за три сотни километров от родных мест, не находил времени и повода приезжать сюда чаще. И опечалился Лёша, глядя на сверкающие, переливающиеся всеми цветами радуги нежные кристаллики инея, опушившие сосновые хвоинки. От игры цвета в душе возникли звуки скрипки. Что-то нежное и тонкое плыло над белым снегом и голубыми тенями. Стоп! Что это я запоеизировался? Так под тихий перезвон искорок и шепоток умиротворения и уснуть на номере можно. Взбодрись! Охота же...

Но внутри что-то, пока ещё слабое, начинало беспокоить. Это «что-то» потихоньку начало расти и распирает его, отбирая возможность вздохнуть. Чувство глубокой утери... Да, потеряно что-то очень важное! Когда подобное он испытывал? Когда это было? Что-то с памятью моей стало... Это было... совсем недавно, когда разбирал новогоднюю ёлку! Когда понял, что увидит её такой нарядной только через год. Год ушёл... Надо же — не тридцать первого декабря, а только пятнадцатого января почувствовал, что год минул. Ушёл год из жизни... И вот опять... Впервые похожее состояние он испытал в далёком-далёком детстве. Тогда он поймал на донку большую щуку, а та... сорвалась с крючка у самого берега! Долго не мог перевести дух. Думал, что совсем задохнётся. Теперь опять звенящая тишина...

В глубине ельника раздался лай собак. Вот и охота! Всё тело напряглось до хрустального звона, который поселился в его жилах. Кажется, дотронься сейчас кто-нибудь до него холодной рукой — и он сразу рассыплется, как стеклянная игрушка. Лай ближе... Нет, ушли. Ушли собаки в другую сторону.

Но! Вон в редкой поросли березняка движется тёмное пятно. Приближается... Тело Алексея наливается свинцовой тяжестью. Всё внимание на этом пятне! Огромный секач!

Зверь и человек... Может быть, два зверя? Кто кого... Допустив кабана метров до тридцати, Алексей дважды выстрелил. В конце просеки раздались ещё несколько выстрелов.

Крупный кабан, разгребая задними ногами снег, лежал на старой звериной тропе. Пуля Полева не подвела.

Почувствовав в ногах предательскую слабость, Алексей присел на тушу. Скоро подошла вся компания, волоча на верёвке тушку кабанчика-сеголетка.

— Везучий твой дружок, Ваня. В первый выезд с нами завалил такого матёрого, — сказал Евгений Анатольевич, пожимая Алексею руку.

Все поздравляли, хлопали по плечу. Но это почему-то его не «трогало». Он «отключился», чувствуя ещё не ушедшую внутреннюю пустоту.

Когда вернулись из леса, обращаясь к Ивану, Алексей сказал:

— Чтобы не мешать вам, пока разделаетесь с добычей, схожу на кладбище проведать мать, заодно посмотрю: что там осталось от нашего дома.

— А что с ним случится? Как стоял, так и стоит. Только зарос маленько... Иди, но ненадолго — свежая печёнка скоро будет.

Когда Алексей вернулся, охотники начинали накрывать стол — доставали из сумок и рюкзаков закуски и напитки. Олег заметил:

— Михалыч, а почему у тебя все пакетики перевязаны резиночками, как в сберкассе деньги?

— Потому, что так удобно. Не нужно узлы каждый раз завязывать да развязывать. С этими резиночками вышла у меня такая история. Пришёл в канцтовары, взял их пакетик, а девчата-продавцы интересуются: зачем они мне? Говорю, что я человек аккуратный и не люблю, когда что-то неприбранное валяется по комнате. Вот, например, получу пенсию — куда деньги девать? Валяются по углам. А теперь соберу их пачечками, да сложу стопочками — вот и порядок.

— Как ты говоришь? — подхватил Евгений Анатольевич, — «пачечками да в стопочку»? Это нашу-то пенсию? Ловко, ловко. Ты что, депутат Госдумы или друг президента? Ну, Михалыч, весёлый ты человек. Уморил, — и закатился смехом.

— Вот так и девчата в магазине смеялись.

В протяжении всего застолья Алексей не проронил ни единого слова. Все разговоры до него доходили, словно через глухую стену. В голове стоял звон, а проклятая пустота, казалось, рвала душу.

— Бросать пить вредно! — изрекал хохмач Михалыч. — После операции, когда мне шунты вставили, доктор напутствовал: если до этого курил — кури, пил — пей понемногу, а резко бросать — вредно. Организму после такой операции перемены ни к чему. Береги себя.

Когда охотники на своих машинах разъехались по домам, Алексей обратился к Ивану:

— Как ты думаешь, если я вернусь в село, работу подыскать здесь можно?

— Зачем её искать? Работы непочатый край. Какая у тебя специальность? Ты же в институте учился.

— Инженер-механик.

— Будешь у меня заведовать механизацией. Техники уже более четырёх десятков единиц. Примешь хозяйство... Зарплата будет достойная. Думай...

И вот, сидя в поезде, Алексей думал.

Почему в нём нет радости от добытого первого в жизни кабана? Потому... потому, что не о кабане он думал сейчас, а о том, что пропали из его жизни годы скитаний. Что полезного за всё это время он сделал для себя и для Галины? Чего добился? На что это похоже? На временную командировку... Пустую и бесполезную... Да...

Похоже, что на этой охоте он убил не только дикого вепря, но и в себе убил городского жителя. И сейчас едет ещё на одну охоту, может быть, более трудную и опасную — убивать такого же «горожанина» в душе супруги.

ПРОФИ

Это случилось ещё в советское время, в тот злосчастный период государственной борьбы с алкоголизмом. Это я к чему говорю? К тому, чтобы вы знали: просто купить спиртное в магазинах тогда было невозможно! Предприятия своим работникам выдавали талоны — маленькие бумажки — на взрослого два талона в месяц. Вот на этот талончик отпускала одна бутылка ёмкостью 0,5 литра. А чтобы её заполучить, приходилось побегать по городу — не в каждом магазине торговали спиртным.

Да. Так вот в это время случилось мне быть в Москве проездом из города Александрова, где был в командировке. А в столице тогда проживал мой давний товарищ Андрей Ухов. «Андрюха рваное ухо» — так дразнили его в школе. Хоть времени у меня на свидание с ним не было — почти опаздывал на рейс самолёта домой, но не позвонить ему я не мог — обидится, если узнает. Поэтому, по прибытии на Ярославский вокзал, бегу к телефонной будке.

Да, кстати, это было накануне моего дня рождения, и я спешил, чтобы встретить его в кругу семьи, как говорится. Когда я об этом рассказал Андрею, он категоричным голосом заявил:

— Ты же сейчас поедешь на Белорусский вокзал? Вот там и подожди меня у справочного бюро! Скоро буду!

Встретились. Потом он проводил меня до Домодедова, а на прощание достал из сумки бутылку коньяка «Наполеон» и сказал:

— Не принято поздравлять с днём рождения раньше срока, но подарки вручать не возбраняется. Прими с самыми добрыми пожеланиями! Не забывай друзей!

Утром следующего дня был уже дома, где все с нетерпением ждали меня за праздничным столом. После всех поздравлений я прилёг отдохнуть. Гости разошлись.

Вот тут и началась история, о которой хочу вам поведать.

Жил у нас в соседях по лестничной клетке некий Валера. Уроженец знатного города Новочеркаска Ростовской области, как он говорил. И чем же он был примечателен этот Валера? Внешне — неказистый мужичок, но, что

характерно, все пальцы на его руках украшались перстнями. Просто какая-то страсть у него была к этим блестящим безделушкам. Но разговор не об этом. Главное в том, что считал он себя профессионалом в древнем промысле — в изготовлении самогона. И, как сам утверждал, мог изготовить данный напиток из любых продуктов.

— Я вырос на земле виноделов, среди виноделов и под знаком винодела! — говаривал он. — У нас в Новочеркасске один ресторан «Сармат» чего стоит! Это же выставка произведений научного института виноградного виноделия! Их продукция на международных выставках призы берёт! И работают там не какие-нибудь простые производственники, а доктора и кандидаты наук!

Надо сказать, что специальное оборудование у него было — сам я лично видел — не хуже, чем лаборатория у Менделеева. Тоже химик. Процесс изготовления напитка обставлялся целым магическим ритуалом. Во-первых, дома, т.е. в квартире, никого не должно быть, кроме его самого. Во-вторых, по такому случаю он облачался в белый докторский халат, белые перчатки, поверх которых, опять же, блестели его перстни, на глаза одевались защитные очки, на голову — белый поварской колпак.

Не знаю, читал ли он какие-либо заклинания, Но перед пуском агрегата долго ходил из угла в угол по лестничной клетке.

Так вот, когда я прилёт отдохнуть, моя разлюбезная жёнушка в освободившуюся бутылку из-под «Наполеона» налила самогона собственного изготовления. И тут ей надо отдать должное — она была мастерицей варения этого продукта.

В это время Валерий как раз готовился к запуску собственного производства и, полу-прикрыв глаза, шагами измерял лестничную клетку.

— Валера, ты когда-нибудь пробовал коньяк «Наполеон»? — приоткрыв дверь, спросила моя супруга.

— Нет. Это же французский коньяк... Где сейчас его достанешь...

— Заходи, попробуешь.

— Где достали?

— Муж сегодня вернулся из Франции. Привёз.

— А я-то и смотрю, что его долго не видно.

— Приехал. У него сегодня день рождения... Пробуй.

Слыша из спальни их разговор и заинтересовавшись его исходом, я встал и вышел к гостю.

— Поздравляю, поздравляю! — пошёл навстречу Валера. — Вот она сказала, что ты был во Франции.

— Пришлось, — говорю.

— За твоё здоровье! — Валера чуть-чуть отпил из рюмки.

Если бы вы видели его в эту минуту! Он прикрыл глаза, чмокал губами, дёргал бровями и порциями выдыхал воздух. Рюмку держал у самого носа и нервно ею потряхивал. Ну, чисто тетерев на току. Так шли минуты причмоков и привздохов. А потом, после очередного полу-глоточка всё повторялось. Мне ей-богу было смешно на это глядеть. Но я держался.

— Ну, французы, ну, мастера! Вот кто знает толк в прекрасном! Вот истинные гурманы! Вот это шардоне де бужу ля кревет!

Чтобы не испортить минуты наслаждения «знатока» спиртного или ещё по какой причине, хозяйка удалилась в спальню.

— Давай, Валера, к столу, а то ты забудешь для чего надел докторский халат и перчатки. Давай сначала отметим мой день рождения, а потом займёмся делами.

После того как закончилось содержимое бутылки, я попросил жену ещё раз её наполнить.

Она пришла, неся в руках трёх литровую банку с продуктом своего изготовления и начала через воронку переливать в бутылку из-под «Наполеона».

— И... И... И там это... было такое?!

— Да, это, — смеясь, сказала Галина.

Я, конечно, не Николай Васильевич Гоголь и не Александр Николаевич Островский, но боюсь, что и эти великие таланты не смогли бы описать то, что сейчас творилось в душе и с наружностью Валерия. Поведаю лишь о том, что видел собственными глазами.

У него сначала, как говорится, постоянно полуприкрытые глаза на лоб полезли. Потом они начали медленно гаснуть и опускаться долу. Лицо ... Лицо стало бледнеть, бледнеть до белого холста. Весь он окаменел. Только губы и веки глаз говорили о том, что человек пока жив — они синели и дрожали.

Мы с женой испугались не на шутку — на наших глазах с человеком творилось что-то несовместимое с жизнью.

Потом тело его нервно дёрнулось, вздохнуло и медленно-медленно стало подниматься со стула. На лицо стали возвращаться краски. Но и они не знали меры. Лицо наливалось краснотой. Уши, щёки, лоб стали багряно-красными.

Валера медленно встаёт из-за стола и, не видя ничего, протянув перед собой руки в перчатках и перстнях, покинул нашу квартиру.

— Вот это я пошутила, — сказала Галина, и ноги её подкосились, банка выпала из рук и разбилась, разливая по полу ценнейший «Наполеон».

А Валера? Он скоро исчез с нашего горизонта — по-видимому, уехал в столицу донского казачества.



Александр Капцов

Александр Сергеевич Капцов родился в 1957 году в посёлке Думиничи Калужской области. Заочно получил лесотехническое образование, работал лесником, оператором котельной. Сейчас—журналист Думиничской районной газеты. Литературные материалы публиковались в областных газетах, журналах «Охотник», «Юный натуралист», «Муравейник», альманахе «Охотничий сборник». Давний член клуба «Литературная свеча», участник многих клубовских сборников.

ЗОЛОТАЯ РЫБКА

После сигнала будильника Алексей продолжал лежать в постели. Вчерашнее решение не зарядило его, как бывало, жаждой деятельности, сладким предвкушением удачи. Вечером он почти машинально запарил горох, сделал тесто, накопал червей.

Душевный гнёт последних дней остался и сегодня, он не улетучился за ночь. Но где-то в глубине души Алексей надеялся, что рыбалка принесёт ему хоть какое-то облегчение. Он вскочил, оделся, разогрел остатки вчерашнего супа, торопливо похлебал, заварил в термосе чай.

Лесная тропа напомнила ему детство. Много раз вот так же утром или вечером спешил он по ней к реке, чтобы испытать своё рыбацкое счастье. Каждый её поворот, любое препятствие на пути были хорошо знакомы. Лицо его просветлело — как будто пообщался со старым надёжным другом.

Приречный луг встретил обильной росой. Оставляя тёмные полосы на сырой траве, Алексей пробрался к своему любимому местечку — уютному пятачку между лозовым кустом и деревцем черёмухи. У берега по обе стороны разрослись кувшинки, лишь в середине осталось свободное поле глубокой воды. Туда Алексей забросил свою прикормку, а потом и удочки: «Ловись, рыбка, — шепнул он и повторил: — рыбочка».

Этим словом ещё недавно называл её, самого близкого человека. Воспоминание болью отозвалось в сердце. Алексей тряхнул головой, будто на всегда хотел избавиться от тягостно-навязчивых мыслей, и уставился на поплавки. Один из них вдруг встрепенулся, поплыл к траве и лихо нырнул под лист кувшинки. Рыболов подсёк, и вскоре в его руке трепетал окунишка, польстившийся на червя-навозника.

...Солнце уже показалось над горизонтом, озолотив божий мир своими нежаркими ещё лучами. Скоро, очень скоро минует время активного клёва, а в рыбацкой бадейке Алексея шевелили плавниками лишь три окуня и небольшая густера. На крайней удочке кто-то потерял насадку и оголил крючок.

Алексей сменил тесто на пареную горошину и забросил снасть подальше, туда, где от течения возникали лёгкие водовороты. Поплавок поплыл по длинной дуге, но вдруг приостановился и быстро погрузился в воду. Алексей ответил подсечкой. В первое мгновение ему показалось, что случился зацеп, но тут же его руку с удилищем так властно потянуло вниз, что стало ясно: на крючке очень серьёзная рыба.

С риском оборвать леску рыболов остановил потяжку и стал потихоньку приподнимать кончик удилица всё выше и выше над водой. Прочная снасть гасила упругие толчки. Несколько раз человеку пришлось уступить и вновь вернуть завоёванные позиции. Так постепенно, «на кругах», Алексей вывел рыбу на поверхность. Вначале мелькнул золотистый бок с красными перьями плавников, потом белое брюхо, тёмная спина... Вот опасный момент: массивная рыбина из последних сил рванулась, забарахталась, но снасть выдержала, не подвела рыболова. Скоро притихший красавец-язь (а это был именно он) оказался в подсачке.

Не сразу спало нервное напряжение. Трясущимися руками Алексей освободил язя из сетки, вынул из мясистой губы зацепистый крючок. Как безумный, всё ещё придерживал рыбу ладонью, как будто она могла убежать.

Он стал обладателем прекрасного трофея. Ему и раньше удавалось изловить хорошую рыбу, случалось обмануть и осторожного язя. Но такой крупный попался впервые. Алексей давно мечтал принести домой этакий краснопёрый «слиток золота». Представлял, как она ахнет, всплеснёт руками, похвалит... Теперь её нет, он навсегда упустил свою золотую рыбку. Хоть и не в дальние страны уплыла она, только едва ли вернётся.

Кому теперь показать добычу? Зачем гадать, на сколько потянет этот толстый «увалень»? Ради чего он загубил такую красоту? Теперь, когда цель оказалась достигнутой, пришло осознание её бесполезности.

Алексей ещё наблюдал, как тяжело шевелит язь своими жаберными крышками, разглядывал крепкую кольчугу чешуи, но уже почувствовал, что не воспользуется заслуженным даром.

Рыболов шагнул к берегу и бережно опустил рыбу в воду. Ошалев от внезапно полученной свободы, она не спешила уплывать. Но вот встрепенулась и одним махом ушла в глубину, подняв облако мути.

«Вот так», — растерянно шепнул Алексей и принялся сматывать удочки.

ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ

— } дорово, дядь Вань!
— Здоров, Сашок, здоров, дорогой.

— Погоди, Алексеич, переговорить надо бы.

Иван Алексеевич тут же натянул вожжи, тормозя свою беленькую кобылку.

— Тпру-у-у, стой, Машка, — нараспев смачно выговорил он и протянул мне свою задубевшую от крестьянской работы ладонь.

- Ну как дела?
- Голова пока цела, дядь Вань. А у тебя?
- Да ничего, слава Богу, помаленьку.
- Дело есть. Не поможешь?
- А что за дело такое?
- Надо мне пару дубков привезти. Сделаем?
- А почему нет! Картошку уже посадили... А когда ты хотел?
- Да хоть завтра. К девяти подъехать сможешь?
- О чём разговор! К девяти буду. Отчего не помочь, ты ж меня знаешь...

Иван Алексеевич по-приятельски хлопнул меня по плечу, и его рябое лицо расплылось в хитровой улыбке.

На следующий день мы встретились и, изрядно поколесив по лесным и полевым стёжкам-дорожкам, прибыли на место. Погрузкой на правах старшего командовал Иван Алексеевич. Он заботливо поругивал меня за излишнюю спешку: «Не хватайся, успеешь горб нажать, давай вдвоём... Вот так-то!»

Несмотря на свой пенсионный возраст, Иван Алексеевич был ещё довольно крепким, сказывалась крестьянская закалка. Всю жизнь трудился не покладая рук и хоть не разбогател, но последним тоже не был. Односельчане уважали его, да и совхозное начальство ценило.

Обратный путь был более долгим. Иван Алексеевич по-хозяйски жалел лошадку, и мы шли пешком вслед за телегой. По дороге старый механизатор вспоминал прошлое.

— Вот, смотри, раньше всё это пахалось, — говорил он, указывая на большое пространство, лежащее вдоль дороги. — А сейчас, видишь, березняк прёт. Эх...

- А ведь корчевать потом как дорого будет! — поддержал я разговор.
- Само собой!

Миновали уже середину пути до посёлка, когда я вспомнил о своём рюкзаке и предложил остановиться и перекусить.

— Давай тогда вон там, на клеверке, остановимся, заодно и Машка пожуёт...

На молодой сочной травке он остановил лошадь, позволил ей пастись, а сам, сыпанув самосаду на клочок газеты, свернул сигарку, прикурил и смачно затянулся густым дымком. Мы сели на молодой клеверок, я достал рюмку и бутылочку с народным зельем. Без долгих церемоний выпили по одной, потом ещё добавили и... разговорились.

Дядя Ваня стал рассказывать о войне, о том, как его, подростка, немцы чуть было не угнали в Германию, но он им не дался, сбежал по дороге и вернулся в родную деревню. Историю эту я от него слышал раньше, но не мешал старику, а выслушав, не без лукавства в голосе спросил:

- Дядь Вань, ты, видно, бедовым малым был?!
- У-у-у, спасу не было!
- Да ты и сейчас ещё бедовый! — подмигнул я старику и фамильярно похлопал его по плечу (самогон уже давал себя знать).

— Вот доживи до моих лет, тогда посмотришь... Нет, Сашок, годы своё берут. И смерть уже не за горами.

— Да ладно, что это ты... Рано о смерти думать.

— Кто знает?! У каждого своя судьба... Я вот всё хочу попросить у тебя хорошенькую ёлку на тёс.

— Зачем тебе тёс?

— Как зачем? На гроб!

Я оторопел.

— А что ты удивляешься? Хороший хозяин обо всём должен заранее позаботиться.

— Ну ты даёшь! Заботливый какой...

— Сергеич, разреши. Сделаю всё тихо, аккуратно...

Я замаялся. Отказать в такой ситуации было неудобно. В то же время и разрешить нелегко, даже совсем нельзя. Почувствовав мою нерешительность, Иван Алексеевич добавил: «Никто и знать не будет...»

— Не смейся, дядь Вань, ведь в деревне живёшь...

— А я вечером со своими ребятами привезу на лошадке. Сучья сожгу.

— Да, знаю я, как вы сжигаете обычно...

— Распилю, заташу на потолок, тёс просохнет, как следует. Вот это будет по-хозяйски, — не унимался Иван Алексеевич.

— Ох, и чёрт! Ты мне зубы не заговаривай. Ведь знаешь, что у меня в обходе ёлок вроде бы нет совсем.

— В том-то и дело, Сергеич, что «вроде». А ведь есть. Одну-две всегда найти можно.

— Можно-то можно. Только разрешать не можно...

— Это не сейчас, Сергеич, сейчас некогда. Это осенью, после картошки... Или даже по морозцу.

— Ох и хитрый ты, Лексеич, — с усталой улыбкой промолвил я. — Небось, уже присмотрел.

— А то нет! Конечно, Сергеич, — обрадовался он, уловив перелом в ходе «боевых действий».

— На Ботне есть ха-а-рошая ёлочка...

— Постой-постой, это там, где..?

— Правильно! Да ты тоже знаешь?!

— Ну так... небось, лесник пока ещё, — улыбнулся я, польщённый его невольным комплиментом.

— Договорились? — не успокаивался Иван Алексеевич.

— Постой, а на чью пилораму повезёшь?

— Это не проблема. На совхозную, конечно...

— То-то и оно. Начальство спросит: откуда ёлка? И что же ты ответишь?

— Что отвечу?!

Далее последовало непечатное выражение, которое «в переводе» звучало как «украл!»

Его реплика была настолько смешно-убедительной, что я наконец сдался. Получив, таким образом, неофициальное разрешение на рубку, Иван

Алексеевич изготовил ещё одну самокрутку, закурил и, удовлетворённый, пошёл к лошади, приговаривая: «Эх, погодка хороша — помирать не охота!»

Вскоре он сел на брёвна, показал своей Машке кнут и залихватски крикнул: «Давай, родимая-а!» Телега жалобно скрипнула и тронулась не спеша мерить оставшуюся часть негладкой полевой дорожки.

Я полулёжа расположился за спиной этого пожилого человека, поневоле глотал махорочный дымок, слушал байки, что-то поддакивал, кивал головой... Выпитая самогонка непонятным образом смягчила наше общее жёсткое «ложе», и мне было лень пошевелиться. Казалось, само время остановилось, и так можно было ехать бесконечно долго. Вокруг было пустынно. Лишь в синем весеннем небе пара чёрных воронов кружилась высоко у нас над головами.

* * *

Через несколько месяцев я услышал, что Иван Алексеевич болеет. «Ну, болеет и болеет, все мы иногда бодем», — подумалось мне. Потом прошёл слух, что болеет тяжело. Говорили даже о диагнозе. Он не был слишком опасным, такие болезни обычно лечатся. Не знал я, что диагноз тот был лишь гуманной версией для самого больного. На деле всё было хуже. Вскоре Ивана Алексеевича не стало...

Однажды в ясный осенний день обходил я район Ботни. Вспомнил про ту ель, решил взглянуть на неё. Или хотя бы на пень. Нашёл не сразу, бродил-бродил, потом наткнулся на верный ориентир, который указал правильный путь.

«Да вот же она, красавица, цела, оказывается...» — чуть не вскрикнул я. Она, без сомнения! А вот на стволе небольшая затёска топориком, от которой тянется длинный смолоподтёк, — заявка на её смерть, которая не состоялась. «У каждого своя судьба», — вспомнил я слова Ивана Алексеевича. И другое: «Эх, погодка хороша — помирать не охота!»

ПОЭТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПОЭТА

Анатолий Сенин

Анатолий Павлович Сенин родился 2 января 1932 года в селе Брынь Думиничского района Калужской области. Окончил Брынскую среднюю школу и Московский пушно-меховой институт, где получил квалификацию биолога-охотоведа. Работал в должности старшего охотоведа, на химическом заводе начальником смены и начальником цеха, а потом — в спортивном охотничьем хозяйстве по специальности. Стихи начал писать с конца сороковых годов прошлого века и пишет до сих пор. Публикации его статей и некоторых стихов были в Российской охотничьей газете. С 2001 года живёт в селе Малая Дубна Орехово-Зуевского района Московской области.



ВЕТРЫ РОДНЫХ КОСОГОРОВ

Надо сказать, что вот так — специально — я не читаю поэзии. Сел, поправил галстук и очки, прочитал поэму до последнего слова, прочитал примечания, — встал и пошёл навстречу солнцу...

Нет, скорее, я, как зверёк, бегущий по овощебазе, — кусаю некоторые поэтические фрукты и овощи направо и налево — хватать, хватать — иногда сок сразу брызнет, а иногда суховато — не успел ещё он выступить густыми каплями, а я уже убежал... Встречаются и совсем сухие.

А бывает (как получилось со стихами Анатолия Сенина), появляется такая возможность — задуматься, погрызть-пососать этот овощ в тени у пруда, лёжа и закинув ногу на ногу. Я вдумываюсь — что за нотки вкусовые, что за запахи у этого сока... пытаюсь понять самую суть этих запахов... Где я их встречал?..

Может быть, были такие нотки в разговорах моей бабушки и дедушки? Или прапрадедушки... А это, по правде говоря, для меня — самое главное в поэзии. Не высокая её интеллектуальность, а... — летают ли такие же молекулы в мире Сергея Есенина?.. Светится ли такой пшеничный свет в стихах Алексей Кольцова... в картинах Венецианова и Перова?.. В усадебных видах прекрасного Григория Сороки...

Я узнаю. Я чувствую, читая Анатолия Сенина, что это ТОТ самый свет... Эта поэзия той же простой радости, но вместе и глубокой боли нашего времени о русском деревенском мире. О деревенской цивилизации вообще. И эта боль роднит меня с ним. Она и моя. Я кладу её на ладонь и дую. Она становится ярче и светлее. Как и душа...

Что нужно ещё? Форма? Русская её хрустальность и простота? Она здесь встречается. А больше ничего и не нужно... Совсем ничего.

Вячеслав Некрасов

Пусть всегда загораются зори!

Подожду, как затихнут метели,
На пригорках оттаёт земля,
И в задумчивый вечер апреля
Я приеду в родные края.

Запылают пожарами зори,
А в лесах в свете ранней звезды,
Как в святом благодарственном хоре,
Будут петь чародеи-дрозды.

И когда ненасытное солнце,
Проводив в дальний путь ручейки,
Выпьет вешние лужи до донца,
Засвистят по логам соловьи.

Любит песни пернатое племя
Обитателей роц и полей —
Лишь наступит весеннее время,
Жить становится всем веселей.

Пусть всегда загораются зори,
Славят жизнь соловьи и дрозды
И не гаснет в небесном просторе
Слабый свет от далёкой звезды!
1970

Не нужно мне счастья иного!

Люблю я бродить в одиночку
Под сводом родимых небес,
Присесть на пенёк или кочку,
Послушать доверчивый лес.

Люблю холодок на опушке,
Застенчивый шёпот берёз,
Настойчивый голос кукушки,
Вечерние россыпи звёзд.

Люблю без дорог пробираться,
На зорьке луга навещать,
Холодной росой умываться,
Под старой ракитой стоять...

Ни шума вокруг и ни слова —
Бездонная синь высоты...
Не нужно мне счастья иного,
Не нужно другой красоты!
1998

Родное раздолье

Солнечными бликами
Даль горит вокруг,
Дрёмой и гвоздикою
Разукрашен луг.

Над речной излучиной
Облака плывут,
А внизу, под кручею,
Ласточки снуют.

И в лицо мне ласковый
Веет ветерок —
Будет много радостных
Впереди дорог!
1995

Тропинка

Узкая тропинка,
Трава-лебеда,
Топкая низинка,
Столбы, провода.

На крутом пригорке
Ветер и простор,
Жаворонков звонкий
Песенный задор.

У болотца плачет
Чибис вдалеке,
И кобылки скачут
По густой траве.

Цапли одинокой
Жалостливый стон,
От грозы далёкой
Долетевший гром.

И вокруг раздолье —
 Рощи да поля...
 Милое приволье,
 Родина, моя!
 2019

Небо над Брынью

Синее небо над Брынью,
 Дышит покоем земля,
 Пахнут задворки полынью,
 Млеют под солнцем поля.

Дали знакомых просторов,
 Тихий уют пустырей,
 Ветры родных косогоров
 Стали судьбою моей.

Край наш, отцами хранимый, —
 Скромная гордость моя,
 Мной беззаветно любимый,
 Благословляю тебя!

И только запахнет полынью,
 Птицы мелькнут в вышине,
 Мне чудится небо над Брынью
 И стая грачей на стерне...
 2020

Сыч

Вьётся пыльная дорожка,
 В тучах прячется луна,
 На краю села сторожка,
 Ночь, безлюдье, тишина.

Тускло светится окошко,
 Лампа на столе горит,
 Спят родители в сторожке,
 Мальчик с книжкой сидит.

Мыши бегают в подполье,
 И ни звука за стеной —

Деревенское подворье,
 Не тревожимый покой.

Невидимкою из рощи
 Сыч в деревню прилетел,
 Страж жилья, хозяин ночи
 На трубу избушки сел.

И всю ночь шуршали мыши,
 До утра огонь горел,
 Сыч сидел на низкой крыше
 И всю ночь во тьму глядел.
 2019

Бересклет

Бересклет, бересклет,
 Много зим, много лет
 Ты стоишь под горой
 На опушке лесной.

Я к тебе приходил,
 Как с живым говорил,
 Лишь тебе доверял,
 Что другим не сказал.

И простился с тобой,
 Когда был молодой,
 Но тебя не забыл,
 Где бы после ни жил.

Звал меня много лет
 Твой рубиновый свет,
 Как зовёт моряка
 Яркий свет маяка.

На вечерней заре
 Я вернулся к тебе.
 Буду рядом стоять
 О былом вспоминать.

1995



Георгий Куликов

Георгий Викторович Куликов родился в 1950 году в Самарканде. Окончил Академию МВД СССР и Дипломатическую академию МИД России. До 2006 года работал в сфере государственного управления. Государственный советник 1 класса, заслуженный юрист Российской Федерации. Член Союза писателей России.

ЕДИНСТВЕННАЯ ВЕРСИЯ

В комнате оперативного состава отделения милиции стояла удивительная тишина. Старший по возрасту и по званию капитан милиции Лев Алексеевич Ерихин что-то писал в своём блокноте. Саша Блинов и Виктор Колосов штудировали уголовно-процессуальный кодекс, а самый младший из оперативников Женя Кудрин, год как пришедший на работу из школы милиции, подперев кулаком подбородок, смотрел в окно и предавался размышлениям. «Вот сейчас лето и на улице довольно жарко, — думал он, — а в нашей комнате не замолкают вечные споры между двумя сторонами: теми, кому дует, и теми, кому душно...»

Недовольство это копилось постоянно — как летом, так и зимой. Иногда оперативные сотрудники разговаривали даже на повышенных тонах, что не очень хорошо сказывалось на общем настрое коллектива. Лев Алексеевич старался закрыть окно, и к вечеру в комнате нечем было дышать. А Колосов и Блинов, наоборот, при первом же удобном случае, когда Ерихин отсутствовал, открывали окно и наслаждались дуновением ветерка. Хотя, по правде, никакого ветерка не было, а шума от проходящих мимо машин было в изобилии.

— Лев Алексеевич, — пробасил Блинов, — может, откроем окно, душно, нет сил дышать.

— Дома будешь открывать окна, — отрезал Ерихин, продолжая писать в блокнот.

— Как хочется дождя, грозы и грома, замучила эта жара, — жалобно проговорил Колосов.

— Придётся, Витя, домой, — ответил Ерихин, — включи стиральную машину и положи в неё кирпич, будет тебе и гроза, и гром.

— Умничаешь, товарищ Ерихин, — ответил Колосов, — самому ведь тоже жарко. Может, перекурим это дело?

— Перекурим, — передразнил Колосова Женья, — выходишь на улицу в курилку, а ощущение такое, что погода сейчас покурит тебя.

— Хватит балагурить, — рыкнул на присутствующих Ерихин, — делом занимайтесь.

— Да как-то не получается, — возразил Колосов, — от такой жары мозг закипает. Может, Женья что-то скажет о коварстве жаркого лета?

Все знали особенность Кудрина: он был обладателем большого количества анекдотов и разных шуток, в его голове концентрировались анекдоты на самые различные темы. А иногда, чтобы не забыть, Женья записывал их в небольшую записную книжку, которую всегда носил с собой в кармане пиджака. И в это раз Кудрин без лишних слов достал её и, немного полистав, остановился на нужной странице.

— Ну, если о жаре вообще, — начал он, — значит так... Два мужика зашли в парилку городской бани и через пару минут выскочили оттуда из-за невыносимой жары. Они пожаловались директору бани, а тот, смущаясь, сказал: «У нас банщик новый, никак руку не набьёт, он раньше в крематории работал».

Все дружно рассмеялись, и только Ерихин, ехидно улыбаясь, покрутил пальцем у виска.

— Что вы за люди, — гневно проговорил он, — не даёте работать, вам только поржать...

В этот момент в кабинет вошёл дежурный по отделению милиции и громко выпалил:

— Кудрин, на выезд, на Каширском шоссе квартирная кража. Опергруппа из райотдела выехала на место, а участковый инспектор уже там. Садись в дежурный «Москвич» и вперёд, милиционер-водитель знает точный адрес.

Недолго думая, Женья прихватив свою папку, выбежал на улицу, где его уже ждал урчащий, как керогаз, милицейский «Москвич».

Через пятнадцать минут Кудрин входил в первый подъезд девятиэтажного блочного дома. У открытой двери квартиры № 24 на третьем этаже он увидел участкового инспектора Романова и следователя из райотдела Славина, которые вместе с экспертом-криминалистом приехали чуть раньше.

Поздоровавшись со всеми, Кудрин быстрым шагом прошёл в квартиру. В прихожей на стуле сидела рыдающая полная женщина с большой копной волос на голове.

— Что здесь произошло? — спросил вошедший следом Славин.

— Я пришла сегодня домой, а дверь в квартиру оказалась открытой, — всхлипывая сказала она, — я точно помню, что закрыла квартиру, когда уходила на работу. В комнате на трюмо лежали мои украшения, а теперь их нет, понимаете — нет.

— Давайте по порядку, — сказал следователь, — в котором часу вы пришли домой, что обнаружили и что пропало? Но сначала предъявите, пожалуйста, документы.

Женщина, не переставая рыдать, достала из своей сумочки паспорт и передала его Славину.

— Нина Михайловна Боцман, — вслух сказал следователь.

— Да, это я, — выпалила женщина. — Как уже говорила, пришла я домой час назад от портнихи, а дверь квартиры оказалась открытой. Я сразу заметила, что у меня спёрли мой любимый серебряный браслет в виде змейки, кольцо с двумя бриллиантами и золотую цепочку. Моя любимая змейка! Найдите, пожалуйста, её.

— Товарищ капитан, — обратился следователь к участковому инспектору, — обеспечьте, пожалуйста, понятиями.

Эксперт-криминалист расстегнул свой чемоданчик и приготовился к работе, а через несколько минут в комнату вошли две женщины в сопровождении участкового инспектора.

В этот момент в квартиру буквально влетел невысокого роста полный мужчина.

— Что здесь происходит? — визгливым голосом спросил он.

— А вы, собственно, кто будете? — ответил вопросом на вопрос Кудрин.

— Хозяин квартиры, — ответил вошедший и подошёл к рыдающей женщине.

— Миша, — сквозь слёзы проговорила она, — нас ограбили, спёрли мой любимый серебряный браслет в форме змеи, который ты мне подарил, кольцо с бриллиантом и золотую цепочку.

— Заткнись и не ной, — грубо ответил ей вошедший.

— Предъявите ваши документы, — попросил следователь.

— Я Боцман Михаил Леонидович, — громко ответил мужчина, протягивая Славину свой паспорт, — работаю директором мебельного магазина на Старокаширском шоссе и, между прочим, являюсь членом комиссии нашего исполкома по борьбе с пьянством.

Все приехавшие во главе с хозяином квартиры прошли в большую комнату.

— Здесь всё в порядке, вещи все на месте, ничего не украдено, — проговорил Боцман.

Когда они зашли в спальню, то увидели, что стоящий в углу большой квадратный сейф открыт, а в нём — зияла пустота.

— В сейфе вообще ничего не было, — как бы между прочим проговорил хозяин квартиры.

— А для чего тогда такой огромный сейф нужен? — спросил Кудрин.

— Это не ваше дело, — огрызнулся Боцман, — а здесь, в спальне, всё в порядке и вещи все целы.

— Хорошо, — ответил следователь, — приступаю к осмотру места происшествия.

Эксперт-криминалист вынул из своего чемоданчика маленькую кисточку и стал обрабатывать ручку входной двери.

Женя подошёл к хозяйке, которая уже немного успокоилась и внимательно наблюдала за действиями работников милиции.

— Значит, вы утверждаете, что пропал браслет, кольцо с двумя бриллиантами и золотая цепочка? — ещё раз спросил он.

— Да, утверждаю, — закивала она головой.

— А ещё что-то пропало? — настаивал Кудрин.

В этот момент подошёл её муж и приложил указательный палец к губам, но Кудрин это заметил, хотя и не подал вида.

— Больше ничего не пропало, — неуверенным голосом сказала Нина Михайловна.

— Опишите, пожалуйста, пропавший браслет со змейкой и кольцо с бриллиантами, — попросил следователь.

— Да что там описывать, — всхлипывая, проговорила она, — серебряный браслет с незамкнутой формой кольца с двумя маленькими бриллиантами вместо глаз, а кольцо золотое тоже с двумя бриллиантами. Пожалуй, всё.

— Вот вам бумага и авторучка, пишите заявление на имя начальника милиции о краже, — громко сказал Славин.

Нина Михайловна, глядя на своего мужа, неуверенно написала его и передала следователю.

Пока тот составлял протокол осмотра места происшествия, Кудрин и участковый инспектор пошли опрашивать соседей второго и первого этажей на предмет выявления свидетелей происшествия. Женя поговорил с гражданами из семи квартир на первом этаже, но никакой полезной информации не получил; оставалась последняя квартира № 1. Без всякого энтузиазма он нажал на кнопку звонка и увидел в дверном проёме женщину средних лет в элегантных белых брюках и летней кофточке.

— Здравствуйтесь, милая дама, — неожиданно для себя игриво произнёс Кудрин, протягивая ей своё удостоверение личности. — Тут на третьем этаже обокрали квартиру Боцмана...

— Кого? — переспросила женщина.

— Да фамилия жильца такая — Боцман, — усмехнувшись, ответил Женя. — Хотел бы узнать, не видели ли вы каких-то неизвестных лиц сегодня в первой половине дня?

— Во-первых, спасибо за милую даму, — улыбнувшись ответила она, — в последнее время мало кто говорит комплименты, а во-вторых, заходите в квартиру, там и поговорим.

Она пригласила Кудрина на кухню и рукой указала на стоящий у кухонного стола стул, а сама примостилась на небольшом кресле, стоящем у окна.

— Я учительница в школе, сейчас у ребят летние каникулы, и у меня каникулярный отпуск, — сказала женщина, — а зовут меня Валова Елена Сергеевна.

— Так вы всё-таки можете что-нибудь рассказать о сегодняшнем дне, что-то показалось вам странным?

— Да нет, — ответила Елена Сергеевна, — всё было как обычно, утром часов в девять, когда муж уехал на работу, я пошла в магазин за продуктами. А когда вернулась, то, подойдя к своему подъезду, присела на лавочку, чтобы отдохнуть.

— Может быть, в этот момент вы увидели каких-то неизвестных лиц? — нетерпеливо спросил Кудрин.

— Да, — неуверенно после паузы произнесла Валова, — помню, как из подъезда вышел подросток лет тринадцати с носом как картошка и копной волос на голове, а за ним быстро вышли двое мужчин. Так вот из тех двоих мне

запомнился человек с большим кожаным портфелем. Это был очень импозантный мужчина красивого телосложения с горбатым носом и ямочкой на подбородке. Уж очень он был похож на Нушрока.

— Кого? — переспросил Кудрин.

— На Нушрока из фильма «Королевство кривых зеркал», — ответила она, — недавно с дочкой смотрели в кинотеатре этот фильм.

Женя подробно записал рассказ Валовой, а когда она расписалась и он уже хотел уходить, неожиданно произнесла:

— А давайте я попробую нарисовать лицо этого человека и того парня с копной волос на голове, всё же я преподаю черчение и некоторый навык в рисовании имеется.

— Да, пожалуйста, — ответил Кудрин.

Валова принесла из комнаты несколько листов бумаги, тонко отточенный карандаш и не спеша начала рисовать. Через пятнадцать минут в руках Кудрина уже было два рисунка.

— Как похож нос у одного из них на клюв орла или коршуна, — восторженно произнёс Женя, разглядывая рисунки.

Поблагодарив Елену Сергеевну, Кудрин положил рисунки в свою папку и вышел из квартиры. Поднявшись на третий этаж, он увидел, что оперативная группа закончила работу и собирается уехать.

— Завтра утром, как обычно, пришлю все материалы и заключение эксперта-криминалиста в отделение милиции, — сказал следователь и, пожав Жене руку, вышел с экспертом из квартиры.

Через пару минут подошёл участковый инспектор Романов и сообщил, что ничего существенного по делу обнаружить не удалось. Попрощавшись с потерпевшими, Кудрин поехал на работу, а участковый инспектор пошёл в соседний подъезд в надежде выявить возможных очевидцев происшествия.

В отделении милиции Женя сразу же отправился на доклад к своему начальнику майору милиции Николаеву. Павел Иванович внимательно выслушал Кудрина о произошедшем, и, когда доклад был закончен, он ещё несколько минут молчал, как бы «переваривая» услышанное, и рассматривал рисунки, выполненные Валовой.

— Что ты сам думаешь об этом происшествии? — спросил он.

— Думаю, что кража была осуществлена по наводке, видимо, знали, что в доме есть чем поживиться, — проговорил Женя, — и брали только драгоценные вещи и, скорее всего, деньги. У меня сложилось мнение, что хозяин квартиры что-то не договаривает; сейф в спальне был открыт, но он был пустой. Однако Боцман заявил, что в нём ничего не было, как будто бы он стоял такой огромный в спальне исключительно для мебели.

— Врёт, конечно, — продолжал Кудрин, — не захотел светить денежные средства, которые наверняка там хранились. Ну откуда у бедного директора мебельного магазина могут быть большие деньги?

— Я понимаю твою иронию, — проговорил Николаев, — и, по-видимому, ты прав. Скорее всего, у него в сейфе хранились приличные деньги, а он

просто прикинулся шлангом, чтобы избежать огласки. Но если жена Боцмана написала заявление об исчезновении трёх драгоценных предметов, будем возбуждать уголовное дело и искать.

— Кстати, — продолжал Павел Иванович, — Боцман является председателем районной комиссии по борьбе с пьянством и, по нашим данным, находится в хороших отношениях с председателем райисполкома. Я уверен, что тот уже поставил в известность нашего начальника райотдела, который, в свою очередь, наверняка поставит это дело на свой контроль. Так что все другие дела на время отложи и займись только этой кражей. Посмотри по сводкам происшествий по городу за последние полгода, нет ли аналогичных преступлений, а описание браслета и кольца нужно разослать по всем районам города. Бывает и такое, что воры иногда приносят на скупку ювелирам такие вещи или просто просят их оценить.

— Мне кажется, Павел Иванович, что это бесперспективное дело, висяк, — тихо проговорил Кудрин, — никаких зацепок и скудные свидетели.

— Там будет видно, — ответил Николаев, — иди работай и в ближайшее время сформулируй рабочую версию по этому делу.

Женя пришёл в оперативный кабинет и с размаху плюхнулся на свой стул; все оперативники были на своих рабочих местах и о чём-то спорили.

— Вот скажи, Женька, — обратился к нему Блинов, — тут зашёл разговор о личности в истории, как ты оцениваешь её роль в определённый исторический период времени?

— Слушайте, мужики, отвалите со своими вопросами, я целый день на ногах и очень устал, — ответил Кудрин.

— А вот я думаю так, — продолжал Блинов, — личность может быть выдающейся, а когда уходит на тот свет, все о ней забывают.

— Это точно, — запальчиво воскликнул Колосов, — вот в прошлом году похоронили знаменитого артиста Строгова; как уж говорили, что без него никак не обойтись нашей эстраде, а сейчас уже и не вспоминают о нём.

— Да, да, — отчеканил Блинов, — помните, когда ушёл из жизни полковник Зотов. Все только и говорили о нём как о выдающемся сыщике и что МУР будет совсем другим без такого профессионала. А что теперь: лишь некоторые сослуживцы вспоминают о нём, а другие и вовсе забыли.

— А вот я думаю, что оценить личность в истории можно лишь со временем, — проговорил Ерихин, — есть масса примеров, когда ушедших великих людей вспоминали добрым словом.

— Я согласен с Львом Алексеевичем, — встрепенулся вдруг Кудрин, — возьмите Ломброзо, до сих пор о нём пишут в учебниках криминалистики, и многие последующие поколения сыщиков отзываются добрым словом о его методах работы.

— Ну, ты хватил, Женя, — перебил его Колосов, — это же великий учёный.

— Так вот, таких людей много, о которых память человеческая не стирается во времени, — проговорил Ерихин. — А что касается Зотова, то, во-первых, в нашем музее на Петровке, 38 ему посвящён целый раздел, во-вторых, в школе милиции на цикле оперативно-розыскной деятельности подробно

изучают методы его работы, а в-третьих, я был лично с ним знаком и до сих пор считаю его одним из лучших мастеров розыскной работы.

— Мужики, вы как хотите, а я пошёл домой, — громко сказал Кудрин и усталой походкой вышел из кабинета, после чего направился к троллейбусной остановке. На душе было скверно, никакие версии в голову не лезли, и от этого настроение было плохое. Женя с трудом втиснулся в переполненный троллейбус, который пыхтел как тульский самовар, и уставился в окно. Троллейбус остановился на очередной остановке, и в салон кое-как пропихнулась очередная толпа людей. Все едут, толкаются, чертыхаются, вдруг одна полная женщина средних лет как заорёт:

— А-а-а!

И, повернувшись к рядом стоящему маленькому мальчику, запричитала:

— Ах, ты, сволочь такая!

— Ты что сделал? — спросила рядом стоящая его мама.

— Она мне на ногу наступила, а я её за жопу укусил, — спокойно ответил мальчишка.

Троллейбус взорвался от смеха, и у Жени настроение поднялось, он даже улыбнулся.

Домой он пришёл совсем поздно, но у подъезда встретил своего соседа Сергея, который возился у своего «Запорожца».

— Что, уже поломался трандулет, ты же его недавно купил? — с улыбкой спросил Женя.

— Да нет, — ответил сосед, — проверяю щупом масло в движке. А зря ты называешь мою машину трандулетом, это вполне хороший автомобиль.

— Да ты не обижайся, — тихо проговорил Кудрин, — а вот у тебя номерной знак спереди почти не виден из-за грязи. И где в такую жару ты её нашёл, гаишники за это по головке не погладят.

— Ездил позавчера к брату в деревню, а там грязи по колено, — ответил Сергей, — а насчёт гаишников, так мне один знакомый из них учил, что мимо поста ГАИ нужно проезжать, засунув палец в нос. Никто не остановит, чтобы права из рук не брать.

— Надо же, — улыбнулся Женя, — придумают же...

— А что ты так поздно приходишь домой? — спросил сосед.

— Да служба такая, — ответил Кудрин. — А ты почему так поздно копешься с машиной?

— Задержался сегодня на работе, — сказал Сергей, — а потом зашёл перед закрытием в книжный магазин и купил томик Маяковского. Люблю читать его стихи, вот, например: «...Петух донимал соседских кур, он был тогда в ударище, и курица снесла пять яиц, вот это петух, товарищи!»

— Наш пролетарский поэт образно писал, — с улыбкой сказал Кудрин.

— Но это ещё не всё, — сказал Сергей, — стою я в книжном между рядов и корешки книг рассматриваю. Ко мне подходит девушка-продавец и спрашивает:

— Вы что-то определённое ищите?

— Да, — отвечаю, — смысл жизни.

Она немного постояла и тихо ушла. Ну ушла и ушла, даже хорошо, что никто не действует на нервы, пока я книгу выбираю. Минут через десять она вновь подходит и тихо говорит: «Извините, но смысла жизни у нас нет...»

— Я не могу тебе объяснить, — продолжал сосед, — но ржал я как сумасшедший, и до сих пор накатывается смех, ничего не могу с собой поделать.

— Забавная история, — ответил Женя, — она, видимо, не поняла твоего юмора и не задумываясь брякнула, что первое в голову пришло. Извини, Сергей, спокойной ночи, мне завтра рано вставать, а сегодня я очень устал.

Попрощавшись с соседом, Женя быстрым шагом вошёл в подъезд дома.

На следующий день Кудрин с самого утра стал штудировать сводки происшествий по городу за последние полгода. Через некоторое время он наткнулся на аналогичные кражи из квартир директоров мебельных магазинов в Черёмушкинском и Октябрьском районах в феврале и апреле текущего года. Он набрал номер телефона своего однокашника по школе милиции Олега Махотина, который работал в Черёмушкинском райотделе и попросил о встрече. Олег охотно согласился, и Женя вскоре уже был у него в кабинете. Там выяснилось, что это февральское дело вёл не Махотин, а его коллега Пётр Симонов. Позвали Симонова, Кудрин кратко объяснил ему причину своего приезда и попросил ознакомиться с материалами дела.

— Я сейчас схожу к своему начальнику, попрошу разрешения и тогда принесу все материалы, — сказал тот и вышел из кабинета Махотина.

— Олег, ты не помнишь, есть кто-нибудь из наших выпускников в Октябрьском райотделе? — спросил Кудрин.

— Да, Лешка Бузыкин из параллельной группы, он ещё играл на ударнике в вашем школьном ансамбле, — ответил Махотин.

— Вот здорово, — ответил Женя, — а я и не знал, нужно обязательно встретиться с ним.

В этот момент в кабинет вошёл Симонов с увесистой папкой в руке.

— Вот здесь все материалы о той краже, всяк конкретный, садись и читай, — сказал он и снова вышел из кабинета.

Женя присел за стол, любезно предоставленный ему Махотиным, и стал внимательно изучать материалы дела.

— Так, — размышлял он, — похитили деньги и драгоценности, а вещи не трогали; очень похоже на наше дело.

А дальше была куча объяснений соседей по подъезду. Прочитав почти все материалы, Кудрин наткнулся на объяснение гражданки Скворцовой, соседки потерпевших с первого этажа. В нём она описала двух мужчин, около десяти часов утра выходящих из подъезда с портфелем в руках. Она обратила внимание на одного из них: плотного телосложения и с горбатым как у коршуна носом.

— Стоп, — сказал сам себе Кудрин, — этот же тип был нарисован Валовой. Совпадение? Может быть... Но как-то уж подозрительно совпали два фактора: кражи в квартирах директоров мебельных магазинов и человек с горбатым как у коршуна носом.

Женя взял справочник телефонов УВД города, любезно предоставленный Махотиным, и позвонил в уголовный розыск Октябрьского райотдела. Через несколько мгновений он услышал восторженный голос Бузыкина, который очень обрадовался звонку. Кудрин попросил его также о встрече, и тот с охотой согласился, а Женя сказал, что через час он будет у него.

Встретились однокашники как хорошие друзья, вспомнили о годах учёбы и особенно, как лабали в школьном ансамбле. Потом Женя кратко рассказал о цели своего приезда, и Алексей сразу же, без лишних слов, залез в сейф и вынул объёмную папку.

— Вот здесь все материалы этого апрельского висяка, — проговорил он, — садись за мой стол и читай.

Кудрин внимательно, как и в Черёмушкинском райотделе, стал вчитываться в каждую страницу из этой папки.

— Так, — отметил он про себя, — опять же совпадение: из квартиры директора мебельного магазина украли деньги и драгоценности, но вещи не тронули.

И вот он чуть не подпрыгнул на стуле: в объяснении соседки потерпевшей Коневой было чёрным по белому написано, что она утром видела выходящего из подъезда человека с портфелем в руке, у которого был горбатый нос, похожий на клюв коршуна.

Поблагодарив Алексея за помощь, Женя отправился на работу с долей надежды на удачное продолжение расследования, хотя эти совпадения и могли быть случайными.

Доложив Николаеву о своих изысканиях в сводке происшествий по городу и об итогах поездки в два райотдела, Кудрин ещё раз показал ему рисунок Вальной.

— Нужно размножить его и передать всем участковым инспекторам, — после недолгого раздумья сказал Павел Иванович, — вдруг у кого-то на территории проживает подобный тип. А если нет такого человека в периметре нашего отделения милиции, разошлём этот рисунок по всем районам.

— Есть, — коротко ответил Кудрин и вышел из кабинета начальника.

Он передал дежурному офицеру рисунок горбоносого человека, попросил его размножить и передать каждому участковому инспектору на утреннем совещании. Затем пошёл в кабинет оперативного состава.

«Ну надо же, как быстро время бежит, — подумал Женя, — только вроде было утро, а уже вечер».

Никого из коллег не было, он сел за свой стол, закрыл глаза и стал рассуждать.

«Действительно, — думал Кудрин, — быстротечность времени может в какой-то мере пугать, а если отнестись к этому по-философски как к неизбежному факту, то выходит, что жить нужно здесь и сейчас! Вот сейчас, например, я пойду в кино, а работа никуда не убежит. Сегодня достаточно поработал, целый день на ногах».

— Как хорошо я сказал, — улыбнулся Женя, — жить здесь и сейчас, здесь и сейчас...

С этим позитивным настроением он вышел из здания отделения милиции и пошёл к кинотеатру «Луч». Оказалось, что через десять минут начнётся фильм «Королевство кривых зеркал». «Прямо в масть», — улыбнувшись, подумал Кудрин и, купив билет, вошёл в кинозал.

Когда после просмотра фильма он вышел на улицу и вынул из своей папки рисунок Валовой, то подумал о своём подозреваемом: «Ну, настоящий Нушрок...» Но тут же вспомнил, что позволил себе отдохнуть и подошёл к стоящей у кинотеатра палатке «Мороженое», а через несколько минут, отстояв небольшую очередь, уже наслаждался настоящим московским пломбиром.

— Теперь домой, пора отдыхать, — сказал он сам себе, — к тому же сегодня по телевизору футбол, играет «Спартак».

И зашагал к троллейбусной остановке.

На следующий день, ближе к полудню в оперативный кабинет вошёл участковый инспектор Васин, самый старший по возрасту из всех коллег. Все знали, что Дмитрий Сергеевич через несколько месяцев выходит в отставку, отслужив в милиции более 25 лет.

— Кто из вас занимается горбоносым? — спросил он.

— Я, — ответил Кудрин.

— Похожий человек проживает на Нагатинской улице в частном доме № 16. Уж очень смахивает он на Ивана Семёновича Дубова, который работает артистом в подмосковном театре юного зрителя. Несколько лет назад я с внучкой ходил на новогодний спектакль в этот театр, а посадочные талоны мне тогда раздобыл именно Иван Семёнович, так как билетов я достать не смог.

— А что он за человек? — спросил Женя.

— Человек как человек, — ответил участковый инспектор, — тихий, спокойный, живёт один в своём доме. Мать его умерла несколько лет назад, а жена сбежала к другому; он часто бывает с театром на гастролях, вот и не понравилась, видимо, ей такая жизнь.

— А вы его видели на этой неделе? — допытывался Кудрин.

— Нет, не видел, а больше мне нечего сказать о Дубове, — проговорил Васин и, сославшись на неотложные дела, вышел из кабинета.

Когда участковый инспектор ушёл, Женя в адресном бюро узнал номер телефона администратора театра, в котором служил Дубов.

— Извините за беспокойство, — начал разговор Кудрин, — можно пригласить к телефону Ивана Семёновича Дубова?

— Да он сейчас отсыпается дома, — ответил администратор, — вся труппа театра только сегодня ночью прилетела в Москву из гастролей в Томске.

— И он тоже прилетел? — допытывался Женя.

— Да я же вам уже сказал, — раздражённо ответил он, — мы с ним вместе летели в одном самолёте.

Поблагодарив собеседника, Кудрин повесил трубку телефона.

— Стопроцентное алиби, — подумал он, — выходит не Дубов, а это значит, что никаких зацепок по этому делу просто нет.

Однако интуиция подсказывала, что встретиться с артистом всё-таки нужно, хотя особого желания уже не было.

Выйдя из здания отделения милиции, Кудрин сел в трамвай и поехал в сторону Нагатинской улицы.

Подойдя к дому № 16, он осмотрелся вокруг и нажал на кнопку звонка. Дверь открылась, и на пороге появился мужчина крепкого телосложения в одних спортивных трусах. Женя отметил, что у него было слегка вытянутое лицо, красивая, модная стрижка, чёрные брови, а крючковатый нос, похожий на клюв, придавал некую пикантность его облику.

— Вы ко мне? — спросил хозяин дома.

— Да, к вам, Иван Семёнович, — ответил Кудрин, показывая ему своё удостоверение личности.

— Проходите, пожалуйста, в дом, — пригласил Дубов, на ходу надевая халат.

Они вошли в небольшую комнату, где над письменным столом висели афиши концертов и фотографии знаменитых артистов.

Женя не стал мудрить и кратко рассказал Дубову о цели своего визита, показывая при этом рисунок Валовой. Хозяин дома внимательно рассмотрел его и передал обратно Кудрину.

— Надо же, какое сходство, — проговорил он, — но могу вас огорчить, я физически не мог быть в Москве, так как только сегодня ночью прилетел с театром из гастролей в Томске.

— Да я знаю, — ответил Кудрин, — хотел бы на всякий случай спросить, нет ли у вас брата?

— Был, — тихо ответил Дубов, — Борис, но он погиб. Пять лет назад мой брат-близнец был осуждён за кражу и отбывал наказание в колонии Калужской области. Мать из-за этого так переживала, что у неё не выдержало сердце и она умерла три года назад. А прошлой осенью мне пришлось извещать, что Борис трагически погиб в колонии.

Дубов вынул из шкафа коробку из-под обуви, открыл её и передал Кудрину небольшой листок бумаги, в котором на бланке исправительно-трудовой колонии говорилось, что заключённый Дубов Борис Семёнович скончался.

— Скудная бумага, — проговорил Кудрин.

— Я звонил в колонию, — сказал Иван Семёнович, — и мне сказали, что на мосту через реку перевернулась грузовая машина, в кузове которой ехали с работы заключённые. Так вот, несколько человек упали в воду, в том числе и Боря; все упавшие выплыли, а мой брат утонул. Его долго искали, в том числе водолазы, но всё было бесполезно.

— Сочувствую вам, — тихо проговорил Женя, — расскажите о нём подробнее.

— Мы братья-близнецы, Борис появился на свет на пятнадцать минут раньше меня, — начал свой рассказ Дубов, — детство у нас было тяжёлое: отец не вернулся с войны, а мать с утра до вечера работала на нескольких работах, чтобы прокормить нас. Я после школы поступил в театральный институт, а Боря учиться не захотел и пошёл работать на завод. Но работал он недолго, связался с плохой компанией, стал курить и вы-

пивать. Мать измучилась с ним, из-за чего у нас напрочь испортились отношения с братом.

— А три года назад, — продолжал Дубов, — Бориса арестовали за кражу и суд присудил ему пять лет колонии. Отбывал он наказание в Калужской области, и мать часто посылала ему посылки с едой и тёплыми вещами. А два года назад она умерла от инфаркта. Вот, в сущности, и всё.

— А чем увлекался ваш брат? — спросил как бы невзначай Кудрин.

— Да ничем особо не увлекался, — ответил Иван Семёнович, — хотя в школе занимался в секции плавания и даже имел спортивный разряд.

— А вы не можете дать мне какую-нибудь его фотографию? — попросил Женя.

Дубов открыл ящик серванта и достал оттуда фотографию, на которой были изображены похожие как две капли воды два брата.

— А вы что, считаете, что Борис жив? — неуверенно спросил Дубов.

— Я ничего не могу уверенно сказать, сам пока ничего не знаю, — ответил Кудрин, — надо будет разобраться с тем случаем на мосту.

— Возьмите эту фотографию, — сказал Иван Семёнович, — слева я, а справа Борис.

— Да это же одно и то же лицо, — воскликнул Кудрин, — я бы никогда не смог вас различить.

Женя поблагодарил Дубова за информацию, попрощался с ним и вышел из дома во двор. Солнце буквально заливало всю округу, и даже старенькие невзрачные домики в его лучах казались не такими уж уродливыми. Во дворе соседнего дома он увидел пожилую женщину, которая никак не могла расколоть топором сучковатую берёзовую чушку.

— Давайте помогу, — сказал Кудрин, подойдя к ней.

— Ну, попробуй, молодой человек, — с улыбкой ответила она.

Женя взял топор и, вспомнив как прошлым летом на даче колот дрова с отцом, размахнулся и резким ударом расколол чушку на две половинки. Потом взял ещё одно полено и также его расколол, а затем ещё несколько. Пот лил градом, а Женя всё не унимался.

— Да хватит и на этом, спасибо, — улыбаясь сказала женщина, — снимай рубашку, я принесу воды, и ты умоешься.

Через несколько минут она вынесла из дома ведро воды и, зачерпнув небольшим ковшиком, стала поливать ему на голову и спину. Вода приятно остудила раскалённое от жары тело молодого человека, Кудрин даже заурчал от удовольствия. Женщина подала ему полотенце, и Женя с удовольствием вытер голову и грудь, вдыхая аромат свежести и цветочного мыла.

— Пойдём, милоч, я тебя чаем с баранками угощу, — певуче проговорила женщина.

Женя надел рубашку и пошёл с хозяйкой в дом; это предложение было как никогда актуальным, так как его желудок уже всюю гудел и требовал еды.

Они прошли на небольшую кухню, где уже закипал чайник, и Кудрин присел на табурет, стоящий у стола. А на столе — и баранки, и конфеты

различные, и песочное печенье! Женщина налила ему чай в большую кружку, а себе — в маленькую фарфоровую чашечку.

— Угощайся, милоч, — сказала она и придвинула к Жене тарелку с баранками.

Баранка была настолько мягкой и вкусной, что он не заметил, как взял и вторую, а потом и третью, а потом в ход пошло печенье и конфеты.

— А ты чего к Ване Дубову ходил? — спросила она.

— Да по работе, — прожёвывая печенье, проговорил Кудрин.

— Ты тоже артист? — продолжала спрашивать хозяйка дома.

— Да нет, я работаю в милиции, — ответил Кудрин, — а зовут меня Евгений Сергеевич Кудрин.

— А что, с Ваней что-то случилось? — не унималась она.

— Да с ним всё в порядке, у нас сейчас профилактический обход населения, связанный с участвовавшими квартирными кражами, — импровизировал Кудрин. — Вот и вас я обязан предупредить, что чужим людям лучше не открывать дверь дома, а надо вмонтировать в неё «глазок», чтобы видеть того, кто в неё стучится. А как вас зовут?

— Тётей Валею меня здесь называют, — ответила она, — я уже подумала, что что-то произошло с Иваном. Он очень хороший и добрый человек, мухи не обидит. Я хорошо знаю эту семью, мы уже много лет соседствуем.

— А он что, один живёт? — спросил Кудрин.

— Была у него жена, да сплыла, — ответила тётя Валя, — Иван часто летом уезжал с театром на гастроли и долго не бывал дома; да и зарплата у артиста не ахти. Вот и спуталась с другим, а потом развод и всё такое. Жалко мне было его мать Надежду, которой очень трудно было одной поднимать двоих пацанов; муж не вернулся с войны, вот она и вкалывала на нескольких работах, чтобы прокормить их. Только она умерла два года назад.

— А что, мама Ивана Семёновича болела? — спросил Кудрин, снова переводя разговор на нужную ему тему.

— Тут такое дело, — тихо проговорила тётя Валя, — у Ивана был родной брат-близнец Борис. Хулиган был отчаянный, Надежду постоянно в школу вызывали из-за его проказ. А когда дети подросли, Иван поступил в театральный институт, а Борис работал на каком-то заводе и связался с нехорошей компанией. А года три назад он совершил кражу, и его посадили в колонию. Надежда тогда чуть с ума не сошла; это обстоятельство подкосило её здоровье, и она вскоре умерла от инфаркта. А Борька, говорят, тоже умер в колонии, но от чего, не знаю.

— А что, они были действительно так похожи друг на друга? — спросил Кудрин.

— Как две капли воды, — ответила она, — их в детстве постоянно путали, различить братьев было очень сложно.

— А что вы ещё можете сказать про Бориса? — осторожно поддал Женья. — Может, его мать что-то рассказывала.

Тётя Валя кивнула:

— Как-то перед его арестом Надя мне говорила, что он связался с какой-то цыганкой из села Красное в Подмосковье, вроде бы она работала проводницей

в поездах дальнего следования. Так вот та цыганка матери очень не понравилась, когда Борька привёл её в дом. Она и курила, и выпивала в тот вечер наравне с ним.

— Цыганка! — произнёс Женя. — У них, как я знаю, бывают очень необычные имена.

— Да, Надя говорила, что её звали не то Зира, не то Мира, не то Кира; одним словом — не помню, давно это было, — сказала тётя Валя.

— Ну и память у вас, — удивился Кудри. — Как вы запомнили её местожительство?

— А что там запоминать, — с улыбкой произнесла она, — я по паспорту Валентина Петровна Красная. Как видите, её местожительство от моей фамилии отличается лишь окончанием, поэтому ничего странного в этом нет.

Поблагодарив хозяйку дома за чай, Женя попрощался с ней, вышел из дома и направился в сторону отделения милиции. Он не спеша шёл по Нагатинской улице, мысленно перебарывая в голове беседы с Дубовым и Валентиной Петровной Красной. «Что на сегодня имеется, — думал он. — Исходя из разговора с Дубовым известно, что Борис в школе занимался в секции плавания и даже имел спортивный разряд, а это значит, что он мог тогда выплыть и незаметно достичь противоположного берега. К брату он вряд ли пойдёт, так как у них были плохие отношения, а вот к цыганке — возможно. А потом, договорившись с прежними дружками, стал “бомбить” квартиры».

Вот такую логическую цепочку действий выстраивал Кудрин, приближаясь к своему отделению милиции. Он шёл, подставляя лицо жаркому летнему солнцу, и не заметил, как распугал стайку воробьёв, клевавших кусочки белого хлеба. Они резко разлетелись в разные стороны, испуганно чирикав, как бы выражая своё возмущение.

«Стоп, — вдруг про себя сказал Женя, замедляя шаг и провожая взглядом птиц, — вот память девичья, сегодня же день рождения Сашки Воробьёва, однокурсника по школе милиции; надо не забыть поздравить его с этим событием. Воробьёв всегда удивлял нас своими поступками, он во всем старался держать первенство: первым из однокашников женился, первым был переведён из отделения милиции на Петровку, 38, ему первому из всего курса за отличные показатели в работе присвоили внеочередное звание — старший лейтенант милиции».

С этими мыслями Женя вошёл в здание отделения милиции. Войдя в кабинет оперативного состава, он сразу набрал номер телефона Воробьёва, поздравил его с днём рождения и только после этого направился в кабинет Николаева.

— Чем обрадуешь меня сегодня? — строго спросил начальник.

Кудрин подробно рассказал о помощи участкового инспектора Васина в розыске человека с орлиным носом, а потом о встрече с Дубовым и его соседкой по фамилии Красная.

— Ну, актрису Рину Зелёную я знаю, она снималась во многих фильмах, — усмехнувшись сказал Павел Иванович, — а вот о Вале Красной слышу впервые. Ладно, это всё хорошо, но мне хотелось бы узнать: какие версии выстраиваешь и какую из них ты хочешь обозначить в качестве рабочей?

— Думаю, что кражи из этих квартир мог совершить именно Борис Дубов, возможно, с сообщниками, — ответил Женя, — он ранее был судим за кражу, поэтому вполне мог взяться за старое. А что касается аварии с заключёнными на мосту, то Борис в школе занимался в секции плавания и имел спортивный разряд, а значит, мог вполне выплыть.

— Ты что, Женя, — недоуменно ответил начальник, — в январе лёд сковывает водное пространство, а плыть по такой воде одетым — не всякому спортсмену под силу. А потом, интересно, какова была ширина реки в этом месте?

— А если всё-таки он смог выплыть и удрать? — не унимался Женя.

— Куда? — спросил Павел Иванович.

— К брату он точно не пошёл, а вот к цыганке, о которой рассказала Красная, вполне, — ответил Кудрин. — А потом снова взялся за старое и начал «бомбить» квартиры.

— Но всё это может быть лишь в одном случае — если Дубов тогда не утонул, — проговорил Николаев.

— Может быть, кражу из квартиры Боцмана могли совершить залётные из другого города? — неуверенно предположил Женя. — Хотя мне кажется, что первая моя версия более предпочтительна.

— Хорошо, — сказал Николаев, — завтра с утра поезжай в колонию, где отбывал наказание Борис Дубов, и выясни все эти вопросы, а я позвоню в Калужское УВД, чтобы тебя встретили и оказали необходимое содействие.

— А потом, — продолжал начальник, — поедешь в село Красное и попробуй найти ту цыганку.

— Есть, — по-военному ответил Кудрин и вышел из кабинета.

В курилке, как обычно, уже толпились сотрудники отделения милиции, и дым стоял коромыслом, как от выхлопной трубы автомобиля. Саша Блинов что-то громко рассказывал, выпуская изо рта колечки сизого дыма.

— А вот и Женька подошёл, — прервал он свой спич, показывая на Кудрина, — расскажи обществу новенький анекдот.

— Да, — пробасил Ерихин, — а то Сашка уже замучил нас рассказом, как вчера вечером ходил с тещей в аптеку.

Женя прикурил сигарету, затянулся и не спеша выдохнул большой клуб дыма.

— Значит, так, — как обычно начал он, — продолжу тему Блинова об аптеке. Приходит мужик в аптеку и спрашивает что-нибудь от геморроя. Аптекарь даёт ему свечи, и тот на радостях убегает. Через день тот же мужик снова приходит и предъявляет аптекарю претензию: «Что-то мне ваши таблетки не помогают, второй день пью». Аптекарь удивлённо: «А что, вы их внутрь принимали?» Мужик иронично: «Нет, я их в жопу запихивал!»

Все дружно рассмеялись, а Женя, загасив окурок о пустую консервную банку, вошёл в здание отделения милиции.

В оперативном кабинете никого не было. Кудрин сел за свой стол и погружился в раздумья.

«А что, может, оно всё так и было, — рассуждал он. — Дубов “бомбит” квартиры, а цыганка, работая проводницей поездов дальнего следования,

реализовывает похищенное. Но вот одна проблема: почему он грабил квартиры директоров мебельных магазинов, ведь в квартирах у директоров ресторанов, универмагов тоже, наверное, есть чем пожить?».

Незаметно подошло время обеда, и Женя как обычно пошёл в столовую автокомбината, которая находилась напротив отделения милиции. Там особых разносолов не было, но горячее всегда находило своё место в нехитром меню.

— Добрый день, Евгений Сергеевич, — певучим голосом проговорила кассирша.

Ей определённо нравился Кудрин, и каждый раз она пыталась обратить на себя его внимание. Вот и сейчас даже встала со своего стула, чтобы затеять разговор и завязать более близкое знакомство. Но Жене она абсолютно не нравилась — её несуразное тело с широкими плечами и узкими бёдрами напоминало ему тяжелоатлета, и он равнодушно смотрел на неё, выдавливая из себя улыбку.

— Работа, Леночка, такая, — сказал он, протягивая деньги, — не всегда приходится обедать.

— Вот вам и нужен человек, который может и ужин, и завтрак приготовить, — улыбнувшись, сказала она.

— Пока рано об этом думать, — проговорил Женя и пошёл к свободному столику.

Подкрепившись, Кудрин снова пошёл в отделение милиции. Но когда он проходил мимо дежурной части, его остановил дежурный офицер и передал записку от Николаева, который уехал на совещание в райотдел. Там было написано, что завтра в 11 часов в дежурной части линейного отделения милиции станции Калуга его будет ждать сотрудник исправительно-трудовой колонии капитан Уваров, который доставит его в это учреждение. Женя прочитал записку, потом положил её в карман рубашки и пошёл на своё рабочее место.

Мысли о Борисе Дубове не покидали Кудрина до самого вечера; он выстраивал в голове различные логические цепочки событий, но все размышления сводились к одному вопросу: жив ли он или всё же погиб в той аварии. «Как говорил Шерлок Холмс, — рассуждал он, — для правильного умозаключения первостепенное значение имеет способность выделить из большого количества фактов существенные и отбросить случайные».

На следующий день ранней электричкой Женя добрался до станции Калуга и ровно в 11 часов зашёл в комнату линейного отделения милиции. За небольшим письменным столом сидел пожилой седоволосый человек в форме капитана милиции, а у окна стоял молодой человек в форме капитана внутренних войск. Кудрин представился и показал своё удостоверение личности.

— А я вас жду, — сказал стоявший у окна капитан, — меня зовут Павел Уваров. Машина стоит на привокзальной площади, можно ехать в наше учреждение.

Попрощавшись с начальником линейного отделения милиции, они вышли из здания вокзала на улицу и сели в ждавшую их серую «Волгу».

— Меня попросил заместитель начальника по оперативной части майор Костромин встретить вас, Евгений Сергеевич, — проговорил Уваров.

— Спасибо, — коротко ответил Кудрин и уставился в окно машины.

Минут через сорок они подъехали к стальным воротам, сверху которых была приварена витая колючая проволока.

«Мрачная картина», — подумал Кудрин, и мурашки пробежали по всему его телу.

Пройдя через проходную, они вошли в серое двухэтажное здание, поднялись на второй этаж в кабинет Костромина. В комнате за большим столом, обтянутым зелёным сукном, сидел коренастый мужчина в форме майора внутренних войск.

— Костромин Виктор Андреевич, — представился он и пожал приехавшему руку.

— Лейтенант милиции Кудрин Евгений Сергеевич, — ответил Женя, предъявив ему своё удостоверение личности.

— Мне звонил ваш начальник Николаев и кратко рассказал о цели вашего визита, — сказал хозяин кабинета, — я сейчас должен отъехать на совещание в управление, поэтому пройдите с Уваровым в его кабинет, там подготовлены документы о заключённом Дубове.

— Спасибо, — коротко ответил Кудрин, и они вышли из кабинета Костромина.

— Прошу вас, заходите, — с улыбкой сказал Павел, когда они опустились на первый этаж и остановились около кабинета, на котором красовалась большая цифра 4.

Небольшой кабинет с маленьким столиком был завален папками и бумагами.

— Присаживайтесь за мой стол, на нём лежит дело заключённого Дубова, а что будет неясно, обращайтесь, — проговорил Уваров, усаживаясь на небольшую табуретку, стоящую у окна.

Женя открыл папку и на первой странице обнаружил несколько фотографий Бориса Дубова. На одной из них он был сфотографирован с голым торсом, который от шеи до пупка был весь в татуировках. Внимательно изучив документы, Кудрин задумался, уставившись на картину, где был изображён Антон Макаренко, висевшую на стене кабинета.

— Так всё-таки, как погиб заключённый Дубов? — спросил он.

— В конце января этого года заключённые ехали с работы в кузове грузовой машины, — начал рассказывать Уваров. — На мосту через реку шофёр не справился с управлением, машина врезалась в опору моста и перевернулась. Заключённые как горох посыпались из кузова, а пятеро из них вместе с Дубовым упали в холодную воду. Так вот, четверо вынырнули, а Дубов исчез. Его стали искать, вызвали даже водолазов, которые обследовали дно у моста и не нашли. Целую неделю прочёсывали водолазы русло реки и никаких результатов, только в километре от моста обнаружили его телогрейку, зацепившуюся за корягу.

— А вы не помните, какая погода была в тот день, — спросил Женя, — и ещё, какова приблизительно длина моста?

— Январь стоял тёплый, и погода была плюсовая, — ответил Уваров, — льда практически не было, а длина моста — тридцать пять метров.

— А не мог Дубов вынырнуть, затаиться под мостом, а потом уйти? — спросил Кудрин.

— Вряд ли, — ответил Уваров, — мы тогда всё обшарили: и под мостом, и в кустах на противоположном берегу.

— Можно мне взять фотографию Дубова, где он весь в наколках? — спросил Женя.

— Конечно, возьмите, их тут достаточно, — ответил Павел.

Кудрин положил фотографию Дубова в свою папку, поблагодарил Уварова за помощь, попрощался с ним и сел в ту же самую серую «Волгу», которая отвезла его обратно к калужскому вокзалу.

«Никаких подвижек по делу нет, всё темно как в лесу, — думал Женя, сидя в электричке, — наверное, он всё же утонул, а значит, моя версия летит ко всем чертям!»

В отделение милиции он вернулся вечером, когда солнце уже садилось за дома и дышать было значительно легче.

— Как дела, Женька? — спросил Колосов.

— Да так себе, — ответил Кудрин. — А у тебя?

— Да всё та же история, — проговорил Колосов, — опять самогон обнаружили в детском саду, надо же, что придумали: гнали самогон в подвале.

— Ты знаешь, Женя, — продолжал Колосов, — вот сегодня утром прихожу на работу, а у меня на столе три стопки бумаг: первую надо сделать срочно, вторую — очень срочно, а третью — вчера. А тут ещё зазвонил телефон. Беру трубку и слышу: «Это дурдом?» И представляешь, я задумался...

— А самогон хоть был хороший? — с улыбкой спросил Женя.

— Не знаю, не пробовал, — сердито ответил Колосов и вышел из кабинета.

— И чего только не бывает на белом свете, — подумал Кудрин и направился на доклад к Николаеву.

Павел Иванович, как всегда, внимательно выслушал Женю и долго вглядывался в фотографию заключённого Дубова в татуировках.

— Настоящий Нушрок в законе, — с улыбкой проговорил он.

— И брат его — тоже Нушрок, — ответил Кудрин, — какое-то гнездо Нушроков.

— Так что ты думаешь обо всём этом? — спросил Николаев.

— Трудно сказать, — ответил Женя. — Если Дубов смог поднырнуть под мостом и отплыть в холодной, практически ледяной воде к противоположному берегу, а затем удрать, тогда моя версия правильная. Плюс к ней является тот факт, что погода в тот день была тёплая и не совсем январская, да и длина моста была всего 35 метров. А если он утонул, тогда...

— «Бомбил» квартиры директоров мебельных магазинов какой-то фантом, косивший под Дубова, — с сарказмом перебил его Николаев.

— Может быть, разговор с цыганкой что-нибудь прояснит?

— Давай завтра с утра поезжай в село Красное, а я сегодня позвоню в подмосковное управление и попрошу, чтобы тебе оказали содействие в её поиске, — ответил начальник.

— Павел Иванович, а завтра и послезавтра, согласно графику, у меня выходные дни, тем более что это суббота и воскресенье, — тихо проговорил Кудрин.

— А, я совсем заработался! — воскликнул начальник. — Конечно, поедешь в понедельник, но договорюсь я с коллегами о твоём визите сегодня. И ещё, — продолжил он, — возьми себе на заметку: от метро «Калужская» ходят автобусы в ту сторону; мы с женой прошлым летом ездили за грибами в те края. Наверняка какой-то автобус ходит до этого села.

— Спасибо за совет, — ответил Женя и вышел из кабинета Николаева.

Проходя по коридору, он вдруг почувствовал острую потребность закури́ть сигарету и вышел во двор, где была общественная курилка. Затянувшись с наслаждением сигаретным дымом, Кудрин уставился в вечернее небо, и мысли, как бабочки, запорхали у него в голове. «Мир теряет своих гениев, — рассуждал он, — художник Моне ослеп, Бетховен оглох, теперь вот и у меня что-то в шее побаливает...»

— Женя, у тебя лицо замученного человека, — с усмешкой сказал Саша Блинов.

— Знаешь, Саша, — ответил он, — иногда посетители на работе спрашивают: «До какого часа вы работаете?» И я им отвечаю просто: «Пока не сдохнем».

— Ну зачем так мрачно? — возразил Колосов. — У нас тоже есть свои отдушины.

— Понятно какие, — ответил Кудрин, — как говорил один известный персонаж: опер не был замечен в пьянстве, но по утрам пил холодную воду.

— Это намёк? — спросил Колосов, выпуская изо рта большой клуб дыма.

— Да нет, — ответил Женя, — шучу и только.

— Кстати, переведём разговор на другую тему, — проговорил Колосов, — вот ты знаешь много анекдотов, а кто, в натуре, их придумывает?

— Анекдот, Витя, имеет древнюю историю, — сказал Кудрин, — на это указывает его происхождение от греческого «анекдотес», что означает неопубликованный рассказ. Он является продуктом устного творчества, и сегодня под ним принято понимать — короткий шуточный рассказ. Помимо этого, анекдотом называют и рассказ о забавном случае из жизни разных людей. Всем же известны анекдоты про поручика Ржевского и персонажей сказок. А ещё анекдоты оживляют нашу речь, наполняют её юмором и делают интересней беседу. Да и наша работа подбрасывает каждый день новые темы для анекдотов, в которых наша милицейская жизнь сама по себе становится забавной историей. Так вот, теперь, резюмируя сказанное, был из реальной милицейской жизни. Из милицейского протокола: ... будучи доставленным в отделение милиции, гражданин Шунькин продолжал хулиганить и ударил ногой капитана милиции Прохорова в область полового члена, причём с последнего упала шапка.

Все рассмеялись и попросили ещё что-нибудь рассказать.

— Ну, хорошо, заключительный анекдот на сегодня, — предупредил Кудрин.

— Значит, так, — как всегда начал он. — Сидящий в кинозале мужик мучается животом, терпит изо всех сил, чтобы не испортить воздух. И вот, на экране с грохотом пронесется железнодорожный товарный состав. Под грохот колёс мужик пукает, ему наклоняется сосед и тихонько на ухо спрашивает: «Вам не показалось, что в последних двух вагонах дерьмо везли?»

Взрыв смеха потряс курилку, а Женя, загасив окурок, медленно пошёл на своё рабочее место. Когда он зашёл в кабинет, раздался телефонный звонок. Сняв трубку, Кудрин узнал голос своего однокашника по школе милиции Кости Наумова.

— Женька, привет, давно мы не виделись, почти два года прошло. Слушай, хочу тебя пригласить на пикник, приезжай завтра в субботу к нам в деревню Сватово. Я тут по случаю раздобыл пару килограммов мяса и хочу сделать шашлыки.

— Отлично! — воскликнул Кудрин. — Обязательно буду. А кто ещё к тебе придет?

— Я пригласил Игоря Мелихова из параллельной группы и нашего комсорга Гену Привалова, — ответил Костя. — Как добраться до деревни — ты знаешь, мы там отмечали окончание летней сессии.

— Помню хорошо, — сказал Женя. — А бабушка с дедушкой тоже будут?

— Нет, — ответил Костя, — они теперь живут в квартире маминого брата, а мы используем дом как летнюю дачу.

— Что с меня? — спросил Кудрин.

— Возьми пару бутылок портвейна, — ответил Наумов и, попрощавшись, завершил разговор.

«Отлично получается, — подумал Женя, — завтра на пикник, а в воскресенье поеду на целый день к родителям».

С самого утра следующего дня он только и думал о предстоящем пикнике и встрече с однокашниками. Было уже одиннадцать часов, и Женя, легко позавтракав, отправился в магазин за портвейном. Но не тут-то было, обойдя два близлежащих магазина, он не нашёл там искомый продукт, а в третьем была большая очередь. Отстояв её, он купил две бутылки портвейна «Агдам» и ещё взял шесть плавленых сырков «Дружба».

А через час электричка уже везла Кудрина к станции «Сватово». Когда он подошёл к дому, все уже собрались. Костя разжёл небольшой мангал и стал жарить вкусно пахнущее мясо. Все обрадовались встрече и наперебой рассказывали друг другу о своих делах, как рабочих, так и «амурных».

Насладившись шашлыками и портвейном, Женя стал рассказывать новые анекдоты, иногда заглядывая в свой блокнотик, а потом Костя принёс гитару, и все запели известную песню про Лёньку Королёва.

К вечеру подул лёгкий ветерок, и Костя замахал рукой, отгоняя налетевших комаров.

— Это наша беда, — сказал он, — комаров здесь много.

— Да ладно, — усмехнулся Гена Привалов, — никакие комары не смеют помешать нам отдохнуть. Я читал, что кровь пьют исключительно самки комаров, а поскольку их в природе гораздо меньше особей мужского пола, не обращайтесь на них внимания и пейте портвейн.

— Мужики, — вдруг воскликнул Игорь Мелихов, — совсем забыл, меня же ещё вчера Костя попросил купить что-нибудь против комаров. Недавно слышал по радио, что в аптеки города поступила чудодейственная американская мазь против них, а сегодня утром я её и купил в нашей аптеке.

Игорь достал из своего портфеля тюбик, похожий на зубную пасту.

— Нужно обязательно помазаться, — предупредил Костя, — здесь недалеко заболоченный пруд, и комары летают у воды, а также не забывают и нас.

Все намазались этой чудодейственной мазью и продолжали веселиться. Однако буквально через полчаса началось что-то невероятное. У всех присутствующих появилось впечатление, что комары всей области прилетели к дому Кости Наумова. Некоторое время все терпели и ждали, когда начнёт действовать это американское средство, но с каждой минутой становилось всё хуже и хуже. Когда терпеть стало невозможно, а стаи комаров всё прибывали, все стали резко расходиться. Женя даже в электричке отгонял от себя комаров, хотя к сидящим рядом людям они даже не подлетали.

Он пришёл домой и первым делом помылся в душе. Руки распухли от укусов этих насекомых. Затем набрал номер телефона Мелихова.

— Ты представляешь, Женька, — смеясь ответил Игорь, — я сейчас дома взял словарь и перевёл английский текст на тюбике. Это оказалось ароматическое средство, приманивающее самок комаров. А способ его использования состоит в том, что надо было намазать им кусок бревна, предварительно нанеся туда клей, и оставить его на расстоянии примерно десяти метров от мангала. Комары должны прилипнуть и не летать, где вздувается.

Кудрин рассмеялся и, пожелав Игорю спокойной ночи, положил трубку. «Вот так история с географией», — подумал он.

В понедельник, ровно в 12 часов дня, Кудрин добрался до села Красное и вошёл в одноэтажный домик, на котором висела вывеска «Дом быта», в торце дома располагался опорный пункт правопорядка.

С большой неохотой он приехал в это село — уж слишком было мало надежд на подвижки в деле. В большей степени повинаясь инстинкту оперативника учитывать каждую мелочь в рассмотрении дела, он и поехал искать цыганку.

«А что это даст? — задавал он вопрос сам себе. — Ну найду я её и что? Может, она уже давно забыла Бориса Дубова и у неё другой мужчина. А что если она поменяла местожительство? Тогда все мои рассуждения напрасны, а версия — ошибочна».

Войдя с этими минорными мыслями в опорный пункт правопорядка, он увидел капитана милиции, склонившегося над бумагами.

— Кудрин Евгений Сергеевич, — представился он, предъявляя своё удостоверение личности.

— Радугин Павел Ильич, участковый инспектор, — ответил капитан, — так по какому вопросу вы приехали?

Женя рассказал о причине своего визита в село, и Радугин на минуту задумался.

— Если вы ищите цыганку, то есть тут одна такая Земфира Арипова, — ответил он, — её ещё называют Фирой.

— Кто она такая и что из себя представляет? — спросил Кудрин.

— Я давно служу в милиции, — проговорил Радугин, — лет двадцать тому назад рядом с нашим селом стоял цыганский табор. Через какое-то время он уехал в другие края, а семья Ариповых осела в селе. Лет через пять родители Земфиры с двумя малолетними сыновьями также уехали из села, но Земфира осталась.

— Какое интересное имя — Земфира, — восхищённо сказал Кудрин.

— Вообще, цыгане — одна из таинственных древних народностей, — проговорил Радугин, — с ней связано много легенд, о ней слагают даже песни. Поэтому столь яркая народность не могла обойтись без необычных и ярких имён. Земфира по-ихнему означает непокорная, не раскрывающая никому свой внутренний мир. Когда стоял табор, мне, молодому тогда работнику милиции, часто приходилось общаться с цыганами, и они мне очень много чего рассказывали. Так вот, замуж она так и не вышла, живёт одна в своём небольшом деревенском доме. А работает уже давно проводницей на поездах дальнего следования. По характеру угрюмая, необщительная, хотя в праздники любит повеселиться в клубе на танцах.

— Так она одна, значит, живёт? — переспросил Женя.

— В начале зимы у неё поселился какой-то мужик, — ответил Радугин, — она сказала соседям, что это родственник из Сибири приехал.

— Вот этот? — спросил Кудрин, вынув из папки фотографию братьев Дубовых.

— Точно, он, — ответил участковый инспектор, — только какой-то один из них. Я как раз сегодня утром видел, как горбоносый встречал на автобусной остановке ещё одного мужика, с которым они пошли в сторону дома Земфиры.

Женя почувствовал необыкновенный прилив сил, поняв, что попал в точку.

— Павел Ильич, это же может быть Борис Дубов, сбежавший из колонии как раз полгода назад, — воскликнул Кудрин, — необходимо срочно навестить эту Земфиру.

— Давайте сделаем следующим образом, — проговорил Радугин, — я сначала позвоню своему начальнику и доложу об этом, а там — как он скажет.

— Я тоже с ним поговорю, — сказал Кудрин.

Участковый инспектор кратко доложил начальнику о планах приехавшего оперативника и передал трубку Кудрину. Женя объяснил ему необходимость визита к Земфире и задержания беглого преступника; тот согласился и пообещал прислать на дежурной машине своего оперативника для подстраховки.

К шести часам вечера к опорному пункту милиции подъехал милиционерский «Москвич», из которого вышел молодой парень.

— Гуцин Сергей Николаевич, инспектор уголовного розыска местного отделения милиции, — сказал он.

— Кудрин Евгений Сергеевич, — ответил Женя, предъявив ему своё удостоверение личности, и кратко рассказал пришедшему о цели своего визита.

— Ну что, — сказал Радугин, — теперь можно идти к гражданке Ариповой.

Они вышли из кабинета участкового инспектора и пошли по дороге в глубь села. Радугин попросил милиционера-водителя ехать за ними и ждать рядом с домом, в который они войдут. Дом Земфиры стоял в самом конце села на опушке леса.

Радугин постучал в дверь.

— Кто там? — послышался женский голос.

— Фира, открой, это Радугин, — сказал участковый инспектор.

Дверь открылась, и на пороге появилась стройная женщина в светлом платье и кудрявыми, чёрными как смоль, волосами.

Радугин прошёл в комнату, а за ним последовали Кудрин и Гуцин. В небольшой комнате за столом, стоящим у открытого окна сидели двое мужчин. На самом столе стояла початая бутылка водки и лежала разнообразная снедь.

«Он, точно он», — подумал Женя, увидев человека с орлиным носом.

В это же время горбоносый ловко выпрыгнул в открытое окно.

— Стой, Дубов, стрелять буду! — крикнул Кудрин, но, подбежав к окну, он увидел лишь быстро удаляющуюся в лесу фигуру и понял, что бежать за ним было уже бесполезно.

Оставшийся за столом мужчина так и остался сидеть на своём стуле с раскрытым от удивления ртом, а сама Арипова стояла у окна с равнодушным видом, как будто ничего не произошло.

— Документы, — сказал Радугин, подойдя вплотную к мужчине.

Тот достал из пиджака, висевшего на стуле, паспорт и протянул его участковому инспектору.

— Рыбаков Андрей Степанович, — громко прочитал Радугин. — С какой целью приехали к Ариповой?

— Приехал к товарищу в гости, — промямлил тот.

— К Дубову? — спросил Кудрин.

Рыбаков замолчал и отвернулся в сторону.

— Вот это да! — воскликнул Гуцин, вытаскивая из-под стола два увесистых саквояжа. Один до верха был забит десятирублевыми банкнотами, а в другом находились различные драгоценности.

— Это ваше? — спросил Женя хозяйку дома.

— Нет, — ответила она.

— Это всё Бориса, — проговорил за Земфиру Рыбаков.

— Хорошо, разберёмся, — ответил Кудрин. — Павел Ильич, — обратился он к участковому инспектору, — нужны понятия для составления протокола изъятия этих вещей.

— Я понял, — сказал он и вышел из дома.

— Так откуда в вашем доме такое сокровище? — ещё раз спросил Женя у хозяйки дома.

— Отвечать буду только с адвокатом, — дерзко произнесла Арипова.

В этот момент в дом вошёл Радугин с двумя женщинами.

— Сергей Николаевич, — обратился Женя к Гущину, — будьте добры, составьте, пожалуйста, протокол изъятия этих ценностей, а я на кухне потолкую с гражданином Рыбаковым.

— Хорошо, — сказал тот и пригласил понятых подойти ближе к столу, на который он поставил два саквояжа.

— Ну что, гражданин Рыбаков, — сказал Кудрин, присаживаясь на кухонный табурет.

— А что рассказывать? — с притворным недоумением ответил тот.

— Всё, что творили с Борисом Дубовым, — громко проговорил Женя, — того добра, что мы сейчас обнаружили здесь, вполне хватит, чтобы ты уехал далеко и надолго.

— Сидели мы с Дубовым на зоне в Калужской области, — начал говорить Рыбаков, — в прошлом году я освободился и приехал к себе в Мытищи. Устроился слесарем на авторемонтный завод, а в начале зимы явился ко мне Дубов и предложил «бомбить» квартиры богатых людей. Я сначала отказался, неохота было снова идти на зону, но Борис тогда сказал, что это безопасно, так как богатеи не будут вызывать милицию. И ещё он сказал, что нужно только найти домашние адреса директоров крупных универмагов и продовольственных магазинов. Я ему ответил, что моя подруга работает в отделе кадров Мосмебельторга. Вот тогда Дубов и попросил выведать у неё адреса директоров этих магазинов. Я так и сделал; моя знакомая Семёнова Раиса принесла мне список их домашних адресов.

— А ты ей что-нибудь пообещал, как она восприняла такое предложение? — спросил Кудрин.

— Да ничего не обещал, она вообще не в курсе, для чего мне это понадобилось, — ответил Рыбаков, — так, из-за любви ко мне...

— Значит, её использовали в «тёмную», — сказал Женя, — и сколько вы с Дубовым «бомбанули» квартир за полгода?

— Семь, — коротко ответил Рыбаков.

— А что дальше делали с похищенными вещами? — спросил Кудрин.

— Ну, вещи мы не брали, — ответил он, — а лишь деньги и драгоценности, которые сбывала через своих знакомых в Средней Азии Земфира. Она ведь работает проводницей на поездах дальнего следования и за это время успела два раза съездить и реализовать драгоценности. Деньги мы делили на три части, а то, что было в этих саквояжах, так это из последних двух квартир. Больше ничего сказать не могу.

Кудрин задокументировал беседу с Рыбаковым, и они снова вошли в комнату, где Гущин уже заканчивал составлять протокол изъятия предметов, найденных в доме Ариповой. Понятые подписали протокол, однако Земфира его подписывать отказалась.

— Сергей, — тихим голосом обратился Женя к Гущину, — нужно доставить этих двух задержанных в наше отделение милиции для дальнейших следственных действий. Свяжись по телефону со своим руководством и попроси довезти их в Москву на вашей машине.

— Хорошо, — ответил он, — я сейчас сбегая в опорный пункт милиции и созвонюсь со своим начальником.

Гущин взял у участкового инспектора ключ от опорного пункта милиции и быстро вышел из дома.

— Надо же, сколько денег, — сказал Радугин, — замучались считать, а какие кольца, браслет, серебряный портсигар!

Земфира равнодушно наблюдала за всем происходящем в её доме, только иногда вздыхала, понимая, что нашла приключение на свою голову. Через некоторое время пришёл Гущин и сказал, что его начальник разрешил использовать машину для доставки задержанных в московское отделение милиции. Попроцавшись с Радугиным и Гущиным, Женя вместе с задержанными и двумя саквояжами погрузились в милицейский «Москвич» и покатали в сторону столицы.

В отделение милиции они приехали уже довольно поздно. Рыбакова и Земфиру Кудрин проводил в дежурную часть, а саквояжи и протокол дежурный офицер положил в свой сейф.

«Домой идти уже бесполезно, уже практически ночь, можно переночевать здесь», — подумал Женя и взял у дежурного офицера ключ от фотолаборатории. В этой небольшой комнате, помимо стола и двух стульев, стоял диван, на котором дежурные иногда отдыхали во время ночных дежурств.

Женя прилёг на диван и мгновенно уснул, так как усталость буквально свалила его с ног.

Проснулся он от резкого стука в дверь.

— Женя, просыпайся, уже девять часов утра, — услышал он голос дежурного офицера.

Быстро вскочив с диванчика, он вышел в коридор и направился в туалетную комнату. Вода освежила лицо, и Женя почувствовал бодрость и прилив сил. Он пригладил ладонью взъерошенные волосы, вытер лицо носовым платком и зашагал к кабинету Николаева.

— Ты хоть немного поспал? — спросил Павел Иванович, наливая Кудрину свежесваренный чай. Он достал из своего портфеля завёрнутый в бумагу свёрток, развернул его и вынул бутерброд с колбасой.

— Поешь, а то ведь и не завтракал ещё, — сказал начальник, протягивая Жене вкусно пахнущий бутерброд.

— Да, вроде выспался, — ответил Кудрин, вгрызаясь в бутерброд.

Выпив ароматный чай, Женя подробно рассказал о вчерашнем происшествии в селе Красном, о находках в доме Ариповой и бегстве Дубова.

— Ну что, твоя единственная версия оказалась верной, — проговорил Николаев, — ты молодец, сделал половину дела. Теперь осталось лишь одно — изловить этого неуловимого Дубова и поставить точку в этом деле. Хорошо, что Рыбаков «раскололся», теперь будет проще Бориса прижать к стенке.

А что касается молчания Ариповой, оставим это для следователя, который будет вести дело. Что думаешь делать дальше?

Женя ничего не ответил и несколько минут молчал, уставившись в окно кабинета.

— О чём ты думаешь? — сердито спросил Павел Иванович.

— Я, кажется, понял, куда мог побежать Борис, — прищурился, проговорил Кудрин. — К брату, больше ему некуда идти.

— Бери Колосова, и на дежурной машине срочно к дому артиста, — взволнованно сказал начальник, — как бы чего не вышло.

Через пятнадцать минут дежурный «Москвич» доставил их на Нагатинскую улицу к дому Дубова. Кудрин, выскочив из машины, подбежал к двери и резко постучал в неё. Через несколько минут на пороге появился Дубов в спортивных штанах и рубашке; волосы его были взъерошены, а на подбородке были отчётливо видны капли крови.

— Чего надо, я никого не жду, — грубо проговорил он.

Женя схватил Дубова за воротник рубашки и резко дёрнул на себя; все увидели на плече наколку в виде бубнового туза, а на груди — кучу других татуировок. Дубов изо всех сил оттолкнул Кудрина, тот не удержался и упал на пол, но Колосов отработанным приёмом самбо ловко загнул руку Бориса Дубова за спину, а поднявшийся с пола Женя с силой загнул ему вторую руку и надел наручники; только в этот момент он увидел надетый на руке Бориса металлический кастет.

— Тут в спальне на кровати ещё один человек лежит! — закричал подошедший милиционер-водитель.

Кудрин вбежал в соседнюю комнату и увидел лежащего на кровати одетого мужчину, на лице которого находилась подушка. Он сбросил подушку и увидел тело Ивана Дубова.

— Святкин, — крикнул Кудрин милиционеру-водителю, — срочно по рации свяжись с нашими и скажи, чтобы вызвали скорую помощь...

А сам стал делать Ивану искусственное дыхание, как учили в школе милиции.

Через некоторое время в дом вошли врачи и сразу же сделали потерпевшему укол, от чего у него задёрнулись веки и он сделал вдох.

— Будет жить, — сказал доктор, — вовремя приехали, но сейчас повезём его в первую городскую больницу.

Двое санитаров положили Ивана Дубова на носилки и отнесли в машину.

Когда врачи уехали, Женя и Колосов вместе с задержанным сели в машину и поехали в отделение милиции.

После приезда Кудрин повёл Бориса Дубова в оперативный кабинет; среди оперативников существовало негласное правило: если нужно было кому-то из них допросить задержанного, другие не заходили в кабинет и отправлялись на территорию. Вот и сейчас в кабинете никого не было, и Женя приступил к разговору с Борисом Дубовым.

— Присаживайся, Борис Семёнович, — сказал Кудрин, указывая ему на стул, — и начинай рассказывать.

— Да что говорить, — ответил он, — я думаю, что Рыбаков уже раскололся по полной программе; предупреждала меня Фира, что зря я с ним связался.

— Как тебе удалось уйти после аварии машины? — спросил Кудрин.

— Да там суматоха началась, — ответил Дубов, — а поскольку я раньше занимался в секции плавания, то мне не составило большого труда поднырнуть под мостом и, сняв с себя телогрейку, доплыть в холодной воде до противоположного берега. Вынырнув, я скрылся в кустарнике ещё до того, когда стали его прочёсывать работники милиции. А потом на попутной грузовой машине, которая ехала в Москву прямо по Калужскому шоссе, я доехал до села Красное и напрямик пошёл к Земфире.

— А что дальше? — спросил Кудрин.

— А потом Фира через своих земляков сделала мне фальшивый паспорт на имя Гончаренко Бориса Ивановича, и я стал ездить в Москву к своим старым корешам, — ответил Дубов. — А когда я встретил Рыбакова, с которым отбывал наказание на зоне, пришла идея «бомбить» богатеньких людей — нечистых на руку. Я подумал, что вряд ли они будут обращаться в милицию.

— А тут как раз у него оказалась знакомая из отдела кадров Мосмебельторга, — продолжал Дубов, — которая и достала домашние адреса директоров мебельных магазинов города.

— И сколько квартир вы с Рыбаковым успели «бомбануть» за полгода?

— Семь квартир, мы вещи не брали, а только деньги и драгоценности. Шли на дело вдвоём, так как у Рыбакова были отмычки, и он легко открывал двери квартир. А потом Земфира реализовывала драгоценности у своих знакомых в Средней Азии; она уже два раза ездила туда с поездом, где работает проводницей.

— А сейчас напиши всё то, что мне рассказал с подробностями и адресом каждой обворованной квартиры, — сказал Кудрин и положил на стол чистые листы бумаги и авторучку.

— И ещё вопрос, — продолжил он, — тебе брата не жалко было, чуть не задушил его?

Дубов замолчал и уставился в пол, только из глаз по щеке пробежала слеза.

— Бес попутал, — проговорил он со вздохом, — когда я утром пришёл к нему, то он стал меня уговаривать сдать себя милиции. Мы с братом с детства не ладили, поэтому разговор не получился.

— И ты решил его убить, используя сходство, став вместо него артистом Иваном Дубовым? — спросил Кудрин.

Борис ничего не ответил, только придвинул к себе бумагу и стал писать объяснение.

Через час, закончив все формальности, Женя отвёл Дубова в дежурную часть и пошёл к Николаеву.

— Как прошёл допрос Дубова? — нетерпеливо спросил начальник.

— Пришлось постараться, Павел Иванович, — ответил Женя и положил на стол Николаева объяснение Бориса Дубова, — «раскололся» он по полной

программе. Как мы с вами и предполагали, он поднырнул под мостом и выплыл на противоположный берег до того, как и мост, и противоположный берег реки был обследован. А потом на попутке добрался до села Красное и явился к цыганке Земфире Ариповой. Та ему некоторое время спустя через свои криминальные каналы сделала фальшивый паспорт на имя Гончаренко Бориса Ивановича. Дубов-Гончаренко стал ездить в Москву и навещать своих старых дружков. В один из таких приездов он и встретил своего знакомого Рыбакова, с которым отбывал наказание в колонии Калужской области. Тот освободился год назад и устроился на работу слесарем на заводе. Денег больших Рыбаков не зарабатывал, поэтому, когда Дубов предложил ему «бомбить» квартиры богатых людей, сразу согласился и через свою знакомую из Мосмебельторга достал домашние адреса директоров мебельных магазинов города.

— А что, эта женщина была в курсе затеи этих проходимцев? — спросил Николаев.

— Да нет, — ответил Кудрин, — они использовали её втёмную; судя по показаниям Рыбакова, она ничего не знала об их планах. Тогда же они и договорились, что будут брать только деньги и драгоценные вещи, которые будет реализовывать Земфира, используя свои связи в Средней Азии. Туда она часто ездит, будучи проводницей поезда дальнего следования. В общей сложности они «взяли» семь квартир, и только трое потерпевших обратились в милицию. Как показали оба подозреваемых, Земфира уже дважды ездила туда и реализовала часть похищенных ценных вещей.

— Ну что же, — проговорил Николаев, — подведём итоги. Задачу свою ты выполнил, преступление раскрыто, кроме того тебе удалось раскрыть ещё два «висяка» из двух районов города. В целом, ты молодец, раскрутил свою единственную версию, и она оказалась верной. Хотя, если рассуждать по правилам оперативно-розыскной деятельности, версий должно быть много. Но ты — упёртый и пошёл по своему пути, хотя в дальнейшей своей работе желательно учитывать это. Давай готовь материалы для передачи следствию.

— Кстати, — перевёл разговор на другую тему Кудрин, — мы были поражены таким количеством денег и драгоценных вещей, обнаруженных в доме Ариповой: и золотые кольца, и цепочки, и браслеты и даже серебряный портсигар.

— Я уже посмотрел содержание саквояжа с драгоценностями, — ответил Николаев, — в нём присутствуют и серебряный браслет со змейкой, и кольцо с двумя бриллиантами из квартиры Боцмана.

Павел Иванович открыл саквояж, стоящий у него на письменном столе и достал из него серебряный портсигар.

— А вот это очень любопытная вещь, — сказал он. — Тебе ничего не говорит?

— Что-то не припомню, — ответил Кудрин.

— Прошлой осенью на Сокольнической улице была ограблена квартира гражданки Ржевской...

— Не жены ли самого поручика Ржевского, — усмехнулся Кудрин.

— Да будет тебе усмехаться, — сердито ответил начальник, — эта женщина — правнучка героя Отечественной войны 1812 года Степана Золотарёва. Моя жена работает учителем истории в школе, и я, сегодня позвонив ей, узнал, что он был порученцем у князя Багратиона. А когда тот погиб, он в дальнейшем воевал в отряде Дениса Давыдова, с которым познакомился в бытность службы у Багратиона. Так вот, судя по сводке происшествий по городу за январь этого года, из квартиры был украден деревянный ларец с семейными реликвиями и драгоценностями. Я специально ещё раз посмотрел сводку происшествий за тот месяц. В том ларце хранились: золотое кольцо, перстень с бриллиантом, деревянный небольшой крест, обложенный серебром с надписью «1570 г.», французский орден Железной короны, серебряная ложка и маленькая фарфоровая чашка с блюдцем, на которых была гравировка буквы «О», а также десертная позолоченная вилочка с гравировкой буквы «N» и серебряный портсигар, с дарственной надписью от князя Багратиона. Судя по буквам, эти предметы когда-то могли принадлежать не только Степану Золотарёву, но и французскому маршалу Ожеро, обоз которого тогда захватили бойцы отряда Золотарёва. А вот десертная вилочка могла быть собственностью самого Наполеона. Одним словом, все эти предметы имеют большую историческую ценность.

— Я бы не обратил на это дело внимания, — продолжал Николаев, — если бы не два обстоятельства: первое, несмотря на то что этим делом занимается Сокольнический райотдел, оно стоит на контроле самого начальника УВД. А второе, в той сводке происшествий было сказано, что на украденном портсигаре была гравировка: «Степану Золотарёву за отвагу от князя Багратиона».

Павел Иванович взял в руку портсигар, раскрыл его и прочитал на его тыльной стороне: «Степану Золотарёву за отвагу от князя Багратиона».

— Ничего себе! — воскликнул Женя. — Неужели Дубов и эту квартиру «бомбанул»?

— Да нет, — ответил Николаев, — квартиру ограбили в начале января этого года, когда Дубов ещё находился в колонии.

— Значит, этот портсигар Дубов выкрал у одного из директоров мебельного магазина, — неуверенно предположил Кудрин, — который, в свою очередь «бомбанул» Ржевскую. Ерунда получается, зачем такому состоятельному человеку, как директор мебельного магазина, залезать в чужую квартиру?

— Вот ты и узнай у Дубова, из какой квартиры он похитил этот портсигар, — сказал Николаев и отдал его Кудрину.

Через пятнадцать минут в оперативный кабинет снова привели Дубова.

— Из какой квартиры ты взял этот предмет? — спросил Женя, показывая серебряный портсигар.

— Из последней, на Каширском шоссе, — ответил Борис, — он лежал в сейфе вместе с деньгами. А деньги в нём лежали немалые — больше десяти тысяч рублей.

— Ты точно помнишь, что именно из квартиры на Каширском шоссе взял портсигар? — уточнил Кудрин.

— На память пока не жалеюсь, — ответил Дубов, — я там ещё на трюмо взял браслет в форме змейки, кольцо с бриллиантом и золотую цепочку.

— Какая цепкая у тебя память!

— Я могу абсолютно точно сказать, из какой квартиры что взял, — ответил он.

— Твои бы возможности в мирных целях, — сказал Кудрин, — а сейчас возьми бумагу и авторучку и напиши ещё раз детально про все, что мне сказал.

Минут двадцать Борис Дубов пыхтел, выводя мелким почерком свои новые показания, после чего Кудрин вызвал дежурного офицера, и Дубова увели в камеру.

Выйдя из оперативной комнаты, Женя буквально влетел в кабинет Николаева и подробно рассказал о новом допросе Дубова.

— Да, — задумчиво проговорил Павел Иванович, — значит, из квартиры Боцмана на Каширском шоссе; мудрый этот Боцман, такие деньги были украдены, а он прикинулся «шлангом», что, мол, в сейфе ничего не было. Он умышленно не стал об этом заявлять, чтобы не «светить» их.

— Так в чём же дело? — разгорячился Кудрин. — Нужно вызвать Боцмана и попытаться «расколоть» его насчёт портсигара.

— Не горячись, Пинкертон, — с упрёком проговорил Николаев, — что ты ему предъявишь? Показания Бориса Дубова, да он сто раз плюнет на них, упрётся и всё. И никакими показаниями беглого преступника ты его не прижмёшь к «стенке». Боцман будет утверждать, что портсигар не его и он в первый раз видит этот предмет.

— Тут нужен какой-то нестандартный, я бы даже сказал, оригинальный ход, чтобы попытаться доказать, что портсигар принадлежал хозяину квартиры на Каширском шоссе, — продолжал Павел Иванович. — А как придумать его — вопрос!

Несколько минут в кабинете стояла тишина; Николаев сидел в своём кресле, подперев кулаком подбородок, другой рукой он теребил выющиеся светлые волосы. А Женя смотрел в окно, но ничего там не замечал, так как мысли были направлены на возникшую проблему.

— А что, если сделать так... — начал он нерешительно, — когда я был в тот вечер на квартире Боцмана, то, наблюдая за хозяйкой, которая буквально рыдала из-за пропажи браслета, кольца с двумя бриллиантами и золотой цепочки, понял, что она «повёрнута» на драгоценностях.

— Ну и что из этого следует? — удивлённо ответил Павел Иванович, — это же обычная реакция жертвы кражи.

— Да нет, — продолжал Кудрин, — мне показалось, что её привязанность к драгоценностям была патологической.

— Не тяни, — буркнул Николаев. — Что ты хочешь этим сказать?

— А вот что, — загадочно ответил Женя, — надо днём, пока муж на работе, вызвать гражданку Боцман к нам на опознание браслета со змейкой и кольца, а на столе между ними положить серебряный портсигар. А вдруг она и его опознает, чем чёрт не шутит!

— Решил зайти с другого конца, — улыбнувшись, проговорил Николаев, — это действительно нестандартный ход в нашей ситуации.

— А почему бы нет, — ответил Женя, — вдруг мы сможем выудить у неё нужную информацию? Она работает учителем в школе, а там сейчас каникулы, значит, имеется большая вероятность, что она дома.

— Действуй, — коротко сказал начальник, — действительно, а вдруг получится?

Придя в оперативный кабинет Кудрин сел за свой стол и набрал номер телефона квартиры Боцмана.

Ответила сама хозяйка, и Кудрин предложил ей в течение часа подъехать в отделение милиции на опознание браслета и кольца с бриллиантами.

Когда Нина Михайловна Боцман вошла в кабинет, сразу обратило внимание волнение на её лице, а когда она увидела лежащий на столе серебряный браслет в форме змейки, взяла его в руку и стала целовать.

— Моя любимая змейка нашлась, — приговаривала она.

А кольцо с бриллиантами она хотела сразу надеть на палец, но Кудрин остановил её.

— А этот предмет? — как бы невзначай проговорил Женя, указывая рукой на портсигар.

— А это муж неделю назад выиграл у мальчика, — буркнула она.

— Выиграл? — переспросил он.

— Да, каждую субботу он ходит на квартиру к Сливе, они там играют в карты. В тот вечер у мальчика кончились деньги, и, как сказал муж, тот поставил на кон этот портсигар, а Миша его и выиграл.

— Слива, мальчик, — улыбнувшись, сказал Кудрин, — кто это?

— Эдик Слива — это директор какого-то гастронома, а мальчика я не знаю, — проговорила Нина Михайловна, прижимая браслет и кольцо к своей пышной груди.

— Я хотел бы записать ваши показания, — попросил Женя.

— Нет, ничего писать и подписывать не буду, — ответила она, — все вопросы к мужу.

— Хорошо, — ответил Кудрин, — только драгоценности будут вам возвращены после окончания следствия.

— А золотая цепочка?

— И её тоже постараемся найти, — ответил он, — а сейчас я вас больше не задерживаю.

Женщина быстро удалилась, и в кабинет зашёл Николаев.

— Получилось, Павел Иванович, — радостно сказал Женя и подробно рассказал о беседе с потерпевшей Боцман.

— Ну, Эдуард Николаевич Слива — известный человек, — ответил начальник, — он директор гастронома на Старокаширском шоссе и, если мне память не изменяет, проживает где-то на Варшавском шоссе, а вот кто такой «мальчик»?

— Может быть, это какой-нибудь совсем молодой человек с ними играет? — неуверенно спросил Кудрин.

— Вряд ли, — скептически ответил Николаев, — такие люди определённого достатка вряд ли сядут за игру в карты с молодым человеком.

— А что, если это фамилия такая — Мальчик?

Павел Иванович с улыбкой посмотрел на Кудрина, встал со своего кресла и подошёл к окну.

— Бывают, конечно, редкие фамилии, я таких не встречал в своей практике, но всякое может быть, — ответил Николаев, — вот что, через час у начальника отделения милиции будет совещание с участковыми инспекторами, так ты по его окончании и поинтересуйся у них насчёт такой фамилии человека. А я созвонюсь с майором милиции Малаховым из ОБХСС, я думаю, он хорошо знает Сливу, и попрошу его взять у того объяснение: кто в тот вечер поставил на кон при игре в карты серебряный портсигар? Думаю, что Слива напишет об этом, чтобы быть полезным Малахову.

— Ну что, свою непосредственную задачу ты выполнил, но сейчас так получилось, что одновременно потянул за ниточку по квартирной краже у Ржевской, — продолжал Николаев, — думаю, что нужно попробовать раскрыть и это преступление, уважаемый Евгений Холмс.

Кудрину было лестно, что начальник сравнил его со знаменитым Шерлоком Холмсом.

— Я всё сделаю, что в моих силах! — пообещал он и вышел из кабинета.

Настроение было хорошее, и Женя с сияющим видом буквально влетел в курилку.

— Что, близка реализация по квартирной краже? — спросил Ерихин, выпуская изо рта очередную порцию дыма.

— Похоже, что так, — ответил Кудрин.

— Николаев говорил, что ты ездил в колонию, это правда? — снова задал вопрос Лев Алексеевич. — Мне тоже по работе не раз приходилось бывать в таких местах.

— Неохота говорить об этом, грустное впечатление от этого посещения, лучше я анекдот расскажу на эту тему.

— О, это здорово! — воскликнул Саша Блинов и придвинулся поближе к Кудрину.

— Значит, так, — начал Женя. — Посадили деда в тюрьму. В камере зеки-амбалы спрашивают у него:

— За что тебя посадили дед?

— Да подляны люблю делать, — отвечает он.

— Как это, покажи, — пристали зеки к нему.

— Ну как хотите, я вас предупреждаю, что может быть плохо.

— Давай, давай, — не унимаются зеки.

Дед взял веник, окунул его в парашу и постучал в дверное окошко. Через минуту оно открылось, и заглядывает охранник.

— Чего стучите? — спрашивает он.

Дед со всего размаха бьёт ему веником в лицо. Через минуту дверь открывается, и в камеру вбегают пять милиционеров.

— Кранты вам, ребята, — говорит один из них, — а ты, дед, — отойди-ка в сторонку!

Все рассмеялись, а Женя, загасив окурок, прошёл на своё рабочее место.

Через час участковые инспектора стали расходиться с совещания, и Кудрин практически у каждого спрашивал о человеке по фамилии Мальчик. Никто не мог ничего сказать, и он стал думать о бесполезности этой затеи, как вдруг выходящий последним капитан милиции Глеб Сергеевич Шутов, ответил, что знает человека по фамилии Мальчик.

— Есть у меня на территории Мальчик Василий Михайлович, который играет на балалайке в оркестре Московской областной филармонии, — сказал участковый инспектор. — В прошлом году он был в составе народной дружины и выходил вместе со мной на патрулирование по моему участку. Он рассказывал, что ездил с оркестром не только по нашей стране, но и за границу. Если мне память не изменяет, он тогда говорил, что осенью следующего года, то есть в нынешнем году, он поедет с оркестром во Францию.

— А где он проживает? — спросил Кудрин.

— В новом кооперативном доме на Варшавском шоссе, 47, — ответил Шутов.

Поблагодарив Шутова, Женя пошёл в оперативный кабинет и уже через полчаса знал, что Слива и Мальчик жили не только в одном доме, но и были соседями по лестничной клетке. Немного поразмыслив, Кудрин пошёл к Николаеву.

— Значит, Мальчик — это фамилия, — удивлённо проговорил Николаев, выслушав доклад Кудрина. — Получается, что Боцман выиграл портсигар у Мальчика, который за неимением денег поставил его на кон, а это значит, что к краже из квартиры Ржевской причастен этот артист с балалайкой.

— Тут имеется ещё одно обстоятельство, — сказал Кудрин. — Судя по рассказу участкового инспектора, Мальчик этой осенью с оркестром собирался ехать на гастроли во Францию.

— А там, — перебил его Николаев, — за содержимое ларца можно получить большую сумму денег; французы до сих пор чтят и Наполеона, и его маршалов. А из этого следует, что богатенькие французики с удовольствием купят вещи, принадлежавшие этим людям. Картина начинает складываться, но каким образом простой артист, без криминального прошлого, смог забраться в квартиру Ржевской, не оставить следов и взять то, что ему надо?

— Мне думается, — проговорил Кудрин, — что в рамках уголовного дела нужно приставить за ним наблюдение нашей соответствующей службой. Реально это обосновать ещё и тем, что расследование по этой краже находится под контролем городского УВД.

— Может, ты и прав, — ответил Павел Иванович, — сегодня вечером еду на совещание в райотдел и посоветуюсь с начальником, а ты перед этим сделай установку на Мальчика и данные передай мне.

Через час Николаев уехал, а Женя стал готовить необходимые документы для передачи дела в следственную часть райотдела.

На следующий день, согласно плану строевой и боевой подготовки, весь оперативный состав отделения милиции во главе с Николаевым отправился на учебные стрельбы в тир подмосковного УВД.

— Ну что, мужики, — сказал Блинов, — блеснём своим умением стрелять в мишень!

Но из трёх выстрелов он все промазал, пули прошли мимо мишени.

— Кривое дуло, — усмехнувшись, сказал он и уступил место для стрельбы Колосову.

Колосов попал в шестёрку и восьмёрку, а третья пуля — прошла мимо мишени. Ерихин выбил две семёрки и девятку, а Кудрин попал в две восьмёрки и десятку. Похвалив Кудрина, Николаев выбил две десятки и девятку.

— Учитесь, как надо стрелять! — громко сказал он. — На следующей неделе повторим поход в тир.

— Стрельба — это глупое расточительство, — буркнул Блинов, — я тут подсчитал, что одна пуля стоит столько же, сколько четыре пирожка с повидлом.

— А вдруг придётся стрелять по-настоящему, — назидательно проговорил Николаев. — Промахнёшься, а преступник может и попасть. А тебе Блинов только пожрать и поржать, но здесь не театр, а фискальное государственное учреждение, так что норматив по стрельбе выполнить обязан.

Павел Иванович подошёл к Жене и предложил ему зайти в Исторический музей, который находится в центре Москвы и недалеко от здания подмосковного УВД.

— Ты сходи туда и своими глазами посмотри на стенды, посвящённые Отечественной войне 1812 года, — сказал он, — может, что-нибудь ценное для нового расследования там найдёшь.

В музее Женя увидел много чего интересного об Отечественной войне 1812 года. Там были личные вещи полководцев России и Франции; особенно его впечатлила подзорная труба, принадлежавшая Кутузову. На некоторых стендах были оригиналы документов той эпохи, в числе которых было воззвание Наполеона к войскам накануне перехода через Неман.

В экспозиции музея были представлены несколько экземпляров фарфоровой посуды, принадлежавшей Наполеону с гравировкой буквы «N» в кружочке.

На стендах он увидел многочисленные награды отличившимся в русской армии, а среди французских — он обратил внимание на высшую награду великому корсиканцу от короля Дании — орден Слона. Это объёмная фигурка слона, похожая на фарфоровую ёлочную игрушку. Среди других французских наград его внимание привлёк серебряный орден Железной короны, которым на поле боя награждались французские командиры. Сам орден представлял собой изображение железной короны, над которой был помещён орёл с портретом императора на груди. В описании ордена на стенде было сказано, что на тыльной его стороне имеется номер, по которому можно узнать, кому он принадлежал.

— Стоп! — вдруг вспомнил Женя разговор с Николаевым. — Ведь когда Павел Иванович перечислял похищенные из квартиры Ржевской предметы

из той сводки происшествий по городу, он как раз и называл среди них французский орден Железной короны.

Погуляв ещё немного по залам музея, Кудрин в приподнятом настроении направился на работу.

Вечером в кабинете зазвонил телефон. Женя снял трубку и услышал голос Николаева, который попросил срочно зайти. Начальник сидел за своим столом и внимательно через лупу рассматривал какие-то фотографии.

— Присаживайся, — Павел Иванович рукой показал на стул. — Во-первых, из райотдела доставили объяснение Сливы, который подтвердил документально, что в тот вечер именно его сосед Мальчик поставил на кон игры серебряный портсигар с гравировкой от князя Багратиона Золотарёву, а Бочман выиграл его. Молодец Малахов, грамотно сработал!

Николаев вынул из ящика письменного стола объяснение Сливы и передал его Кудрину.

— Во-вторых, — продолжал начальник, — есть информация от нашей службы наружного наблюдения с фотографиями. По их данным, Мальчик с утра поехал в дом культуры завода «Красный пролетарий», где репетирует их оркестр. Затем в три часа дня вместе с оркестрантами был на обеде в заводской столовой, а после — до семи часов вечера репетировал в клубе.

— А вот потом, — продолжал Николаев, — начинается самое интересное. Выйдя из клуба, Мальчик поехал к метро Добрынинская и вошёл в кафе рядом с метро. Так вот, там за его столик подсел очень интересный субъект.

Павел Иванович показал фотографию, на которой были изображены двое мужчин.

— Тот, что постарше и с залысынами — Василий Михайлович Мальчик, — сказал он, — а вот тот чернявый, молодой — некто Харченко по кличке «Харя». Так вот этот Харченко был дважды судим и год назад освобожден из зоны. Интересно, что связывает балалаечника Мальчика с вором, где их пути могли пересечься?

— Мальчик ведёт законопослушный образ жизни, не был судим, — ответил Кудрин, — я его «прогнал» по всем нашим учётам, и ничего. Был женат, но развёлся и в настоящий момент проживает один.

— Хорошо, — проговорил Николаев, — утро вечера мудрёнее, давай по домам, а завтра утром на совещании у начальника отделения милиции будет участковый инспектор Фирсов; узнай у него об этом Харченко, который проживает на его территории.

Женя вышел из отделения милиции и сел в троллейбус, который помчал его по вечерним московским улицам. Дома мелькали один за другим, а стоящие по бокам дороги фонари освещали тротуары и небольшие палатки.

«А мне больше всего нравится моя улица Перекопская, — думал он, приклоняясь к окошку, — она, в отличие от центра, находится в тени деревьев и свободна от вездесущих машин. А рядом с моим домом блестит от солнечного света водная гладь небольшого пруда, вокруг которого любят играть мальчишки соседних домов...»

Женя так увлёкся своими размышлениями, что чуть было не проехал свою остановку. Но вовремя заметил, вышел из троллейбуса и вскоре открыл дверь в подъезд своего двенадцатиэтажного дома.

Утром следующего дня Кудрин, придя на работу, первым делом пошёл в кабинет начальника отделения милиции. Там шло небольшое совещание с участковыми инспекторами, так называемая «пятиминутка».

Минут через пятнадцать дверь кабинета открылась, и Женя увидел среди выходящих с совещания капитана милиции Фирсова.

— Олег Михайлович, — громко сказал Кудрин, обращаясь к нему, — хотел бы с вами переговорить.

— Опять совещание? — недовольным голосом буркнул участковый инспектор.

— Я по поводу вашего подопечного Харченко, — проговорил Женя. — Где его можно найти?

— А чего его искать? — удивлённо ответил он. — В камере он прохлаждается со вчерашнего вечера.

— Как так? — спросил Кудрин.

— Да тут такое дело, — усмехнувшись, сказал Фирсов, — вчера вечером Харченко, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, забрёл в универмаг на Старокаширском шоссе; он, видимо, перепутал его с винно-водочным магазином. Так вот этот Харченко каким-то образом зашёл в бытовку, где находились швабры, тряпки, фонари освещения и лежали женские манекены.

— И что? — проговорил Кудрин.

— А дальше, когда туда пришла уборщица за шваброй, — ответил участковый инспектор, — она увидела такую картину: в комнате всё было раскурочено, фонари были разбиты, а на одном женском манекене, лежит со спущенными штанами Харченко и пытается его изнасиловать.

— Вот это да! — воскликнул сквозь смех Женя. — Допился до чертей.

— Короче, — продолжал Фирсов, — вызвали наряд милиции, «Харю» привезли к нам в отделение и поместили в камеру для задержанных. Заместитель директора универмага написал на него заявление о хулиганских действиях и попытке изнасилования манекена, а уборщица также написала объяснение о случившемся.

— Нарочно не придумаешь, — проговорил Кудрин. — А что тут можно инкриминировать кроме мелкого хулиганства?

— Да вот и я также думаю, — ответил Фирсов, — он ведь не дебоширил и не дрался, а по поводу манекена, ну нет ещё такой статьи в уголовном кодексе, предусматривающей наказание за изнасилование манекена. А у тебя какой интерес к Дмитрию Харченко?

— По всей вероятности, он может проходить соучастником квартирной кражи, — ответил Женя. — Вы можете мне сейчас передать эти материалы по вчерашнему случаю, у меня возникла одна идея.

— Конечно, только с возвратом, — ответил Фирсов и, вынув из своей папки заявление директора универмага и объяснение уборщицы, передал Кудрину.

— Олег Михайлович, вы можете привести Харченко в фотолабораторию? — попросил Кудрин.

— Да, сейчас приведу, — ответил Фирсов и пошёл в дежурную часть.

Женя зашёл в фотолабораторию, дверь которой оказалась открытой, сел за стол, и через несколько минут в неё вошли участковый инспектор и средних лет мускулистый мужчина. Сразу бросились в глаза его грязные сплюснутые от пота волосы, отёкшее лицо, неприятный запах изо рта, а от рубашки исходил запах невымытого тела.

— Присаживайся, Харченко, — громко сказал Кудрин.

«Харя» присел на стул, озираясь по сторонам, а Фирсов примостился на диванчике сзади задержанного.

— Так вот, Дмитрий, — проговорил Кудрин, — чтобы нам время не терять слушай внимательно, после вчерашнего твоего выступления в универмаге, сухой остаток: заявление его директора Павловой о твоих хулиганских действиях и об изнасиловании в подсобке универмага.

— Чего? — заревел Харченко. — Ничего не помню, пьяный был.

— Кроме того, — продолжал Кудрин, — имеется рапорт участкового инспектора и объяснение уборщицы универмага; ты, Харченко, человек опытный, имеешь две ходки в зону и должен понимать, что этих материалов достаточно, чтобы ты уехал далеко и надолго.

— Не бери на «понт», начальник, — зло ответил задержанный, — ничего не помню и точка.

— Да, — продолжал Кудрин, — и ещё, ты также должен представлять, что бывает в колонии с человеком, осуждённым по такой статье.

— Дай воды попить, — сквозь зубы проговорил Харченко.

Кудрин налил из графина в стакан воду и протянул его задержанному. Залпом выпив воду, «Харя» смахнул пот со лба и уставился в потолок.

— Однако есть другой вариант, — проговорил Кудрин, — ты мне толкуешь о квартирной краже зимой ларца в Сокольниках, а я придумаю, как тебе избежать наказания за вчерашнее приключение. Теперь — математика: вчерашние гастролы будут стоить тебе года три, не меньше по позорной статье, а кража из квартиры по малозначительности от силы потянет года на два. А если я тебе разрешу написать явку с повинной, то суд тебе может скинуть ещё полгода. Итого — год с половиной и гуляй на свободу.

— Да пошёл ты... — огрызнулся Харченко.

— Я ведь пойду, — усмехнулся Кудрин, — а ты останешься лицом к лицу с неудобной на зоне статьёй уголовного кодекса.

— Олег Михайлович, — обратился он к Фирсову, — проводите этого упряма в камеру, а я материалы передаю в следствие.

— Стойте, подождите! — вдруг засуетился Харченко. — Я согласен, всё расскажу.

— Это другое дело, — ответил Кудрин, — слушаю тебя.

— В декабре прошлого года, — начал говорить Харченко, — ко мне домой явился Вася Мальчик. Раньше он жил со мной по соседству, в соседнем доме, но потом купил квартиру в кооперативном доме и переехал на Варшавское

шоссе. Так вот он мне предложил забраться в квартиру одной женщины в Сокольниках и вынести оттуда деревянный ларец, как он сказал с бездельюшками. За это Вася обещал мне солидный куш денег, я и согласился, так как был совсем «на мели». Он тогда ещё чётко объяснил, где находится этот ларец и назвал дату, когда хозяйки не будет дома, а дочка уедет отдыхать в пансионат.

— Я без особого труда забрался в квартиру, — продолжал Харченко, — и вынес деревянный ларец. Там ничего интересного не было, хотя помню точно, что в нём лежало: золотое кольцо, перстень, деревянный крест, одна фарфоровая чашка с блюдцем, вилочка, ложка, портсигар и какой-то иностранный орден. Из вещей там я ничего не взял, так как брат в этой квартире было нечего, а ларец со всем его содержимым, как и договаривались, отдал Мальчику.

Вот и всё, что могу сказать.

— Хорошо, — ответил Кудрин и положил на стол несколько листов бумаги и авторучку, — пиши явку с повинной.

Через некоторое время Харченко закончил писать и передал документ Кудрину.

— Вот видишь, Дима, — сказал Женья, — я своих слов на ветер не бросаю, явку с повинной ты написал и вопрос с изнасилованием, как и обещал, закрою.

Участковый инспектор отвёл обалдевшего Харченко в камеру, но через несколько минут снова зашёл в фотолабораторию.

— Ну ты, Женья, даёшь, — проговорил он, — ведь он человека не насиловал, а манекен не живое существо, а чучело из гипса.

— Во-первых, Олег Михайлович, — ответил Кудрин, — когда я ему говорил об изнасиловании, дальше этого слова ничего не сказал, фраза как бы повисла в воздухе. Я специально сделал на этом упор и ни слова не сказал о потерпевшей, а он ответил, что был пьяным и ничего не помнит. Я выбрал этот психологический ход заранее, так как другим путём добиться от Харченко признания в совершённой им краже в Сокольниках не представлялось возможным.

— А во-вторых, — продолжал Кудрин, — у меня в руках было заявление директора универмага об изнасиловании «Харей» манекена, то есть я сказал ему правду, не произнося только слово «манекен».

— Высокий класс, вот так просто взял и расколол! — восхищённо сказал Фирсов и, попрощавшись, вышел из фотолаборатории.

«Ну вот и всё, теперь очередь за Мальчиком», — подумал Женья, заходя в кабинет Николаева.

Павел Иванович внимательно выслушал доклад Кудрина, потом внимательно прочитал показания Харченко и, задумавшись, подошёл к окну.

— Ты молодец, Женья, по полной расколол Харченко, — проговорил он, — теперь — Вася Мальчик. Готовь постановления на арест Мальчика и обыск в его квартире, а я завтра с утра поеду в прокуратуру за санкцией прокурора. И вот что ещё, было бы правильным встретиться с гражданкой Ржевской, пообщаться с ней и предъявить для опознания портсигар.

— Хорошо, — ответил Женя, — сейчас же узнаю по Центральному адресу бюро её место проживания и телефон.

Выйдя кабинета начальника, он быстрым шагом направился в общественную курилку.

Во дворе, раскуривая сигарету, стоял в одиночестве Лев Алексеевич Ерихин.

— Что такой радостный, весь светишься, близка реализация дела? — спросил он.

— Скорее всего, да, — ответил Кудрин и тоже прикурил сигарету.

— Ну, молодец, Женька, сегодня к стати зарплата, вот и отметишь это, — с улыбкой сказал Ерихин, — хотя, что это за деньги, живём с женой от полочки до полочки!

— А премию в прошлом месяце кто получил? — улыбнувшись, спросил Кудрин.

— Это святое, заначка! — ответил Лев Алексеевич. — Но всё равно можно было бы и побольше сделать оклады.

— Как в том анекдоте, — ответил Кудрин, — ...оперативник Петров в рамках спецзадания сел под видом нищего возле церкви просить милостыню, но уже на следующий день без колебаний написал рапорт об увольнении из органов милиции.

Ерихин рассмеялся:

— Ну не до такой же степени...

Загасив окурок, Женя вошёл в свой кабинет, и через полчаса он уже набирал домашний номер телефона Ржевской.

— Слушаю вас, — послышался женский голос.

— Здравствуйте, Ольга Николаевна, — сказал Женя. — Вас беспокоит инспектор уголовного розыск Кудрин Евгений Сергеевич. В результате оперативных мероприятий к нам попал серебряный портсигар вашего прадедушки, на котором выгравирован текст от князя Багратиона.

— Да что вы... — удивлённо воскликнула она. — А я уже думала, что он пропал навсегда. А другие предметы тоже у вас?

— Пока нет, но думаю, и их мы найдём, — уверенно сказал Женя и, обозначив адрес отделения милиции, попросил сегодня вечером подъехать для опознания портсигара.

— Конечно, мы с дочкой обязательно сегодня приедем, — ответила Ржевская и повесила трубку.

Через два часа в кабинет вошла пожилая седоволосая женщина в строгом сером платье. С ней вместе также вошла молодая девушка в светлой юбке и кофточке в горошек.

— Здравствуйте, я Ржевская Ольга Николаевна, — сказала пожилая женщина и предъявила Кудрину свой паспорт, — а со мной пришла моя дочь Аня. Мой муж был военным, но мы разошлись и живём с дочкой одни, а работаю я доцентом кафедры прикладной математики в Московском авиационном институте.

— Садитесь, пожалуйста, — с улыбкой проговорил Кудрин, рукой показывая на два стоящие около его письменного стола стула.

— Я понимаю вашу саркастическую улыбку, — сказала она, — но мой бывший муж не был балагуром Ржевским из анекдотов.

Женя вынул из своей папки серебряный портсигар и положил его на стол.

— Да, это он, — сказала Ржевская и взяла его в руку, — самая драгоценная семейная вещь!

— Скажите, пожалуйста, Ольга Николаевна, — спросил Женя, — а вы кому-то говорили о том, что у вас хранятся семейные реликвии, относящиеся к Отечественной войне 1812 года?

— Нет, никому никогда не говорила, — ответила Ольга Николаевна. — Ваши товарищи уже задавали мне этот вопрос.

— А вы? — спросил Кудрин у девушки.

Аня немного замялась, было видно, что девушка слегка побледнела и, достав из сумочки носовой платок, вытерла пот со лба.

— Тут такое дело, — тихо проговорила она, — я мечтаю стать артисткой и поступить в театральный институт. Поздней осенью прошлого года я гуляла в Парке культуры и встретила там свою знакомую Лену Стороженко, которая была там со своим ухажёром. Мы зашли в кафе-мороженое и разговорились; ухажёр Лены назвался кинорежиссёром Альбертом Заволжским и сказал, что снял много фильмов с известными артистами. Ну а я тогда сказала, что очень хочу поступить в театральный институт. Лена попросила Альберта помочь мне в поступлении, сказав, что я праправнучка героя Отечественной войны 1812 года Степана Золотарёва. Альберт тогда очень заинтересовался и сказал, что собирается снять фильм о героях той войны.

— А я ему ответила, — продолжала Аня, — что у нас дома есть семейные реликвии, относящиеся к тому времени, и перечислила их. Альберт очень заинтересовался и попросил показать их для наглядности при съёмке картины. Я ему сказала, что мама не разрешит этого сделать, тем более что она часть из них собирается передать в дар Историческому музею. Но Альберт очень настаивал и даже сказал, что окажет мне содействие в поступлении в театральный институт. И вот в декабре прошлого года, когда мама уехала на два дня принимать экзамены в тульском филиале института, я пригласила к нам домой Лену и Альберта, вынула из серванта ларец и показала гостям его содержимое. Заволжский был в восторге от этих ложечек и чашечек. Мы тогда попили чай с тортом, который принёс Альберт, и они ушли. Когда они уходили, Лена меня пригласила сразу после встречи Нового года покататься на коньках, но я сказала, что поеду в начале января в пансионат. «Что, одна поедешь, без мамы?» — спросила она. А я тогда ответила, что мама со мной отказалась ехать, так как второго января уедет на несколько дней к своей больной сестре в Воронежскую область.

— Аня, как ты могла без моего разрешения пускать в квартиру незнакомых лиц, рассказывать им о наших планах и ещё показывать наши семейные реликвии! — возмутилась Ольга Николаевна.

— Прости меня, мамочка, — заплакала Аня.

— А что дальше было? — спросил Кудрин у девушки.

— А дальше, как я уже говорила, они ушли, и больше ни я, ни Лена Альберта не видели, — ответила она. — Потом на зимних каникулах я уехала в пансионат, а когда приехала домой, то узнала, что нас ограбили и унесли ларец.

Женя вынул из своей папки фотографию, на которой был изображён Мальчик, сидящий с Харченко в кафе.

— Узнаёте кого-нибудь? — спросил он у девушки и передал ей фотографию.

— Да, вот тот, что с залысынами — это и есть кинорежиссёр Альберт Заволжский, — ответила она, — а второй человек мне неизвестен.

— Скажите, Аня, — сказал Кудрин, — а у вас не вызвал подозрение этот кинорежиссёр, который после ограбления квартиры испарился?

— Я не подумала об этом, хотя тот факт, что и с Леной он больше не встречался, меня тоже насторожил, — ответила она.

— Должен вас разочаровать, милая девушка, — громко проговорил Кудрин, — никакой он не кинорежиссёр и никакой не Альберт Заволжский. А это Вася по фамилии Мальчик, балалаечник из оркестра Московской областной филармонии.

— Девочка моя, — с укором в голосе проговорила Ольга Николаевна, — как же тебя обвели вокруг пальца, будет тебе наука на всю жизнь!

— Аня, — сказал Кудрин, вынув из стола чистые листы бланков «Объяснение», — напиши обо всём, что только что нам рассказала.

Девушка старательно написала объяснение на двух листах и, подписавшись, передала Кудрину.

— К сожалению, я вам сейчас до окончания следствия не могу отдать портсигар, — сказал Женя, обращаясь к Ржевской, — но надеюсь, что отдам со всем содержимым вашего ларца.

Попрощавшись с Кудриным, Ольга Николаевна и Аня вышли из отделения милиции, а Женя поспешил к Николаеву.

Павел Иванович, как обычно, внимательно выслушал доклад Кудрина.

— Ну вот и хорошо, — сказал он, — это дополнительный козырь для предъявления Мальчику обвинения в организации кражи из квартиры Ржевской и ещё один штрих к обоснованию перед прокурором санкции на его арест. Я созвонюсь с коллегами из Сокольнического райотдела и сообщу им о раскрытии нами кражи на их территории.

— И ещё, — продолжал Николаев, — думаю, что в квартиру к Мальчику надо идти вечером, когда он придёт с репетиции. Так что завтра я привезу документы на его арест и обыск в квартире, а ты бери Колосова и вечером езжайте к Мальчику.

— Есть! — ответил Женя и вышел из кабинета начальника.

Ранним утром следующего дня Кудрина разбудил телефонный звонок.

— Женя, привет, — услышал он в телефонной трубке низкий голос однокашника по школе милиции Саши Широкова, — ты не забыл, что сегодня день рождения нашего комсорга группы Гены Привалова? Он до тебя не смог дозвониться и попросил меня это сделать и передать, что сегодня вечером в восемь вечера он ждёт тебя в специальном кабинете Даниловской бани, чтобы отметить это событие.

— Саша, ты что, обалдел в такую рань звонить, ещё ведь семи утра нет, — сонным голосом проговорил Кудрин.

— Да так вот получается, — ответил Широков, — что иначе до тебя дозвониться невозможно.

— Баня — это хорошо, — немного поразмыслив, ответил Женя, — она ведь не только здоровье укрепляет, но и мрачные мысли изгоняет. Помнишь, как говорил наш замполит курса Баленков, которого за глаза все курсанты звали «валенок», — ... для русского человека баня больше чем встреча с друзьями, а портвейн — больше чем друг, товарищ и брат...

— У меня, кстати, сегодня вечером важное мероприятие на работе, — продолжал Кудрин, — не знаю, смогу ли прийти.

— Да брось ты ерунду говорить, заканчивай свои мероприятия пораньше, мы с друзьями будем тебя ждать, — ответил Саша и положил на другом конце провода трубку.

«Как же быть... — подумал Кудрин, — ведь вечером надо арестовать Мальчика и провести обыск в его квартире. Ну, как сложится, так и поступлю, но в баню с друзьями пойду в любом случае!»

В шесть часов вечера Женя и Виктор Колосов сели в дежурный милицкий «Москвич» и помчались к дому, где проживал Василий Мальчик. У подъезда их уже ждал участковый инспектор Глеб Сергеевич Шутов; поздоровавшись, они вошли в подъезд дома.

Подойдя к двери квартиры, Кудрин нажал кнопку звонка. Через минуту дверь открылась, и на пороге появился моложавый мужчина в спортивном костюме.

— Уголовный розыск, — сказал Женя, протягивая ему своё служебное удостоверение личности.

— Проходите в квартиру, — растерянно проговорил Мальчик.

— Пожалуйста, предъявите документы! — попросил Кудрин, окидывая взглядом комнату.

Хозяин квартиры достал из серванта паспорт и положил на стол.

— Мальчик Василий Михайлович, — громко произнёс Женя, беря в руки документ, — вы арестованы по подозрению в организации кражи драгоценностей из квартиры гражданки Ржевской.

Он вынул из своей папки несколько документов и показал их Мальчику.

— Вот ордер на ваш арест и ордер на обыск в квартире, — проговорил Женя.

— Да вы что, здесь какая-то ошибка, я всего лишь музыкант, — залепетал хозяин квартиры.

— Да нет здесь никакой ошибки, — ответил участковый инспектор.

— Но я ничего не совершал, — пытался возразить Мальчик.

— Василий Михайлович, — сказал Кудрин, — в ваших интересах предъявить ларец с драгоценными вещами и не тратить на обыск ни наше, ни ваше время. Будем считать, что вы добровольно передали нам его и отразим этот факт в протоколе. Харченко рассказал нам детально, как по вашей просьбе он совершил кражу ларца из квартиры Ржевской и сколько вы за это

заплатили ему. Я обращаю внимание на слово «детально», то есть вы ему, помимо адреса квартиры, назвали место, где хранился этот ларец, и время, когда в квартире никого не будет. Помимо этого, есть показания дочери Ржевской Анны, которая рассказала нам как вы, представившись кинорежиссёром Альбертом Заволжским, вынудили её показать ларец, сказав, что будете снимать фильм об Отечественной войне 1812 года. При этом ещё и пообещали оказать протекцию при поступлении в театральный институт. Улик против вас достаточно, так что не упирайтесь и несите сюда этот ларец.

Хозяин квартиры присел на стул и опустил голову. Было видно, что он ошарашен происходящим, когда на его голову как снежный ком посыпались неприятности.

— Хотел разбогатеть, продать эти вещи в Париже, куда мы должны осенью ехать с оркестром, да вот как оно вышло, — тихо ответил он, — если бы не эта болтливая девушка...

— Ну, теперь вы поедете явно не во Францию, — усмехнувшись, проговорил Колосов.

Мальчик встал со стула, подошёл к шкафу, открыл верхнюю дверцу и, вытащив оттуда деревянный ларец, поставил его на стол.

Кудрин открыл его, стал вынимать всё, что было в нём внутри и класть на стол.

— Здесь нет только серебряного портсигара, — сказал хозяин квартиры, — я его проиграл в карты.

— Мы в курсе, — ответил Женя и, обратившись к участковому инспектору, попросил того пригласить понятых для составления протокола изъятия обнаруженных ценностей.

— Красивые вещи, — проговорил Колосов, рассматривая разложенные на столе драгоценности, — они явно представляют и историческую ценность, а из этой ложечки, возможно, кушал сам Наполеон!

Через несколько минут в комнату вошёл Шутов с двумя женщинами.

— Витя, — обратился Кудрин к Колосову, — составь протокол изъятия этих вещей, а я пойду на кухню поговорить с хозяином квартиры.

От этих слов Мальчика затрясло мелкой дрожью, и он молча в сопровождении Кудрина пошёл на кухню.

— Ну что, Василий Михайлович, — сказал Женя присев на табурет, — рассказывайте в подробностях, как вы докатились до такого.

— Поздней осенью прошлого года, — начал говорить Мальчик, — я познакомился с молодой девушкой Леной и для большей солидности представился кинорежиссёром из Мосфильма. На одной из встреч в кафе-мороженом она меня познакомила со своей подругой Аней, которая мечтала поступить в театральный институт. Эта молодая девочка взахлёб щебетала о своих любимых артистах и болтала, не умолкая. А Лена, в перерыве этой Аниной болтовни, сказала, что её подруга является праправнучкой героя Отечественной войны 1812 года Степана Золотарёва. Вначале это на меня не произвело впечатление, но когда Аня сказала, что у них в квартире находятся некоторые предметы быта, принадлежавшие когда-то французскому маршалу

Ожеро и самому Наполеону, я вострепнулся и тут же придумал историю, что собираюсь снимать фильм об этой войне и о её героях. И вот тогда я попросил показать мне эти предметы, которые, несомненно, могут украсить картину, но она мне ответила, что вряд ли мама разрешит, так как собирается их подарить Историческому музею. Я намекнул ей, что взамен смогу оказать протекцию при поступлении в театральный институт, и она сдалась. А через пару недель, когда мы вновь встретились с Леной, та сказала, что Анина мама завтра уезжает в другой город на два дня принимать экзамены в филиале института, где она работает, и Аня приглашает их к себе домой посмотреть эти исторические предметы. На следующий день мы пришли к Ане, и она, открыв дверцу секретера, достала деревянный ларец. Когда содержимое коробки оказалось на столе, я увидел настоящий клад, и мысли стали щемить мою голову. Эти предметы, принадлежавшие когда-то великим французам, наверняка хотели бы приобрести их потомки и за ценой бы не стали; тем более что оркестр осенью этого года по плану должен был гастролировать во Франции. Когда я пришёл домой, план в голове уже созрел, и, недолго думая, я отправился в деревню Садовники к своему бывшему соседу Диме Харченко. Тот всегда был шустрым парнем и очень любил деньги, поэтому, когда я ему предложил залезть в квартиру в Сокольниках и посулил приличные деньги, он сразу согласился. Я ему сказал время, когда в квартире никого не будет, и место, где лежит деревянный ларец, а через день он мне его принёс, и я отдал ему деньги.

Кудрин записал всё сказанное в объяснении, которое Мальчик тут же подписал и поставил дату. В этот момент на кухню зашёл Колосов и сказал, что протокол готов и можно ехать в отделение милиции.

С трудом все поместились в милицейский «Москвич», который, пыхтя, медленно покатил по Варшавскому шоссе, и через пятнадцать минут вошли в здание отделения милиции. Колосов отвёл задержанного в дежурную часть, а Кудрин с документами и ларцом отправился к Николаеву.

— Ну, как прошло задержание Мальчика? — спросил он, рассматривая предметы из ларца.

— Да всё прошло нормально, быстро и без происшествий, — ответил Женя. — Мальчик быстро «раскололся» и отдал ларец.

— Молодец! — сказал начальник. — И эту задачу ты выполнил, а заодно помог раскрыть «висяк» ребятам из Сокольнического райотдела. Давай сейчас отдыхай, а завтра подготовь материалы к передаче следствию.

Попрощавшись с Николаевым, Кудрин вышел из его кабинета и посмотрел на часы.

«Так я ещё успеваю в баню, — подумал он, — встречусь с друзьями, а заодно и помоюсь!»



Вадим Мальцев

Вадим Александрович Мальцев родился в 1971 году в городе Янгиюль Ташкентской области Узбекской ССР.

Окончил Российский государственный социальный университет. Работал корреспондентом в районной газете «Октябрь». Сейчас — учитель истории и обществознания в Лопатинской средней школе Тарусского района. Пишет прозу с 2016 года. Рассказы публиковались в коллективных сборниках, альманахах, местной газете.

УСПЕЛИ ВОВРЕМЯ!

Тёплый летний вечер. Жаркое солнце медленно покидает наш грешный мир, окрашивая напоследок облака в яркий багряный цвет. В небе пока ещё щебечут птицы, и лишь только лёгкий прохладный ветерок вносит небольшую сумятицу в идиллическую картину мироздания.

В этот чудный день Непрухин вернулся с работы несколько раньше обычного. Не обращая внимания на природные красоты, он хлопнул калиткой и быстро поднялся по ступенькам в дом.

В прихожей он сбросил обувь, отпихнул ошалевшего от неожиданной грубости кота и открыл дверь на кухню.

— Чего это ты, Алёшенька, пришёл так рано? — всплеснула руками жена, — ужин ещё не готов.

— Не хочу я что-то есть, Нина, — устало промычал Непрухин, — пойду лучше в комнату, прилягу. Знобит меня что-то.

— Батюшки! — запрочитала жена. — Уж не заболел ли?

— Может быть, — не стал спорить Алексей. — Полежу чуток — авось и полегчает.

Он вошёл в спальню, кое-как сбросил свои одежды и повалился на кровать.

— На-ка, прими лекарство, — засуетилась вокруг него Нина. — А не то сляжешь, что делать тогда будем? Болеть сейчас опасно — такую роскошь могут себе позволить только богатые бездельники.

— Отстань! — отмахнулся от неё Алексей. — Тошно мне!

— Ещё и тошнит! — схватилась за голову Нина. — А может, градусник тебе поставить?

— Валяй!

— И таблеточку?

— Ладно, давай!

— Кошмар! 39 и 2! — запрочитала Нина минут через пять. — Что делать-то будем? Болеть сейчас невыгодно — лекарства вон как в цене взлетели. Кризис. Одна только клизма чуток подешевела... А может...

— Вот себе и сделай её, а ко мне не лезь! — отмахнулся Алексей. — Лучше плед подай.

— А может, скорую вызвать?

— С ума сошла? Пока она приедет — я успею коньки отбросить. Вместе с лыжами.

«Это правда, — подумала Нина. — А если ему не полегчает? Попробую народные средства — если они не помогут, то вызову скорую, и пусть потом орёт, сколько хочет».

Поохав для порядка немного, она взяла мобильник и в течение следующего часа обзванивала подруг, выцарапывая из их памяти секреты целебных снадобий. Потом выбрала один и ринулась на кухню — готовить микстуру.

— Дорогоооой, — пропела она ещё минут через пятнадцать, — а вот и я! Выпей вот этот отвар — хворь мигом улетучится.

— Эмх-ууу, — послышалось с кровати нечто нечленораздельное.

— Ой! Ай! — запрочитала Нина. — Так и знала! А ну-ка давай, ещё раз померяю температуру.

— Фррруххх, — раздалось в ответ.

— 39 и 7, — с ужасом возвестила Нина через пять минут. — Всё. Ты как хочешь, но я вызываю неотложку.

В прежние времена вызвать машину скорой помощи не составляло особых трудностей. Всего-то надо было набрать по телефону номер 03 — и готово! Максимум минут через пятнадцать примчится бригада, вытрясет с тебя все анализы и всадит шприц куда положено, а при необходимости — ещё и клизму поставят. В случае опасности больного живо погрузят на носилки и отвезут в стационар, чтобы через недельку вернуть обществу здорового бойца.

Сейчас всё происходит иначе. Тотальная оптимизация жизненно важных структур коснулась и такого, казалось бы, незыблемого столпа, как здравоохранение.

Местные отделения «скорой помощи» пошли вразнос, а вместо них были созданы единые региональные центры. Расходы, конечно, сократились, и теперь район обслуживали максимум две машины, а если требовалась необходимость — пригоняли помощь из других райцентров или регионов. В дальнейшем процедуру вызова оптимизировали ещё больше, передав её функции частному бизнесу...

Нина пошарила вокруг себя, нащупала мобильник и набрала короткий номер.

— Частная межрегиональная компания «Белый саван» слушает, — ответили ей.

— Алё, скорая, у моего мужа температура под сорок, срочно приезжайте по адресу...

— Справки о прививках есть?

— Да, есть, есть! Причём здесь они?

— Так положено, — ответил ровный, спокойный голос, — после последней оптимизации мы отменили обследование пациентов, поэтому данные вы должны предоставлять сами. Сообщите основные параметры больного: пол, возраст, число, год и место рождения, состоит ли в браке, имеет ли...

— У моего мужа температура, — перебила оператора Нина, — а вы тут со своими дурацкими вопросами.

— Это для вас они странные, а мы не имеем права отправлять машину без заполнения соответствующей анкеты. Не хотите — как хотите, — равнодушно ответил голос.

— Стойте, — сдалась Нина, — пишите...

— Ждите, — ответили ей через пять минут, — машина уже выехала.

— Уф, — вытерла пот со лба Нина, — потерпи немного, дорогой, сейчас тебе помогут!

— Иэиуууу, — послышалось с кровати.

— Сейчас 19.05, — посмотрела Нина на часы, — через четверть часа будут у нас.

В нетерпении она привстала, убрала из комнаты всё лишнее и снова уселась рядом с супругом.

Время шло. Стрелки часов приближались к 20.00, но помощи всё не было.

«Наверное, напутали что», — подумала она и снова потянулась за мобильником.

— Я тут, наверное, адрес неверно продиктовала, — пропищала она в трубку и изложила ситуацию.

— Всё в порядке, — успокоили её. — Наша межрегиональная коммерческая организация по оказанию первой помощи «Белый саван» была создана после упразднения последних государственных структур, не выдержавших схватку с очередным кризисом. Будьте уверены, что мы никогда не ошибаемся. Машина вам отправлена почти час назад, из числа имеющихся в наличии. Так как в вашем областном центре и в соседних регионах весь транспорт был занят, мы послали вам помощь из Сызрани. Ждите.

— Из Сызрани? — выпучила глаза Нина. — Так это же Самарская область! А у нас — не столичная, но рядом.

— Ничего не поделаешь, резервы приходится изыскивать любым способом. Зато машина оборудована самой современной техникой — десять лет назад об этом даже в местной прессе писали.

— Да вы что, совсем охренели, что ли... — взбеленилась Нина, — я вам такую сейчас Сызрань устрою — сами покатайтесь туда. У меня муж в тяжёлом положении, а вы... Алёшенька, ты жив?

— Иуиии, — послышалось с кровати.

— Видите, звуки какие он издаёт? Да если я потеряю мужа — такую жалобу на вас накаваю! Да я в газету...

— Сейчас я посмотрю резервы, — успокоила её оператор. — Перезвоните через пять минут.

Нина бросила мобильник и помчалась на кухню, вскипятила чайник и заварила покрепче, потом сыпанула в чашку целебного снадобья, добавила малинового варенья и отправилась к мужу.

Покрытый испариной бедолага лежал пластом на кровати, подавая едва заметные признаки жизни.

— На вот тебе, вышей! Я и порошок целебный в кружку насыпала. Авось полегчает к приезду скорой.

— Быыббр, — забулькал в ответ Алексей.

Как только он проглотил микстуру, Нина поправила подушку и щедро вымазала благоверного салом. Следом обмотала ему горло старым пуховым платком с прогретой солью и тихонько уселась у изголовья...

...«Что такое? Проспала!» — воскликнула она через несколько минут, с ужасом поглядывая на часы.

Стрелки показывали на девять вечера. Помощь так и не прибыла.

Пощупав страдальца за нос, она выругалась и снова потянулась за мобильником...

— Мы выслали вам дополнительную машину, — успокоила её оператор, — только теперь из Смоленска.

— Вы что, совсем что ли? И сколько мне её ждать? Неделю?

— Сколько положено, столько и ждите! Других бригад нет, свободный на данный момент транспорт имеется только в Хабаровске и во Владивостоке. Высылать?

— Вы ещё Петропавловск-Камчатский предложите, — выпалила в ответ Нина и бросила мобильник.

Ночь прошла в томительном ожидании. Ни на минуту не отходя от постели страдающего супруга, она то и дело прикладывала к его телу всевозможные примочки, тряпочки, поила микстурами и заставляла глотать таблетки с длинными непонятными названиями.

К утру она совсем выбилась из сил, но так и не дождалась помощи.

— Ты как, дорогой? — с тревогой спросила она у мужа.

— Лучше немного, — вдруг послышался человеческий голос.

— Ещё чуть-чуть потерпи, милый, — нежно пропела она и взяла мобильник...

— Машина из Сызрани уже близко, — успокоили её, — а из Смоленска мы отправили обратно, так как ваши регионы не связаны договорными обязательствами по обслуживанию...

— Какими ещё обязательствами? И сколько теперь ждать?

— Совсем немного. Давайте лучше уточним адрес...

День прошёл в томительном ожидании. Бедная Нина, забросив все дела, суетилась вокруг супруга, запихивая в него все снадобья, какие только смогла найти в доме и ближайшей аптеке.

К вечеру мужу стало легче. Неотложка так и не появилась.

— Ну, я им сейчас задам, — в сердцах бросила она и снова схватила мобильник.

— Оставь их, — окрепшим голосом ответил Непрухин, — сами справимся.

— Нет уж, теперь мне и самой интересно.

Не глядя в экран, она набрала знакомые цифры и приложила трубку к уху.

— Машина давно прибыла, — обрадовали её, — но по указанному адресу вас не было.

— Как это не было? — удивилась Нина, — я то и дело выбегала на улицу, ворота настезь открыла.

— Давайте лучше уточним адрес: вы проживаете в селе Верхние Козули, улица Центральная, дом 9?

— Да нет же! Я ведь вас дважды поправляла: не Верхние, а Нижние; и не Козули, а Козюли! И не Центральная, а Срединная, дом 6.

— Ааа, — ответила оператор, — теперь ясно! Извините, но мы ошиблись. Сейчас перенаправим машину по уточнённом адресу.

— Так Верхние Козули-то на юге области, а Нижние Козюли — на севере! Сколько теперь ждать?

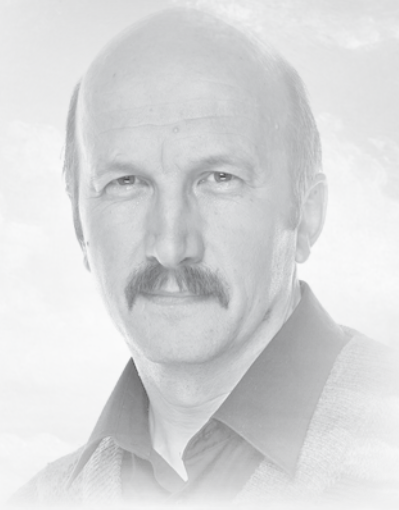
— Столько, сколько нужно, — последовал короткий ответ.

Прошла ещё одна ночь, а к утру Алексею стало совсем хорошо. Устав от всевозможных микстур и примочек, он осторожно, чтобы не будить спящую супругу, поднялся, выглянул во двор и зажмурился. Яркий солнечный лучик заиграл в его глазах, как бы поздравляя с долгожданным выздоровлением. Побродив немного по огороду, Непрухин вышел на улицу, расправил обвисшие плечи, раскинул руки и сделал глубокий вдох.

В это же время из-за поворота показалась долгожданная машина. Сердито преодолевая колдобины, она мчалась навстречу человеку, остро нуждающемуся в помощи.

ЭТО НАДО ПОТОМКАМ





Евгений Чертовских

Евгений Викторович Чертовских родился 9 марта 1956 года в Германии, в семье военнослужащего. Окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. С 1983 по 1985 год проходил службу на территории Демократической Республики Афганистан. В 1994 году уволился в запас в звании подполковника. Награждён орденами Красной Звезды и «За службу Родине в ВС СССР» III степени. Литературной деятельностью стал заниматься с 2008 года. Его произведения вошли в литературные альманахи «Родина», «Современные записки» и другие. Лауреат литературно-патриотической премии имени А. Т. Твардовского. Отмечен общественными наградами и призами. Живёт в Москве. Член Российского творческого Союза работников культуры.

ЖИЗНЬ ПРОЖИТЬ...

Елена Яковлевна, отметив свой 75-летний юбилей, села за письменный стол, взяла тетрадь, ручку и начала писать, уместая на строчках ученической тетради свою прожитую жизнь. Зачем ей это надо? А это надо не ей, всё, что она описывает, уже с ней произошло, это надо потомкам. На первой строчке она написала: «Посвящаю моей дочери Надежде, внучке Анне и правнукам Марии и Ивану».

С этими записями, с согласия семьи, дали познакомиться мне — автору этих строк. Прочитав воспоминания человека, прожившего сложную, наполненную событиями жизнь, я посчитал своим долгом донести всё, что я узнал из этих записей до нынешних и будущих поколений, ибо то, что там описано, ценно своей правдивой информацией непосредственного участника изложенных событий. В строчках, написанных твёрдой рукой, отражение целой эпохи, отражение без искажений.

* * *

Холодная дождливая весна 1919 года. В маленьком городке Минусинске, расположенном при впадении речки Минусы в судоходный проток Енисея, колчаковцы на площади около церкви собрали местное население, и казачий атаман обратился к народу:

— Кого хотите избрать городским головой?

Наступила тишина. После разгромленного в ноябре крестьянского восстания жители города побаивались оказаться в структурах управления

городом. Атаман, постукивая нагайкой по сапогу, как-то недобро посмотрел на толпу и прорычал:

— Нууу!

Напряжённость стала усиливаться, но тут послышались голоса:

— Ефимова!

— Учителя Ефимова Якова Васильевича!

Толпа зашевелилась, ожила. Вопрос решён, выход найден, и присутствующие один за другим начали выкрикивать фамилию учителя местной школы. На лице казачьего атамана заиграла улыбка.

Так как других кандидатур не поступило, на том и порешили — учитель Ефимов и будет городским головой.

О семье Якова Васильевича надо сказать отдельно. Его мать умерла рано. Отец ещё до рождения детей зимой поскользнулся, упал и ударился затылком об лёд, после этого он потерял зрение, так никогда и не увидел своих сыновей. Младший брат Николай учился в гимназии. Жена Мария Сергеевна работала учительницей младших классов и ждала рождения ребёнка.

У Марии Сергеевны было две сестры — Анна и Татьяна, и два брата — Михаил и Николай. Татьяна окончила акушерско-фельдшерскую школу, но работала учительницей вместе со старшей сестрой. Михаил ушёл в армию Колчака и погиб в боях с красными партизанами. Семья тяжело перенесла его смерть. Отец, Сергей Попов, работавший продавцом в винной лавке, запил. Когда уже не было сил терпеть пьянство мужа, Пелагея Афанасьевна, его жена, выгнала главу семьи из дома, оставшись одна с младшими детьми без средств к существованию. Чтобы прожить и выучить детей, Пелагея ходила по домам и стирала бельё. Николай, когда попросился, решил выучиться на инженера, уехал в Красноярск, там простудился, заболел крупозным воспалением лёгких и умер.

В таком состоянии застала весна 1919 года семью Ефимовых — Поповых.

— Машенька, надо уезжать отсюда и чем быстрее, тем лучше, — Яков нервно ходил по комнате.

— Почему, Яша?

— Не могу я. Сегодня приказали мне организовать прилюдную порку мужиков, которые не сдали вовремя продовольствие. Как я могу? — Яков схватил себя за рубашку у горла. — Им самим жрать нечего. Я их детей в школе учил. Не могу я.

— Ну, давай уедем, — робко прошептала жена.

— Я что, изверг? Тебе рожать вот-вот. Господи! Что делать?

— Яшенька, я потерплю. Я справлюсь.

Яков посмотрел на Марию взглядом полным любви и нежности, подошёл и обнял её.

— Давай, — тихо сказал он, — рожай, а там посмотрим. Это я потерплю, а ты рожай.

26 мая Мария родила девочку, назвали её Еленой.

Каждое утро Яков уходил в управу, как на каторгу. Перед уходом целовал жену и дочку, тяжело вздыхал и уходил, опустив голову. Вечером возвращался хмурый и уставший.

— Машенька, когда дочку от груди отлучишь? — спросил он как-то вечером супругу.

Мария посмотрела на мужа понимающим взглядом.

— Потерпи немного, уже скоро.

И как только девочка перестали кормить грудью, Яков уговорил Марию оставить дочку на попечение бабушки Пелагеи, а самим срочно бежать из города.

— Ну куда вы от ребёнка бежите? — возмущалась Татьяна.

— Не лезь! — властным голосом остановила свою дочь Пелагея. — Не от дитя бегут, сама знаешь, а чтобы ребёнок сиротой не остался.

— Куда же поедете? — печально спросила Анна.

— В Харбин, — ответил Яков. — Время выждем и вернёмся или туда заберём Леночку.

— Езжайте. С Богом! — перекрестила всех Пелагея.

Так и было сделано — супруги Ефимовы уехали в Харбин, оставив дочь на воспитание бабушке и двум тёткам: Татьяне и Анне.

Девочка росла под чутким надзором бабушки и тёток. Прошёл год, второй, а от родителей никаких вестей. По вечерам бабушка Пелагея молилась у иконы, вспоминая дочь и её мужа, Татьяна ворчала, а Анна, тихо напевая, убаюкивала племянницу.

Только через четыре года пришло письмо от родителей Лены, в котором сообщалось, что в данный момент они находятся в Чите, где работают артистами в городском театре, и им очень хочется, чтобы дочь их была с ними. Это известие настолько воодушевило семью, что бабушка и тётки быстро собрались и все вместе отправились в Читу. Сами того не зная, этим переездом они положили начало своим многочисленным переездам по стране в поисках лучшего места для жизни.

В Чите Ефимовы снимали небольшую двухкомнатную квартиру с удобствами на улице. Бабушке Пелагее и двум сёстрам выделили для проживания одну из двух комнат, как говорится: «в тесноте, да не в обиде».

Надо сказать, что и Ефимовы уже не были Ефимовыми, они взяли театральный псевдоним и теперь были Ураловы, и в городе были хорошо известны. Особенно в почёте у публики была Мария. Высокая, стройная с благородной осанкой, выходя на сцену, она поворачивалась лицом к зрителям и, широко открывая большие карие глаза, пронзала взглядом каждого сидящего там. Наступала тишина, кто-то среди зрителей произносил: «Ах!», и зал взрывался бурными аплодисментами.

Дом, где жила большая семья, располагался рядом с театром и городским парком. По вечерам в парке играл духовой оркестр, а молодёжь танцевала под его музыку на танцплощадке. Маленькой Леночке очень хотелось попасть в парк, посмотреть на оркестр и танцующих, но родители её с собой

не брали, обосновывая это тем, что у неё нет приличных платья и обуви. Но как-то, выбрав момент, когда взрослые отвлеклись, она отправилась в парк одна.

— Девочка, ты с кем? — остановив одинокого ребёнка, спросила женщина, проверявшая на входе в парк билеты.

— Я, Елена Уралова, дочь артистов Ураловых! — с гордостью ответила Лена.

Женщина, глядя на маленькую симпатичную девочку, засмеялась:

— Ну, тогда проходи.

Послушав музыку и посмотрев на танцующих, Лена отправилась домой, где в это время был переполох по поводу пропажи ребёнка.

— Где ты была!? — в истерике закричала мама, схватив дочь за руку.

— В парке музыку слушала, — прозвучало честное признание.

— Вы посмотрите на неё! — продолжала кричать мама. — Она меня опозорила! В грязном платье и грязных ботинках, срам! Меня все в городе знают! Разговоры начнутся!

Мария схватила, висевший на стуле ремень мужа и сильно стеганула им дочь ниже спины. Отец тут же выхватил ремень из рук жены, гневно посмотрел на неё и сказал:

— Чтобы этого больше никогда не было! Нужно уметь воспитывать без ремня!

После слов отца в комнате воцарилась тишина. Лена стояла молча, приложив ладонку к месту, куда был нанесён удар ремнём, по её щекам ручьём катились слёзы. Мать ушла на кухню. Бабушка и тётки так и остались стоять у входа в комнату. С этого дня Мария Сергеевна никогда в жизни больше не поднимала руку на дочь.

— Где большая сковорода, — раздался голос Анны с кухни.

— На месте должна быть, — бросила в сторону кухни Мария.

— Не могу найти! Татьяна, ты брала?

— О господи! — недовольно произнесла Татьяна и направилась в сторону кухни.

С кухни раздалась металлическая звуки, вернее грохот, затем нечленораздельные скороговорки двух женщин.

— Я вам что — посудомойка? — Татьяна вышла из кухни, сильно захлопнув за собой дверь.

— А я?! Нанялась готовить на всю ораву, да ещё и посуду мыть бесконечно, — казалось, что вошедшая Анна обратилась к Марии.

— Я целыми днями в театре вкальваю, — чуть не плача стала оправдываться Мария.

— А мы, можно сказать, не вкальваем, а дурака валяем целый день, — не сдержалась Татьяна. — Весь дом на нас! У меня к вечеру руки отваливаются.

Бабушка Пелагея слушала разборку сестёр, сидя молча на табурете в углу комнаты. Такие баталии были не редки, тем более что трём женщинам на одной кухне ужиться было сложно.

— Всё! Наступил предел моему терпению, — Татьяна стояла с красным лицом, уперев в бока руки. — Уеду!

— Как? Куда? — испуганно спросила Мария.

Все молча смотрели на Татьяну, а та, застыв как изваяние, не знала, что сказать.

— Зачем? — тихо спросила Анна.

Татьяна ожила, повернулась к Анне и так же тихо произнесла:

— Затем.

Все успокоились, напряжение спало, и все подумали, что Татьяна погорячилась с заявлением.

— Уеду, — вдруг сказала Татьяна, — работать уеду. На Байкал.

Угроза оказалась не пустой. На следующий день Татьяна, молча собрала вещи, сказала всем: «Всего хорошего!» и ушла на станцию. Через неделю от неё пришло письмо, где она сообщала, что находится на станции Слюдянка, которая располагается на берегу озера Байкал, там устроилась в больницу фельдшером-акушеркой и получила небольшую квартиру.

— Вот такие дела, — медленно проговорила Мария, складывая письмо.

— Поживёт там, успокоится, и всё нормализуется, — уходя из комнаты, проговорила бабушка Пелагея.

Недели через две после отъезда Татьяны за ужином Анна завела разговор.

— Маша, я вот что хочу сказать, — как-то не очень уверенно начала говорить Анна.

— Что-то случилось? — насторожилась Мария.

— Можно сказать — нет. Но...

Все замерли. Пелагея прижала руки к груди и напряглась.

— Я замуж выйду. Хорошо?

Звук общего выдоха разорвал тишину.

— Ты нас спрашиваешь или ставишь перед фактом? — улыбаясь, спросила Мария.

— Объявляю, — смущённо ответила сестра.

— И где же ты его нашла, и, главное, когда? — не удержалась Пелагея.

— Так в магазин у нас кто ходит? — засмеялся Яков.

— Анечка, ты бы нас познакомила со своим избранником или хотя бы рассказала о нём.

— Чего рассказывать? — начала свой рассказ Анна. — Он работает бухгалтером, живёт с отцом в своём доме.

— Ого, — заметил Яков.

— Да, чего ого? Отец больной, лежачий. Кроме Ивана у него было пять дочерей, в 1919 году они уехали в Америку за обещанными им «золотыми горами», с тех пор их никто не видел. Вот отец и слёг после этого.

— Но ведь теперь...

— Я понимаю, теперь я буду ухаживать за больным, — как-то обречённо проговорила Анна.

— Зачем же тогда ты... — начала Мария.

— Люблю я его, человек он очень хороший.

— Ну да, ну да, — Пелагея вытерла слёзы и встала из-за стола.

Анна посмотрела на всех, как бы извиняясь, что оставляет их, а присутствующие смотрели на Анну с сожалением, понимая какую она себе уготовила судьбу.

Но, несмотря на то что сёстры разъехались, они всё же сохранили хорошие отношения между собой, и связующим элементом стала маленькая Леночка.

— Мам, — Мария обняла за плечи Пелагею, — мы с Яковом уезжаем на гастролы с агитпоездом.

Пелагея вопросительно посмотрела на дочь.

— Как долго вас не будет?

— Возможно, два месяца...

— Понятно, — Пелагея подошла к окну, задумчиво посмотрела на улицу.

— Мам.

— Да, да. Конечно, езжайте, мы справимся.

— Я Татьяне дам телеграмму, поживёте пока у неё. Вместе будет спокойней.

— Спокойней, это точно, — Пелагея посмотрела на дочь и усмехнулась.

Жизнь в небольшом посёлке, где жила Татьяна, была скучной для Лены — бабушка всё время занималась готовкой на кухне и уборкой в квартире, а Татьяна целыми днями была на работе. Накануне Пасхи бабушка напекла всяких «вкусностей» и сказала:

— Надо отвезти Анюте!

Лена подпрыгнула от радости и заявила:

— Ура! Я это всё отвезу!

Пелагея в ответ улыбнулась и погладила внучку по голове.

— Конечно, отвезёшь, — и вопросительно посмотрела на Татьяну.

Лена с надеждой смотрела на бабушку и тётю, и не могла понять, почему они так странно смотрят друг на друга.

Татьяна пожала плечами, подняла вверх брови, поджала губы и, глядя на бабушку Пелагею, сказала:

— А что? Дадим Ане телеграмму, посадим Лену на поезд, а она там встретит.

Бабушка в знак согласия молча покачала головой.

Дали Ане телеграмму, чтобы встретила племянницу, упаковали чемодан и посадили ребёнка на поезд.

Была в роду Поповых у женщин одна особенность — они никогда вовремя никуда не приходили.

Поезд прибыл в Читу, стоянка 3 минуты, а тёти Ани на платформе нет. Чемодан тяжёлый, не всякий взрослый его просто так поднимет.

— Дяденька, — обратилась Лена к сидящему рядом мужчине, — помогите чемодан вынести.

Мужчина посмотрел на маленькую девочку, затем перевёл взгляд на чемодан, который явно был неподъёмный.

— Ты, девочка, беги на перрон, а я постерегу твой чемодан, так быстрее найдёшь своих родственников.

Ребёнка уговорить несложно, и Лена выбежала из вагона. Долго искать не пришлось, тётя Аня с мужем бежали по перрону в её сторону.

— В каком вагоне? — на бегу крикнул Иван.

Лена указала на вагон, и в этот момент прозвучал второй удар колокола, вот-вот поезд должен тронуться. Иван побежал к начальнику вокзала и уговорил задержать поезд.

— Не более двух минут, — последовал ответ.

А дальше всё произошло, как в кино. Иван влетел в вагон и нашёл чемодан, но взять его ему не удалось.

— Не трогать! — в приказном тоне сказал мужчина, сидящий рядом с чемоданом. — Кто вы? Я вас не знаю.

— Я дядя девочки, которая здесь ехала.

— Без девочки не отдам, — последовал ответ.

Вагон толкнуло, и поезд начал медленно двигаться.

— Вон она! — уже кричал Иван, указывая на бегущую за окном по перрону девочку.

Чемодан был отдан и Иван с тяжёлой ношей соскочил с подножки набирающего скорость поезда.

— Успел! Успел! — Лена захлопала в ладошки и запрыгала на месте.

— Да, успел, — Иван достал носовой платок, вытер лоб и шею. — Если бы не уговорил твоего сторожа, то ехал бы сейчас в поезде. Неведомо куда.

Анна взяла за руку племянницу, Иван за ручку чемодан, и все не спеша пошли в сторону выхода с вокзала.

С приездом племянницы жизнь в семье Ивана и Анны стала светлее и радостнее, поэтому после намеченных трёх дней пребывания Лены у тётки Анна телеграфировала сестре, прося оставить девочку у неё на продолжительное время. После согласований Леночка осталась у Анны на полгода.

Иван оказался добрым и заботливым. Своих детей у Ивана с Анной не было, и Лена стала для них отрадой, тем чего так не хватало для существования счастливой семьи.

Дни пролетали стремительно, сменяя друг друга. Иван научил племянницу играть в шахматы, и по вечерам в доме происходили шахматные баталии. Днём Лена помогала тёте по хозяйству, особенно она любила наблюдать, как та доила козу Катю, а потом, ей доставалась кружка парного козьего молока.

Осень заканчивалась, приближалось время возвращения домой. Лена уже не думала об играх, она скучала по родителям, и ей не терпелось быстрее их увидеть. С наступлением зимы Иван отвёз Лену к Татьяне.

Отец Лены приехал один.

— А мама где? — задала вопрос дочь, глядя большими круглыми глазами на отца.

— Мама? — Яков задумался. — Мама задержалась, позже будет.

Пелагея Афанасьевна и Татьяна тоже посмотрели на Якова вопросительно и с какой-то настороженностью во взглядах. Яков изобразил что-то глазами, из чего женщины поняли, что ответ они получат позже. А позже, когда Лена спала, он сказал, что его жена влюбилась в молодого артиста и уехала с ним на гастроли. Из глаз Якова покатались крупные слёзы, и он сказал:

— Люблю я свою Мурку, но у меня осталась только дочь.

— Может, ещё образумится? — тихо, чтобы не разбудить ребёнка спросила Татьяна.

— Нет. Думаю, всё так и останется. Я вот чего думаю. Афанасьевна, поехали со мной и дочкой в Нерчинск. Там мне предлагают работу в горфинотделе. А Мария, надо будет, туда приедет.

— Яша, как скажешь. Ты отец, тебе и решать.

— Ну, давайте. Пару дней на сборы и вперёд.

Татьяна молча слушала разговор, незаметно утирая слёзы. Ей было жалко Леночку, ребёнок, по сути, являлся заложником в безответственной игре взрослых.

Как и намечали, через два дня Яков с семьёй отправился в Нерчинск.

Нерчинск — небольшой городишко, состоящий из одних деревянных домов, и лишь в центре возвышалось большое четырёхэтажное кирпичное здание тюрьмы.

Для жилья сняли маленький домик на берегу реки Нерчи, состоящий из двух комнат и кухни с печкой. Жили скромно, зарплата у Якова Васильевича была небольшая, и большая часть её уходила на оплату жилья. Бабушка Пелагея занималась домашним хозяйством. Леночка помогала ей как могла, а в свободное от дел время подолгу сидела у окна и смотрела на реку.

Приближалось Рождество, все его ждали, но в преддверии праздника вышел правительственный указ об отмене празднования Рождества и других религиозных праздников.

И вот наступил день праздника. Вечером в дверь дома, где жила семья, постучали. Яков Васильевич настороженно пошёл открывать дверь.

— Рождество Твоё, Христе Боже наш, — запели детские голоса.

На пороге дома стояла небольшая группа мальчишек, явно в надежде что-нибудь накалядовать.

— А ну, пошли отсюда! — грозно прикрикнул Яков и топнул ногой.

Мальчишки побежали от дома с криками: «Жи́ды! Жи́ды!»

— Ну зачем ты так? — с какой-то обидой сказала Пелагея Афанасьевна. — Пусть бы пославили Рождество.

Яков закрыл дверь и ещё больше нахмурил брови.

— Не надо дразнить быка красным, сразу же донесут куда надо, что славили Рождество, хлопот тогда не оберёмся.

Через месяц после дня рождения Леночки, ей исполнилось 6 лет, в гости приехала Мария Сергеевна. Её приезд стал для всех большим праздником,

ну и, конечно же, больше всех радовалась Лена. Целыми днями она была с мамой и практически ни на минуту не отходила от неё.

Яков в глубине своей души надеялся, что Маша останется с ними. Разговора на эту тему он не заводил, ждал, что вот-вот Мария сама всё скажет, но дни шли, отпуск подходил к концу.

— Ну вот, — явно волнуясь, начала разговор Мария. — Закончился мой отпуск, пора уезжать.

— Мамочка! Не уезжай, — с плачем кинулась в объятия матери Лена.

— Я не могу, золотце моё, мне надо ехать. Меня ждёт работа, — Мария посмотрела на Якова виноватым взглядом.

Яков молчал и нервно кусал свои губы. Хотел посмотреть Марии в глаза, но не смог, смотрел в пол.

— Не плачь. Ты с бабушкой и с папой. Наладятся у меня дела с работой, и мы будем вместе.

Пелагея Афанасьевна, наблюдая за прощанием, всё время вытирала платком мокрые от слёз глаза.

После отъезда Марии отец Лены начал пить.

— Бабуля!!! — дверь распахнулась и в коридор ввалился растрёпанный Яков. С трудом стоя на ногах, он указательным пальцем указывал на потолок и пытался что-то сказать ещё.

— Яша-а-а, — протянула Пелагея и села на табурет.

— Я, я! Я — батька Махно! Вот кто я! — Яков пошатнулся и опрокинулся назад, оперевшись спиной о стену.

— Молчи, молчи, чёрт пьяный, — запричитала Пелагея.

— Молчать! Где доча?

— На печи, спать собирается. Молчи. Чего расшумелся.

— Леночка, — ласковым голосом заговорил Яков, оттолкнулся от стены, но не удержался на ногах и упал на колени.

Лена отползла от края печи и спряталась под одеялом.

— Доча, не бойся! Я твой батька, я тебя никому не отдам! Батька Махно всех спасёт! — сопя и что-то бормоча себе под нос, Яков направился к кровати.

— Иди, иди ложись спать, — замахала на него Пелагея.

Яков остановился и повернулся лицом к бабушке, приложил палец ко рту и тихо произнёс: «Тссс». Пелагея уже начала успокаиваться, когда вдруг Яков громко запел: «Боже, царя храни! Сильный, державный...».

— Очумел, что ли?

— Цыц, старая! Я... — не договорив, Яков рухнул на кровать и тут же заснул, о чём говорил негромкий равномерный храп.

Так происходило довольно-таки часто. По утрам, как правило, Яков, чувствуя свою вину за вечерний концерт, виновато смотрел на дочь и Пелагею. Но через пару дней всё повторялось.

Так прошёл целый год.

Однажды ночью в дом бесцеремонно пришли трое, провели обыск, перевернув все вещи, и увели Якова Васильевича.

— Бабушка, — тихо спросила Лена, — а куда папу увели?

— В тюрьму, деточка. В тюрьму, — очень грустно ответила бабушка.

На следующий день Пелагея Афанасьевна пошла в кирпичный дом, в тюрьму, чтобы узнать судьбу Якова. Когда она вернулась, на пороге её встретила внучка, в вопрошающем взгляде семилетнего ребёнка не было ничего детского. Бабушка посмотрела на Лену и произнесла:

— Сто восьмая. Контрреволюция.

Леночке эти слова ничего не говорили, но по тому, как их произнесла бабушка, она поняла, что это всё очень плохо.

Дни потянулись, медленно сменяя друг друга. Пелагея Афанасьевна ходила в тюрьму и носила передачи для Якова, а он передавал письма, в которых писал стихи для дочери. Леночка их заучивала наизусть и по вечерам, глядя в окно на реку, произносила шёпотом выученные строчки.

Мария Сергеевна, узнав о случившемся, стала присылать деньги, на которые жили бабушка и внучка.

Потянулись монотонные дни, сменяя друг друга. Каждый день был копией предыдущего, менялась только природа. Казалось, что уже ничего не может измениться.

И вот, ещё один год прошёл, Леночке исполнилось 8 лет. Впереди школа.

Летом приехала Мария и в разговоре с Пелагеей Афанасьевной сказала:

— Хочу Леночку свозить на месяц к нам, познакомить с Павлом Адриановичем.

— Ну что же, вези. Я-то, что? Я не против.

— Пусть подружатся. Как дальше жизнь сложится? Жить дальше, наверное, придётся вместе.

— Да, да. Я-то, что? Я не против, — каким-то обречённым голосом ответила Пелагея Афанасьевна.

— Вот и ладно, завтра соберёмся и послезавтра поедем.

Лена была очень рада этому решению старших.

Дорога заняла всего один день, но, куда её привезла мама, Лена не знала. Приехали на маленькую станцию, которая стояла на берегу большой реки. На тупиковой железнодорожной ветке стояло несколько маленьких вагончиков, в них жили артисты. Лена с мамой и Павлом Адриановичем стала жить в небольшом купе.

Целыми днями Лена с девочкой из соседнего купе играли на берегу реки, строили из песка замки. Павел часто принимал участие в их играх. Заниматься с детьми ему было интересно, и он постоянно придумывал что-нибудь, чтобы разнообразить их игры.

— Девочки, а хотите покататься по реке? — спросил как-то Павел детей.

— Да!

— Очень хотим!

— Тогда немного подождите, я сейчас.

Павел ранее заметил на берегу небольшой плот из нескольких брёвен, связанных между собой прутьями кустарника. Это плавсредство он и столкнул в воду, пригласив детей прокатиться по реке.

Оттолкнувшись шестом от дна, Павел направил плот по реке вдоль берега. Однако течение имело другие планы, направив плот к середине реки. Вначале никто по этому поводу не волновался, но когда вдруг ветки начали расплетаться и плот стал рассыпаться, всех, кто был на нём, и на берегу охватила паника. Брёвна проворачивались при попытке зацепиться за них, девочки начали кричать и беспомощно барахтаться в воде. Павел не знал, что делать, он не мог спасти сразу двух. На берегу Мария бегала и кричала, она ничем не могла помочь, к своему стыду, она не умела плавать.

Сработало подсознание, Павел пальцами, как клещами вцепился в торец бревна, не давая ему повернуться.

— Хватайтесь за бревно! — крикнул он девочкам.

Долго их уговаривать не пришлось, дети быстро ухватились за спасительное бревно, а Павел стал толкать его в сторону берега. Всё произошло очень быстро, но для всех участников этой драмы время тянулось бесконечно долго.

Добравшись до берега, дети сразу оказались в объятиях своих родителей, и никто не обратил внимания на Павла. А он стоял на четвереньках на отмели и тяжело дышал, сердце бешено колотилось, а в глазах проплывали яркие круги. Он ещё не пришёл в себя от страха за детей. Только сейчас до него дошло, что прогулка на плоту могла закончиться гибелью детей, да и ему тогда было бы лучше на берегу не показываться.

— Ты о чём думал! — это первое, что услышал Павел, придя в себя. Подняв голову, он увидел Марию, которая как дикая кошка приближалась к нему.

— Я хотел...

— Ты чуть не угробил детей!

— Маша...

— Я! Я тебя... я...

Павел не стал слушать дальше, ноги согнулись, и он упал плашмя в воду. То ли сильно устал, то ли от сильного нервного напряжения потерял сознание. Мария быстро подбежала к нему и подняла из воды голову. Павел открыл глаза.

— Дурак, — сказала, и вся злость улетучилась.

После этого случая интерес детей к воде пропал, вернее, не интерес пропал, а появился страх.

По окончании отпуска Мария отвезла дочь к бабушке в Нерчинск. Лето заканчивалось, надо было определяться со школой.

Как ни покажется нам странным, но прежде чем определить детей в школу, с ними проводили собеседование, чтобы понять, в какой класс направить ребёнка — для одарённых детей или туда, где будут учиться остальные. Вопросов на собеседовании задавали много, и детям они казались глупыми. Лена не ответила только на один вопрос:

— Ехал велосипедист, упал и убился. Что надо было сделать? — с ухмылкой закончил свой вопрос директор школы.

— Надо было его похоронить, — серьёзно ответила Лена.

— Надо было отвезти его в больницу, чтобы там определили: умер он или ещё жив, — задавшего вопрос явно возмутил ответ девочки.

Лена промолчала, она была уверена в правильности своего ответа, и её отправили в класс для тех, кто не зарекомендовал одарённым ребёнком.

Учиться в первом классе Лене было скучно и неинтересно, она умела хорошо читать и писать, знала основы арифметики, всё это благодаря своим тёткам — Тане и Ане.

Наступил праздник 7 Ноября, школьники приняли участие в праздничной демонстрации. Учащихся построили во дворе школы в колонну по четыре и раздали всем маленькие красные флажки. Под музыку небольшого духового оркестра колонна пошла по улицам города, дети кричали «Ура!» и размахивали флажками. Проходя мимо здания городской тюрьмы, Лена обратила внимание на то, что из окон с решётками махали руками заключённые. Ей показалось, что она увидела своего отца.

— Это мой папа машет! — закричала Лена и замахала обеими руками. — Папочка, я здесь!

Рядом идущие дети повернули головы в сторону тюрьмы и начали махать флажками, отвечая заключённым.

К Лене быстро подбежала учительница и дёрнула её за руку:

— Замолчи сейчас же! — глаза женщины были наполнены гневом. — Замолчи! У тебя нет папы!

Жестокие и обидные слова, как плёткой стеганули по юной душе. Лена заплакала. Плакала она до тех пор, пока не пришла домой, где бабушка, обняв внучку, успокоила её.

— Успокойся, внученька, они ничего не знают. Есть у тебя папа. Есть. Он просто не может сейчас быть с тобой. Но настанет день, и вы будете все вместе: ты, мама и папа.

Для продолжения следствия Якова Васильевича этапом отправили в Минусинск. Смысла оставаться в Нерчинске бабушке и внучке уже не было, они собрались и поехали вслед за отцом.

Люди в поисках лучшей жизни всегда переезжали с места на место, несмотря ни на какие трудности. Вот и в эти годы массы людей перемещались по стране в разных направлениях. Поезда были забиты так, что в вагонах приходилось сидеть на собственных вещах в проходах и тамбурах. По несколько дней люди сидели на вокзалах в ожидании билетов.

Преодолев трудности переезда на поезде, Пелагея Афанасьевна вместе с внучкой приехали в город Абакан. Дальше железной дороги не было. Для продолжения путешествия необходимо было переправиться через реку Абакан, и на другом берегу найти попутную машину.

Нашли паром. Переправляясь на другой берег, Лена всё время смотрела на паромщика. Ей было интересно, как небольшого роста коренастый мужчина, перебирая руками по канату, натянутому между двумя берегами,

перемещал паром по реке. Паромщик, заметив на себе пристальный взгляд девочки, коротко ей улыбнулся и продолжил свою нелёгкую работу.

Ещё на пароме Лена почувствовала, что начинает замерзать. Дул холодный ветер и сыпал снежок, а она была в летних туфельках и в лёгком пальтишке. Причалив к берегу, все пассажиры вышли на пустынный берег, никаких строений здесь не было. Сбившись в кучку, люди стали ждать машину. Лену начало трясти от холода, пальцы ног стали болеть.

Ждать пришлось долго. Часа через два приехал грузовик, доверху нагруженный мешками. В кабину села женщина с грудным ребёнком, а остальные полезли в кузов на мешки. В дороге все крепко держались друг за друга, чтобы не выпасть с кузова на поворотах и колдобинах. Ветер пронизывал насквозь, ноги у Лены уже не болели, она их просто не чувствовала. Так проехали около 40 километров.

Машина остановилась около небольшой деревушки.

— Всё! — громко сказал шофёр, вылезая из кабины. — Слезьте, дальше не поеду. Ищите другую машину. До Минусинска километров 15 осталось.

Кое-как Лена с бабушкой дошли до крайней избы и постучались. Дверь открыла женщина средних лет, на просьбу пустить переночевать она согласилась и запустила гостей в дом.

Когда Лену разули, хозяйка ахнула. Пальцы на ногах девочки были белыми и твёрдыми. Взрослые срочно начали растирать водкой отмороженные пальцы ребёнка. Боль вернулась, когда пальцы стали отходить от отморожения, Лена, закусив губу, мужественно выдержала это.

День закончился. Измученные дорогой, Пелагея Афанасьевна и Лена заснули быстро. Хозяйка постояла немного над спящей девочкой, утёрла подолом фартука слезу и ушла, задвинув занавеску закутка, где спали гости.

На следующий день бабушка с внучкой добрались до Минусинска и сразу отправились на улицу Набережная, где стоял дом Василия Ивановича Ефимова.

— Ну, вот, Леночка, пришли, — остановившись у одноэтажного кирпичного дома, сказала Пелагея Афанасьевна. — Здесь живёт твой дед.

Слепой дед жил с младшим сыном Николаем и женщиной, которая вела хозяйство и ухаживала за Василием Ивановичем. Николай, окончив в Красноярске пединститут, работал преподавателем в техникуме. С прибытием племянницы он рассчитал домработницу, возложив, таким образом, всю домашнюю работу на Пелагею Афанасьевну, которой в то время было 56 лет. А работы было много — ухаживала за слепым дедом, готовила еду, пекла хлеб и носила его продавать на базар, стирала на всех, а летом добавился ещё огород. Лена занималась прополкой и поливом огорода, для этого она ходила с ведрами на реку и носила воду, а по вечерам от этой работы у неё сильно болели руки и спина. В свободное от учёбы и огорода время она мыла полы в доме, чистила овощи, помогала стряпать пироги и пельмени. Через многие годы она вспоминала то время словами: «Тогда закончилось моё детство», а было ей всего 9 лет.

Между протокой и Енисеем был остров километров десять шириной, там стояла небольшая деревенька, на краю которой возвышалось четырёхэтажное кирпичное здание, точно такое же, как в Нерчинске, — тюрьма. Вот туда Пелагея Афанасьевна, а потом и Лена носили передачи Якову Васильевичу.

Передачи в тюрьме принимали с 9 часов утра. Очереди для того, чтобы передать передачу были огромные. Лена приходила пораньше и тогда часам к двенадцати очередь доходила до неё. Осмотр передаваемого был очень тщательный, если находили сигареты или выпивку, то всё возвращали обратно. Можно было передавать письма и дожидаться обратного ответа.

Лена носила передачи с большим удовольствием. Отец в ответных письмах всегда писал ей стихотворения. Окна одиночной камеры, где он сидел, выходили на дорогу и, когда Лена приходила, махал ей рукой, а когда уходила, долго смотрел вслед, пока она не скроется за поворотом.

Вскоре следствие по делу отца закончилось, состоялся суд, ему дали 10 лет и отправили на строительство Беломор-Балтийского канала.

Отправили Якова Васильевича, и стало пусто, жизнь словно остановилась, все дни слились в один бесконечный нудный день. И когда уже стало невмоготу от монотонности жизни, приехала Анна Сергеевна, а вместе с ней новости о родных.

В день приезда Анны вечером сели за чай и всей семьёй стали слушать рассказ о нелёгкой судьбе близких им людей.

— Как Иван? Небось, в начальниках ходит? — задала вопрос Пелагея Афанасьевна.

— Ой, мама, что ты, — тяжело вздохнула Анна. — Он никак не может ни с кем сработаться. Был уже главным бухгалтером, говорит: «Всё руководство жулики и воры. Что случится, отвечать буду я один, а они в стороне останутся».

— И как? — раздался из угла комнаты голос Василия Ивановича.

— Как? Вот так. Уволился, продали дом, отец-то Ивана умер, и уехали в Экибастуз. На шахтах в управлении устроился главным бухгалтером.

— И, слава богу, — как бы подвела итог бабушка Пелагея.

— Так это не всё, — Анна махнула рукой, затем прикрыла ладонью глаза.

Все слушатели замолчали и стали «сверлить» глазами рассказчицу.

— Год смог только проработать. Боролся с воровством в партийной элите. Директор предложил Ивану уволиться по собственному желанию.

— И как? — поступил вопрос от деда Василия.

Анна посмотрела на слепого старика, опять махнула рукой.

— Уволился! Говорит: «Наша страна — это колосс на глиняных ногах, долго это народ терпеть не будет, и она рухнет и придавит всю эту партийную мразь».

— Ой, что говорит-то, — забеспокоилась Пелагея Афанасьевна.

— Вот мы с ним подумали и надумали в Крым уехать. Собственно, я за вами приехала. Хотим вас с собой на Чёрное море увезти...

— Ура! — не дав договорить тётке, закричала Лена.

— А Татьяна как там? — спросила Пелагея Афанасьевна. — О ней что слышать?

— Татьяна наша без фортелей не может.

— ?

— Татьяна вышла замуж за крупного партийного деятеля.

— Да ну?

— Вот и да ну. Только через несколько месяцев его командировали в Москву в Высшую партийную школу на учёбу на четыре года. Обещал, что на летние каникулы приедет и решит вопрос о том, чтобы забрать Татьяну с собой в Москву.

— И как? — поинтересовался дед Василий.

— А он не приехал. Написал, что приехать не сможет, мол, его не отпускают. Татьяна, конечно, вскипела, возмущалась: «Так я ему и поверила! Нашёл там себе какую-нибудь шлюху. Если не приедет, то между нами всё будет кончено». Ну, всё ему это и написала. Два года от него не было ни одного письма.

— Написал? — в нетерпении спросила Лена.

— Нет. У Татьяны нашли какую-то болезнь позвоночника и порекомендовали поехать в Севастополь, там есть институт, который занимается этими проблемами. Вот она и поехала. Поехала через Москву и нашла там своего бывшего. Он женат.

— Ну и хорошо, — заключила бабушка Пелагея. — Непутёвый он. А Татьяна-то как?

— Татьяна? Приехала в Крым, живёт и работает в Балаклаве, раз в неделю ездит в Севастополь на лечение. При больнице, где она работает, ей дали комнату.

Анна посмотрела на Лену, погладила её по голове и добавила:

— Так что собирайся, поедem жить к тётке Тане. Она нас всех ждёт.

Через несколько дней измученные долгой дорогой бабушка, тётка и племянница прибыли в Балаклаву. Татьяна с Иваном их встретили и отвезли на квартиру. Завхоз в больнице снабдил всех прибывших матрацами и подушками. И зажили все впятером в маленькой комнатухе. В тесноте, как говорится, да не в обиде.

Лена была очарована красотами Балаклавы: на склоне горы, утопая в зелени фруктовых деревьев и кипарисов, белели красивые домики с террасами и верандами. Повсюду были клумбы с цветами. А в сторону моря по горе вилась тропинка. У Лены захватило дух от увиденного сказочного зрелища: по спокойному синему морю тянулась золотая полоска от близкого к горизонту солнца. Подобного она в жизни ничего не видела. Лена готова была раствориться в синеве моря или стать частичкой золотой солнечной дорожки. А по морю скользили в разных направлениях пароходики, яхты и рыбацьи лодки.

Но жизнь не состоит из одних праздников, есть и будни. Лена пошла в школу в 3-й класс, тётка Аня взяла над ней шефство по проверке готовности

уроков. Проблем с обучением не было благодаря феноменальной памяти Лены, и с заданиями она справлялась легко и быстро.

Иван никак не мог найти себе работу. Обойдя без результата почти все уголки Балаклавы, он решил уехать в Семипалатинск, там устроиться на работу и затем забрать Анну к себе.

Время летело быстро, окончив третий класс, Лена с бабушкой решили вернуться в родные края, там хоть и климат не как в Крыму, но как-то уютнее. Без лишних хлопот собрались и вернулись в Минусинск. Прожив там год, судьба отправила их в Ленинск-Кузнецкий, где Мария с Павлом работали по контракту в местном театре.

Описывая путешествия этой семьи из одного конца России в другой, удивляешься, какой силой и терпением обладали эти люди, совершая частые переезды.

— Вижу, у вас здесь всё ладно, — завела разговор по приезду Пелагея Афанасьевна. — Поеду к Анечке, в Семипалатинск. Что-то у меня душа болит за неё.

— Поезжай, мам. Мы здесь справимся.

У Лены тем временем появились приятные заботы — маленький щенок.

— Мама! Кто это? — спросила Лена, когда увидела маленький пушистый комочек.

— Это Лайфу. Наша собака.

Оказалось, что вместе с Марией и Павлом в поезде ехал китаец, у которого была беременная собака. Вот она и оценилась в дороге. Китаец подарил своим соседям по купе щенка и сказал:

— Назовите его Лайфу, на русском языке означает — «приносит счастье».

Лена со щенком гуляла и играла, кормила и купала, а вечером укладывала спать в углу на подстилке. Щенок стал занимать большую часть её времени. Маленький друг явно положительно влиял на Лену, она стала веселее, появился румянец.

— Знаешь, Лёка, — как-то мама завела с дочерью разговор. — Мы с Павлом Адриановичем посоветались и решили, что здоровье у тебя слабенькое и не мешает тебе одну зиму отдохнуть от учёбы. А вместо школы, я договорилась с одной пианисткой, она будет обучать тебя игре на пианино.

Лена не возражала против такой перспективы, она два раза в неделю стала ходить в театр на занятия, а потом оставалась и смотрела кино, после спектакля в театре для публики организовывали киносеансы. Лена никогда раньше не смотрела кино, и это действие для неё было подобно сказке.

Наступило 1 сентября, дети пошли в школу. Лена с завистью смотрела на проходящих мимо неё нарядных детей с книжками и портфелями. Стало грустно, она села на скамейку и заплакала, и только верный Лайфу утешал, слизывая с её щёк слёзы.

Освободившись от учёбы время Лена решила потратить на домашние дела. А вскоре произошёл такой случай. Она стала свидетелем большого

скандала между мамой и Павлом Адриановичем. Проблема возникла из-за накопившегося грязного белья, постирать которое не было времени. Вот она и решила помочь маме.

Когда мама с Павлом ушли в театр, Лена взяла у хозяйки квартиры бак, сложила туда бельё, положила мыло, налила воды и поставила всё это кипятить. Она видела, как стирала бабушка, и по её примеру принялась за стирку. Но Лена никогда не думала, что стирка — это нелёгкое дело. Через небольшой промежуток времени у одиннадцатилетней прачки задрожали от усталости руки и ноги. Хозяйка квартиры, видя старания девочки, взялась ей помогать. Сообща бельё было постирано, и Лена отправилась на улицу развешивать бельё. На холодном ветру, вспотевшая от работы девочка простудилась и две недели проболела ангиной.

Приближался 1932 голодный год. В стране ввели хлебные карточки. Шахтёрам давали по 600 грамм в день, рабочим по 400, служащим — 200, а иждивенцам ничего не положено. В семье возникла проблема с кормёжкой Лайфу. Но Лена нашла выход для своего друга, она стала ходить с «чёрного» хода в шахтёрскую столовую, где стоял бак для отходов, и маленькой кастрюлькой черпала пищевые отходы. Выбегая на улицу, сердце у Лены бешено колотилось, она оглядывалась, как бы кто не увидел, но когда она смотрела, как Лайфу ест, успокаивалась и улыбалась.

Зимой жизнь опять сделала резкий поворот. Мария и Павел заключили контракт на три года с Рязанским драматическим театром, и Лену отвезли в Семипалатинск к Анне.

В сентябре Лена пошла в школу в 5-й класс. Здание школы располагалось довольно-таки далеко, и идти надо было несколько кварталов, при этом тротуара не было. Улицу покрывал песок, точнее всё располагалось на песке и ноги вязли в нём, как в трясине. В Семипалатинске был голод, и когда Лена шла в школу, то на улице иногда натыкалась на лежащие в песке трупы умерших людей. Ей становилось страшно, и, чтобы быстрее добраться до школы, она начинала бежать, задыхаясь от бега по песку, бежала, не останавливаясь, несмотря на сильную усталость. Со временем Лена привыкла к тяжёлой дороге по песку, да и на попадавшиеся иной раз трупы она уже не обращала внимания. Песок и ветер притупили у девочки чувство страха, появилось безразличие к происходящему вокруг.

В один из осенних дней в гости приехала Татьяна. Жизнь опять сыграла с ней злую шутку. В Балаклаве она вышла замуж за главного врача больницы, в которой работала. Пока гостила у сестры, ей пришло письмо, в котором муж просил её не приезжать, так как он полюбил другую. Татьяна плакала четыре дня, говорила, что жизнь её закончилась и ничего она больше не хочет.

— Нет! Шиш! — вдруг утром заявила Татьяна, глядя в потолок. — Не буду я по нему душу себе рвать!

После этой фразы она быстро оделась и ушла, не сказав куда. К вечеру вернулась и весь вечер ни с кем не разговаривала, не отвечала на вопросы. На следующий день всё повторилось.

— Тань, — Анне не терпелось добиться от сестры хоть какого-нибудь ответа. — Что происходит? Ты почему всё время молчишь?

Татьяна посмотрела на Анну взглядом, в котором просматривалась какая-то непонятная решительность. Она явно решила на что-то серьёзное, но, как показалось Анне, очень опасное дело.

— Завтра. Анечка, завтра расскажу.

— Оставь её, — тихо произнесла Пелагея Афанасьевна.

Как и обещала Татьяна, вернувшись домой к полудню, она рассказала о задуманном.

— Всё, девочки. Уезжаю завтра.

— Куда? — в один голос спросили все присутствующие.

— Работать. Медсестрой.

— Куда? — опять последовал общий вопрос.

— В Кушку!

В наступившей тишине было слышно, как в окно билась муха. Как ни странно, но никакой паники и причитаний не последовало. Пелагея Афанасьевна с Леной пошли на кухню. Анна подошла к сестре, погладила по голове и произнесла: «Ну-ну», повернулась и последовала за мамой и племянницей.

Лишь через два года от Татьяны из Крыма пришло письмо, из которого все узнали, что, находясь в Кушке, в одну из ночей в кишлак, где она жила и работала, ворвалась банда басмачей, и перебили всех русских. Татьяну спрятал старичок, у которого она снимала комнату. Это происшествие её не испугало, и она проработала на границе два года, а затем уехала в Крым работать в санатории.

Через неделю после отъезда Татьяны Иван поспорил с директором завода, уволился, и вся семья переехала в деревню под Семипалатинском. Там он устроился работать бухгалтером в совхоз, ему выделили для жилья крестьянский дом. Анна с Иваном спали в комнате, Пелагея Афанасьевна на печи, а Лена на полатах в кухне.

Деревня стояла рядом с болотами, и весной в округе появились тучи комаров, среди местного населения участились случаи заболевания малярией. Анна написала Марии о жизни Лены в деревне, на что получила ответ, в котором сестра просила привезти дочь к ней в Рязань.

И вновь бабушка с внучкой собрались в дорогу, но на этот раз их пути расходились, Лена ехала в Рязань, а Пелагея Афанасьевна к родственникам в село Шушенское.

— Всё, мои хорошие, сил у меня разъезжать по России-матушке уже нет. Это у меня будет уже дорога в один конец.

Сборы в дорогу труда не составили. В дорожный узелок тринадцатилетней девочки поместились смена белья, платье, полотенце, булка хлеба и кусок мыла, завернутый в газету.

Вместе добрались до Новосибирска, где Лене взяли билет на поезд. Прощались они у входа в вагон, стоя на перроне.

— Бабуля, как я без тебя? — на глазах девочки выступили слёзы.

— Ты уже большая, — еле сдерживая слёзы, ответила Пелагея Афанасьевна. — Если что, люди помогут. Будешь жить вместе с мамой.

Лена сквозь слёзы смотрела на маленькую, худенькую, сторбившуюся бабушку, которой было всего 62 года. Она понимала, что это их последний миг, когда они вместе, и что они больше не увидятся.

— Ну, с Богом! — бабушка перекрестила внучку, поцеловала, повернулась и, утирая слёзы, медленно пошла по перрону в сторону вокзала.

Поезд начал движение. Лена подбежала к окну и, пока было видно, смотрела на удаляющуюся маленькую фигурку бабушки.

Вагон был общий, и пассажиры постоянно менялись от станции к станции, поэтому Лена всё время находилась на своём месте, чтобы сохранить его. Всё время хотелось есть. Отщипывая маленькие кусочки от булки хлеба, Лена думала о том, что ей ехать ещё пять дней.

Не доезжая до Урала, в вагон зашёл начальник поезда и вместе с проводником начал проверять билеты.

— Вы не на тот поезд сели, — сказал начальник Лене, проверяя билет. — Этот поезд идёт к Москве по северному пути, а вам надо ехать южнее. На следующей станции сойдёте, перекомпостируете билет и сядете на другой поезд.

Лена замерла от этих слов. Она вспомнила, как с бабушкой двое суток сидели на вокзале, чтобы взять билет на поезд.

— Пожалуйста, — заплакала Лена. — Разрешите доехать мне этим поездом. Я еду к маме, у меня нет ни денег, ни еды.

— Не положено! — прозвучал командный голос. — Проводник, проследите, чтобы эта девочка вышла на следующей остановке.

Пока шло разбирательство, подошёл молодой человек в военной форме и предъявил начальнику поезда удостоверение.

— Оставьте девочку в покое!

Начальник как-то заметно изменился, побледнел и удалился вместе с проводником.

— Пойдём в тамбур познакомимся, и ты расскажешь мне, почему едешь одна.

— Зовут меня Лена, — начала разговор, когда они вышли в тамбур. — Мне 13 лет, еду к маме в Рязань. Она артистка, работает там.

— А почему одна едешь?

— На поезд меня посадила бабушка, она старенькая и ехать не может со мной.

— Понятно, — военный двумя большими пальцами расправил под ремнём гимнастёрку, — а меня зовут Дмитрий, я работаю в Москве, в ОГПУ, еду из командировки.

Дмитрий как-то странно посмотрел на Лену и продолжил:

— Мы приедем на Ярославский вокзал, а тебе надо будет на Казанский. С этим же билетом сядешь на поезд до Рязани.

— Да, спасибо, я поняла.

— По приезде поедem ко мне, пообедаем, отдохнём и потом я тебя отвезу на вокзал, — с этими словами он обнял Лену, одной рукой взялся за маленькую грудь и поцеловал в губы.

Тут Лена вспомнила рассказ Мопассана, который прочитала в книге, взятой у тётки Ани, там молодой граф в своём саду поймал маленькую девочку, изнасиловал, убил и спрятал труп. От этих мыслей у неё по спине пробежали мурашки.

Всю дорогу Лена сидела на своём месте, прижавшись к стенке и скрестив руки на груди. Ей было страшно. Она не могла предположить, что будет дальше.

— Через два часа будем в Москве, — раздался сзади голос Дмитрия, когда она вышла в туалет. — А знаешь, как в народе расшифровывают слово ОГПУ?

— Нет, — еле выдавила из пересохшего от страха горла Лена.

— О, господи, помоги удрать! — громко засмеялся и продолжил. — А если прочитать справа налево — Удери, попробуй, голову оторву!

В то время как Дмитрий смеялся, у Лены в голове пронеслось: «О, господи, царица небесная, помогите мне, ведь бабушка меня благословила на дорогу».

Видимо, мысли девочки были услышаны. Через некоторое время Дмитрий подошёл и сказал:

— Ты знаешь, я получил телеграмму, что должен выйти на последней перед Москвой остановке. Я тебе дам ключ от моей квартиры, записку с адресом, на вокзале садись в такси и жди меня дома. Я, наверное, долго не задержусь.

Лена от услышанных слов заулыбалась, Дима принял улыбку на свой счёт.

Как только поезд прибыл в Москву Лена что было сил помчалась на Казанский вокзал, там ей сказали, что местный поезд сейчас отправится. Пока она бежала, одна мысль постоянно следовала за ней: «Не бежит ли сзади Дима?», и она всё время оборачивалась назад, чтобы убедиться в отсутствии преследователя. И только когда поезд тронулся, Лена успокоилась.

Двести километров до Рязани поезд тащился шесть часов и к вечеру прибыл на место. Автобусы уже не ходили, и Лена спросила, как дойти до драматического театра. Получив ответ, она быстрым шагом направилась в указанном направлении.

— Скажите, пожалуйста, — спросила она у прохожего, стоя у закрытых на замок дверей театра, — а вы не знаете, почему двери в театр заперты?

— Так театр на гастроли уехал, — быстро бросил прохожий.

— Идите в городской парк, там летний театр, — улыбаясь, добавила проходившая мимо женщина.

Такого оборота событий Лена не ожидала. Незнакомый город, незнакомые люди и она одна.

Порасспросив прохожих, девочка отправилась в городской парк. Ноги устали, еле двигаются, голова болит, начинает знобить. Но и в парке её

ждало разочарование — никого нет, понедельник выходной день. Приблизился вечер. Что оставалось делать? Лена села на скамейку и заплакала.

Вдруг к Лене подбежала большая собака и стала облизывать ей лицо. Лена вначале от неожиданности испугалась, но в нарушителе спокойствия она узнала Лайфу. Её охватила радость, она обняла собаку.

— Лайфушка, милый! — радовалась девочка.

— Откуда ты знаешь эту собаку? — спросил подошедший старик.

— Эта собака, — смеясь сквозь слёзы начала Лена, — эта собака артистки Ураловой, а я её дочь.

— От те на! А они сейчас на гастролях в Сасово, город такой в ста километрах от Рязани. Я сторож в театре, Иван Макарович. Вот, уехали и Лайфу мне оставили. Пойдём, сейчас дадим телеграмму и ко мне, там переночуешь, а завтра мама приедет.

Лена почувствовала усиление озноба, слабость и усталость валили с ног. Пришли домой, температура за сорок, Лена потеряла сознание. Малярия делает своё дело. Вызвали скорую.

— Боюсь, сердечко не выдержит такую температуру, — заключил врач.

— Что ж делать-то? — забеспокоился старик.

— А вы её мокрым полотенцем протирайте, должно полегчать.

Так всю ночь Макарыч и просидел возле Лены, глаз не сомкнув.

Утром приехали Мария и Павел. Иван Макарович рассказал им о случившемся накануне. Мария села у постели дочери и стала дожидаться её пробуждения.

К обеду температура спала.

— Лёка, собираемся и поехали на пристань.

— Мам, зачем на пристань?

— Поплывём в Сасово.

В Сасово через день повторялись приступы малярии, и, что было неприятно — это то, что в аптеках не было хинина. По совету местных врачей Лене давали отвар каких-то трав, а однажды решили испробовать народное средство — лягушку. Вечером Павел принёс живую лягушку, положил её в холщовый мешочек и закрепил на груди больной. Спать это народное средство не давало всю ночь, постоянно прыгая. Под утро Лена заснула, так как лягушка успокоилась, но, как потом выяснилось, лягушка умерла.

К отсутствию лекарства добавился ещё и голод, то, что давали на карточки не хватало. Но Мария нашла выход — покупала у хозяев квартиры немного отрубей, в магазине ячменный кофе, всё это смешивала, на воде замешивала тесто и пекла оладьи. На завтрак ели оладьи и запивали чаем. По вкусу горькие как полынь, но всё же еда.

В дни, когда не было приступов, Лену брали в театр. Ей очень нравилось смотреть спектакли, тем более что главные роли исполняла её мама. Особенно она полюбила героинь спектаклей «Собор Парижской богородицы» и «Любовь Яровая».

Когда малярия приковывала больную к кровати, приходила хозяйка и приносила несколько ложек гречневой каши с молоком, что являлось существенной поддержкой больному организму.

Приближался сентябрь, приступы болезни измотали Лену, а ведь скоро надо было возвращаться в Рязань.

Вечером зашла хозяйка квартиры.

— Завтра пойдём к одной старушке, — стала рассказывать она. — Я с ней уже разговаривала. Её многие знают, и она многим помогла.

— А чем она поможет? — как-то равнодушно спросила Мария.

— Вам ребёнка надо на ноги поставить. Вот за этим и пойдём.

На следующий день под вечер отправились к знахарке. Маленький неказистый домик на краю города, внутри пахнет травами, низкий потолок, земляной пол. У Марии вначале возникли сомнения по поводу пользы этого посещения, но когда старушка стала внимательно осматривать Лену, ощущать, прислушиваться и озвучивать медицинские термины, тревога постепенно сменилась надеждой.

— Печень увеличена и болезненна, — начала выносить свой вердикт знахарка. — Плазмодии малярии гнездятся в печени, а во время приступа расходятся по всем сосудам, потом опять собираются в печень. Я вам дам траву. Настойте её и после приступа дайте выпить. Несколько дней прячьтесь от солнца в тени, лучше вообще быть в темноте.

Сделали всё, как сказала старушка. Приехали в Рязань. Через день после приезда ждали приступа болезни. Не наступил. Не было его и на следующий день, а потом и вовсе перестали ждать. Болезнь отступила.

— Лёка, — начала разговор мама, — ведь скоро в школу, надо посмотреть, в чём пойдёшь.

— Мам, да у меня и нет ничего красивого.

Действительно кроме белого платья с короткими рукавами, в котором Лена была похожа на балерину, ничего другого не нашли.

— Как же так, упустили! — расстроилась мама. — Не нашли времени, чтобы сшить тебе новое платье.

Оставалось только развести руками.

Когда Лена с мамой пришла записываться в школу, то проходя по коридору, услышали:

— Артистка Уралова дочку привела в школу.

— А она что, балерина?

— Почему?

— Посмотри, платье какое, точь-в-точь, как у балерины.

С тех пор кличка «балерина» так к Лене надолго и приклеилась.

Класс собрался дружный, много времени после школы все проводили вместе. Памятуя о том, что родители Лены работали в городском театре, ребята всё время просили её провести их в театр.

И вот выдался удачный момент, директор театра уехал в Москву по делам, а за него остался Павел Адрианович. Лена достала бланк пропуска

и выписала его на пять человек, подделав подпись Павла. Вся компания отправилась в театр. Идут, разговаривают, смеются, а Лена ни жива ни мертва, сердце замирает, страшно. Думает про себя: «Вдруг разоблачат. Что тогда будет? Сраму не оберёшься, да и отругают».

Взяв у Лены пропуск, билетёрша как-то странно посмотрела на неё.

— Подождите минутку, позову директора.

Вот тут Лена готова была провалиться на месте.

Когда пришёл Павел Адрианович, билетёрша подала ему пропуск.

— Скажите, пожалуйста, это ваша подпись?

Минута молчания, директор внимательно изучает документ. Посмотрел на побледневшую с трясущимися губами Лену, сказал:

— Да, моя. Пусть проходят на галёрку.

Весь спектакль Лена думала о том, что будет вечером дома, и поэтому ей было не до того, что происходило на сцене.

А вечером...

— Ну, мадам, как прикажете это понимать? — Павел задал вопрос, как только Лена вошла в комнату.

— Что случилось? — Мария задала вопрос Павлу, хотя по идее он должен был быть адресован дочери.

Павел не обратил внимания на вопрос жены, а продолжал смотреть на Лену и ждать ответа.

— Мальчишки попросили, а я пообещала, — смотря в пол, ответила Лена.

— Как это пообещала? Разве ты директор театра?

— Нет. Но я... я...

— Вот именно, ты есть только ты и не более того.

Мария поняла в чём дело, слушала и не вмешивалась. Лена стойко переносила допрос, понимая, что виновата.

— Леночка, давай закончим этот разговор и дай слово, что так ты больше никогда не будешь поступать.

— Да. Я даю слово, что больше никогда...

— Ты пойми, маленький человечек, что нисколько не жалко дать контрамарку, пойми, что всё должно делаться по определённым правилам и каждый должен отвечать за то, что он делает. Ну и за себя обязательно. Да?

Лена в ответ кивнула головой.

— Машенька, — обратился он к жене, — а ужин будет? Сегодня для всех был очень напряжённый день.

Два года прошли в ежедневных заботах: учёба, работа, отдых в Евпатории, вновь учёба и работа. Лена должна идти в 8 класс, но судьба опять преподнесла свой неуместный подарок.

— Лёка, — мама опустила глаза, но после короткой паузы вновь посмотрела на дочь. — Тут такое дело, мы с Павлом подписали контракт на 5 лет...

— Куда? — не дав договорить матери, задала вопрос Лена.

— Балеи.

Лена посмотрела вопросительно на мать, подняв брови.

— Это где?

— В Сибири. Там добывают золото.

— Вы что, золото будете копать?

— Нет, в местном театре работать.

— Я не поеду! — Лена встала со стула и подошла к матери. — Я хочу окончить школу здесь, в Рязани, и потом поехать в Москву и поступить в педагогический институт.

— Я так и думала, — как-то виновато заговорила Мария. — Я уже разговаривала с родителями Ани Абаниной.

— А причём тут моя подруга?

— После смерти её младшей сестры она очень переживает. Они согласны, если ты поживёшь у них до окончания школы.

Глаза Лены заблестели от радости.

— У меня будет хорошая зарплата 700 рублей, я им буду перечислять 300 рублей на твоё содержание. У них двухкомнатная квартира, вы с Аней будете жить вместе.

На этом разговор был закончен.

В школе подруги были отличницами, свободное время проводили вместе, и заявление о вступлении в комсомол подали тоже вместе. Аню в райкоме утвердили сразу, а Лену отклонили, сказав: «Ты выходец из гнилой прослойки интеллигенции». Конечно, было обидно, но она не сдавалась и в течение года ещё несколько раз подавала документы.

После того как Лена пополнила ряды комсомола, её избрали редактором школьной стенгазеты. Вся редколлегия постоянно упражнялась в написании стихов, считали, что стихотворение лучше донесёт необходимую информацию до умов школьников. Каждое стихотворение горячо обсуждалось на заседании редколлегии. Спорили, доказывали, чуть ли не доходило до драки.

К столетнему юбилею со дня гибели А. С. Пушкина должна была выйти стенгазета. Лена написала стихи и предложила их на обсуждение. Начинались они следующими строками:

«Закатилось солнце поэзии русской,

Из мира ушло навсегда,

Но осталась слава о лире прекрасной

Она не умрёт никогда...»

— Ленка, ты что!? Как солнце может из мира уйти навсегда? — накинулись члены редколлегии.

— Ну, это аллегория.

— А размер! Ты размер не выдержала!

— Да и содержание. Вообще никак не вяжется с темой.

Обсуждение закончилось тем, что все разошлись, и газету Лена выпустила одна.

Закончился учебный год, в гости приехала тётя Таня, и так совпало — пришло письмо от отца. Он писал, что за отличную работу его освободили досрочно, но он решил пока остаться на строительстве канала, чтобы

заработать деньги на дорогу домой. В настоящий момент, писал Яков Васильевич, он начальник одного из участков строительства Беломор-Балтийского канала и зовёт к себе в гости.

Долго уговаривать Лене тётю Таню не пришлось, не в первый раз им отправляться в дальнюю дорогу. Собрались, купили билеты и в путь.

В Петрозаводске их встретил Яков, прибыв туда на служебном катере.

— По дороге покажу вам наш канал, — объявил Яков во время погрузки на катер.

— А это кто? — спросила Лена, глядя на симпатичного молодого парня, который заносил на катер чемоданы гостей.

— Серёжа, — ответил отец. — Это мой моторист. Молодой совсем, 17 лет. Их семью раскулачили на Украине и сослали сюда.

По дороге Яков объяснял, как устроена навигация на канале, как не наскочить на мель или затопленный лес.

— Какой лес? — удивилась Лена.

— А вон, смотри, видишь, из воды палки торчат. Это макушки сосен.

Удивление Лены только возросло от услышанного. Отец улыбнулся.

— Ой, дочка, тут столько леса и деревень затоплено во время строительства... Ну вот, приехали.

На берегу стояло двухэтажное строение и больше ничего.

— Здесь будем жить, — кивнул Яков головой в сторону жилища. — На первом этаже расположена моя команда, 11 человек. Мы разместимся на втором, там две комнаты.

— А чем занимается твоя команда? — рассматривая выходящих из барака людей, спросила Татьяна.

— Они расчищают фарватер на своём участке от ила и прочего мусора.

— А с продуктами у вас как?

— Вон, — Яков указал рукой, — за тем лесом километрах в двух есть магазин, там и закупаем продукты и хлеб.

Отправляясь на работу Яков брал с собой дочь. Его участок составлял тридцатикилометровый отрезок канала, который он должен объезжать каждый день.

— Пап, а что это за домик на берегу? — спросила Лена, обратив внимание на то, что отец направил катер к этому строению.

— Это дозорный, они через десять километров расположены, отслеживают ситуацию в своей зоне ответственности.

Катер причалил к берегу, из домика вышел мужчина.

— Яков Васильевич, доброго вам дня!

— Палыч, здравствуй! Как тут у тебя?

— Да всё у нас тут в порядке!

— Ну, смотри дальше!

Катер отчалил от берега и устремился дальше.

Во время поездок Яков объяснял дочери, как шкипер управляет катером, на что надо особо обращать внимание, указывал основные ориентиры. Через

несколько дней таких занятий Лена превратилась в настоящего шкипера, и отец стал доверять ей управление катером.

Начался ягодный период. Голубика, черника и морошка, крупные и сладкие ягоды цветным ковром покрывали всё пространство, не занятое водой. Бригада отпросилась у начальника на сбор ягод, с ними пошла и Лена, приложив немалые усилия, чтобы уговорить тётю Таню пойти вместе.

Сергей, молодой парень из бригады, всё время шёл рядом с Леной. Куда она, туда и он. Наполнив ягодами полную корзину, Лена обратила внимание на то, что поблизости никого, кроме Сергея, нет.

— А где все?

— Ушли вперёд. Не бойся, я дорогу знаю.

— А я и не боюсь, — оглядываясь, ответила Лена.

— Я вижу, — заулыбался парень, — меня тоже не бойся, я тебе ничего плохого не сделаю.

— Ага.

— Что ага? Ты просто не знаешь. Для нас всех Яков Васильевич как отец родной. У нас есть уговор: если кто-то из нас причинит ему хоть какой-либо вред, то остальные его убьют.

От этих слов у Лены пробежали мурашки по спине, а Сергей опять заулыбался. Его улыбка успокоила Лену.

— Давай сядем, отдохнём, — предложил Сергей.

Они сели на ствол упавшего дерева и стали разговаривать, каждый стал рассказывать о своей жизни. Солнце в этих широтах ходит по кругу вдоль горизонта, и поэтому всё время светло, время пролетает незаметно.

— Ой! — спохватилась Лена. — Уже поздно, наверное, все домой пришли, тётя Таня волноваться будет.

Когда Лена с улыбкой на лице вошла в свою комнату, то первое, что она увидела, была разъярённая тётя Таня с ремнём в руке. Лена протянула ей корзину полную ягод, но тётка, швырнула корзину об стену, ягоды рассыпались по полу, и она стала хлестать племянницу ремнём, приговаривая: «Все давно пришли, а тебе надо было с парнем остаться?» Девушка молила о прощении, прикрываясь руками. Через короткое время руки были все в синяках и кровавых подтёках.

Вечером вернулся отец, и у него с Татьяной состоялся серьёзный разговор по поводу воспитания детей. Результатом сей громкой беседы стало то, что Лена больше дома с тётей Таней не оставалась, а целыми днями была с отцом в поездках по каналу.

У Татьяны заканчивался отпуск, и пора было возвращаться в Рязань. Как Лена ни хотела ещё остаться здесь, но деваться было некуда, и вот катер вёз отпускников в Петрозаводск. Ровный шум мотора и шелест воды за бортом усыпили Лену. Она спала сидя, прислонившись к трясущемуся борту катера.

— Леночка, — доносилось сквозь сон. — Леночка, проснись, мне надо с тобой поговорить.

Лена открыла глаза. Звука мотора не было слышно, и качка не ощущалась. Сергей стоял рядом и слегка рукой покачивал за плечо спящую девушку.

— Что? Почему тихо?

— Мы приплыли на место.

— А где все? Почему меня не разбудили?

— Яков Васильевич и Татьяна Сергеевна пошли за билетами на поезд. Велели тебя не будить.

Лена потянулась, зевнула и посмотрела на Сергея.

— А зачем ты тогда меня разбудил?

— Надо поговорить, — смущённо проговорил юноша.

— О чём?

Сергей опустил взгляд.

— Я полюбил тебя с первого дня нашей встречи, — поднял взгляд и, глядя в глаза девушки, продолжил. — Я не могу без тебя жить. А ты меня любишь?

— Я не знаю, — Лена пожала плечами, — но ты мне нравишься.

— Я всё сделаю, чтобы ты полюбила меня. Мне осталось два года быть в ссылке, а потом я приеду туда, где ты будешь, буду работать и учиться в вечерней школе, и мы поженимся, если ты согласишься. А где ты будешь через два года?

— Я окончу десятилетку в Рязани и уеду в Москву учиться в институте.

— Леночка, можно я поцелую тебя на прощание?

Лена пристально посмотрела на Сергея.

— Можно, — согласилась она, зажмурилась и крепко сжала губы.

— Не сжимай ты так губы. Ты что, никогда ни с кем не целовалась?

— Нет.

Лена услышала смех Сергея, открыла глаза и тоже засмеялась. Он её поцеловал, и они опять засмеялись.

Снаружи послышались голоса подходивших к катеру Якова и Татьяны. Сергей вдруг заплакал и вышел из каюты.

По приезде в Рязань Татьяна Сергеевна написала письмо на работу в Крым с просьбой уволить её. В Рязани она устроилась работать в городскую больницу, сняла небольшую комнату и забрала к себе от Абаниных Лену.

Через две недели от Сергея пришло письмо. Распечатав, Лена увидела исписанный неровным почерком листок бумаги, закапанный слезами, русские вперемежку с украинскими словами несли тепло и ласку.

— А ошибок-то сколько! — засмеялась Татьяна, взяв письмо в свои руки. — Ну, у парня губа не дура, какую невесту захотел получить.

Несмотря на насмешку тёти Тани, Лена написала Сергею письмо, но ответ не пришёл. И лишь когда зимой приехал отец, она узнала причину молчания Сергея.

Приехал он не один, с ним была молодая симпатичная женщина лет тридцати, звали её Тамара. На Беломор-Балтийский канал она приехала к мужу

с Кавказа вместе с пятилетним сыном. По дороге сын заболел и умер, а приехав на стройку, она узнала, что и муж её тоже умер. Её отчаянию не было предела, она чуть не лишилась рассудка. Яков Васильевич утешал её, как мог, уезжать назад она отказалась. Через некоторое время Тамара и Яков стали жить вместе. И уже как муж и жена приехали в Рязань.

— Послезавтра, — Яков обнял за плечи Тамару, — мы поедem в Болей к твоей матери. Они с Павлом обещали устроить меня на работу, здесь с моей судимостью никуда работать не возьмут.

— Может, это и правильно, — рассуждала дочь. — А я останусь с тётёй Таней, хотя очень соскучилась по маме. Пап, а почему Серёжа не пишет?

Лицо Якова стало серьёзным, он тяжело вздохнул.

— Нет больше Сергея. Умер.

— Как? — у Лены задрожал подбородок и потекли слёзы.

— Проколол гвоздём палец, и тот начал нарывать, когда обратился к врачу, кисть уже была вся синяя, надо было срочно ампутировать руку, но он наотрез отказался...

В комнате нависла тяжёлая тишина.

— Тамара, — первой нарушила тишину Татьяна, — пойдём подумаем, что приготовить на обед.

Осенью 1937 года Лена пошла в 10-й класс. В школе началось твориться что-то непонятное — стали исчезать самые любимые преподаватели. В октябре был арестован преподаватель истории, сказали, что он враг народа. У ребят никак не укладывалось в голове такое, тем более что накануне он читал поэму Алексея Толстого «История государства Российского от Гостомысла до Тимашева», всем понравилось, особенно концовка каждого четверостишья: «...широка наша страна и обильна, а порядка в ней нет». Поговаривали, что может именно из-за этих слов его и арестовали. Но какой же он враг народа?!

Через несколько дней арестовали преподавателя физики, через месяц — преподавателя математики, замечательного старика, который преподавал ещё в царской гимназии. Ребята уже гадали, кто будет следующий. Следующим оказалась преподавательница русского языка и литературы, её родители были дворяне.

На место арестованных преподавателей прислали выпускников рабфаков, разница в обучении почувствовалась сразу.

Над городом нависла зловещая тишина, люди без надобности боялись выйти на улицу, боялись общаться друг с другом и сказать лишнее слово. Начали писать выдуманные доносы на соседей, которых в следующую же ночь арестовывали. Соответственно, доносы никто не проверял, от чего людям становилось страшно жить в таком мире. Здравомыслящие понимали, что не может быть такого количества шпионов, диверсантов и врагов народа, но находилось достаточное количество тех, кто был одурманен пропагандой, и они вслед за призывами из радио кричали: «Уничтожить, расстрелять врагов народа!»

В декабре 1937 года от Анны Сергеевны пришло письмо, в котором она сообщала, что живёт у сестры Марии. Анна уехала от мужа из Семипалатинска, так как Иван начал пить и склонял её к совместному пьянству.

С отцом Лены тоже не всё было ладно. С женой и ребёнком Яков Васильевич уехал из Болей в Московскую область в город Ногинск, где устроился артистом в местный театр. Но стал много пить и не только по вечерам, но и днём в рабочее время. Однажды он пришёл пьяным на спектакль, где должен был играть одну из главных ролей.

— Я вас не допускаю к спектаклю, — заявил ему режиссёр, увидев, в каком тот состоянии прибыл в театр.

И вот режиссёр выходит к публике и говорит:

— Спектакль отменяется ввиду болезни одного из артистов.

Тут же из-за кулис на сцену вываливается пьяный Яков и возвещает:

— Кто сказал, что я болен! Вот он я! Жив, здоров и буду играть!

В зале поднялся шум, свист, а через час пришла милиция, и его арестовали. Тамара, жена Якова, на следующий день вместе с ребёнком уехала в Крым.

— Опять началось, — закончив читать телеграмму, произнесла Татьяна.

— Что началось, тётя Таня?

Лена взяла из рук тётки телеграмму и прочитала: «Выезжаю Рязань 22 февраля Аня». Лена вопросительно посмотрела на свою тётю.

— Да! — Татьяна закивала головой. — Думаю, опять в нашей семье начались тяжёлые дни.

Анну встретили на вокзале. Из вагона она вышла вся заплаканная без вещей.

— Анечка, что случилось? — обнимая сестру, спросила Татьяна.

— Дома, дома расскажу.

И до дома Анна не проронила ни слова. Желание узнать, что случилось, у сестры и племянницы становилось всё сильнее, и как только пришли домой, разделись и сели, две пары глаз вонзились в заплаканное лицо Анны.

Анна попросила воды и после того как утолила жажду, приступила к рассказу.

— Приехала я к Марии в начале февраля. Встретили меня радостно. Ритм жизни, конечно, у них был ненормальный: с утра в театре на репетиции, часа в три приходят домой, перекусят, далее повторяют роли, гладят костюмы и в седьмом часу уходят на спектакль. Возвращаются к часу ночи. Выходных нет.

Лена покачала головой, как бы говоря, что это нехорошо.

— Со мной им стало легче, обед всегда готов, всё поглажено, в магазине, что надо куплено. И вот как-то раз в гримёрную входит мужчина. Маша сидит перед зеркалом и снимает грим. Вошедший становится перед ней на колени, объясняется в любви и предлагает стать его любовницей со словами: «Вы ни в чём не будете нуждаться. Я работаю в НКВД». Машу,

конечно, это возмутило, и она его выгнала. Уходя, он бросил: «Ну, ты ещё меня попомнишь».

— Ах! — Татьяна прижала обе руки к груди.

— С этого дня Машу не покидала тревога, стали сниться странные сны — то её засыпало землёй, то она тонула, а то на неё нападала чёрная кошка. Однажды, в конце февраля, ночью стук в дверь. Спрашиваем: «Кто там?» Ответ: «Откройте! НКВД!» Открыли, входят трое и показывают ордер на обыск и арест. С полчаса происходил обыск, комната превратилась в свалку вещей, книг и бумаг. Ничего не нашли. Марию забрали с собой.

Анна отпила воды из стакана.

— По соседству жил тюремный надсмотрщик, он хорошо знал Машу. Мы с Пашей долго уговаривали его передать ей записку, он боялся, потом согласился, но только один раз. В записке мы её спросили: «В чём тебя обвиняют?» Она ответила: «Я ни в чём не виновата. Аня, уезжай немедленно, все мои вещи увези Лёке. Прощайте».

Лена не сдержалась и громко зарыдала.

— На следующий день мы с Пашей собрали вещи, персидский ковёр, котиковую шубу, платья и туфли сдали в багаж, а наиболее ценные — часы, украшения и новые платья и туфли — уложили в чемодан. В этот же день Паша меня посадил на поезд. В купе вместе со мной ехал молодой прилично одетый симпатичный мужчина. Из разговора стало ясно, что он инженер, сейчас в отпуске и едет в Москву к родителям. Поезд до Москвы шёл семь суток, и за это время я с ним поделилась своим горем. «Если украдут чемодан, то я брошусь под поезд», — сказала я ему. Всю дорогу он был ко мне очень внимателен и услужлив. И вот последняя остановка перед Москвой, стоянка поезда сорок минут. Наш попутчик, глядя в окно, громко сказал: «Смотрите! Смотрите в окно! Какой необыкновенный зверь!», ну мы все и бросились к окну, никакого зверя. Оборачиваюсь, нет ни инженера, ни моего чемодана. Я в милицию, но всё напрасно. А вещи, которые в багаж сдали, все целы.

Анна закончила рассказ и готова была опять расплакаться, но Татьяна обняла её за плечи и успокоила. Лена была поражена рассказом тёти и вновь зарыдала. Общим тёткам стоило большого труда успокоить племянницу.

— Я больше никогда маму не увижу? — сквозь слёзы спросила Лена.

Никто ей не ответил.

— Она же не враг народа! Она ни в чём не виновата! — И опять началась истерика, Лена стала задыхаться, схватилась за грудь и стала медленно опускаться на пол.

Через несколько лет, в 1956 году, при запросе Лена получила ответ, что Мария Сергеевна Уралова, арестованная в феврале 1938 года, была расстреляна в июле 1938 года и реабилитирована посмертно.

В тихий майский вечер за чаем состоялся разговор между двумя тётками и племянницей.

— Леночка, скоро заканчивается учёба, — начала разговор Анна. — Куда пойдёшь учиться?

— В Москву поеду поступать.

— Это понятно, — подключилась Татьяна. — В медицинский?

— Нет. Наверное, в педагогический.

— Может, в другой? У тебя хорошие оценки, а если окончишь с медалью, то ещё проще будет.

— Леночка, у тебя очень хорошо идёт немецкий язык, и литературу ты любишь, — Анна сделала паузу. — Может быть, в институт иностранных языков, будешь переводить литературные произведения.

У Лены загорелись глаза.

— Да! Я как-то и не думала об этом. Здорово!

Утром Лена проснулась с озабоченным видом.

— Леночка, что случилось?

— Тётя Аня, мне приснилась бабушка Пелагея.

— И что?

— Я ей сказала, куда поеду поступать в институт, а она нахмурилась и недовольно покачала головой.

Анна посмотрела на Татьяну, нахмурилась, а затем перевела взгляд на Лену.

— Или тебя не примут в институт, узнают о твоих родителях или по какой-то причине ты не окончишь институт. Кто знает.

— Первый вариант надо исключить. — Татьяна подёрла подбородок кулаком и задумалась.

— В смысле, — не поняла её Анна.

— В институте не должны знать, что родители арестованы как враги народа.

При этих словах Лена осуждающе посмотрела на свою тётку.

— Я не хочу тебя обидеть, Леночка, но это суровая действительность. Значит так, запоминай, это будет твоя новая биография.

Все превратились в слух.

— Когда ты была маленькой, твои родители развелись, после чего твоя мать умерла, и я тебя воспитывала. Ты моя приёмная дочь. И это однозначно и обсуждению не подлежит. Мы все придерживаемся этой версии.

На том и порешили. Но судьба на этой же почве приготовила неприятный подарок.

Лена начала сдавать выпускные экзамены, отвечала лучше обычного, но оценки ставили низкие. Это очень огорчало Лену, она ещё больше старалась, но ничего в отношении оценок не менялось, а причина была до банальности простая. Лена по секрету поделилась горем по поводу своих родителей со своей лучшей подругой Аней, а та рассказала своей подруге Марусе Гришиной, которая была секретарём комсомольской организации школы. И вот Маруся решила провести комсомольское собрание, на котором собиралась доложить, что в школе вместе со всеми учиться дочь врагов народа. Об этой инициативе узнал директор школы и несколько учителей. Собрание не провели, но директор дал указание, чтобы ни в коем случае дочь врагов народа не стала медалисткой.

28 сентября 1938 года все трое выехали из Рязани: Лена в Москву поступать в институт, а тётки в Крым в населённый пункт Кастрополь. Татьяна устроилась на работу медсестрой, а Анна — паспортисткой, им дали по комнате и мизерную зарплату. Лену на время экзаменов поселили в общежитие на Маросейке.

Место в комнате, доставшееся ей, располагалось у окна. В ночь перед экзаменами кто-то открыл окно, было жарко, и на утро Лена проснулась с головной болью и охрипшая. Но несмотря на это, экзамен по немецкому языку она сдала на «отлично». После экзамена у неё начался жар, и в столовой за обедом она потеряла сознание. Очнувшись в институтском медицинском изоляторе.

— Доктор, через три дня у меня следующий экзамен, по физике. Вы меня отпустите?

— Не волнуйтесь, если через три дня у вас спадёт температура, я отпущу на экзамен, а после экзамена вы вернётесь к нам.

Температура к назначенному сроку спала, но все три дня Лена не могла сесть за учебник, слабость и головная боль не позволили ей сделать это. В результате на экзамене она не смогла решить задачу и ей хотели поставить двойку, но старший из преподавателей не разрешил ставить «два», так как у неё отличная оценка по немецкому языку, а физика в институте не преподаётся. Результат — «три».

Оправившись от болезни, остальные экзамены Лена сдала на «хорошо» и «отлично» и была зачислена на первый курс.

В учебной группе где училась Лена было 15 человек, трое из них — мужчины. Один из них — мужчина в возрасте, который до института работал истопником в каком-то учреждении и учился на рабфаке, а два остальных — молодые парни: еврей с большим горбатым носом и небольшого роста блондин, которого звали Николай. После того как Лена познакомилась с Николаем, тот не отходил от неё ни на шаг. Идут в библиотеку или столовую, Николай обязательно заходит за ней. Лене было приятно его внимание, ей становилось не так одиноко и тоскливо вдали от родных. Она так привыкла к его присутствию, что как только Николая рядом не было, то чувствовала какую-то пустоту. А девушки из группы, завидев Лену одну, смеялись и спрашивали: «А где же ваша половина? Неужели поссорились» или «А мы сейчас видели вашего Чичероне с другой».

Училась Лена прилежно и окончила первый семестр на «хорошо» и «отлично». Студенты разъехались на каникулы по домам, но небольшое их количество осталось в общежитии, ехать им было или очень далеко, или некуда. Осталась в Москве и Лена. Николай тоже не поехал домой, хотя его родители жили не так далеко, в городе Лиски Воронежской области.

Освободившись от учёбы, Николай стал «атаковывать» Лену своей любовью. Этот парень ей нравился, но любви к нему Лена не чувствовала.

— Лена, — донимал её Николай, — я тебя очень люблю, давай поженимся, и мы всегда будем вместе.

И так по несколько раз на дню. И через несколько дней Лена сдалась.

— Хорошо, Коля, я выйду за тебя замуж, но с одним условием.

— Каким?

— Пока не закончим учиться, детей у нас не будет.

Похоже, что этот вариант Николая устраивал, он улыбнулся и многократно закивал головой.

— Ладно. Обещаю тебе, так и будет!

Но до женитьбы надо было всё согласовать с родителями, и поэтому решили, что всё оформят после окончания первого курса, а пока они оставались наедине, когда соседки по комнате уходили в кино или театр.

В конце второго семестра в институт приехала правительственная комиссия, которая отобрала двадцать студентов первого курса для подготовки военных переводчиков немецкого языка. Обучение и проживание для этих студентов определялось на территории Кремля. В эту группу попал Николай. Обучение начиналось с 1 сентября.

— Коля, — начала разговор Лена, когда они начали планировать летние каникулы. — Мне надо съездить в Крым к маме и тёте, а потом поедем к твоим родителям.

— А может быть, потом в Крым, сначала к моим.

— Нет, ты к своим поезжай один. Мама прислала денег и просила купить материала для простыней и ситца на платья. Там купить негде. Я быстро, туда и обратно, — Лена улыбнулась.

— Ладно. Я узнаю, где можно купить ситец.

Всё оказалось не так просто, как думали молодые. Ткань можно было купить только в одном магазине у Красной площади, и то давали только по 5 метров на человека, а очередь надо было занимать с вечера.

— Коль, — Лена взяла Николая за руку, — что делать, посвятим одну ночь очереди.

Николай тяжело вздохнул:

— Ладно, посвятим.

Поздно вечером ребята подошли к магазину и увидели интересную картину: в районе магазина гуляло много пар, они были в постоянном движении, как только кто-то останавливался, раздавался свисток милиционера, стоять в этом районе было нельзя. Лена взяла Николая под руку, и они стали не спеша прогуливаться вдоль здания магазина. Так прошла ночь. Ноги гудели, в голове было лёгкое кружение от огромного желания завалиться спать.

Недостаток информации сорвал им весь намеченный план. За час до открытия магазина милиционер громко скомандовал: «Становись!» Ребята не поняли, кому эта команда была подана, а когда догадались, было уже поздно.

Вся гуляющая публика одновременно ринулась к магазину, на ходу обнимая друг друга обеими руками за талию, образуя, таким образом, непрерывную цепь. Николай и Лена оказались в стороне от мгновенно образовавшейся живой цепи, и им ничего не оставалось делать, как встать в самый конец. Естественно, ткани им в этот день не досталось.

Опыт это великая вещь. На следующую ночь ребята были готовы занять достойное место в очереди желающих приобрести товар, и это им удалось.

Они купили пять метров белой ткани для простыней и пять метров цветного ситца. Победа! После ночных походов целый день отсыпались, и через день Лена уехала в Крым, а Коля в Лиски к родителям.

Естественно, «туда и обратно» у Лены не получилось, зависла она в Кастрополе на три недели. Каждый вечер в парке на «пяточке» для отдыхающих организовывали танцы, вот туда Лена и бегала каждый вечер.

— Девушка, можно пригласить вас на танец, — приглашение озвучил рыжий веснушчатый парень.

Оглянувшись по сторонам в надежде на лучший вариант, Лена нехотя согласилась, подписав, таким образом, себе приговор. Танец за танцем рыжий парень приглашал её, тем самым лишив Лену возможности найти себе другого партнёра.

Со временем она привыкла к Павлу, весёлому рыжему парню, и дни полетели, как осенние листья с деревьев, быстро и незаметно. Но когда Лена вернулась в реальность, она поняла, что надо срочно уезжать.

— Тётя Таня, тётя Аня, — быстро заговорила она как-то вечером, — мне надо срочно уезжать.

— Что так быстро?

— У меня в Воронежской области есть жених, Николай, и мы собираемся пожениться, поэтому мне надо срочно к нему, познакомиться с его родителями.

— Это, конечно, хорошо, но мы-то его не видели, — с некоторым возмущением сказала Татьяна.

— А как же твой, этот рыжий? — задала вопрос Анна.

— Павел не мой, он просто знакомый, а Николая вы увидите потом. Обязательно. Если Павел заявится, то скажете ему, что я срочно уехала, а куда, вы не знаете.

Вот такая была выработана стратегия, и на следующий день Лена уехала.

— Ты куда пропала?! — в голосе Николая чувствовались железные нотки.

— Коля, так получилось, — виновато ответила Лена.

— Как, так?

— Не спрашивай, там много чего, по-другому не смогла.

— Я уже думал, что-то случилось.

— Ну что со мной могло случиться?

— Всякое!

— Только не со мной. Ты будешь меня отчитывать или с родителями знакомить?

— Ладно. Поехали знакомиться.

Знакомство прошло гладко, и родители без каких-либо проблем дали согласие на женитьбу.

Остатки каникул прошли в походах в кино и прогулках в парке. Догуляв каникулы, молодые вернулись в Москву, Николай убыл на территорию Кремля, а Лена в институтское общежитие. Два раза в месяц Николая отпускали на несколько часов в увольнение, но остаться наедине им больше так и не удалось.

Осенью 1939 года Иван Наместников приехал в Кастрополь и уговорил свою жену Анну уехать с ним в Сибирь. Практически сразу после отъезда сестры Татьяна попала под сокращение и её уволили. Лена не могла оставить свою тётю в таком положении и, посоветовавшись с Николаем, написала ей письмо, в котором предложила поехать в город Лиски к родителям Николая, они обещали сдать ей комнату и помочь устроиться на работу. Не откладывая в долгий ящик, Татьяна уехала в Лиски.

В начале декабря Лена встретила с Николаем, выглядел он каким-то озабоченным.

— Бери паспорт и пошли на почту, там тебе письмо «До востребования».

— От кого?

— А я знаю? Говорю это сестре пришло, а они «Не положено, пусть сама приходит».

— Я никому свой адрес не давала.

— Не знаю, не знаю, — как-то странно произнёс Николай.

Письмо оказалось от рыжего из Крыма.

— Какая чушь! — улыбаясь, сказала Лена, прочитав начало письма.

Но Николай, глядя через плечо подруги, успел прочитать написанное.

— Значит, любит! — чуть не закричал Николай. — Значит, вам было хорошо вдвоём!

— Коля! Ты что? Ничего не было!

— Он же пишет другое!

— Да придумал он это всё. Не было ничего! Клянусь!

Николай резко развернулся, бросив через плечо: «Я тебе не верю!» и ушёл. Лена смотрела вслед уходящему, не находя слов для оправдания.

И надо было такому случиться, что вечером этого же дня в общежитие пришёл Павел.

— Ты как здесь оказался? — спрашивала Лена с широко открытыми от удивления глазами.

— Еле тебя нашёл. Очень захотелось увидеть.

— Ты с ума сошёл. У меня учёба, мне некогда.

— Лен, но очень хотелось, — виновато улыбался Павел.

Как по расписанию через день Павел приходил в общежитие и уговаривал Лену сходить погулять. Николай не показывался, и Лена согласилась на прогулку с Павлом.

О всех своих приключениях Лена написала в письме тёте Тане. Через несколько дней после отправки письма Татьяне в общежитие пришёл Николай, и его вид говорил о том, что ждать от встречи с ним чего-либо хорошего не придётся.

— Что!? Любовника завела?! — чуть не кричал Николай.

— Ты что шумишь? На уши всё общежитие поставишь. Какой любовник? С ума сошёл?

— Это ты с ума сошла! Я всё знаю! Павел Орлов — твой любовник!

— Никакой он не любовник, он просто мой знакомый! — немного подумав, Лена добавила: — А ты откуда о нём знаешь?

— Отец написал!

И тут Лена поняла, что происходит. Отец Николая работает начальником почтового отделения в Лиски, значит, он вскрывал и читал переписку с Татьяной.

— Какая подлость! Как же подло и низко читать чужие письма.

— Не подлее, чем заводить любовника.

— Я не хочу больше тебя видеть! Уходи!

— А...

— Между нами всё кончено! — решительно прервав Николая, Лена ушла.

В своей комнате она села за стол, достала бумагу и начала писать письмо тёте, в котором описала происшедшее, порекомендовала немедленно уехать в Рязань, там всё-таки есть знакомые, и они помогут устроиться. Немного подумав, Лена взяла небольшой листок бумаги и написала на нём «Куда лезешь, свинья!», потом вложила в конверт письмо вместе с запиской и запечатала его.

Ночью Лена не могла никак заснуть. В голове всё время прокручивался разговор с Николаем, из темноты возникали образы Павла, Николая и его отца. Потом она твёрдо решила, что с мужчинами она больше заводить знакомств никаких не будет, по крайней мере, до окончания института, а Павлу запретит приходить раз и навсегда. После принятого решения она успокоилась и заснула.

Вот так закончилось несостоявшееся замужество, так пришлось столкнуться с человеческой подлостью.

Окончив второй курс на «отлично», Лена уехала на каникулы в Рязань к тётке. Там она с радостью встретила с одноклассницами, зашла в школу навестить учителей. Правда, новости, которые она узнала о своих одноклассниках, её не порадовали. Шёл 1940 год. Финская война. Трое ребят из класса погибли, несколько человек получили увечья, лишившись рук, ног и зрения. Настроение в конце каникул упало, в голову стали приходить воспоминания о последних школьных годах и о родителях.

Учебный год начался тяжело — настроение не улучшилось, постоянно не высыпалась из-за бессонницы, не успевала изучать необходимую литературу. В таком режиме прошёл весь семестр, и как результат — одна «тройка» в сессии по немецкой средневековой литературе. Вначале Лена не придавала особого значения такому результату сдачи экзаменов, но, подойдя к доске объявлений, она поняла весь ужас создавшейся ситуации. На большом листе бумаги было написано крупными буквами: «Постановление Правительства. На стипендию назначаются только студенты, имеющие все оценки «отлично» и «хорошо». Передача предметов не разрешается».

— Как же я жить-то буду? — тихо задала она сама себе вопрос.

Два дня проплакала, но потом взяла себя в руки, слезами горю не поможешь. От мамы остался у Лены отрезок крепдешина на платье. Вот его она и сдала в комиссионный магазин, получив 200 рублей. На эти деньги надо было прожить семестр, а потом на каникулах устроиться работать.

Тактику выживания Лена отработала до копейки. На завтрак в столовой она брала стакан сладкого чая за 5 копеек и несколько кусков хлеба, который бесплатно лежал на тарелках. Обед покупала полный, заплатив от рубля до полутора. На ужин уносила в общежитие, опять-таки, бесплатный хлеб. Всё свободное время она посвящала учёбе. К весне у неё всё чаще кружилась голова и чувствовалась слабость во всём теле — сказывалось скудное питание.

15 июня началась сессия. Сдали первый экзамен, второй был назначен на 23 июня 1941 года.

Радиорепродуктор на ночь девушки решили не выключать, чтобы в 6 часов встать и начать заниматься. 21-го числа вечером легли спать пораньше и несмотря на воскресенье, встать договорились, как обычно в 6 часов. В пятом часу вдруг началась трансляция по радио, и голос Левитана прозвучал: «Внимание! Внимание! В пять часов слушайте важное правительственное сообщение!», затем пауза на несколько минут и вновь повторяется эта фраза.

Девушки сели и вопросительно посмотрели друг на друга.

— Что бы это могло быть?

— Наверное, кто-то важный в правительстве умер.

— Может быть — Сталин?

Во взглядах говорящих появился испуг.

— А может, какое-нибудь стихийное бедствие, — уверенно вставила Лена.

До назначенного времени девушки сидели, молча ожидая обещанного сообщения.

Ровно в 6 часов зазвучал взволнованный голос Левитана:

— Внимание, говорит Москва. Передаём важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, в 4 часа утра, без всякого объявления войны германские вооружённые силы атаковали границы Советского Союза ...

— Девочки! Война!

Ещё не осознав происходящего, каждая из находящихся в комнате почувствовала внутри себя животный страх, который выползал из глубины души. Пропала способность говорить и двигаться. Но это было какое-то мгновение.

— Поехали в институт! — эта фраза привела всех в чувство. — Может быть, в комитете комсомола, будут какие распоряжения!

Проходя по улицам города, девушки наблюдали одну и ту же картину — у закрытых магазинов собирались большие очереди.

— Что происходит? — громко, как бы сама себе, Лена задала вопрос.

— Война, — кто-то коротко бросил из очереди.

Вечером, когда девушки возвращались в общежитие, очередей уже не было, а пустые магазины были закрыты.

Через несколько дней ввели хлебные карточки и в студенческой столовой перестали выкладывать на столы хлеб. С питанием у Лены возникли трудности, из-за ночных тревог она недосыпала, слабость давала о себе знать и как результат — две тройки по итогам семестра. Стипендию платить не будут, а жить не на что, и Лена решает уехать в Рязань.

— Ленка! — чуть ли не с криком вбежала в комнату подруга. — Объявили, что с завтрашнего дня въезд и выезд из Москвы будет запрещён, а ты собиралась уезжать...

— Всё! Тянуть больше некуда, — с этими словами Лена кинулась собирать вещи. Тетради и книги быстро сложила в корзину, беспризорно стоявшую в коридоре, и сдала на хранение в кладовую.

— Всё, девочки! Прощайте!

— Ой, Ленка! — все трое кинулись обниматься.

После короткого прощания Лена быстро направилась к двери, остановилась, оглянулась на мгновение и побежала по коридору.

На вокзале она узнала печальную новость, последний поезд в сторону Рязани ушёл. На путях стоял военный эшелон. Лена, недолго думая, побежала в сторону этого поезда.

— Ребятки! Куда направляетесь? — задыхаясь, после бега с чемоданом, спросила Лена.

— На Рязань!

— Возьмите меня с собой, опоздала на последний...

По протянутым из теплушки рукам она поняла, что её берут с собой. Кто-то соскочил, подхватил чемодан, закинул его в вагон и помог Лене забраться.

Поезд тащился до Рязани шесть часов, но Лена не замечала долгой дороги, она крепко спала в углу теплушки, положив голову на чемодан.

— Как я рада тебя видеть, — сквозь слёзы проговаривала Татьяна, обнимая племянницу. — Как я рада.

— Тётъ Тань, я к тебе, наверное, надолго. Потом доучусь, когда весь этот ужас закончится.

— Конечно, закончится, — вытирала слёзы Татьяна. — Проживём. Что-нибудь да придумаем.

В Рязани открыли эвакуационный госпиталь, в который со дня на день должны были прибывать раненые, вот туда и устроили Лену разнорабочей.

— Обязанности твои, девонька, несложные, — давал наставления хромой одноглазый завхоз, которого все звали по отчеству — Макарыч. — Главное, чтобы всё было к нужному времени выполнено. Ясно?

— Да. А что должно быть выполнено?

— Всё, что положено тебе. Куда! Куда понёс! Это в перевязочную! Так вот, — продолжал Макарыч, не забывая единственным глазом следить за происходящим вокруг, — за тобой стирка белья, мытьё полов и открывать и закрывать вон те ворота, когда будут прибывать машины с ранеными. Ясно?

— Чего уж тут не ясно, — вздохнула Лена, — ясно.

В конце июля начали прибывать раненые. Первые дни для Лены выдались тяжёлыми, она никак не могла прийти в себя от стонов и криков, которые, не переставая, доносились с разных сторон.

Однажды, когда Лена проходила по коридору, кто-то схватил её за подол халата и закричал:

— Зачем! Зачем я живой!

Это был молодой казах с забинтованным животом, через бинты просочилась кровь, а его узкие глаза от напряжения и боли округлились.

Лена вырвалась, заткнула уши и побежала на улицу. В дверях она столкнулась с Макарычем.

— Девонька, ты что?

Встретив неожиданное препятствие, Лена уткнулась лицом в грудь завхоза и громко зарыдала.

— Э-э-э, — протянул Макарыч. — Крепись. Много ещё горя будет, много несчастья увидишь. Это, девонька, война. Штуковина страшная.

В августе начали бомбить Рязань. С объявлением воздушной тревоги завывали сирены и им подвывали заводские и паровозные гудки, это ещё больше добавляло людям страха.

Лена с Татьяной снимали комнату в небольшом доме, который стоял рядом с кладбищем. Во время воздушной тревоги они бежали на кладбище, ложились между могилами, и на Татьяну нападала «медвежья болезнь».

— Вот, если случится умереть здесь, — то ли смеяься, то ли плача, каждый раз говорила в темноте Татьяна, — так ведь в дерьме и закопают.

Пришёл приказ об эвакуации госпиталя на Урал, для сотрудников довели распоряжение о том, что если кто хочет остаться в Рязани, могут уволиться. Уезжать из города Лене не хотелось, но и без работы здесь будет сложно жить. Посоветавшись, две женщины решили уехать в Сибирь к Анне, тем более по радио объявили, что если у кого есть родственники в Сибири, то можно в НКВД получить разрешение и выехать к ним.

Вечером Татьяна пришла домой явно не в весёлом настроении. Лена вопросительно посмотрела на тётю.

— Меня не отпускают с работы, — медленно выдавила из себя Татьяна.

— Что будем делать?

— Я уже думала об этом, — Татьяна посмотрела в глаза Лене. — Мы уедем тайно, я на работе ничего не скажу. Просто уедем.

— Я расчёт получила, — Лена достала деньги. — Думаю, нам на двоих хватит.

— Я разговаривала с хозяйкой нашего дома, Клавдией, она работает в типографии, где печатают хлебные карточки, обещала дать пять штук.

Через день Лена получила в НКВД разрешение на выезд, а Татьяна получила четыре двухкилограммовые буханки белого хлеба. Утром следующего дня отправились на вокзал.

Вокзальная площадь была полностью забита людьми вперемежку с чемоданами и баулами. Билетов на поезд не было. К начальнику вокзала пробиться невозможно. От безвыходного положения люди хаотично перемещались от здания вокзала на платформу и обратно. Всё время в толпе проносилась противоречивая информация, которая только усиливала шум и вносила ещё большую неразбериху в сложившуюся ситуацию.

— Внимание! — раздалось из вокзальных громкоговорителей. Как по маговению волшебной палочки наступила тишина. Говорил начальник вокзала. Он объявил, что принято решение сформировать дополнительный поезд из грузовых вагонов. Билеты получают все. До ночи поезд будет отправлен на восток.

Как только громкоговорители замолчали, людская масса двинулась в сторону здания вокзала. К вечеру все желающие получили билеты, и началась посадка на поезд. Состав стоял в стороне от вокзала, и, чтобы забраться в вагон при отсутствии платформы, да ещё и с вещами, надо было очень постараться.

Вначале никак не удавалось посадить полную Татьяну, к тому же люди, опираясь друг на друга, чуть ли не по головам, плотным потоком также пытались влезть в вагоны. Когда вагон больше чем на половину был уже набит людьми, с помощью двух чемоданов Татьяне удалось подняться в вагон. Внутри вагон не был оборудован для перевозки людей, поэтому все плотно разместились на полу, сидя на своих вещах.

До наступления темноты, как и обещал начальник вокзала, состав отправился в путь. Ехали молча, слышен был только детский плач и монотонный стук колёс на стыках рельс. От этого стука сознание постепенно начинало отключаться и уставшие за день люди проваливались в сон.

Когда поезд первый раз остановился, спавшие проснулись, все стали вопросительно и тревожно смотреть друг на друга. От паровоза по вагонам пронеслось: «Остановка!» Сколько состав стоял, никто не мог сказать, но после паровозного гудка поезд поехал, медленно набирая скорость.

Остановки стали частыми, складывалось впечатление, что поезд останавливался почти у каждого столба. Мужчины приспособились быстро высказывать на остановках по нужде. Паровоз каждый раз оповещал всех о начале движения. Женщины не решались высаживаться из вагона, в памяти крепко сидела ужасная посадка в Рязани. Однако с темнотой они приспособились по малой нужде ходить на кастрюлю.

— А если захочется по-большому? — подумав, с ужасом спросила Лена.

— Давай пока воздержимся от еды, до станции, — со знанием дела ответила племяннице Татьяна.

Через двое суток прибыли на какую-то станцию, где всех высадили. Надо было прокомпостировать билеты, чтобы доехать до Новосибирска. Опять толпа, шум, толкотня. Памятуя опыт предыдущего отправления, Лена, не дожидаясь информации о наличии билетов, потихоньку пробилась к кассе. И тут сообщили, что последний пассажирский поезд до Новосибирска пойдёт завтра, на него выдадут только 10 билетов и только по спецпропускам, далее будут следовать только товарняки. Лена, оказавшись около кассы, решила стоять насмерть и добыть два билета любым способом. Она достала разрешение на выезд и внимательно рассмотрела его. Документ был напечатан на бланке НКВД и скреплён круглой печатью. Лена решила для себя, что это был шанс.

Утром, когда открылась касса, Лена первой сунула бумагу в окно и громким уверенным голосом произнесла:

— У меня спецпропуск на два человека!

Кассирша бросила взгляд на бланк и печать и закомпостировала два билета. Активно работая локтями Лена стала быстро пробираться сквозь толпу в сторону места, где она оставила тётку с вещами.

— Тётъ Тань, достала билеты. Пошли, сейчас поезд подойдёт.

— Ну всё, — облегчённо вздохнула Татьяна, — закончились наши мучения.

Подошёл поезд. Лена с Татьяной подошли к своему вагону, но проводник перегородил собой вход.

— Не пущу ни одного человека! — громко объявил он. — Вагон набит битком! В тамбуре стоят!

Лена достала из кармана все оставшиеся деньги и протянула их проводнику, но тот отстранил руку девушки.

— Говорю же, нет мест!

Раздался сигнал отправления поезда. Лена быстро сунула деньги в карман проводнику и подтолкнула Татьяну на подножку вагона, затем залезла сама. Проводник немного отстранился, и женщины пробрались в тамбур, дальше идти было некуда — весь проход в вагоне был забит людьми, сидящими на своих вещах.

— Значит, будем ехать в тамбуре, — заключила Лена.

— Зато туалет рядом, — улыбнулась Татьяна.

Восемь дней с бесчисленным количеством остановок тащился поезд до Новосибирска, где женщины пересели на другой поезд, который доставил их до маленькой станции в пяти километрах от города Ленинск-Кузнецкий.

— Эту дорогу я не осилю, — Татьяна виновато посмотрела на племянницу.

— Вот что, тётъ Тань, оставайся здесь с вещами, а я пойду пешком, разыщу тётю Аню, и мы за тобой придём.

— Ну, на это у меня сил хватит.

Когда Лена добралась до дома, где жила Анна, Иван собирался на работу, к тому времени он занимал должность главного бухгалтера треста столовых и ресторанов города.

— Так, девочки, — быстро заговорил он, — ждём меня, я скоро буду, и вопрос с Татьяной мы решим.

Через полчаса Иван въехал во двор дома, сидя на телеге, запряжённой пёстрой лошастью.

— Леночка, быстренько поехали, а то мне ещё надо на работу.

Без приключений добрались до станции, забрали Татьяну и вернулись обратно. Дом, в котором жили Анна с Иваном, был небольшой и состоял из одной комнаты и кухни, все удобства были на улице. Большая печь располагалась между комнатой и кухней, обогревая в холодное время оба помещения. Рядом с домом имелся небольшой огород.

— Да, непросто нам дались эти дни, пока мы добирались до тебя, сестрёнка, — говоря эти слова, Татьяна рассматривала снятое с себя бельё. — Обзавелись в дороге попутчиками.

— Никак вши?

— Они родимые, они.

— Лёка, давай в аптеку. Здесь рядом. Купи ртутную мазь.

Пока Лена ходила за мазью от педикулёза, Анна поставила греть воду.

— Так, девочки, мыться и переодеваться, — скомандовала Анна.

Два дня ушло на кипячение, стирку и проглаживание горячим утюгом белья прибывших. А когда со вшами было покончено, стали решать, как жить дальше.

— Я вот что думаю, — начал разговор Иван, — давай-ка я тебя, Леночка, устрою работать в столовую счетоводом-калькулятором.

Лена подняла брови.

— Ничего страшного в этом нет, — продолжил Иван. — За неделю я научу тебя считать на счётах и составлять калькуляцию.

— Это тебе не полы в госпитале мыть, — вставила Татьяна.

— Да, да. Так вот, поработаешь некоторое время, а там, если меня не заберут в армию, переведу бухгалтером, научу бухгалтерии и составлять баланс. Вот так.

Лена оказалась достойной ученицей и быстро освоила науку счетовода.

Через два месяца, вечером, придя домой, Лена увидела Анну с красными от слёз глазами.

— Тётъ, чего случилось?

— Ивана в армию забирают.

— Ну, мы ожидали этого, — начала успокаивать Лена.

— Ой, тут история такая. Его в стройбат направляют. Он же чего учдил-то. В январе его направляли на курсы переподготовки младшего комсоства, а у него годовой отчёт в бухгалтерии.

— И?

— Для него работа была важней, так вот он взял и вписал себе в билет, что прошёл эти курсы, будь они не ладны. А теперь всё раскрылось. Его разжаловали в рядовые.

— Ой, дядя Ваня, дядя Ваня.

— Так какой из него строитель, ему уже сорок два года, и здоровья совсем нет.

На следующий день после разговора семья проводила Ивана на фронт. Через месяц получили от него письмо — он под Москвой, в штрафном батальоне. Следующее и последнее письмо пришло в начале 1942 года. Большая часть письма цензурой была замазана чёрной тушью, а из оставшейся части узнали о том, что здоровье его ухудшилось, болят ноги и печень, мечтает всех увидеть, а Анне написал: «Если вернусь живым, я сделаю твою жизнь прекрасной». Больше писем от Ивана не было. Позднее сообщили, что он пропал без вести.

В столовой, где работала Лена, призвали в армию бухгалтера. Всё произошло так быстро, что не было времени позаботиться о замене, и Лену поставили на должность бухгалтера, а вместо неё обещали прислать калькулятора.

Прошла неделя, обещанного специалиста нет. Работать становится всё труднее, работа за двоих валит с ног.

— Вы неделю назад обещали прислать мне калькулятора, до сих пор его нет, — возмущалась Лена в кабинете начальника треста столовых.

— А что, его ещё нет? Приказ пять дней назад подписан. Голубушка, сходите к нему сами и узнайте, в чём дело.

Что делать? Лена взяла адрес и отправилась в столовую, где работал её будущий калькулятор. Приходит на место и видит такую картину: сидит черноволосый, похожий на грузина молодой человек и ест блины со сметаной.

— Вы почему не выполняете приказ треста столовых?! — с порога выстрелила Лена.

— Во-первых, здравствуйте!

— Здрасьте!

— Девушка, вы о чём? Какой приказ? — не поворачивая головы, спросил вкушающий блины человек.

— О переходе в другую столовую на должность калькулятора!

— А-а-а. Так я не хочу, меня тут всё устраивает. Видите, мне блинчики испекли. А вы кто будете? — молодой человек повернулся к Лене, и их взгляды встретились.

— Я старший бухгалтер столовой, — уже спокойней заговорила Лена. — Мне тяжело одной, я не успеваю всё делать. Нужно не только составлять калькуляцию, но и снимать остатки в кладовой, на кухне, в буфете, в кассе и сверять с документами.

Лена имела такой жалостливый вид, что лицо молодого человека из безразличного стало добрейшим.

— Хорошо, завтра я приду к вам. Кстати, — он встал и протянул руку, — Григорий Васильев.

— Елена Уралова, — ответила Лена, протянув в ответ свою руку.

На следующий день Григорий пришёл в столовую. Лена сразу и не узнала его. Вчера она видела его сидящим на стуле, а сейчас... Стоит в дверях высокий, крепкий парень и улыбается.

— Доброе утро, Елена Уралова! Я прибыл, разрешите приступить к работе?

— Разве что осталось раскланяться, — улыбнулась Лена.

— А я и могу, — с этими словами Григорий глубоко поклонился, широко разведя руками.

Григорий оказался весёлым, остроумным парнем. Он был на четыре года моложе Лены, хотя, если посмотреть со стороны, то Григорий выглядел старше своего начальника. Познакомившись поближе, Лена узнала, что судьба у Григория тоже непростая. Его отец был работником у зажиточного крестьянина, полюбил дочь своего хозяина, и, когда ей исполнилось 15 лет, он женился на ней. Григорий родился, когда его маме было 16 лет. Через несколько лет семья переехала от деда в другой город, а вскоре пришло известие, что дед раскулачен и отправлен в Сибирь, больше о нём ничего не слышали. У Григория было ещё две сестры. Вера пятнадцати лет после перенесённого полиомиелита выросла горбатенькая, и Нина, которой было

одиннадцать лет. Отца с началом войны забрали на фронт, мать не работала, вела домашнее хозяйство. Так что заботы о семье легли на молодого парня, окончившего в прошлом году школу.

Молодые люди быстро подружились, Григорий каждый вечер провожал домой Лену, развлекая разговорами на разные темы. Как-то он спросил:

- А как будет по-немецки «Я тебя люблю»?
- Их либэ дих, — ответила Лена, ни о чём не подозревая.
- Их либэ дих, — повторил Григорий.
- Да, правильно, — подтвердила перевод Лена.
- Их либэ дих! Их либэ дих!
- Ну всё правильно. Сколько ещё будешь повторять?
- Пока ты не ответишь.
- Пожалуйста. Их либэ дих ниht.

Григорий помрачнел, улыбка исчезла с его лица.

— Ну что ты насупился? Ты в шутку спросил, я в шутку ответила. Мы квиты.

Проводив Лену до калитки, Григорий как обычно подал ей свою руку. Пожимая ладонь друга, Лена почувствовала, как она дрожала. Лена подумала, что вот ещё незадача, разговор был в шутку или всерьёз. Дойдя до двери дома, она обернулась. Григорий стоял у калитки и смотрел на Лену. Она улыбнулась и тут поняла, что он ей больше не безразличен.

Наступил май 1942 года. Весна. Природа в буйном цветении, ей нет дела до войны и людских страданий.

Григорий пришёл на работу уставший с опухшим лицом и синяками под глазами.

— Гриша! Что с тобой!?! — чуть ли не закричала Лена, увидев Григория.

— Вчера маме принесли похоронку на отца. Она так кричала, что временно теряла сознание. Всю ночь сидели с ней. Я так боялся ... — У Григория из глаз полились слёзы, он хотел ещё что-то сказать, но приступ рыдания не дал ему этого сделать.

— Гришенька, милый, всё это ужасно, но надо взять себя в руки и успокоиться. Ведь ты теперь отвечаешь за всю свою семью. Я тебя сегодня отпускаю с работы. Иди домой, будь с мамой, успокой её. Скажи ей, что это может быть ещё неправда. Сколько было случаев, когда после похоронки приезжали домой живыми.

На другой день, когда Григорий пришёл на работу, Лена спросила:

- Ну как мама?
- Успокоилась, сказала только: «Мы будем ждать его всю жизнь».

На глазах у Лены выступили слёзы.

— Гриша, ты знаешь, я ведь сирота. Моих родителей посадили в тюрьму, и я не знаю, живы ли они или нет. А тётя Таня мне не мать, она сестра моей мамы. Ты только, пожалуйста, никому об этом не говори, а то и меня могут отправить вслед за ними. Ты же знаешь, какое у нас правило: одного посадят, а за ним и остальных в семье заберут, включая детей.

— Не беспокойся, — серьёзным, но каким-то мягким голосом ответил Григорий, — я никому не скажу. Я люблю тебя. Я полюбил тебя с нашей первой встречи.

— Я, кажется, тоже впервые полюбила.

Глаза Григория засветились от счастья, он готов был расцеловать свою возлюбленную, но они находились в конторе, и это сдержало его.

Провожая в очередной раз Лену, Григорий спросил:

— Когда же мы поженимся?

— Надо подождать. — Лене так хотелось, чтобы Гриша правильно понял её. — У вас ещё сильна боль об отце. Лучше приурочить нашу свадьбу к какому-нибудь большому празднику, например, к Новому году. Да и мне надо познакомиться с твоей семьёй.

— Хорошо, — последовал грустный ответ, — давай так и сделаем.

В августе Татьяна устроилась на работу в медпункт совхоза в 15 километрах от города, там же ей дали комнату для проживания. А Анна уехала на два дня к родственникам мужа в соседний город, и Лена осталась дома одна. В это время в городе были часты ночные грабежи домов, где жили одни женщины. Лене было страшно ночевать в пустом доме, и она попросила Григория побыть с ней. Спать они легли в разных постелях, но скоро он пришёл к Лене, и та после страстных поцелуев уступила ему...

Через месяц Лена поняла, что она беременна.

— Как некстати, — первой ответила на новость Татьяна.

— А что делать? Надо рожать, — поддержала племянницу Анна.

— Не рожать, а аборт делать.

Лена молча сидела между тётками и слушала их разговор со щемящим сердцем. Она понимала, что сейчас не время и что Гришу вот-вот призовут в армию, но она очень хотела сохранить ребёнка.

— Я всё устрою! — не унималась Татьяна.

— Что ты сделаешь? — наступала Анна. — За это статья, пять лет! А к каким-нибудь бабкам, так, сколько баб помирают от их знахарства!

— Я всё знаю! Поэтому с умом всё сделаю.

Татьяна осталась при своём мнении. Из деревни она привезла поросёнка, с врачом договорилась, что та операцию сделает у себя дома.

— Всё, я договорилась!

— О чём? — Анна, явно понимая, о чём идёт речь, на всякий случай переспросила сестру.

— Лена, готовься, завтра пойдём к знакомому врачу, и тебе она сделает операцию.

— Завтра, — медленно начала Лена, — я иду в военкомат на врачебную комиссию для призыва в армию.

— Как в армию? — в один голос спросили тётки.

— Вот повестка, сегодня принесли.

Все замолчали. Анна, теребя дрожащими пальцами платок, непрерывно закивала головой.

На следующий день, придя в военкомат, Лена встретила в коридоре толпу молодых девушек. Стали вызывать в кабинет по 10 человек. Зашли. За столом сидят два человека в военной форме и три врача: терапевт, отоларинголог и гинеколог. Все мужчины.

— Снять всем одежду и встать в одну шеренгу лицом к столу, — командовал военный.

Сгорая от стыда, с покрасневшими лицами, девушки медленно начали раздеваться, отводя друг от друга глаза.

— Быстрее! — прозвучала команда.

После того как все построились перед столом, тот же военный, что подавал команду, подошёл к первой стоящей в шеренге.

— На что жалуетесь?

— Ни на что, — робко ответила девушка.

Врачи начинают её осматривать и прослушивать, затем, звучит вердикт: «Годна!» Переходят к следующей, и повторяется та же процедура. Вскоре группа подошла к Лене.

— На что жалуетесь?

— Я беременна.

— Сколько месяцев?

— Два.

— Замужем?

— Нет.

— Ах ты, сучка! Люди на фронте дерутся, а ты в тылу развлекаешься! Гинеколог, проверьте её!

Гинеколог увёл Лену за ширму и после осмотра объявил: «Да, действительно, два месяца беременности».

— В сторону, — прозвучала резкая команда, у Лены бешено заколотилось сердце.

Уже дома, Лена рассказала о том, как проходил осмотр.

— Ну, пусть остаётся ребёнок, — объявила приговор Татьяна, потом мягче добавила, — лишь бы тебя не забрали на фронт.

Немного подумав, Татьяна улыбнулась:

— А поросёнок пусть остаётся у врачихи, не забирать же его, — после чего вздохнула и добавила: — правда, мяса мы не видели уже больше года.

Через несколько дней Татьяна принесла в мешке четыре курицы. Решили за ними ухаживать в надежде на то, что будут получать от них яйца.

— Вот, я известь достала, — довольная Анна поставила на пол увесистый узел.

— Это для чего? — с удивлением спросила Татьяна.

— Как? Соседи подсказали, чтобы скорлупа образовалась у яиц курам надо давать клевать известь.

— Понятно. Ну так давай, займись этим.

Утром следующего дня Анна пришла со двора бледная, с дрожащим подбородком.

— Тётъ Ань, что случилась?

— Куры. Наши куры подошли.

— Как подошли?

— Я сходила к соседям. Мне сказали, что известь должна была быть гашёной, а у нас... — договорить фразу она не смогла из-за хлынувшего потока слёз.

В октябре Григорию пришла повестка из военкомата.

— Мне предписано через два дня прибыть на вокзал с вещами.

— Ой, Гришенька, — Лена обняла парня и прижалась головой к его груди.

— Спокойно, спокойно. Я в порядке, а вот мама с сёстрами... Как они будут без меня жить?

— Ты не волнуйся, Верочку я возьму на твоё место, постараюсь быстро научить её делать калькуляцию. И о маме не беспокойся, попробую устроить её в столовую помощником повара.

Григорий ладонями поднял голову любимой, посмотрел в глаза и сказал:

— Ты только жди меня, я обязательно вернусь. Если родится сын — назови его, как захочешь, а если дочь — назови Надеждой, на наше счастливое будущее.

На вокзале, провожая Григория, все дружно плакали и поочередно обнимались. Когда подали команду «По вагонам!», мама Гриши громко вскрикнула и упала в обморок, а обе сестрички кинулись к брату, обняли его и ещё громче зарыдали. Лена в это время приводила в чувство маму Григория с помощью нашатырного спирта, который ей предусмотрительно дала с собой Татьяна. Григорий поцеловал пришедшую в чувство мать, затем сестёр и Лену.

— Лена! — кричал он уже из вагона, начавшего движения состава. — Жди! Обязательно жди!

— Лёлочка, — одна из сестёр Гриши взяла Лену за руку. — Ты же нас не бросишь? Мне страшно за маму.

Лена посмотрела в большие детские мокрые от слёз глаза, обняла за плечи и, глядя вслед уходящему поезду, сказала:

— Не брошу, Верочка.

Григория направили в военное училище под Красноярском. Когда там узнали, что он работал бухгалтером, начальник училища распорядился отправить его в колхоз. Лично инструктируя, полковник сказал:

— У нас есть подсобное хозяйство в деревне. Мне доложили, что ты работал бухгалтером, вот я тебя и назначаю заведующим подсобным хозяйством. Обратишься к председателю колхоза, он устроит тебя к кому-нибудь в дом жить.

Всё это Григорий описал в своих письмах, которые часто приходили Лене и его маме — Александре Петровне. Месяца через четыре письма стали приходить реже, а потом три месяца не было ни одного письма. Это обстоятельство всех взволновало, и Лена написала письмо начальнику училища. Очень быстро от Григория пришло письмо, в котором он написал, что полковник

устроил ему взбучку, а не писал он потому, что зашился с делами и у него не было времени сесть писать письма.

В апреле 1943 года работникам столовой дали в 15 километрах от города по 7 соток целинной земли для выращивания овощей. Надо было идти на раздел участков, а транспорта никакого нет, и Лена на восьмом месяце беременности. Лена, подвязав большой живот платком, пошла на выделенный участок вместе с тётёй Аней пешком. К месту назначения они дошли нормально, но на обратный путь сил уже не было. Делать-то нечего, надо идти. Пошли.

— Ой, тётя Ань, сейчас рожу, — с этими словами Лена начала присаживаться.

— Ленка, стой! — тётя Аня подхватила племянницу под руки. — Не садись! Идём, идём потихоньку.

Видят, едет мужик на телеге, запряжённой худющей лошадей.

— Дядечка, помоги, — Анна взялась за край телеги. — Тяжело девоньке. Подвези до города, пожалуйста.

Мужик посмотрел с прищуром, сплюнул на землю.

— Муж-то, поди, на фронте, а ты тут выкобеливаешься с кем-нибудь, — сплюнул ещё раз и добавил: — вот и рожай теперь в поле.

С этими словами он свистнул, хлестнул лошадь кнутом и крикнул: «Ну-ка!» На эти действия лошадь никак не отреагировала, только фыркнула и продолжила свой монотонный путь.

— Больше не будем никого просить, — тяжело вздохнула Лена, — как-нибудь дойду.

— А давай будем идти и про себя молиться. Бог услышит и поможет, — предложила тётя Аня.

— Давай. А я не знаю ни одной молитвы.

— Я тоже, — Анна немного подумала и добавила, — давай сочинять и нам легче будет.

Так они и шли, тихо произнося на ходу придуманные молитвы. Как они дошли до дома, они и сами не поняли, но роды не состоялись.

Больше Лена на свой участок не ходила.

Надо было вскопать целину и посадить картофель. За это дело взялась тётя Аня. Одна. Утром уходила, вечером приходила чуть живая. За несколько дней она перекопала все 7 соток, а потом носила в ведре картофель для посадки. Всё это на пользу Анне не пошло, после освоения выделенного участка у неё начались проблемы с сердцем.

В конце мая Татьяну уволили из медпункта, она вернулась к сестре с племянницей, и, как оказалось, кстати. В ночь с 1 на 2 июня у Лены заболела спина и живот.

— Никак рожать собралась? — забеспокоилась Анна.

— Всё может быть, — Татьяна положила ладонь на живот и посмотрела на Лену. — До утра потерпишь?

— Не знаю, — сквозь зубы проговорила Лена, а потом добавила: — постараюсь.

До роддома идти пешком пять кварталов, да ещё ночью на улице хулиганят. Хотелось, чтобы всё случилось не раньше утра. Но к двум часам ночи терпеть стало не в силу, и решили собираться.

Вышли вдвоём — Лена и Татьяна. Мелкими шажками Лена передвигалась, поддерживаемая тётёй. Когда боль усиливалась, Лена останавливалась и пыталась присесть.

— Не смей! — кричала на неё во весь голос Татьяна. — Родишь по дороге! Идём! Идём!

Они продолжали движение. Как боль отпускалась, Лена пыталась перейти на бег.

— Куда! — кричала Татьяна. — Споткнёшься и упадёшь! Идём! Идём!

Так они дошли до больницы.

Схватки продлились до 11 часов утра. Когда уже казалось не осталось сил терпеть, Лена услышала детский плач и голос врача.

— С дочкой поздравляю! А тебя придётся подштопать немного. Вот голова-то, большая какая, никак профессором будет.

Счастливая Лена увидела, как дочке прикрепили на ручку бирку и унесли.

На следующий день, когда ей принесли дочку, Лена подошла к окну.

— Ой!

— Что случилось? — испуганно спросила соседка по палате.

— Снег! — с удивлением произнесла Лена.

— Да, сегодня ночью выпал.

— Так ведь второе июня.

— И что ж. Бывает.

— Все наши всходы на огороде наверное помёрзли, — уже с тоской в голосе чуть тихо прошептала Лена.

— Уралова! — громко провещала вошедшая медсестра. — Тебе передача.

В руку Лене легла небольшая баночка со сметаной, белая булочка и записка. Рукой тёти Ани было написано: «Повар столовой передала тебе и просила поздравить от всех. Мы все тебя поздравляем! Ждём!» На душе стало тепло. Лена посмотрела на спящую дочку и улыбнулась.

Через неделю, на выписку пришла Анна, она всю дорогу несла ребёнка на руках.

— Значит, Надежда, Наденька, Надюша. На кого она больше похожа? — Анна пыталась рассмотреть в маленьком личике какие-нибудь известные черты. — По-моему, на Гришу.

Через несколько минут, посмотрев на внучку, добавила:

— Точно, вылитый Григорий, но всё равно хороша!

Лена не стала использовать послеродовой месячный отпуск, а вышла на работу. Без столовой прожить невозможно — цены на базаре высокие, а зарплату отдаёт соседям за ежедневные пол-литра молока.

Подошло время сбора урожая. Вся работа по сбору урожая легла опять на плечи Анны. Лена весь день на работе, Татьяна сидит с Надюшей.

— Тётъ Ань, я с машиной договорилась, завтра в шесть вечера будет на нашем участке.

— Значит, до шести надо всё выкопать, — утвердительно заключила Анна. Лена на это только вздохнула.

На следующее утро на рассвете Анна отправилась на участок копать картофель. Лена с тяжестью на сердце смотрела вслед уходящей тётке, но сделать ничего не могла, чтобы помочь ей. Весь день голову Лены не покидали мысли о том, как там тётя Аня картошку копает.

В начале седьмого вечера Лена подъехала к участку на грузовой машине «трёхтонке». Тётя Аня сидела на краю кучи картофеля, рядом с ней стояли четыре наполненных мешка. Лена вышла из машины и посмотрела на урожай.

— Вот, Леночка, собрала всё, думала, не успею. Картошки много, и она, смотри, вся крупная. Вот только мешка всего четыре, а остальное рассыпью.

Лена вопросительно посмотрела на водителя «трёхтонки», молодую девушку.

— Ну, чего тут? Давайте грузить, а то стемнеет скоро, — с этими словами водитель начала открывать борт машины.

Втроём загрузили весь картофель, наполнив кузов до краёв бортов, сверху водрузили мешки. Анна села в кабину с водителем, Лена залезла в кузов и так поехали домой. По дороге мысли Лены всё время возвращались к одному — теперь они обеспечены пропитанием на зиму, голод им не страшен.

Зиму и весну выжили. Лена и Татьяна целыми днями работали, Татьяна устроилась в поликлинику медсестрой, а Анна вела всю домашнюю работу: стирала, убирала, готовила и занималась Надюшей. Она во внучке души не чаяла, а та кроме Анны никого и не видела целый день.

2 июня 1944 года. В семье праздник — отмечают день рождения Нади. Ребёнка поставили посередине комнаты около стула и стали любоваться ей. Надюша стала крутить головой, разглядывая взрослых, потом повернулась к Анне и медленными неуверенными шагами, с вытянутыми вперёд ручонками, направилась к ней.

— Пошла! — в один голос радостно закричали все.

Летом, неожиданно для всех, приехал Григорий. Ему дали двухнедельный отпуск перед тем, как училище передислоцируется под Ленинград. От дочки он был в восторге, всё время нянчился с ней. Ему нравилось просить дочку о чём-либо и наблюдать за тем, как она выполняет просьбу папы.

— Наденька, — обращался он к Наде, — принеси папе водички попить.

Дочь подходила к ведру воды, которое стояло на табурете, брала кружку, черпала ею воду и, стараясь не потерять равновесие, медленно несла кружку, а потом внимательно смотрела на отца, как тот пил воду.

— Спасибо, дочка, — благодарил отец.

Эта процедура повторялась по нескольку раз на дню.

Две недели пролетели как один день. Перед отъездом Григорий сказал: «Ну, теперь война скоро закончится, и я вернусь домой. Ждите писем из Ленинграда».

В солнечный весенний день Лена вбежала в комнату, на лице играла широкая улыбка, глаза горели радостью.

— Тётки! Война закончилась! По радио объявили! Скоро Гриша мой придет!

После этих слов Анна медленно закрыла лицо руками, заплакала и удалилась на кухню.

— Ну что ты так разоралась, — Татьяна ладонью тихо постучала по своей голове. — Твой Гриша вернётся, а её Иван уже никогда.

— Ой, — закрыла рот рукой Лена и побежала на кухню.

Анна сидела у печки и тихо плакала, но, увидев Лену, утёрла подолом фартука слёзы, встала и обняла племянницу.

— Ничего, ничего, — проговорила она. — Так уж сложилось. Хоть твой вернётся.

Через несколько дней объявили по радио, что тот, кто работал до войны учителем, будет демобилизован из армии летом. Лена через свою знакомую достала справку, что Григорий до войны работал учителем младших классов. Однако это не помогло, и он приехал только в январе 1946 года.

Приезд Григория стал праздничным днём в семье, радости не было предела. Лена с дочкой не отходили от отца. Вот оно, счастье. Теперь все дома и все вместе. А вечером Григорий вдруг стал серьёзным и сказал:

— Давайте уедем из Ленинска.

Наступила тишина, и все внимательно посмотрели на героя дня.

— Это грязный, пыльный, угольный город, — продолжал он. — Здесь всё дорого.

Никто не проронил ни слова.

— Я в армии подружился с одним пареньком из Западной Украины, из города Борислава. Он рассказывал, какая там благодать: тепло, фрукты, всё дёшево. Приезжай, говорит, вместе с семьёй, я вас встречу и квартиру подготавливаю.

— Это, конечно, хорошо, — начала Лена. — В принципе я не против...

— А к чему такая спешка? — встряла Татьяна. — Давайте до лета подождём и поедем, да и денег поднакопим.

Лена закивала головой, соглашаясь с тёткой.

— Я ему сказал, что в феврале мы приедем.

— Ну раз сказал, — как-то тяжело произнесла Лена, — будем готовиться.

Анна в разговоре участия не принимала, она, молча, сидела в углу комнаты на табуретке и только слушала.

Татьяна махнула рукой, произнесла: «Ну, как знаете» и ушла на кухню.

Начались сборы. Продали котиковую шубу, которую Лена ни разу не сделала из-за боязни воров, и около пятидесяти вёдер картофеля. За короткое время набрали необходимую для поездки сумму денег. Вещей набралось

много: два больших чемодана, два тюка разных вещей и продукты на дорогу. В багаж сдали зашитый в мешок большой цинковый бак для кипячения белья, в который засыпали четыре ведра картофеля. Семейный обоз выглядел внушительно: Татьяна несла сумку с продуктами, Анна — сумки с детскими вещами, Лена несла Надюшу, а во главе шёл Григорий, перевесив через плечо два связанных тюка и в каждой руке по чемодану. В НКВД получили справку с разрешением на выезд, купили билеты в плацкартный вагон и, оставив на вокзале тёток с внучкой, Григорий с Леной зашли в ЗАГС, расписались и выписали для Нади новое свидетельство о рождении.

Поезд начал движение.

— Ну вот, — сказал Григорий после того, как все устроились на своих местах. — Через два часа Кемерово, там постоим полтора часа, пока заменят паровоз, и далее до Москвы без пересадок.

— Вот и славно, — Лена с облегчением вздохнула и посмотрела на спящую дочку.

За полчаса до Кемерово началась проверка билетов. Григорий засуетился, проверяя свои карманы и заглядывая в чемоданы. Умоляющим взглядом посмотрел на всех.

— Никто не видел наши билеты?

— Они у тебя были.

— Не могу найти. Пойду в туалет посмотрю, может, там обронил.

Назад Григорий вернулся вместе с проводником.

— Ну дела-а, — протянул проводник, обводя взглядом присутствующих в купе. — Если не найдёте, то в Кемерово я вас ссажу с поезда.

— Но ведь вы же нас сажали по билетам.

— А что я скажу бригадиру, когда он будет проверять? Поезд будет стоять полтора часа, пойдёте на вокзал и купите билеты, а я подтвержу, что они у вас были.

— А денег у нас хватит? — забеспокоилась Анна.

— Должно, — вздохнул Григорий.

Новые билеты были куплены, и путешествие продолжилось. До Москвы ехали целую неделю, но зато без приключений.

На Киевском вокзале билеты зарегистрировали, и им сообщили, что компостировать их будут через три дня, очень много пассажиров.

— У меня тут подруга есть, — сказала Анна. — Конечно, если она никуда из Москвы не уехала.

— Давайте через адресный стол узнаем, — поддержала Лена.

Подруга Анны действительно жила в Москве, звали её Таисия. Получив адрес, все поехали к ней.

— Аня? — спросила худая женщина.

— Тася!

Женщины бросились в объятия друг друга.

Вечером, когда все улеглись отдыхать, две подруги сели на кухне, налили в красивые фарфоровые чашки чай и, глядя друг на друга, завели разговор.

— Тася, как у тебя жизнь сложилась за эти годы? Что-то ты очень исхудала.

— Анечка, жизнь, можно сказать, уже прошла...

— Да что ты такое говоришь. А где Миша? В командировке? Он же у тебя, по-моему, партийный работник?

— Миши нет. Он погиб на фронте в начале войны. Мы эвакуировались на Урал, — Таисия отпила из чашки и тяжело вздохнула. — Работала я на совхозных полях, простудилась, потом у меня обнаружили чахотку.

— Ах! — Анна приложила руки к груди.

— Да, Анечка. Сейчас последняя стадия, как говорят врачи, скоро я умру. Из глаз Анны потекли слёзы.

— Я уже привыкла к этой мысли, — продолжала тихим ровным голосом Таисия. — Душа болит только за детей. Наташе сейчас двенадцать лет, а Тонечке — семь.

— И как же теперь они?

— Вот, жду сестру. Попросила её приехать и взять на воспитание моих девочек. Со дня на день должна приехать. Ну, хватит о грустном. У тебя-то, думаю, не так всё печально. Вон, вижу, вы переезжаете.

Они сидели ещё долго, и поплакали и посмеялись, вспоминая прошлое. У Таисии семья прожила два дня.

Львов, несмотря на февраль, встретил хорошей погодой. Уютный, полусказочный городок, состоящий из каких-то замков, башенок, вычурных домиков с островерхими крышами и маленькими церквями, приятно удивил Лену. Она сожалела о том, что у неё было очень мало времени на осмотр города, но увидела она достаточно, чтобы Львов ей понравился.

Сказка продолжилась, когда на вокзал приехал поезд, который должен отвезти их в Борислав. Назвать его поездом язык не поворачивался — к маленькому паровозу были прицеплены три миниатюрных вагончика.

— Кукушка, — улыбаясь, сказал Григорий.

— Почему Кукушка? — как бы обижаясь за сказочный состав, спросила Лена.

— Видимо, так прозвали за его своеобразный сигнал. По дороге узнаем.

Разместившись в полупустом вагончике, все приготовились к путешествию, Лена повернулась к окну в ожидании увидеть что-то неожиданное.

Несколько часов пути не показались утомительными, по крайней мере, Лене. Татьяна задремала, Анна всю дорогу что-то шептала, а Григорий, глядя в окно, о чём-то думал.

Шустренький состав, плавно въезжая в повороты, издавал пронзительный на высокой ноте сигнал «ку-ку», предупреждая всех, кто возможно переходил через дорогу, о своём приближении.

— Действительно, как кукушка — улыбалась Лена.

На вокзале приезжих встречал Гришин друг Пётр. Этот город уже не был похож на сказку, чувство тревоги и беспокойство появились у Лены.

— Половина населения города — это поляки, — начал рассказ о городе Пётр. — Часть из них при подходе Красной армии убежала в Польшу, побросав свои

дома вместе с мебелью. Их отдают тем, кто приезжает с Востока. Я для вас занял домик недалеко от конторы нефтепромысла.

От слова «нефтепромысла» по спине у Лены побежали мурашки.

— В нём, — продолжал свой рассказ Пётр, — две комнаты и кухня, печь голландка и газовая плита. Есть столы, стулья, три взрослые кровати и одна детская.

— Да, жить можно, — заключил Григорий, когда подходили к дому.

Но не всё оказалось так просто, как показалось с первого взгляда. На следующий день после приезда Лена с Григорием пошли на рынок, чтобы купить продукты. Их сразу поразили цены, которые в десять раз были меньше чем в Ленинске, но никто ничего им не хотел продавать. Те, кто занимался продажей или отворачивались, когда к ним обращались, или смотрели в глаза и молчали.

— Пойдём ещё посмотрим, — сказал Григорий, видя, как у Лены от обиды покраснело лицо, — я думаю не все такие, найдутся добрые люди.

И действительно, одна женщина ласково посмотрела на молодых и сказала: «Добре, берите».

Григория взяли на работу в контору нефтепромысла освобождённым комсоргом и выдали ружьё, что удивило домашних.

— Тут, дело такое, — переминаясь с ноги на ногу начал объяснять он, — часты случаи нападения бандитов на приезжих по ночам.

От этой новости как-то энтузиазма у всех поубавилось.

— Ладно, не бойтесь. Отобьёмся!

— И много их?

— Кого? — как бы не понимая, спросил Григорий.

— Бандитов.

— Ну, кто их знает. Они тут в лесах вокруг города базируются.

Анна, молча села на стул, обняв Надюшу. Татьяна, нахмутив брови, ушла на кухню. Лена смотрела на мужа, в её глазах читался страх — не за себя, страх за всю семью.

Долго ждать неприятностей не пришлось. Как-то Григорий поздно возвращался с работы домой и на подходе к дому услышал выстрел. Стреляли в него, но промахнулись. Он побежал. Прозвучали ещё два выстрела, пули просвистели рядом с его головой. Лена, услышав выстрелы, погасила в доме свет и подошла к двери, прислушалась, а когда раздались быстрые шаги у дома, открыла дверь. Григорий стремительно влетел в дом, Лена тут же закрыла за ним дверь.

— Живой, живой, — быстро заговорил он, наведя ружьё на дверь.

До рассвета Григорий спать не ложился, переходя от двери к окнам, прислушивался и вглядывался в темноту. Но за всю ночь к дому никто не подошёл. После этого случая Лена каждый вечер с тревогой ожидала мужа с работы.

Через месяц семью настигла новая неприятность, заболела дочка — корь в тяжёлой форме. Болезнь протекала тяжело и дала осложнение на лёгкие. После обследования врачи дали заключение — туберкулёзный бронхоаденит.

— Для такого возраста, — сказал врач, — нет эффективных лекарств, а ребёнка спасать надо. Единственное, что могу посоветовать — срочно везите её на несколько месяцев на Чёрное море.

— Спасибо, доктор, — Григорий посмотрел на Лену, кивнул ей и взял за руку. — Мы обязательно отвезём дочку на море.

— И чем быстрее, тем лучше, — подвёл итог доктор.

Решили ехать вчетвером, а Григорий останется дома.

— Гришенька, — взволнованно говорила Лена, — мы поедem все вместе, а ты за домом присмотришь, и с работы ведь тебя не отпустят. Если удастся хорошо устроиться в Крыму, приедешь к нам, ну а если нет, то мы вернемся через 2–3 месяца.

На сборы ушло четыре дня.

В Алушту приехали к вечеру и заночевали. Утром Лена первым автобусом поехала в Ялту в отдел кадров санаториев южного побережья Крыма. Ей предложили должность бухгалтера в туберкулёзном санатории в Симеизе, правда он ещё не работал, там шёл ремонт. Для Татьяны нашли должность медсестры в детском садике.

К вечеру Лена вернулась в Алушту и рассказала о своей поездке. На следующий день все переехали в Симеиз. В санатории им для проживания временно дали большую комнату. Трудности возникли с питанием, для сотрудников санатория готовили только обед, хлеб по карточкам, в магазинах пусто, а базара в городе нет.

Татьяна устроила Надю в детский сад, где сама работала, там кормили хорошо, три раза в день. Иногда Татьяна приносила домой кашу, которую не доедали дети.

По выходным все вместе ходили на море купаться. Надя вначале боялась заходить в воду, очень уж воды много и противоположного берега не видно, но скоро привыкла и купалась с удовольствием.

В июле неожиданно приехал Григорий.

— Гриша! Ты как тут оказался? — с удивлением и радостью чуть не крикнула Лена.

— Командировали в Артек, пионеров привёз туда. У меня три дня есть для вас, — на лице сияла широкая улыбка.

Перед отъездом у него с Леной произошёл разговор.

— Гришенька, здесь оставаться нет смысла, всё дорого, да и санаторий с больными туберкулёзом не лучшее соседство. Надюля поправилась, загорела. Так что к сентябрю мы приедem в Борислав.

— Значит, так тому и быть. Вариантов нет.

В конце августа семья уехала домой.

Лену дома ждало письмо из Харьковского пединститута, где сообщалось, что она зачислена на 4-й курс заочного обучения и что к 1 июня следующего года ей надлежит приехать для сдачи выпускных экзаменов. За пять лет, конечно, было уже многое позабыто, и Лена села за учебники. Однако Татьяна, вечно чем-то недовольная, по вечерам в присутствии Григория устраивала разборки, чем напрягала обстановку и мешала занятиям племянницы.

— Надо было тебе выскочить замуж! — как-то начала заводиться Татьяна.
— Тётъ Тань, ты что? — Лена закрыла учебник.
— Ни чё! Что это за муж, — Татьяна указала пальцем на Григория, — без высшего образования, без специальности! Как семью кормить будет?!

— Я... — начал было Григорий.
— Молчи! — стукнула по столу Татьяна.
— Тётъ, не кричи на Гришу!
— Молчи! Тебе лишь бы мужик, а там...
— Тётъ Тань, ты что? Совсем из ума выжила?
— Танечка, — вступила в разговор Анна, — успокойся, они сами разберутся, как им жить.

Татьяна села на стул, посмотрела на сестру, потом на Лену, встала, махнула рукой и ушла на кухню.

На следующий день Татьяна объявила:

— Я решила уехать от вас в Крым.

Все присутствующие удивлённо переглянулись.

— Буду там жить и работать. К вам я больше никогда не приеду. Всё!

Лена хотела что-то сказать, но Анна остановила её, махнув рукой.

Собрали Татьяну в дорогу, дали денег и проводили на вокзал.

С отъездом Татьяны в доме обстановка успокоилась, Лена села за учёбу и устроилась работать заведующей в детский садик. Однако через месяц как снег на голову приехала Татьяна и с порога произнесла:

— Меня нигде не берут на работу, говорят, что им нужны молодые работники. Деньги у меня закончились, я на вокзале продала постельное бельё и платье, купила билет и приехала. Вот!

Несколько секунд молчания, после чего первой начала смеяться Лена, за ней Анна, Григорий и последней засмеялась Татьяна. Когда все перестали смеяться, Татьяна заплакала. Лена подошла к тёте, обняла её и тоже заплакала.

— Лен, смотри, что это? — Анна протягивает туго скрученное в трубочку письмо. — Вот решила почистить Грише костюм, смотрю, в кармане что-то лежит и мешает мне чистить.

Женщины аккуратно развернули скрученную бумагу и начали читать:

«Милый, дорогой, Гришенька!

Как я по тебе скучаю, наш сынок Боречка уже начал ходить и говорить, ждём домой своего папку, приезжай или хоть весточку пришли. До свидания, крепко целуем, любим и ждём, твои Люба и Бориска».

— Тётя Аня, — Лена сглотнула слюну, — я ничего не понимаю. Что это?

— Что тут непонятного, где-то у него ещё одна жена с ребёнком.

У Лены от обиды на глазах выступили слёзы.

— Не могу ждать, пока он придёт с работы, — с этими словами она направилась к выходу.

Зайдя в кабинет к мужу, Лена с порога холодно произнесла:

— Замкни дверь!

Григорий вопросительно посмотрел на жену, но ничего спрашивать не стал и выполнил просьбу. Лена подошла к нему и протянула письмо.

— Рассказывай! Что это?

Григорий сел на рядом стоящий стул, посмотрел в пол, немного подумал и посмотрел на Лену, лицо его пылало огнём.

— Приехал я в деревню, где было подсобное хозяйство училища. Пришёл к председателю колхоза и говорю, мол, устройте меня на квартиру. А он отвечает: «Что я буду ходить искать, мы живём вдвоём с дочерью, она учительница в сельской школе, у нас есть лишняя комната, живи, нам веселее будет». Живу. Через некоторое время приходит она, дочь его, ко мне ночью и лезет в постель, — Григорий взял трясущимися руками стакан, налил воды и медленно выпил. — Я говорю, что у меня есть жена и дочь, я их люблю, а она говорит, что ей всё равно, она меня тоже любит.

Григорий замолчал. Лена молча, продолжала смотреть на него, ожидая продолжения, и он понял, что от него ждут.

— И так она ко мне стала часто приходиться ночью, — рассказчик опустил глаза. — Потом она сказала мне, что беременна. Я посоветовал ей сделать аборт, потому что я не собираюсь на ней жениться. А тут училище перевели в Ленинград и я потерял с ней связь.

Вдруг Григорий встал на колени перед Леной.

— Леночка, прости меня, я всегда любил только тебя одну и люблю только свою дочь Наденьку, — после этих слов он заплакал.

У Лены до боли сжалось сердце, ей стало жалко себя и его, но она также поняла, что относиться к нему по-прежнему она уже не сможет. В её голове пронеслась мысль: «А что я скажу тёткам?»

— Всё это я должна переварить, должна понять, смогу ли я тебя простить. А пока забирай свои вещи и уходи в общежитие, а мне нужно готовиться к госэкзаменам, — повернулась и ушла.

Придя домой, Лена всё рассказала тёткам.

— Может быть, простишь? — первой заговорила Анна. — Всё же у вас дочь!

— Если простишь, будешь безвольной душой, — включилась в разговор Татьяна. — А потом она с сыном приедет, и будете друг у друга выдирать мужа. Красота!

Выслушала Лена тёток и начала собирать вещи мужа.

Вечером пришёл Григорий и сразу к дочке, стал её обнимать и целовать. Лена не могла смотреть на это, отвернулась. Повернулась только, услышав, как закрылась дверь.

На следующий день Лену к себе в кабинет вызвал директор нефтепромысла и стал уговаривать простить мужа.

— Не могу я его простить. Извините.

— Ну, значит так! — директор жёстко ударил ладонью по столу. — Если не простишь, то в следующем месяце выходит из декретного отпуска заведующая детсадом, и ты будешь уволена. На что жить будете? А если помиритесь, я найду другой детский садик.

— Увольняйте! — ни секунды не колеблясь, ответила Лена.

На работу Лена устроилась сама — заведующая хлебным магазином. Магазин был маленький, поэтому она была и заведующим и продавцом. Навыки бухгалтерской работыгодились, и трудностей в управлении магазином Лена не испытывала. Каждый день одно и то же: талон вырезала, деньги получила, хлеб отдала, наклеила талон на лист бумаги, десять талонов по горизонтали и десять рядов по вертикали, вечером талоны и отчёт сдала в торговый отдел. Хлеба нет — магазин закрыт.

В один из дней, когда магазин не работал, пришёл Григорий.

— Лена, прости меня, пожалуйста. Я люблю вас с дочкой и не знаю, как жить теперь без вас.

— Ты знаешь, — медленно начала говорить Лена, — не прошла у меня ещё обида и острая боль в сердце. Я даю тебе совет: увольняйся и уезжай в Ленинск, а там, вдали от нас обеих, подумай с кем бы ты хотел жить, и я решу, смогу ли я с тобой жить. Мне скоро ехать сдавать экзамены, а как только получу диплом, уеду куда-нибудь в восточную часть Украины, в Бориславе мне не нравится.

Григорий спокойно принял предложение жены и в скором времени уехал в Ленинск. А у Лены тем временем подошло время сдавать выпускные экзамены, и она уехала в Харьков. Оставшиеся в Бориславе жили на то, что зарабатывала Татьяна.

В Харькове Лена получила два письма, одно от Григория, другое от его сестры Веры. Григорий в письме опять просил прощения и спрашивал, будет ли с ним жить Лена. И надо же, как распорядилась судьба, письмо Веры поставило всё на свои места. В своём письме она сообщала, что в Ленинске Григорий снова встретился с Любой и остался у неё.

Лена опять испытала боль и разочарование. Решение было принято, она написала Григорию: «Ты уже сделал свой выбор. Прощай!»

Перед отъездом в Харьков Лена познакомилась с молодым пареньком, который работал водителем машины, привозящей хлеб, родом он был из Днепропетровской области. Мать и сёстры зовут его домой, отец погиб на фронте, и мужской руки в доме нет.

— Ой, Леночка, не отпускают меня с работы.

— Что так?

— Говорят, водители нужны позарез. Я уже не один раз обращался.

— Паша, а если я помогу тебе?

— Это было бы хорошо, — оживился Павел.

— У меня есть знакомый в горкоме партии, это друг мужа. Я думаю, он поможет решить твой вопрос. А ты тогда поможешь мне?

— Лена, всё, что хотите!

— Я на днях уезжаю в Харьков сдавать экзамены. Как только получу диплом, мы уедем отсюда. Сможешь ли ты встретить нас, найти жильё и помочь с работой?

— Конечно, смогу! Думаю, особого труда мне это не составит.

Через несколько дней вопрос об увольнении был решён, и Павел, оставив Лене свой адрес, уехал к родным.

Экзамены Лена сдала почти все на «отлично», «тройка» по готскому языку её не расстроила. Диплом был получен.

Сборы в Бориславе были недолгими, продали всё, что неудобно с собой везти. И снова в путь, в очередной раз. Поездом доехали до города Никополь Днепропетровской области, оттуда катером до села Каменка, а там их встретил Павел, как и договаривались. Он отвёз всех на подготовленную квартиру, правда, временно, хозяйка на несколько месяцев уехала к дочери.

С жильём вопрос был решён, но с работой дело обстояло не так хорошо. В Каменке две средние школы, и места преподавателя немецкого языка заняты. Практически все деньги были израсходованы на переезд, а хлеб давали ещё по карточкам. Вопрос с питанием стоял серьёзно.

Как-то ночью на машине приехал Павел. Осмотревшись, он достал из кузова мешок, взвалил на плечи и быстро прошёл в дом.

— Вот, — переводя дыхание, проговорил он, — это вам.

— Что это? — Лена смотрела не мешок и не понимала, что там могло быть.

— Пшеница, — чуть ли не шёпотом произнёс Павел. — Только никому ни слова, если хоть одна душа узнает, то по десять лет мне и вам. Я сейчас.

Павел выскочил на улицу, а затем вернулся, держа под мышкой свёрток.

— Это ручная мельница, чтобы муку молоть.

— Спасибо! — Лена не знала, как благодарить спасителя.

Муку мололи все по очереди, чтобы испечь одну буханку надо крутить ручки мельницы целый день.

На работу Лена устроилась фининспектором в райфинотдел. Дали жильё — пустующий маленький саманный домик с земляным полом и одной комнаткой, которая была и кухней, а в придачу — огромное количество блох. В первую же ночь пребывания в нём все были искусаны, особенно досталось маленькой Наде.

Утром Татьяна вышла на улицу и увидела Лену, плачущую у колодца.

— Лёка, ты что?

— Тётъ Тань, это я от горя.

— От какого?

— Мне кажется, я попала в какую-то западню, из которой нет выхода, и вы вместе со мной.

Анна с Наденькой вышли из дома и увидели, как стоят Татьяна с Леной, обнявшись, и плачут.

— Вы что это, бабы?

На этот вопрос ответила Надя громким рыданием, а за ней, не понимая причины страданий, заплакала и Анна.

Через пару минут всеобщего рыдания Лена взяла себя в руки.

— Я знаю, что делать!

Приведя себя в порядок, Лена пошла в районный отдел образования и прошла в кабинет заведующего.

— В Каменке нет работы в школах, а в ближайших сёлах, что все с дипломами?

— Подождите, — мужчина открыл толстую папку, полистал бумаги. — В Большой Знаменке, в средней школе учительница совсем не знает немецкого языка. Мы ей найдём другую работу, а вас, если согласны, оформим на её место.

Лена согласилась без дополнительных разговоров, и тут же был подписан приказ на её назначение.

На следующее утро она отправилась в Большую Знаменку пешком. Десять километров до села и сам населённый пункт протянулся на шестнадцать километров. Директор принял Лену, можно сказать, с распростёртыми объятьями, как-никак уже шёл сентябрь, а уроков по немецкому языку не было. Он сам отвёл её на квартиру. Увидев небольшой, приличный дом с деревянным полом, Лена засветилась от радости.

— Жильё и топливо на зиму для учителей бесплатно, — с улыбкой сообщил директор. — Но нагрузка большая, около тридцати часов в неделю, это две ставки.

— Справлюсь, — согласилась Лена.

— Ну и отлично. Берите школьную лошадь с телегой и переезжайте сегодня.

К вечеру этого же дня вся семья переехала в Большую Знаменку.

Чтобы расширить сферу своей профессиональной деятельности Лена поступила на трёхгодичные курсы английского языка в Москве. В 1949 году она в очередной раз приехала в Москву на курсы. И вот, после занятий Лена, идя по Садовому кольцу, неожиданно для себя столкнулась с Григорием. Они узнали друг друга, но слов для начала разговора сразу не нашли. Лена справилась с волнением первой.

— Здравствуй! Ты как в Москве оказался?

— Я вступил в партию, — в голосе Григория слышалось волнение. — Меня направили в Высшую партийную школу.

— Как семья?

— Хорошо. У меня уже два сына.

Они прошлись вместе минут пятнадцать и разошлись каждый в свою сторону. Лена дала ему свой адрес со словами: «Приезжай, проведай дочку». Он взял листок с адресом, прочитал и положил его в карман, не произнеся ни слова.

Наступил 1950 год. В этом году Надя должна была пойти в школу. Лена не очень хотела, чтобы её дочь училась в деревенской школе, и она решила переезжать в Никополь, но не знала, отпустят ли её из школы.

— У тебя же свидетельство о браке есть, — не отрывая взгляда от газеты, сказала Татьяна. — Скажи, что уезжаешь к мужу.

И правда, развод у них с Григорием не оформлен, почему бы не воспользоваться этим.

Директор школы вошёл в положение просящей, но попросил доработать учебный год, на этом и договорились.

Как-то приходит Анна в школу к Лене.

— Не задерживайся после уроков, там твой Григорий приехал, сейчас Надю катает на санках.

Как только прозвенел звонок с урока, Лена быстро собралась и пошла домой.

— Гриша?! — переводя дыхание после быстрой ходьбы, то ли спросила, то ли утвердила Лена, а у самой от радости заколотилось сердце.

— Вот. Приехал проведать дочь.

Прожил он в семье восемь дней. Перед его отъездом Лена сказала:

— Мы к лету переедем в Никополь, приезжай к нам, и мы больше никогда не расстанемся.

— Конечно, — Григорий улыбнулся. — Конечно, приеду.

Татьяна как-то подозрительно посмотрела на него, потом перевела взгляд на Анну, та пожала плечами.

К лету переехали в Никополь. Лена без проблем устроилась работать в школу, дали комнату в двухкомнатной благоустроенной квартире. Как-то вечером Лена попросила Анну:

— Тётъ, сгадай мне на картах, что нас с Гришей дальше ждёт.

Анна, тяжело вздохнув, достала колоду, тщательно перемешала карты и начала их раскладывать на столе. Лена внимательно следила за таинством. После продолжительных манипуляций Анна вынесла вердикт:

— Не жди, он не приедет, и жить вы вместе не будете.

Приговор прозвучал, как удар грома.

— Не может быть! Мы же договорились!

— Не знаю, это карты говорят. Карты не врут.

Заканчивалось лето, а от Григория никаких известий. Надя пошла в первый класс в ту же школу где работала Лена.

Перед Новым годом приехала в гости Вера и рассказала, почему Гриша не приехал.

— Леночка, тут же вот что вышло. Гриша оканчивал курсы, когда ему пришла от Любы телеграмма: «Срочно приезжай, сын при смерти». Он сдал последний экзамен и приехал домой, но опоздал, сына уже похоронили, дифтерит в тяжёлой форме. Люба была в отчаянии, и в таком состоянии он не смог оставить её, а в прошлом месяце у них родилась дочь Галя.

Лена слушала сестру Григория, и с каждым словом её надежда на возвращение мужа таяла быстрее, чем мартовский снег. Чтобы избавиться от этой печали, она решила погрузиться с головой в работу. С работой проблем в Никополе не было, Лена работала в двух школах: дневной и вечерней. Такая нагрузка сильно изматывала её, она приходила вечером после уроков домой еле живая, ложилась спать и мгновенно засыпала. В таком ритме проходила повседневная жизнь, и за всё время пребывания в Никополе она ни разу не была ни в кино, ни в театре, и никакой личной жизни.

На летние каникулы всей семьёй ездили в Евпаторию, где Лена отдыхала и набиралась сил для нового учебного года.

Через два года вышел указ о том, чтобы в школах ввести обязательное преподавание украинского языка.

— Надо что-то делать с этим изучением украинского языка, — заявила Лена вечером за ужином.

— А что тебе не нравится? — поинтересовалась Анна.

— Очень много слов похожих на русские, но произносятся по-разному. Надя нормально не выучит русский язык.

— А что ты можешь сделать?

— Уезжать надо отсюда в Россию, — вставила своё Татьяна.

— Да! — Лена ухватилась за эту идею. — Надо!

— Куда мы поедем отсюда? — не унималась Анна. — Где мы нужны? Опять в Сибирь?

— Нет. Я напишу письма в города, которые рядом с Москвой.

— Например? — усмехнулась Анна.

Лена задумалась.

— Чего тут думать, — вступилась за племянницу Татьяна, — в ту же Рязань.

— Да! — оживилась Лена. — В Калугу, Тулу или... найду куда написать.

Решение было принято и исполнено, ответ, правда, пришёл только из Калуги, но зато положительный. В начале декабря Лена пришла домой с торжественным выражением на лице, в руке она держала телеграмму.

— Вот! Есть вызов в Калугу!

— Читай! Читай! — в один голос отозвались тётки.

— «С 1 января уезжает учительница немецкого языка средней школы № 6. Выезжайте немедленно. Учебная нагрузка 24 часа. Зав. ГОРОНО Букатин», — на одном дыхании прочитала Лена.

— Давайте, я пока останусь здесь, — ровным, спокойным тоном сказала Анна.

Все вопросительно посмотрели на неё, но промолчали, ждали разъяснений.

— Подумайте сами. Куда мы все опять ринемся? Я работаю в библиотеке, на хлеб есть. Вы доберётесь, устроитесь, разберётесь с жильём, дадите мне знать, и тогда я приеду.

С разумными умозаключениями Анны спорить никто не стал.

Сборы были, как всегда, спешными. И вот, 31 декабря Анна провожает на вокзале всю семью. Новый 1955 год дружная семья встретила в поезде.

В Калуге возникла проблема с местом проживания. По приезде поселились в гостинице «Ока», единственной гостинице города, и сразу начали искать съёмную жилплощадь. Неожиданно это оказалось весьма трудным делом. Узнав, что заселяются одни женщины, сразу отказывали: «Ой, нет, нет! Начнёте водить мужчин, пьянствовать, будут одни неприятности, нет, мы пустим только семью».

Через полторы недели поисков нашли восьмиметровую комнатку недалеко от школы. Вызвали Анну, она приехала через два месяца, и уже с её помощью нашли приличную квартиру на Октябрьской улице, почти у самой реки.

В школе Елене дали пятые, шестые и седьмые классы, самые тяжёлые по дисциплине. Дети в основном воспитывались в семьях без отцов, некоторые из них были отъявленные хулиганы, изматывали нервы учителям, часто срывали уроки. Вскоре Лена поняла, что в такой обстановке она дальше работать не сможет.

С жильём тоже было не всё в порядке. Город после оккупации немцев был изрядно разрушен, а строительство шло медленно, и в первую очередь квартирами обеспечивали партийных деятелей. Лену поставили на жильё в общую очередь и предупредили, что ждать придётся несколько лет. Прикинув все «за» и «против», она решила сменить работу.

В Калуге в то время было Управление Московско-Киевской железной дороги, а при нём отдел учебных заведений, в ведении которого были железнодорожные школы и техникумы. В Калуге таких школ было три и один техникум.

Лена пришла в управление к начальнику отдела учебных заведений, но он оказался в отпуске и её принял заместитель начальника Александр Георгиевич Стариков, симпатичный мужчина в возрасте. Лена объяснила цель своего прихода.

— Да, да, хорошо, — рассматривая Елену, проговорил Александр Георгиевич. — У нас для вас есть должность. Нам как раз нужен преподаватель иностранных языков. Вы каким языком владеете?

— Немецким и английским, — быстро проговорила Лена.

— Замечательно! Думаю, должность инспектора-методиста по иностранным языкам вас устроит.

— Да, конечно.

— Но, хочу предупредить, будут командировки, надо будет поездить. Сможете?

— Конечно, конечно, — не веря в успех, ответила Лена.

— Я думаю, вам придётся в школе проработать до конца учебного года, вряд ли отпустят раньше. Так что, ждём!

Как и предполагали, пришлось доработать учебный год, после чего Лена уволилась и перешла работать в отдел учебных заведений. Об отпуске в этом году пришлось забыть, но зато нормированный рабочий день — с 9 до 18 часов с часовым обеденным перерывом. Оклад, правда, небольшой, и поэтому Александр Георгиевич предложил устроиться на два дня в неделю преподавателем в техникум, чтобы остальные четыре дня работать в отделе.

Лена почувствовала усиленное внимание со стороны Александра Георгиевича к своей персоне и подумала о том, что, может быть, ей ещё раз выйти замуж, она ещё молода — ей 37 исполнилось в этом году, а он внимательный, приятный мужчина. Ещё её настораживали и раздражали постоянные «косые» взгляды, которые бросают на незамужних женщин, их боятся пригласить в гости, о них сочиняют немислимые сплетни.

— Леночка, извините меня за такой вопрос, — как-то начал разговор Стариков. — Я бы хотел предложить вам совместное проживание. Я с женой

не живу, она в Алма-Ате, правда, развода мне не даёт, дочь уже взрослая работает врачом.

— Александр Георгиевич, я тоже ещё не разведена, но без оформления брака я не согласна. У меня большая дочь, учится в 6-м классе, всё понимает, я могу потерять её уважение, а это ужасно.

А у судьбы были свои расчёты, жена Александру Георгиевичу развод не дала. Так исчезла последняя надежда Елены на замужество.

В 1957 году Лена наконец-то оформила развод с Григорием. И ещё одна новость в семье — управление утвердило смету на строительство жилого кирпичного дома для сотрудников отдела и преподавателей железнодорожного техникума. В день, когда сообщили эту новость, Лена каждый раз, как только заходила в комнату из кухни, мечтательно произносила: «Кирпичный дом!», на что Татьяна и Анна улыбались, а Надя весело начинала прыгать проговаривая: «Кирпичный! Кирпичный!»

Но не всё оказалось так просто, как думалось, дом будут строить восьми-квартирный, а нуждающихся в два раза больше. Кому давать? Когда Лену утвердили на получение квартиры, встал вопрос о том, какую квартиру давать — однокомнатную или двухкомнатную.

— Уралова специально взяла к себе тётку, чтобы получить квартиру, — возмущалась член месткома Никольская. — Она не член семьи, а старенькая женщина, которая скоро уйдёт из жизни. Дать ей однокомнатную.

— Почему специально взяли? — возмущился другой член месткома, Хабаров. — Ничего подобного. Анна Сергеевна с ними с 1941 года, значит, полноправный член семьи. И сколько мама проживёт, никто не знает, может, нас с вами переживёт.

Остальные члены месткома поддержали Хабарова, и вопрос был решён в пользу Лены. Но ещё долго шли анонимные письма в адрес директора техникума, где поливали грязью Лену и её семью.

Со строительством дома тоже не всё было гладко — им сказали, что будет только прораб и один каменщик, а в роли подсобных рабочих выступят будущие жильцы дома. В месткоме составили график работы — от каждой квартиры один человек через день. Кроме Лены от её семьи работать было никому. От трёх квартир были женщины, от остальных — мужчины. Техники никакой, всё руками, всё на себе.

— Ну что, бабоньки, — подначивали мужики, — без мужиков-то сил накопили, теперь работайте на полную мощь.

К концу рабочего дня руки и ноги дрожали, Лена с трудом добиралась до дома и, рухнув на кровать, засыпала. Так продолжалось два года. К концу строительства Лене поставили диагноз — миокардит.

Однажды, закончив кладку второго этажа, все, кто принимал участие в работе, вышли на улицу и стали обсуждать итоги работы. Вдруг страшный грохот заставил всех обернуться и они увидели, как дом рухнул до самого основания.

— Там кто-нибудь остался? — в ужасе закричал кто-то.

— Нет, — осмотревшись, ответила Лена.

— Как же так? Что произошло?

Оказалось, неправильно был сделан фундамент, вот дом и рухнул. Разобрали развалины по кирпичику, тросами стянули фундаментные блоки и заново приступили к укладке стен. Из-за разрушения строительство задержалось на целый год. В 1959 году дом был сдан.

После заселения семья собралась у окна, чтобы посмотреть на улицу.

— Ну вот, — сказала Анна, — это моя последняя пристань, отсюда я больше никуда не поеду.

Татьяна посмотрела на сестру и взяла в свои ладони её руку, соглашаясь с ней.

— И я из Калуги никуда не поеду, — подытоживая, добавила Лена.

* * *

Листая страницы дневника, я решил на этом месте закончить повествование о жизни Елены Яковлевны.

Её дневник заканчивался словами: «Дай Бог счастья моим детям, внукам и правнукам».

Наталья Тихонова

Наталья Александровна Тихонова родилась в 1959 году в городе Ульяновске. Окончила Ульяновский сельскохозяйственный институт и аспирантуру при ВНИИФБиП в г. Боровске Калужской области, защитила кандидатскую диссертацию. Работала в университете, в аграрном колледже преподавателем и заместителем директора по производственному обучению. С 2002 года преподавала в качестве доцента в Калужском филиале Московского государственного университета имени К. А. Тимирязева. С 13 лет пишет стихи, рассказы, статьи. Живёт в Калуге.



ПУТЬ ВОЕННОГО ХИРУРГА

Я, дочь ветерана Великой Отечественной войны, решила написать повесть о своём отце. Сегодня, 9 ноября 2020 года, за несколько дней до его дня рождения, я начала рассказ о нём для своих детей, внуков, родных и близких, для его современников и молодого поколения. Это осмысление некоторых этапов жизни, через которые красной нитью проходят суровые годы Великой Отечественной войны и судьба врача-хирурга медсанбата. Параллельно проследила с помощью архивных материалов путь 343-й стрелковой дивизии и жизнь семьи в тылу.

Мой отец, Александр Иванович Заболотнов, родился в 1914 году, прожил 72 года, работал хирургом до 70 лет и за свою жизнь сделал около 100 000 различных операций. Он никогда не верил, что пройдя такую кровавую войну, проживёт столько лет, но прожил.

В многодетной семье Заболотновых он был старшим, и ответственность за родителей, братьев и сестёр осталась у него на всю жизнь.

Иногда я представляю свою жизнь в виде нити бус. Бусинки разные: изумрудные — это путешествия, голубые — это памятные события, но есть две бусины — красная и чёрная. Красная — это жизнь моего отца под знаком красного креста, а чёрная — это день его ухода из жизни. В этот день образовалась пустота. Оказалось, что никто не сможет мне заменить его, ни с кем я не могу говорить часами, никто не поддержит и не вдохновит так, как отец. Теперь я должна выполнить последнюю просьбу: написать книгу его воспоминаний о войне. Написать книгу о враче с большой буквы, старой закалки, для которого клятва Гиппократова не была пустым звуком. Он жил скромно и ничем не замутил свою повесть. Он всегда будет для меня, внуков и правнуков достойным примером.

НЕМНОГО ИЗ ИСТОРИИ СЕМЬИ

Интересна история рождения Ивана Степановича, моего деда. Его мать много лет была солдаткой, муж служил в царской армии. В это время она познакомилась случайно с сыном богатого дворянина. Они полюбили друг друга. В положенный срок родился мальчик, которого назвали Иваном. Вскоре отец Ивана ушёл в неизвестном направлении и пропал навсегда. Перед уходом он оставил дорогой платиновый кулон с рубином на цепочке тонкой ювелирной работы.

Иван рос в бедной семье в деревне Крестниково Симбирской губернии. Чтобы помочь семье, он решил подработать подпаском. Вставал чуть свет и шёл вместе с пастухом Акимычем пасти большое деревенское стадо. Деревня ещё спала, только хозяйки выгоняли по холодку скотину. По утрам было здорово: когда рассвет озарял всё вокруг, в каждой росинке зажигалось маленькое солнце. Ванюшка воспринимал эту красоту природы как маленькое чудо, но не всегда судьба деревенского подпаса была лёгкой. Однажды к стаду из леса подкрался голодный волк, стадо заволновалось и метнулось в сторону. Ванюшка оказался поблизости. Они встретились глазами с волком. В этом взгляде зверя была смертельная опасность, интуитивно подпасок закричал так громко, что к нему сразу бросились собаки и прогнали волка.

В это время его одноклассники ходили в сельскую школу. Иван тоже мечтал учиться. Он упросил Акимыча отпускать его на несколько часов в школу. Как же мальчик завидовал детям, которые каждый день приходят на уроки, не заботясь о куске хлеба!

В учёбе Иван делал большие успехи: самый первый решал примеры и задачи, всегда выполнял домашние задания. Дети кулаков и сельских богатеев не хотели учиться и списывали у него, за это расплачивались — кто горбушкой хлеба, кто куском пирога. Часть припасов мальчик относил Акимычу за его доброту. Иван отличался пытливым умом и способностями к учёбе в отличие от своих младших братьев, рождённых в законном браке. Он не походил на своих родных и внешне: среднего роста, с правильными чертами лица, римским профилем, серыми глазами, густыми чёрными кудрями и обаятельной улыбкой.

Когда Иван вырос, его призвали на военную службу в царскую армию вместо сына богатого кулака из их деревни по фамилии Заболотнов, хотя фамилия Ивана была Антипов. Так он и осталась с новой фамилией, а с ним и его потомки.

Много лет Иван служил отечеству верой и правдой, был награждён крестами. А по возвращении домой устроился служить урядником. Женился он на девушке, которой только исполнилось 16 лет. Она была небольшого роста, худенькая, голубоглазая, со светло-русыми волосами, миловидная и скромная, звали её Маша. Трудно ей пришлось в семье мужа. Машу невзлюбили свекровь и золовка. Свекровь лежала на печи, золовка убегала то к подругам, то на посиделки с парнями, а всё хозяйство сбросили на невестку. Маша с утра до вечера работала по дому, в огороде и в поле. У неё не всегда

получалось правильно испечь хлеб, не сразу ладились и другие дела. Свекровь и золовка жаловались Ивану на невестку, он бил её смертным боем. Иван, когда возвращался на лошади с работы, требовал от Маши, чтобы она быстро бежала открывать ему ворота, а если жена не успевала, то он наказывал её кнутом.

Осенью 1914 года в семье родился сын, назвали его Саша. Это был мой отец. Муж по-прежнему лютовал. Однажды Маша вынуждена была вместе с грудным ребёнком бежать по морозу в чём была к родителям. Денег не было, чтобы прожить с сыном, и она продала свою единственную шубу, которую получила в приданое. Когда Иван осознал свою ошибку, он пришёл за Машей и долго вымаливал прощение. Семья воссоединилась.

Во время революции Иван, чтобы прокормить семью, вынужден был пойти работать кочегаром на завод по производству спирта. В семье родились ещё дети: сын Анатолий, Николай и дочери Лидия, Антонина, Нина, Валентина. У матери, Марии Васильевны, всегда были очень трудные роды. Она мучилась сутками, двое детей умерли во время родов.

Бедность окружала нашего отца с юных лет. Однажды его маленькая сестра тяжело заболела, но по счастливой случайности ей дали путёвку в санаторий. Мать попросила Шурку, так звали Сашу в семье, как старшего, проводить ребёнка. На вокзале было много детей, хорошо одетых, с чемоданчиками, а сестричка была в залатанном сарафанчике, в старых, стоптанных башмаках, и у него сердце обливалось кровью от такой несправедливости. В этот день Шурка дал себе слово, что сделает всё для своей семьи и больше не будет голодных детей, все будут хорошо одеты и сыты. Но как это осуществить? Шурка решил устроиться на работу, чтобы помогать семье. Он пошёл на площадь, где каждый день собирался народ. Туда приходил человек и объявлял вакансии на рабочие места. Обычно на каждое предложение выходило несколько человек. Когда объявили, что нужен работник в собачий питомник, вместе с двумя другими мужиками вышел и Шурка, поскольку он с детства очень любил собак. Но в результате взяли другого человека. Шурка очень переживал по этому поводу.

МЕЧТА МАТЕРИ

Позже отец поступил в Ульяновский индустриально-педагогический техникум, успешно окончил его и получил направление в деревенскую школу на должность учителя труда. Но решил на этом не останавливаться и захотел осуществить мечту своей матери. Она мечтала, чтобы кто-то из детей стал доктором. Именно не врачом, а доктором. Так уважительно она называла свою, как ей казалось, несбыточную мечту.

Медицинский институт, в который решил поступать отец, находился в Куйбышеве. Поступить в него было непросто. Химию, например, пришлось учить заново, поскольку в школе преподавали этот предмет из рук вон плохо. Часто приходили сомнения, доходящие до отчаяния: вдруг не получится,

а денег совсем мало, некому помочь, надо выживать самому. Но он верил: **ВЫХОД ВСЕГДА ЕСТЬ, ТОЛЬКО ЕГО НАДО НАЙТИ!** Я запомнила этот девиз отца на всю оставшуюся жизнь и следовала ему в трудные моменты жизни.

Несмотря на все сложности, отец успешно сдал экзамены и поступил в институт. Поселили студентов в кельях монастыря.

Но студенческая жизнь оказалась очень трудной. Нечего было есть. Студенты питались хлебом и селёдкой иваси, которая была в те времена очень дешёвой, только она помогала выжить на стипендию. Часто осенью студенты подрабатывали на разгрузке барж с арбузами, которые переправляли по Волге из Астрахани. Это были тяжёлые и в то же время счастливые дни. Арбузов наедались досыта, да ещё их давали с собой в общежитие. Отец говорил, что таких спелых и сладких арбузов он больше никогда не ел в своей жизни.

Учились так, что к вечеру было больно дотронуться до головы. Анатомия человека и латынь давались с трудом. Надо было выучить топографию всех органов, нервов и сосудов, чтобы не повредить их во время операции.

Что же я помню из отцовских рассказов об этом времени?

Бунт студентов против преподавателя зоологии. Он задал выучить по-латыни все кости скелета рыбы, а их в несколько раз больше, чем у человека и животных вместе взятых. Староста группы кричал в деканате на профессора, что он не хочет пускать сыновей крестьян и рабочих в доктора. Уже не помню, чем там всё закончилось, но непродуманное задание отменили.

Когда группу впервые привели в морг, то на следующий день пять человек написали заявления об уходе из института; тогда ректор пустил тяжёлую артиллерию — старшие курсы. Ребята ходили по кельям монастыря и рассказывали, что человек привыкает ко всему, они в морге едят, пьют кефир, и ничего с ними плохого не происходит. Уговорили, но не всех.

Следующий стресс случился на оперативной хирургии. Студентов в первый раз пригласили на операцию. У старой женщины болела печень, ей делали операцию на брюшной полости. Когда дошли до печени, она оказалась поражена описторхозом, которым заражаются от рыб. Это такой паразит, который питается печёночной тканью и размножается там. В ходе операции было извлечено полведра гноя, жидкости и паразитов на разных стадиях развития. В результате девчонки попадали в обморок, а на следующий день группа не досчиталась в своих рядах несколько капитулирующих студентов.

Был один выдающийся профессор, который преподавал химию. Первая лекция преподавателя начиналась так: «Мы живём на дне воздушного океана, подобно тому, как рыбы живут на дне морском!» На эти лекции ходили студенты всех курсов, сбегая с остальных занятий. Лектор знал весь материал наизусть, читал вдохновенно, как в театре, невозможно было оторваться от этого удивительного явления, когда педагог спускается с высот своих знаний и дарит их ученикам.

Оценки у отца были всё лучше и лучше, но выживать становилось труднее. Несколько студентов решили на летних каникулах подработать, чтобы

купить себе одежду и обувь. Они собрались ехать в Астрахань и бороться с эпидемией сыпного тифа, которая каждый день косила людей. Уже наложили карантин, попасть туда можно было только с группой врачей-добровольцев. Там отец впервые увидел смерть многих людей, столкнулся с отчаянием родных и близких, понял, какую трудную профессию он себе выбрал. В борьбе за жизнь людей проходили дни и бессонные ночи. Врачи старались лечить даже безнадежных больных, иногда это давало результат. Позже, на войне, отец следовал тому же принципу, и вопреки здравому смыслу некоторые смертельно раненые люди выживали. Но случилась беда: он сам заразился и тяжело заболел. Его лечили в институтской клинике. Когда отец пришёл в сознание, то увидел профессора в белом халате с группой медиков на обходе. Профессор сказал: «Держись, студент, мы тебя обязательно вылечим!» Так и случилось, но потом страшно заболели зубы, и пришлось ещё долго ходить к стоматологу. Болезнь оставила тяжёлые последствия, сказались трудные годы учёбы, недосыпания и недоедания. В институте отец взял академический отпуск. Он ещё страдал от лихорадки, очень похудел и обессилел. Была рекомендация из клиники, чтобы он пожил в сельской местности, там пил парное молоко и питался свежими деревенскими продуктами. Так отец и сделал. Поселился в Ульяновской области, где устроился работать учителем младших классов в начальную школу.

Объяснял он детям доходчиво, работа спорилась. Настало время проверки школ. К отцу на урок приехал инспектор. Ученики отвечали хорошо, тогда инспектор сам стал вызывать любых детей к доске, но все знали материал. Проверяющий был удивлён и рассказал отцу о том, что проверил десятки школ и был удручён слабыми знаниями учащихся. Он посоветовал отцу не зарывать свой талант в землю и получить высшее педагогическое образование. Отец был на распутье: «Что же выбрать? Педагогику или медицину?» Он выбрал медицину, а свои педагогические способности применил к нам, своим троим детям.

Забегая вперёд, скажу, что отец не успокоился, пока мы все не окончили высшие учебные заведения. Более того, мы со старшей сестрой Галиной защитили кандидатские диссертации по физиологии человека и животных. А брат Лев кроме кандидатской защитил ещё и докторскую диссертацию. Брат с сестрой всю жизнь занимались наукой, а я 36 лет преподавала студентам вуза. Так мы осуществили ещё одну мечту отца: о научной деятельности. Перед началом войны его оставляли на кафедре хирургии, но война смешала все планы. После войны ему пришёл вызов с кафедры для учёбы в аспирантуре. Была возможность разрабатывать тему по лечению огнестрельных, инфицированных ран в военно-полевой хирургии. За годы работы в медсанбате отец приобрёл огромный опыт и усовершенствовал технику проведения некоторых операций. Операция неосложнённого аппендицита занимала у него по времени всего 20 минут. Вызов в аспирантуру попал к начальнику военного госпиталя, в котором отец был ведущим хирургом. Начальник не счёл нужным отдать его адресату. Только через несколько лет отец узнал о вызове в институт и очень переживал по этому поводу.

НАШЁЛ СВОЮ ПОЛОВИНКУ

Моя мама была родом из Пензенской губернии. Её отец работал на велосипедном заводе. Мать занималась домашним хозяйством. В семье было четверо детей: кроме нашей мамы, её старшая сестра Ася и два брата: Александр и Николай.

Ася рано вышла замуж, родила дочку, и всё бы было хорошо, но однажды зимой она стояла на остановке, сильно замёрзла, простудилась и вскоре умерла от пневмонии.

Брат Александр занимался спортом, бил чечётку и втянул в эти занятия нашу маму, ещё совсем девчонку. Как-то однажды она крутила сальто на турнике, а сосед по огороду с пьяных глаз подумал, что это обезьяна, и полез через забор с воплями и бранью. Мама быстро бросилась домой, переделалась в халатик, распустила косы, которые у неё были ниже пояса, и вышла навстречу соседу. После этого случая сосед бросил пить, так как подумал, что у него началась белая горячка на фоне алкоголизма. Да, спорт иногда приносит свои плоды там, где никто не ждёт!

Мальчишки на улице считали нашу маму «своим парнем».

Но однажды её пригласил в театр друг старшего брата Александра, и ей очень хотелось произвести на него впечатление. Она обратилась за помощью к сестре, та дала самое красивое платье, туфли, сделала причёску и нанесла косметику. Когда мама пришла в театр на премьеру, кавалер и девчата из техникума её просто не узнали. Так пришло понимание, как должна выглядеть по-настоящему красивая женщина. В дальнейшем мама как жена военного одевалась очень стильно. Всегда классическая одежда, всё подобрано по цвету: платье, пальто, сумочка, перчатки и шляпка. Больших денег не было, но она научилась шить не только себе, но и детям, даже верхнюю одежду. Мама очень любила строгие костюмы, белоснежные блузки, крепдешиновые и бархатные платья. Модно одеваться её научила профессиональная швея из Москвы, которая была сослана в деревню из-за мужа, объявленного врагом народа. Портниха всегда советовала, какую ткань купить для обновки. Я вспоминаю одно бархатное платье шоколадного цвета, которое мама сшила сама, к нему подобрала коричневые лаковые туфли и коричневую сумочку. К платью из этой же ткани был сделан пояс с очень красивой пряжкой. Она была ажурная, тонкой работы, а в центре пряжки был вставлен красный кристалл. Этот наряд мама носила очень бережно, только на выход. Когда моя старшая сестра Галя подросла, она в торжественных случаях стала носить это платье. Я надела это платье на встречу выпускников в школе, когда уже училась на третьем курсе института. Чтобы вы понимали масштаб: моя разница в возрасте с сестрой — двадцать лет. Бывшие одноклассницы на вечер замучили меня вопросами: «Где продают такие платья?»

А теперь вернёмся в то нелёгкое время юности моей мамы.

Окончив школу, мама поступила учиться на фармацевта. Было нелегко, приходилось запоминать много препаратов, форм выпуска и доз. Но она всё преодолела. Учёба закончилась, маму направили работать заведующей

аптекой в деревню. В свободное от работы время мама организовала театральный кружок, где они замахнулись на «Грозу» Островского. Сама она взяла роль Катерины. У неё душа замирала от восторга и счастья, но были сомнения и чувство ответственности за предстоящую работу над ролью. В итоге всё получилось. На спектакль пришло много народу: учителя, врачи, сельская интеллигенция и ученики старших классов. Всем было интересно, что же организовала новая аптекарша.

После спектакля к маме подошёл молодой человек, это и был наш будущий отец. Они познакомились и сблизились.

Родители во всём были противоположностями друг другу. Мама любила шумные компании, петь, танцевать и заниматься спортом. Помню, как она рассказывала, что в детстве ходила в танцевальный кружок при Пензенском театре оперетты. Ей очень нравились представления, на которые иногда пускали детей, но радоваться пришлось недолго, так как обучение было платное. Её мать Ксения Алексеевна сказала, что денег на ерунду не даст. Ещё некоторое время за неё платил брат, но скоро и он прекратил финансирование. Мама очень долго переживала и потихоньку плакала, но любовь к опере, оперетте, к элегантной одежде, где всё подобрано в тон, к хорошей музыке у родителей сохранилась на всю жизнь. Каждый год, когда в город приезжал на гастроли театр оперы и балета или театр оперетты, мы всегда ходили на спектакли всей семьёй. Так закладывались семейные традиции. На семейных застольях мама хорошо пела. Её любимые песни: «Ромашки спрятались», «Подмосковные вечера», «Синий платочек», «Катюша» и т.д. У папы не было ни слуха, ни голоса, но он очень любил петь арию из оперы «Князь Игорь»: «О, дайте, дайте мне свободу... Я Русь от недруга спасу!..» Ещё была у него любимая песня, которую он пел в хорошем настроении: «По диким степям Забайкалья, где золото роят в горах, бродяга, судьбу проклиная, тащился с сумой на плечах...»

СТАНИЦА КУТЕЙНИКОВСКАЯ

Когда мои родители расписались, у отца закончился академический отпуск, и он поехал продолжать учёбу в Ростовский медицинский институт. Через год в семье родилась моя старшая сестра Галина. Мама пошла в аптекоуправление, чтобы устроиться на работу; встретили её там неласково и предложили работу молодой кормящей матери в «медвежьем углу» с названием станция Кутейниковская заведующей аптекой. Кругом степь и инфекционные болезни, особенно среди детей. Малышка вскоре заболела, её с трудом вылечили. Жили очень трудно. Отец получал стипендию, а мама небольшую зарплату. Они ждали второго ребёнка.

22 июня 1941 года именно в этой станции их застала война. Никто не ожидал от Германии такого, ведь заключили пакт о ненападении и наладили торговлю. Всё произошло стремительно и страшно. Это поломало судьбы миллионов людей. Вся страна попала в безжалостную молотилку, когда цена человеческой жизни превратилась в НИЧТО.



Военный хирург А. И. Заболотнов.
1941 г.

В первые дни войны мои родители собрались на родину отца в Ульяновск. С поездами было трудно, да ещё они ехали с грудным ребёнком. На вокзале огромное количество людей, убегающих от военных действий с детьми и вещами, у всех скорбные и усталые лица. Прощай, станица Кутейниковская!

Так живёшь, мечтаешь, а потом вой сирен, из репродуктора тревожный голос Левитана о начале войны. С этого момента ни дом, ни вещи, ни зарплата уже не имеют никакого значения. Всё, что тебе нужно, — это жизнь, жизнь твоя и твоих близких. Оказывается, всё необходимое можно сложить в один чемодан или в рюкзак. Пришла большая беда!!!

Вскоре отец был призван в армию и получил назначение военным хирургом в 343-ю стрелковую дивизию.

КАК ЭТО НАЧИНАЛОСЬ

Дивизия формировалась в Ставрополе. Командиром был назначен полковник П. П. Чувашев. С 5 сентября по 13 октября шла напряжённая боевая учёба. 14 октября вновь прибывшие воины принимали военную присягу. И сразу был получен приказ погрузиться в эшелоны и держать оборону Ростова-на-Дону. При выдвигении в район обороны 17 октября 1941 года полки первого эшелона встретились с передовыми частями врага, наступавшими в сторону Ростова. Завязались ожесточённые, кровопролитные бои с вражескими танками. С занятием противником Ростова дивизия оказалась отрезанной от переправ. По приказу командующего она оставила рубеж Чалтырь — Хопры и с боями стала пробиваться в район станицы Нижне-Гниловская, где бойцы переправились на левый берег Дона и заняли оборону.

С огромным подъёмом встретили воины дивизии известие о параде на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года. Это был необычный парад. С Красной площади части отправлялись прямо на фронт громить врага. Каждому бойцу казалось, что это страна обращается к нему: «Правда на твоей стороне, твоё дело правое, ты победишь как бы трудно ни было, будь стоек и отважен».

Отец рассказывал, что этот парад вдохновил бойцов, ведь фашисты сбрасывали с самолётов листовки, где призывали сдаваться: ведь армии больше нет, она разбита. Всем сдавшимся в плен гарантировали жизнь. После проведения парада воины убедились, что несмотря на военные

неудачи и отступления, армия готова к бою. В дальнейшем, когда солдатам крутили кино, всегда снова и снова показывали парад на Красной площади.

В декабре 1941 года дивизия вела тяжёлые бои в районе Самбек (северо-восточнее Таганрога). Ни лютые морозы, ни постоянные атаки фашистов не смогли сломить стойкость и мужество воинов. В этих боях личный состав дивизии закалился и приобрёл навыки борьбы с врагом. Вдохновило бойцов и известие о разгроме немцев под Москвой, Ростовом, Тулой, Тихвином и Ельцом.

ПЕРВЫЙ ГОД ВОЙНЫ В ТЫЛУ

В Ульяновск наша мама приехала беременной и с ребёнком на руках. В доме на улице Ленина была очень скромная обстановка, ведь дедушка работал в семье один. Он был кочегаром, а бабушка — домохозяйкой. Несмотря на бедность, маму приняли как родную. Бабушка сразу занялась маленькой внучкой Галей, которой исполнился только год. Ребёнок был истощён после тяжёлой болезни. Бабушка стала её поить парным молоком от коровы и спасла от гибели.

Как же выживали люди в войну? Самый первый год войны был очень страшным и голодным. Армия отступала. Проходила эвакуация предприятий и людей. Везде шли со своим скарбом беженцы. Эшелоны, в которых они ехали подальше от войны, бомбили немцы, многие семьи потеряли друг друга, не было продуктов, не было тёплых вещей. В Ульяновске начался голод. Выдавали карточки на продукты, но их не хватало. Мама переживала за детей, они всё время просили есть, особенно родившийся недавно Лева. Мама работала в аптеке в ночную смену, брала с собой сына, там его купала и кормила грудью до двух лет.

У мамы были шикарные косы до пояса, но в войну не хватало мыла. И вот пришёл день, когда она, обливаясь слезами, решила их отрезать. Заведующий аптекой, пожилой мужчина, узнал об этом и сказал: «Тамара, я буду каждый месяц выписывать вам дополнительно кусок мыла, только вы не обрезайте ваши уникальные косы». Кстати, однажды они пригодились в совсем необычном качестве. Раз в неделю мама ходили с детьми в общую баню: собирала полотенца, брала кусок хозяйственного мыла и смену одежды детям. В этот банный день, когда мама намылила детей, вода вдруг закончилась. Народу было много, началась суматоха, весь народ в мыле. Что делать? Дети могут простудиться и заболеть. Мама не успела помыть свои длинные волосы. Она посадила детей на колени, накрыв их своими волосами. Через полчаса дали воду, и дети не заболели.

Что касается одежды, то в магазинах в это время трудно было найти хоть какие-нибудь ткани, а дети росли, одежда становилась мала. Мама со слезами распарывала свои немногочисленные довоенные платья и шила детям обновки на бабушкиной швейной машинке «Зингер». Бабушка Мария Васильевна очень гордилась своей машинкой, но маме доверяла обшивать всю

многочисленную семью. В баню мама старалась приодеть детей в обновки, чтобы вещи были без заплаток и штопки. Ребята должны выглядеть аккуратными и ухоженными, несмотря на тяжёлые военные будни.

Очень трудно было и с едой. Мама весила всего 42 килограмма, потому что часть своего пайка отдавала детям и недоедала. Дорога к дому шла с горки к реке Свияге. Галя и Лева каждый вечер ждали на лавочке около дома, когда мама придёт с работы и, увидев её на горке, бежали, кто быстрее, и сразу лезли в сумку. В сумке всегда было что-то съедобное. Мама доставала дефицитные лекарства, за это ей иногда знакомая меняла чёрный хлеб на белый. Лева сразу съедал свой кусок, а Галя часть прятала в укромном уголке. Брат почти всегда находил её записочку и съедал. Слёзы и упреки сестры не помогали, голод брал своё.

Несмотря на все трудности мама старалась как-то обустроить быт, порадовать детей. Однажды она покрасила риванолем марлю и сделала жёлтые занавески на окна. А ещё принесла глицерин и сварила варенье из маленьких ранеток (мелких яблок) с черенком. Для детей это был настоящий праздник.

Через много лет после войны я спросила маму, что самое вкусное она бы съела в голодное военное время? Помню, что она, не задумываясь, сказала: «Больше всего хотелось чёрного хлеба и сала». На рынке буханка чёрного хлеба стоила 1000 рублей, часто внутрь хлеба закладывали всякую ветошь. Золотые изделия, антикварные вещи и картины можно было купить за несколько буханок хлеба. В голодное время они не представляли никакой ценности. Одежду и обувь меняли на продукты, а деньги в это тяжёлое время обесценились. Некоторые граждане пользовались нуждой людей и скупали за ничтожные суммы золото и предметы искусства. Хорошо жили те, кто имел доступ к продуктам и промтоварам. Они имели всё, включая чёрную и красную икру. «Для кого война, а для кого мать родна», — так говорила мама.

БОИ НА УКРАИНЕ НА ХАРЬКОВСКОМ НАПРАВЛЕНИИ

Вспоминаю рассказы отца о боях на Украине. Маршрут дивизии с первых дней войны был таким: Новочеркасск, Изюм, Харьков, Богодухов, Карпильовка, Киев, Славута. Всего воинами преодолено 15 тысяч километров пути. Войска отступали с тяжёлыми боями. Фашисты рвались вперёд с неудержимой силой. Когда мимо хутора проходили измученные боями солдаты, на скамейке возле хаты сидели казаки, убелённые сединами, в штанах с лампасами и говорили проходившим мимо воинам: «Мы в наше время от врагов не бегали, а Родину крепко защищали, не так, как вы». Отец вспоминал: «Так стыдно было это слушать от бывалых воинов, что мы не знали, куда нам деться, хоть сквозь землю провалиться. Много солдат погибло в страшных боях за Украину».

Врачи работали днём и ночью. Не было возможности эвакуировать тяжело раненых бойцов, не хватало медикаментов и перевязочных материалов. Когда у раненых инфекция попадала в рану, то развивалась гангрена, и приходилось

проводить ампутацию руки или ноги. Это была трагедия как для бойца, так и для врача. В дальнейшем появились химиотерапевтические средства: красный стрептоцид и пенициллин, с помощью которых спасали раненых.

Много довелось отцу увидеть страшного на войне. Часто он вспоминал следующий эпизод. В одном селе на Украине группа врачей обедала в хате. Была передышка после боя. Вдруг раздался рёв моторов немецких самолётов, и бомба попала в соседний дом. Он стал медленно подниматься над землёй и рассыпался как карточный домик. Вся семья вместе с маленькими детьми погибла, а на месте дома зияла огромная воронка, на которую было страшно смотреть. Она стала братской могилой для матери и троих детей.

Здесь, на полях Украины, воины дивизии повторили подвиг героев-панфиловцев. 17 бойцов и командиров во главе с политруком А. Семёновым, вооружённые винтовками, автоматами, гранатами и одним пулемётом, погибли, но не дали врагу занять свои позиции. Их атаковало 8 танков и 200 гитлеровцев.

Тяжёлые бои шли за населённый пункт со странным названием Изюм. В ночь на 18 мая дивизия заняла оборону на правом берегу Северного Донца. Немецкие самолёты бомбили целый день. Наших самолётов в начале войны было мало, они уступали немцам по скорости и боевым качествам. Немецкие лётчики пользовались безнаказанностью: бомбили мирное население и охотились за беженцами. Иногда ради интереса немецкие лётчики гонялись за одним человеком и стреляли, соревнуясь в меткости. Наши войска по-прежнему хаотично отступали.

Однажды медсанбат, в котором служил отец, сделал остановку, чтобы передохнуть у леса. Вскоре врачи увидели вдалеке немецкие танки. Отец принял решение погрузиться в автобусы и ехать по лесной дороге к реке. Через реку нашими войсками был наведён мост, но фашисты частично его разбомбили. Техника по нему пройти уже не могла, а солдаты потихоньку пробирались на другой берег. Переправились таким образом и врачи с медицинским персоналом. На другой стороне реки шли измученные боями солдаты вперемышку из разных частей — все оставшиеся в живых. Многие сохранили знамёна своих частей. Ведь если потерял знамя, то этой части уже не будет.

Увидев медсанбат, солдаты обрадовались. Многие были ранены и нуждались в медицинской помощи. Началась многочасовая работа, а раненых становилось всё больше и больше. Был израсходован почти весь перевязочный материал и лекарства. Медики завершили работу и пошли дальше. По пути нагнали полевую кухню. Это была большая удача, ведь они не могли вспомнить, когда ели в последний раз. Каждый получил порцию горячей пшённой каши и по куску ржаного хлеба, казалось, что никогда в жизни еда не была такой вкусной.

В результате тяжёлых боёв после форсирования реки в ночь на 22 мая город Изюм был очищен от гитлеровцев, 12 июня по приказу командующего дивизия передала полосу обороны и совершила за 7 суток 350-километровый марш под непрерывным огнём вражеской авиации. Она влилась в состав 21-й армии, которая вела оборонительные бои на волчанском направлении.

СТРАШНЫЙ ДЕНЬ ПРОВОДОВ ПОД СТАЛИНГРАД

Осенью 1942 года отцу дали несколько дней отпуска, тогда он впервые увидел новорождённого сына. Отец решил назвать сына Львом. Он сказал такие слова: «Пусть будет Львом, а не котёнком». Это были несколько счастливых и тревожных дней. Родители пошли и сфотографировались с детьми. На фотографии у них очень напряжённые лица: может быть, это последняя встреча и последняя совместная фотография. Никто не знает, что ждёт семью впереди. Приближался день отъезда.

Страшный день проводов отца под Сталинград мама запомнила надолго. С утра все плакали, понимая, что провожают отца на смерть. Он должен был идти на пристань и оттуда пароходом прибыть на место службы. Отец не хотел никого брать в провожатые. Он сказал: «У меня и так на душе тяжело, а тут ещё слёзы: ведь меня ещё не убили, я живой». Но мама упростила взять её на пристань. Отец взял с неё слово, что она не будет плакать. У высокого берега Волги военные садились на пароход, ярко светило солнце, но чёрные тучи были в душах людей, кругом стоял плач и стоны. Мама в последний раз обняла и поцеловала отца, с большим трудом сдерживая слёзы. Пароход отчалил от пристани, долго провожающие смотрели ему вслед и молили Бога спасти и сохранить в пекле страшной войны родных и близких. Когда пароход скрылся из виду, мама упала в траву на высоком берегу Волги и плакала как никогда в жизни. К вечеру она опомнилась, ведь дома ждали дети. Надо было научиться выживать в войну, в голод и холод, когда всё самое страшное ещё впереди.

БИТВА НА ВОЛГЕ

В Сталинграде шли тяжёлые бои. Немцы бомбили город с воздуха с утра до вечера. В первый день погибло 150 000 человек, и не осталось ни одного целого дома. А те жители, которые чудом остались живы, поползли на высокий берег Волги, там вырыли норы и спрятались от бомбёжки.

17 июля 1942 года развернулась Сталинградская битва — величайшее сражение всех времён и народов.

1 августа дивизия, в которой служил отец, получила приказ форсировать Дон, овладеть плацдармом на правом берегу в районе станицы Кременская и выйти к балке Сухой лог. Два дня шли бои, в течение которых дивизия не только форсировала Дон, но и прочно закрепилась на берегу Волги. Этот плацдарм был расширен и удерживался до ноября 1942 года, то есть до перехода наших войск в контрнаступление.

Вот в таких трудных условиях отец оперировал раненых. Медсанбат развёртывали в школах, конторах, в деревенских домах и палатках. Не всегда хватало медикаментов и средств для наркоза. Если при проведении ампутации ноги или руки не было обезболивающих, то раненому давали выпить

спирт и делали операцию. Работа шла сутками, иногда не прерывалась даже ночью. Утром тяжелораненых отправляли в тыловой госпиталь.

Отец рассказывал, что часто он оперировал тяжелораненых солдат, у которых не было шансов выжить. Был один случай с солдатом-сибиряком, которого ранили в живот на поле боя. Рана образовалась большая, из неё были видны петли кишечника. Сибиряк зажал рану полущубком и пополз в сторону госпиталя. Несколько раз он терял сознание, но воля к жизни была сильнее. Вскоре его заметил санитар и притащил в медсанбат. Врачи были в шоке, понимая, что с такими ранениями не выживают, в перспективе перитонит. Отец подумал и сказал: «Будем оперировать, ведь у человека такая воля к жизни, пусть хоть умрёт по-христиански». Врачи промыли брюшную полость антисептиком и зашили кишечник через край. Сибиряка положили в избе около печки. Утром солдат проснулся, дотянулся до печки, где стояли котелки с водой и выпил половину котелка. Молоденькая девчужка-санитарка с плачем прибежала к отцу и рассказала об этом. «Ну, теперь точно умрёт, а жаль», — подумал отец. В итоге сибиряк вопреки всем канонам медицинской науки выжил, пошёл громить врага и дошёл до Берлина.

Врачи делали всё возможное, чтобы спасти раненых бойцов. Но их жизнь тоже находилась в постоянной опасности.

Отец вспоминал о первой бомбёжке, которая началась рано утром. Все врачи и медицинский персонал выскочили из домов и стали метаться в белых халатах по двору, некоторые держались за руки. Чудом в то злополучное утро никого не убило. После этого в первую очередь рыли окопы, потом разворачивали медсанбат.

Однажды медсанбат развернули в сельской школе. Когда немцы начали бомбить, отец с коллегой-врачом спрятались под лестницей школы. Потом он решил переместиться в окоп, а другой врач остался под лестницей. Бомба попала в здание школы, лестница обрушилась и придавила врача насмерть.

Отец часто рассказывал о безжалостности фашистов: они бомбили машины со знаком Красного креста, палатки с ранеными, медсанбаты и мирных жителей. Однажды бомба попала в палатку с ранеными бойцами. Когда налёт закончился, все увидели страшную картину: на деревьях и кустарниках висели части человеческих тел, руки, ноги, кишки и оторванные головы. Даже к своим солдатам фашисты проявляли жестокость. Зимой, когда начались сильные морозы, немецкие врачи выставляли своих тяжелораненых солдат на мороз умирать. К офицерам было другое отношение, их лечили, брали кровь от детей из концлагеря и переливали больным. Детей, которые больше не могли давать кровь, сжигали в печах концентрационных лагерей.

19 ноября началось контрнаступление войск на трёх фронтах сразу. До 2 февраля наши войска разгромили крупнейшую стратегическую группировку гитлеровской Германии, насчитывающую 22 дивизии. Это 330 000 человек. 2 февраля гитлеровцы капитулировали по всей полосе наступления. Великая победа на Волге, одержанная Красной армией, положила начало коренному перелому как в ходе Великой Отечественной войны, так и всей мировой войны.

ВТОРОЙ ГОД ЖИЗНИ СЕМЬИ В ТЫЛУ

На второй год войны стало немного легче. Дедушке от завода дали землю в пойме реки Свияги. Там посадили картошку, тыкву, репу, морковь, свёклу и капусту — всё, что помогает выжить, что можно засолить на зиму. Землю засеяли всей семьёй с надеждой на урожай, ухаживали всё лето. Это был большой труд. Но труднее было встречать непонимание и враждебность со стороны других людей.

Однажды маме выпала очередь полоть картошку. Заводское начальство предоставило лошадей для работников и членов их семей. Мама целый день трудилась в поле, было очень жарко, хотелось есть и пить, но запасы еды были скудные: небольшой ломоть хлеба, густо посыпанный солью и несколько варёных картошек. День клонился к вечеру, пахло травами, жужжали комары, солнце разрисовало закат яркими мазками, и ничто не предвещало беды. Подъехали подводы с лошадьми, женщины уселись на них и приготовились ехать. Вдруг извозчик подскочил к маме и стал её выгонять. «Ты не наша, чего расселась? Убирайся вон!» — кричал он. Соседки вступились за маму: «Не прогоняйте её, это сноха Ивана Степановича Заболотнова». Извозчик никого не слушал. Тогда мама встала и сказала ему: «Мой муж на войне в медсанбате людям жизни спасает, я осталась выживать с двумя маленькими детьми, а вы здесь в тылу подъезжаетесь, с женщинами воюете. Запомните, что я вам сейчас скажу. Не люди, так Бог вас накажет». Эти слова вырвались случайно, просто была ответная реакция на агрессивность и беспричинную злобу этого человека, но предсказание оказалось судьбоносным. Через год дедушка пришёл с работы и рассказал, что этот человек заболел и умер от рака.

ПОБЕГ НА ВОЙНУ СЕСТРЫ ТОНИ

Сестра отца Антонина в июле 1942 года сбежала из 9 класса на фронт. Вместе с подругой они спрятались в военном эшелоне, их обнаружили уже на линии фронта и отправили учиться на радисток-кодировщиц. Под Сталинградом Тоня познакомилась с военным лётчиком Костей, когда для бойцов в редкие минуты тишины крутили кино. Константин заговорил с Тоней в тёмном зале. Сначала она испугалась и решила сбежать с сеанса, но парень её догнал и проводил до дома. Он даже напросился зайти на огонёк. Тоня очень переживала, что скажет хозяйка, но всё прошло хорошо. Они говорили о мирной жизни, вспоминали интересные случаи. Костя показывал дорогие ему фотографии. Отец Константина, потомственный кубанский казак, воевал ещё в Первую мировую войну. На фото — он лихой наездник на боевом коне. При коннице был и в Великую Отечественную войну, потом партизанил и очень гордился старшим сыном, который покорял небо.

Второй раз они встретились через год под Ростовом на краю села с символичным названием Терпенье. Тоня со своим батальоном несла службу

на метеостанции, а рядом базировался аэродром Константина. Однажды военный патруль заглянул к девочкам, и Костя сразу признал старую знакомую. Это была судьба.

Свидания на земле были редкими и тревожными, ведь в каждом полёте парня поджидала смерть.

**Выписка из лётной книжки стрелка-бомбардира
старшего сержанта Косьмина Константина Николаевича
заведена по окончании училища**

Год рождения 1921; в Красной Армии с 1940 года, окончил Краснодарское военное авиационное училище в 1941 году; летал на самолётах – У-2, Р-5, ТБ-3, ПС-84.

...Декабрь 1942 год.

Итог за месяц: 31 боевой вылет. Налёт 43 часа 45 минут ночью. Сброшено 7 800 кг бомб, 2 800 листовок, расстреляно 3 100 штук патронов.

... Август 1943 г.

Итог за месяц: 31 боевой вылет. Налёт 43 часа 45 минут ночью. Сброшено 10 871 кг бомб, 8 000 листовок, расстреляно 6 735 штук патронов.

...Сентябрь 1943 г.

Итог за месяц: 39 боевых вылетов. Налёт 68 часа 20 минут ночью, 3 часа 20 мин. днём. Сброшено 7 835 кг бомб, 40 000 листовок, расстреляно 1 850 штук патронов.

...Апрель 1944 г.

Итог за месяц: 45 боевых вылетов. Налёт 71 час 50 минут ночью. Сброшено 8 635 кг бомб, расстреляно 2 370 штук патронов.

...Май 1944 г.

Итог за месяц: 37 боевых вылетов. Налёт 46 часов 35 минут ночью. Сброшено 7 570 кг бомб, расстреляно 2 830 штук патронов.

Эта лётная книжка и боевые награды бережно хранятся в семье и сегодня как главное отцовское наследство. Константин совершил за войну более 1000 полётов. По налёту часов пробыл в воздушных боях почти полгода, в основном ночью. Отчаянно бил врага, сбрасывая на его голову тонны бомб и расстреливая тысячи патронов. Он и Тоня воевали на Сталинградском, Южном, Украинском и Белорусском фронтах.

В конечном итоге судьба сберегла обоих. В тяжёлые минуты боя Костю всегда хранила любовь девушки-радистки.

Ранней весной 1945 года Тоню и Константина ждала ещё одна фронтовая разлука, но они уже решили пожениться сразу после войны.

Тоня встретила Победу под Берлином, а Костя — под Саратовом на передовой. Как только объявили об окончании войны, он отпросился и рванул к родителям Тони, чтобы заочно предложить руку и сердце, попросить родительского благословения. Сначала родственники удивились: явился гость — грудь в орденах и медалях, с патефоном. Оказалось, что он приспособил кожух от инструмента под чемодан, в который сложил дорожные вещи и скромные подарки родне и — айда свататься.



Антонина. Фото военного времени

Отказать военному лётчику Мария Васильевна и Иван Степанович не решились, ведь дочь известила их о приезде Кости. Вот только свадьбу пришлось перенести на осень 1945 года. Тоня служила в Германии как опытный радист-инструктор, но как только невеста переступила порог родного дома, на следующий день прибыл жених из Саратова. Они сразу расписались и скромно отметили свадьбу в отчем доме.

Через год у них родилась дочка Танечка, а потом сын Саша.

Константину жизнь подарила ещё немало «звёздных» лет в военной авиации. Он был лётчиком-испытателем при одном из ленинградских НИИ. Судьба испытывала его на прочность и в мирном небе. Он говорил, что риск для него дело привычное. Два новых ордена Красной Звезды Константин получил уже в мирное время. Его любили за добрый нрав, кристальную честность и порядочность.

Когда Константин тяжело заболел, он записал во фронтовую тетрадь в послед-

ний раз есенинские строки: «Не храпи, запоздалая тройка! Наша жизнь пронеслась без следа. Может, завтра больничная койка успокоит меня навсегда».

Я вспоминаю хлебосольность своей тёти Тони. Она любила всех вкусно накормить деликатесами. Помню в детстве я пришла с родителями к ней на юбилей. Стол ломился, а на горячее был подан огромный гусь в антоновских яблоках. Такого блюда я никогда не видела, но добились меня вкуснейшие пирожные-трубочки со сливочным кремом.

Спустя много лет после окончания аспирантуры я приехала домой, и отец сказал мне, что тётю прооперировали по поводу рака желудка. Я зашла навещать её. Тётя очень похудела, мы долго разговаривали. Она вышла за дверь проводить меня и сказала: «Наташа, наверное, мы видимся в последний раз. У меня раковая опухоль. Я долго не проживу». Я тогда ей ответила: «Отец сказал, что операцию сделали удачно до появления метастазов, ещё не раз встретимся». Мои слова сбылись, тётя прожила больше 90 лет.

ВОЕННАЯ СУДЬБА БРАТА АНАТОЛИЯ

Моя бабушка со стороны отца в трудные моменты жизни видела вещие сны. В войну каждая семья с нетерпением ждала весточки с фронта. Письма-треугольники несли радость и горе. Почтальбона встречали у ворот и бережно

брали солдатское письмо, читали вслух всей семьёй, но на сердце было беспокойно: «Когда писал, был жив, а сейчас неизвестно». В один из холодных зимних дней бабушка получила письмо о том, что Анатолий пропал без вести. Она очень переживала, ходила в военкомат, молилась в церкви и даже была у гадалки.

Однажды ночью она долго не могла заснуть, под утро задремала, и ей приснился страшный сон. Анатолий ранен, попал в плен, но совершил



А. И. Заболотнов с братом Анатолием.
1946 г.

с товарищами побег из концлагеря. За беглецами послали погоню. Фашисты с собаками стреляют и вот-вот догонят. Бабушка закричала во сне, её разбудили и стали спрашивать. Она рассказала свой страшный сон. Мама вырвала листок календаря, записала число, месяц, год этого события и заложила его в документы. Ровно через полгода пришло письмо от Анатолия, а позже он сам приехал в отпуск и рассказал, что был ранен, попал в плен. Через некоторое время они с товарищами устроили побег. К вечеру их поймали фашисты, стали травить собаками, избивать и снова отправили в концлагерь. Там каждый день в печах 24 часа в сутки сжигали людей, предварительно стригли волосы (ими набивали подушки и матрасы), вырывали хорошие зубы, брали кровь, сдирали кожу с оригинальными татуировками. Куски кожи использовали для дамских сумочек и кошельков. Немецкие врачи проводили над пленными опыты: делали операции без наркоза, испытывали лекарства и вакцины, применяли новые пытки. Беглецов ждала горькая участь, но им повезло. Началось наступление американцев. Фашисты, чтобы скрыть свои преступления, загнали пленных в бараки, забили окна и двери досками и подожгли живых людей. Анатолий с товарищем выбил окно, они забрались на чердак и побежали. Фашисты с автоматами гнались за ними. Товарищ решил спрятаться, залез под старые матрасы. Анатолий уговаривал его бежать дальше, но тот решил остаться. Когда немцы добежали до места укрытия, то автоматная очередь завершила его жизнь. Анатолий все ещё бежал, силы были на исходе. В это время американцы въезжали на территорию лагеря, фашисты вскочили в машины и рванули прочь. Солдаты отрывали доски от дверей, выпускали пленных, оставшихся в живых. Многие узники сторели заживо или задохнулись от дыма. Погибло очень много детей. Анатолий чудом остался жив.

Американцы уговаривали освобождённых солдат не возвращаться на Родину. Они внушали, что их там объявят врагами народа и отправят в лагеря. Некоторые согласились, но Анатолий несмотря ни на что решил возвратиться в свою часть и воевать дальше. Его отправили в госпиталь, так как он был

истощён и ещё не зажили раны после побега. Вскоре после лечения и реабилитации в военном госпитале Анатолий, к большой радости всей семьи, приехал на несколько дней домой. Когда он шёл по улице по направлению к родному дому, то понимал, что Бог совершил чудо и дал ему вторую жизнь. Вот знакомые окна, старенькое крыльцо, и мать выходит ему навстречу. Она молилась и верила до последнего, что сын жив, переступит порог родного дома, она обнимет его, а из глаз польются слёзы радости.

Когда семья услышала рассказ Анатолия, то сразу вспомнили страшный сон его матери, вынули листочек календаря — дата побега совпала с реальностью. Мать увидела во сне, что сын в беде и ему грозит гибель. Может, молитва матери отвела беду, но пока наука такие явления объяснить не может.

НА КУРСКОЙ ДУГЕ

4 мая 1943 года за умелые действия против немецко-фашистских захватчиков, за проявленную отвагу и мужество, за высокую дисциплину и массовый героизм дивизия приказом И. В. Сталина была преобразована в 97-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Бойцы и командиры искренне радовались и гордились тем, что Родина заметила их ратные подвиги на фронте, оценила их боевые заслуги, но главные сражения были ещё впереди.

Летом 1943 года началась битва на Курской дуге.

Отец был свидетелем страшных боёв в районе Прохоровки. Днём стало темно как ночью от огня горящих танков, взрывов и дыма пожарниц. Земля



105-й медсанбат 97-й гвардейской стрелковой дивизии.
А. И. Заболотнов во 2-м ряду второй слева

горела под ногами воинов. Некоторые горящие танки шли на таран, танкисты выбирались из пылающих машин, и бой продолжался. Несколько танков заехали в воду и танкисты дрались в воде и топили противника. В медсанбате приходилось работать днём и ночью. Раненых несли и везли. Многие солдаты просили оказать им первую помощь и снова рвались в бой. Не было возможности отправить тяжелораненых в ближайший госпиталь. Поле битвы было усеяно ранеными и убитыми солдатами с обеих противоборствующих сторон. Это был ад на земле и на небе.

После разгрома немцев на Курской дуге дивизия, в которой служил отец, продолжала свой боевой путь. За бои под Полтавой дивизии было присвоено название «Полтавская» и она получила орден Красного Знамени и орден Суворова II степени.

ТРЕТИЙ ГОД ВОЙНЫ

Шёл третий год войны. Выживали тяжело, и не всегда люди сочувствовали друг другу, сопереживали и помогали пережить эту трудную годину. В семье работали только дед и мама, бабушка вела дом, а дети учились в школе. Мама стала первой помощницей деду в тяжёлом труде: заготовке дров, сена для коровы, огородных делах и переносе тяжестей. Однажды дедушка с мамой шли по грязной грунтовой дороге в дождь с работы. Навстречу им ехала машина. Водитель специально разогнался, на большой скорости въехал в большую лужу и окатил грязью деда и маму с ног до головы. Мама схватила камень, кинула вслед и попала в стекло. Что было дальше, история умалчивает, лихач не остановился, но он получил урок.

В войну не хватало в тылу мужчин, поэтому отправляли женщин на лесозаготовки. Пришла очередь и мамы ехать в лес на заготовку дров. Откомандировали ещё двух женщин из аптеки. Мария была родом из деревни и умела обращаться с топором и пилой, а Людмила всю жизнь прожила в городе и не была приспособлена для тяжёлой работы. Всех женщин привезли на край леса и поселили в бараке. Бригадир сказал, что тот, кто не выработает норму, не получит хлеба. Сначала работа не спорилась. Было холодно и голодно. Но потом появился опыт, и стало получаться выполнять норму.

За десять дней изнурительной работы мама умудрилась из своего пайка сэкономить целый каравай чёрного хлеба. Это была большая удача. Когда заготовку дров завершили, работниц привезли на лошади и высадили на краю города. Маме пришлось несколько часов идти пешком до дома. Ноги гудели, и кружилась голова. Наконец она добрела до крыльца, села и больше не смогла двигаться. Вышла свекровь, принесла тазик с прохладной водой, и мама погрузила туда свои натруженные ноги. Вскочили дети, схватили каравай хлеба и потащили в дом. Хлеб аккуратно разделили на всех. Когда мама пришла на кухню, вся семья из семи человек мирно ела хлеб и запивала горячим чаем с сахарином. Её кусок лежал отдельно, накрытый льняной салфеткой, но съесть его уже не было сил. Она легла на кровать и забылась тяжёлым сном.

ПУТЬ К ПОБЕДЕ

А отец продолжал идти на запад вместе со своей дивизией, освобождавшей родную землю от захватчиков.

В октябре 1943 года дивизия форсировала Днепр, в марте 1944 года с боями перешла Днестр.

В конце июля 1944 года войска 1-го Украинского фронта, перенеся боевые действия на территорию Польши, форсировали реку Вислу и захватили за ней, в районе Сандомира, обширный плацдарм. Бои носили ожесточённый характер. Враг предпринимал отчаянные атаки, пытаясь сбросить советских воинов в Вислу, но гвардейцы стояли насмерть. Особенно отличились разведчики. В эти дни прославленному разведчику А. Виноградову вручили орден Славы I степени. Об этом событии написали во фронтовой газете, которую бойцы читали в короткие часы отдыха. Там отец увидел и статью о военных врачах медсанбата. В частности о нём писали, что у военного врача-хирурга Заболотнова А. И. высокий процент выживаемости тяжело-раненых бойцов. Отец говорил, что настоящий врач во время операции умирает вместе с каждым своим больным. Иногда уже нет сил, глубокая ночь, впереди напряжённый операционный день в медсанбате, но привезли тяжело-раненого бойца, и надо срочно оперировать. Как поступить? Можно отложить операцию на утро, и никто не осудит, но ведь это чей-то отец, брат, муж. Дома семья каждый день ждёт почтальона, чтобы получить треугольник заветного письма и убедиться, что родной человек жив, воюет и можно жить дальше, надеяться на победу над врагом.

За свою работу отец был награждён за годы войны орденом боевого Красного Знамени, орденами Отечественной войны I и II степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда».

В январе 1945 года дивизия, форсировав водные рубежи Нида, вышла на Одер и начала успешное форсирование реки. Каждый шаг вперёд давался с боем. За успешные боевые действия по расширению и удержанию Oderского плацдарма в феврале 1945 года дивизия была награждена орденом Богдана Хмельницкого. Многие воины также получили ордена и медали, в том числе 11 человек стали Героями Советского Союза.

ВСТРЕЧА С СОЮЗНИКАМИ В КОНЦЕ ВОЙНЫ

Отец вспоминал встречу с союзниками в 1945 году. Наши войска двигались по дороге, измученные тяжёлыми боями, а навстречу бодро двигались союзные войска на вычищенных до блеска новеньких машинах. Вскоре с колонной солдат поравнялась американская миссия с Красным крестом. Санитарная машина притормозила, открылась дверь, и вышла упитанная, высокомерная дама, как оказалось, военный врач. Наши военные медики тоже остановились. Американка небрежным жестом подозвала переводчика и спросила у отца: «Почему у вас солдаты такие грязные и неухоженные? Почему

они не могут привести себя в порядок?» Отец ответил просто: «Наши солдаты пятый год воюют, пол-Европы прошли пешком с тяжёлыми боями, а союзники присоединились в последний момент, когда пришло время Германию делить, поэтому такая разница между нами». Американка после перевода, не сказав ни слова в ответ, запрыгнула в машину и уехала прочь.

Конечно, основные тяготы войны пали на Советский Союз. Это миллионы погибших на фронтах и замученных в фашистских концентрационных лагерях. Это разрушенные города, сожжённые деревни, горе и боль миллионов людей. Это наша интернациональная победа, которая выстрадана каждой семьёй, каждым рядовым и командиром, независимо от цвета кожи и разреза глаз.

НА БЕРЛИНСКОМ НАПРАВЛЕНИИ

В период с 26 апреля по 8 мая 1945 года дивизия вела тяжёлые бои на Дрезденском направлении с танковыми частями противника, в том числе с танковой дивизией СС «Герман Геринг». С началом Берлинской операции 5-я гвардейская армия, входившая в состав 1-го Украинского фронта, охватывала в кольцо окружения Берлин с юга. Вступив в бой 17 апреля рано утром, воины 97-й гвардейской стрелковой дивизии прорвали оборону противника и к 14 часам вышли на реку Шпрее. Форсировав реку Шпрее, они штурмом овладели городом Зенфтенберг и продолжили наступление на Торгау.

ПОБЕДА В ПРАГЕ

В незапно поступил приказ повернуть дивизию на Прагу, которую фашисты заминировали и хотели взорвать.

Ожесточённые бои продолжились уже в чешской столице. Прага была спасена, но как много воинов погибло уже в конце войны! Это невосполнимые утраты для нас.

Жители Праги встречали советских воинов охапками цветов. Это были тюльпаны и сирень. На центральных улицах по ходу марша советских воинов расстилали ковры. На площадях играла музыка и жители устраивали танцы.

В отцовском альбоме среди пожелтевших от времени фотографий есть несколько памятных снимков. Это седой старик, который пригласил военных врачей к себе в дом и предложил нехитрое угощение, потом были сделаны совместные фотографии врачей и деда с маленьким внуком. На фото радостные лица: войне приходит конец.

Каким же был этот желанный и выстраданный миллионами советских людей 9 Мая, День Победы? Его ждали, о нём грезили, его приближали, он снился людям, измученным голодом в тылу, он вставал как мираж солдатам на фронте. И вот он пришёл весенним майским утром. Казалось, что сама природа, умытая чистой росой, украшенная цветущей сиренью и тюльпанами, готовилась к этому долгожданному празднику. С утра прошёл дождь, и его



Капитан А. И. Заболотнов (1-й слева) с боевыми друзьями и жителями Праги. 1945 г.

потоки как слёзы радости и скорби слились в один мощный поток, который смывал всё на своём пути. Все, кто услышал о капитуляции фашистской Германии, обнимались, целовались с совсем незнакомыми людьми, подкидывали вверх пилотки и фуражки, а вечером устроили фейерверк и танцы прямо на улицах Праги. У многих на глазах были слёзы. Это был великий день для всего мира, для всех людей планеты Земля.

Отец так рассказывал о своих эмоциях: «После объявления Победы меня охватила невыразимая радость. Хотелось петь, стрелять в воздух и обнять весь мир. На душе была благодать и благодарность этому миру за то, что вместе со своими товарищами прошёл через этот ад, что остался жив. Впереди мирная жизнь со своими родными и близкими, которые ждут и надеются, а ещё радостно, что на белом свете весна, ярко светит солнце и цветёт сирень».

Когда я рассматриваю пожелтевшие фотографии в военном альбоме отца, то вижу, какой вклад внесла в победу над врагом 97-я гвардейская стрелковая дивизия — каждый командир, каждый солдат и мой отец, который на переднем крае спасал раненых вместе со своими товарищами.

Воины 97-й гвардейской стрелковой дивизии храбро сражались с врагом в Донбассе, на Дону и в Сталинграде. За мужество и героизм в Сталинградской битве дивизии было присвоено звание гвардейская. Они мужественно сражались на Орловско-Курской дуге, форсировали Днепр, освобождали Украину и Молдавию, вели упорные бои за освобождение от фашизма народов Румынии, Польши, Чехословакии и Германии. Освобождением столицы Чехословакии города Праги дивизия закончила бои нашей полной победой над фашизмом.

СТАЛИНГРАД В НАШИ ДНИ

Я снова пересматриваю военные фотографии отца. На меня смотрят молодые серьёзные лица бойцов Красной армии, непобедимой армии. Недаром Бисмарк завещал немцам никогда не воевать с русскими, но Гитлер не захотел учить уроки истории.

В 2014 году отцу бы исполнилось 100 лет. Он мечтал написать воспоминания о войне и даже начал мне диктовать, но я вышла замуж, родила сына Сашу и переехала в другой город. Отец долго мечтал, что мы с ним сядем на пароход и поплывём по Волге в Волгоград, но подорванное в войну здоровье не позволило ему ещё раз посетить главный город его жизни и встретиться с однополчанами. Я решила в столетний юбилей отца посетить Волгоград на день Победы и Прагу, где отец закончил войну.

На 75-летие Победы я поехала в Волгоград, чтобы посмотреть на этот легендарный город, окунуться в атмосферу этого памятника всем живым и мёртвым. Мы заехали в Волгоград 7 мая ранним утром, когда солнце только вставало над рекой Волгой и его лучи касались воды, предвещая весенний солнечный день. Я представила, как солнце так же вставало в военном Сталинграде, где люди с ужасом ждали бомбёжки и наступления немецких танков.

В Волгограде в ночь с 8 на 9 мая прошёл дождь. Это были запоздалые слёзы за солдат, отдавших свои жизни. Они тоже были только раз рождены на свет, их могла ждать счастливая мирная жизнь, майская сирень, первая



А. И. Заболотнов с семьёй. 1970 г.

любовь и берёзовые рощи. Судьба жестоко обошлась с ними. Вместо счастливой мирной жизни шинель, автомат, окопы и фашисты, которые пришли, чтобы убить эту мирную жизнь, мечты о светлом будущем. Солдатам осталось только одно: смертный бой до победы, до последней черты. Именно это я почувствовала в легендарном городе: «Русские не сдаются никогда».

9 мая разгулялся пригожий весенний день, распускались цветы, спокойно и величаво несла свои воды Волга. По реке проплывали теплоходы и баржи, на набережной гуляло много народа. Была выставлена техника времён войны «Оружие Победы», по которой карабкались дети. На Мамаевом кургане было огромное количество народа. Никогда я не видела такого количества людей разных возрастов с букетами цветов, которые поднимались на Мамаев курган. Кругом звучали военные песни под гитару, гармошку и аккордеон. Многие были одеты в военную форму: в гимнастёрки, тельняшки, на головах пилотки, бескозырки, военные фуражки. Дети тоже щеголяли в военной форме. И главной песней на этом великом общенародном празднике была песня «День Победы».

После войны отцу часто снился сон об ужасах войны, и долго он потом ходил и пил лекарства, чтобы забыться и заснуть.

Я часто задаю себе вопрос о том, как мой отец уцелел в этом безжалостном горниле войны. Кто хранил его? Ангел-хранитель, Господь Бог, молитвы матери? Что это: везение или Божий промысел? Я не нахожу ответа, но когда отец пришёл с войны, он сказал: «У кого что на роду написано. Один солдат первый день на фронте, выглянул из окопа и шальная пуля попала в лоб, а другой в разведку двадцать раз ходил и одно лёгкое ранение».

Хочу закончить военные воспоминания о нашей семье открыткой однополчанина отца, которую тот написал после войны.

«Дорогой доктор, сердечно поздравляю Вас с Днём Победы! Желаю Вам окрепнуть и ещё пожить, ведь нас, ветеранов, так мало осталось. Пусть Ваши дети и внуки гордятся Вами. Пусть дарят Вам тепло своих сердец и заботу, чтобы дольше Вы прожили, ведь вы прошли такой трудный путь, скольким раненым Вы подарили жизнь! Они с благодарностью вспоминают Ваше доброе имя. Обнимаю. Ваш бывший санитар Дмитрий Бородин».

СЛОВО,
ИСКУССТВО,
СУДЬБА





Сергей Михеенков

Сергей Егорович Михеенков родился в 1955 году в деревне Воронцово Куйбышевского района Калужской области. Служил в Советской армии, работал механизатором, учителем сельской школы, журналистом, редактором районной газеты, научным сотрудником Тарусского краеведческого музея, помощником депутата Государственной Думы. Окончил филологический факультет Калужского государственного педагогического института им. К. Э. Циолковского и Высшие литературные курсы. Автор многих романов и документальных книг о войне, биограф Маршалов Советского Союза Г. К. Жукова, И. С. Конева, К. К. Рокоссовского и выдающейся русской певицы Лидии Руслановой. Ныне работает и проживает в г. Тарусе.

СЕМЁН ГУДЗЕНКО. «Я БЫЛ ПЕХОТОЙ В ПОЛЕ ЧИСТОМ...»

*(Из книги «Писательская рота».
М.: Изд-во «Молодая гвардия», 2022. Серия ЖЗЛ)*

1.

Многие поэты приобрели на войне тот бесценный и страшный опыт ненависти и любви, который предстояло ещё переплавить в душе, пережить, осмыслить. Семён Гудзенко записывал свои шедевры, казалось, ещё дрожащей рукой, сразу после боя, — так составляют командиры пехотных взводов записку о безвозвратных и санитарных потерях для ротного писаря. Его стихи пахнут пороховой гарью, солдатским потом, кровью и ужасом. Ужасом только что закончившейся атаки. Либо — ожиданием ещё не начавшейся.

Семён Гудзенко начал мощно и глубоко писать ещё на фронте. И первые публикации в периодике свидетельствовали о том, что в советскую литературу пришёл большой поэт.

Родился в Киеве 5 марта 1922 года. Отец Пётр Константинович — инженер. Мать Ольга Исаевна (Исааковна) — учительница. При рождении он получил имя Сарио, то ли итальянское, то ли испанское.

Уже на фронте, в 1943 году, когда стали публиковать его стихи, Гудзенко решил, что для мужчины, а тем более поэта, нужно имя мужское, и под стать эпохе. Поменять имя ему подсказал Илья Эренбург, когда прочитал его стихи, сразу увидев в нём поэта.

Первые стихи он написал в пятилетнем возрасте.

В 1929 году поступил в киевскую школу № 45. Одновременно посещал литературную студию в городском Дворце пионеров. Литературу в те годы ставили высоко, она, и в первую очередь русская классика от Пушкина до Горького, воспитывала души нового поколения советских людей. Какими она их воспитала, покажет война.

В марте 1937 года Сарик Гудзенко написал стихотворение, посвящённое столетию со дня трагической смерти А. С. Пушкина. Стихотворение было признано лучшим. Его опубликовали в журнале «Молодая гвардия». Автор получил свой первый гонорар — путёвку в детский лагерь «Артек». Добрый, общительный, в «Артеке» он нашёл много друзей. Был капитаном волейбольной команды лагеря.



Семён Гудзенко. Фото военных лет

Первые стихи писал на родном украинском языке. Под влиянием матери пробовал писать и на идише, но вскоре эту затею оставил.

В 1939 году окончил школу, получил аттестат о среднем образовании и поехал в Москву поступать в Московский институт философии, литературы и истории. Институт открылся недавно, но о нём по стране уже ходила добрая слава. В МИФЛИ учились Константин Симонов, Александр Твардовский, Евгений Долматовский, Сергей Наровчатов. Одновременно с Литературным институтом им. М. Горького вуз стал кузницей литературных кадров. Какой простор сразу открылся для молодых поэтов, прозаиков, драматургов!

Учился с тем же прилежанием, что и в киевской школе. Много читал. Эрнест Хемингуэй, Джек Лондон. Восхищался поэзией Николая Тихонова, Велимира Хлебникова. У него была хорошая память, и многие стихи любимых поэтов он знал наизусть, так что в студенческих беседах и дискуссиях мог прочитать не только стихи, но и куски поэм Киплинга, а также Иннокентия Анненского, Вийона, Саши Чёрного. С ревнивой жадностью следил за творчеством восходящих поэтов — Бориса Пастернака, Константина Симонова, Александра Твардовского. Пытался подражать то Маяковскому, то Багрицкому, но вскоре стал обретать свой голос.

Двадцать второго июня 1941 года резко повернуло судьбы миллионов.

2.

В самом начале июля Гудзенко и несколько его однокурсников по МИФЛИ пошли в военкомат. Они узнали, что формируется Отдельная мотострелковая

бригада особого назначения (ОМСБОН). Сводки Совинформбюро извещали уже о том, что бои идут под Киевом. Судя по направлениям основных ударов врага, немцы, не ослабляя натиска на южном направлении, рвались к Ленинграду и Москве.

В бригаду набирали спортсменов, специалистов радиодела, парашютистов. Из самотёка — крепких парней, владеющих немецким языком, водителей, ворошиловских стрелков, охотников. Ни в одну из этих категорий Гудзенко не попадал. У него было слабое зрение, носил очки. Очкарик в отряде особого назначения не боец, а обуза.

И всё же, уступая настойчивости студента-филолога, его зачислили на курсы разведчиков и подрывников. Физически он ничем не уступал другим кандидатам в Отдельную бригаду — натренированный, выносливый. К тому же хорошо стрелял, быстро освоил ручной пулемёт Дегтярёва. Сохранилась тетрадь Гудзенко, которую он завёл летом 41-го. В ней вперемешку с недописанными стихами и черновиками будущих стихов конспекты лекций и практических занятий по подрывному делу, различные схемы и формулы.

Курсы были ускоренные. Через два-три месяца из выпускников формировали очередной отряд — от шестидесяти до ста двадцати человек (рота!) — и забрасывали в немецкий тыл. Бои уже шли на Смоленщине, под Ярцевом и Рославлем. Группу, в которую был зачислен Гудзенко, неожиданно оставили в Москве — начали готовить к уличным боям в большом городе. В конце сентября 1941 года немецкая Группа армий «Центр» приступила к операции «Тайфун». Это было второе, после вынужденной паузы под Вязмой и Брянском, наступление на Москву, которое, по планам немецких штабов, должно было решить исход всей кампании на востоке. Это обстоятельство мгновенно изменило задачу Отдельной бригады.

Шестого ноября во дворе Литинститута курсанты спецшколы принимали присягу. А утром следующего дня они уже стояли на Красной площади, выстроенные для торжественного парада. В том строю стоял и автор будущего стихотворения «Перед атакой». Он напишет его уже скоро. Но надо было ещё пробежать на лыжах многокилометровые марши, помёрзнуть в окопе, увидеть гибель товарищей, пройти — и не раз! — на волосок от смерти, получить осколок мины в живот... И только потом, в 1942 году, этот шедевр военной лирики поколения родится как бы сам собой.

В те дни всё происходило не просто быстро — стремительно. Стремительно продвигались к Москве немецкие танки. Стремительно бросали под их гусеницы сводные полки подольских и кремлёвских курсантов. Стремительно формировались стрелковые и танковые бригады и тут же вступали в бой, потому что для формирования дивизий времени уже не оставалось. Уже 8 ноября отряд особого назначения сосредоточился на западной окраине Москвы. Группами разной численности — в зависимости от поставленной задачи — их забрасывали в леса Калужской, Смоленской, Тульской, Брянской областей, к тому часу частично или полностью оккупированных немецкими войсками.

Отдельная мотострелковая бригада особого назначения принадлежала Особой группе войск НКВД СССР. ОМСБОН напрямую подчинялся 2-му отделу НКВД, который в начале 1942 года был преобразован в 4-е диверсионное управление, руководил им старший майор госбезопасности П. А. Судоплатов. Зимой 1941/42 года на основе рот из состава ОМСБОН формировали мобильные лыжные отряды особого назначения «для тактических, разведывательных и диверсионных операций в ближнем тылу противника».

Лыжный отряд старшего лейтенанта Кирилла Захаровича Лазнюка совершил несколько рейдов в немецкий тыл. Гудзенко входил в этот отряд в качестве пулемётчика.

Странички из дневника:

«Ноябрь 1941.

Это было первое крещение. Первые убитые, первые раненые, первые брошенные каски, кони без седоков, патроны в канавах у шоссе. Бойцы, вышедшие из окружения, пикирующие гады, автоматная стрельба.

Погиб Игношин. На шоссе у Ямуги. Погиб конник, осколки разбили рот. Выпал синий язык.

10 декабря 1941.

Пришло письмо от Нины. Пишет Юре, а мне только привет. И сейчас такая же, чтоб я не зазнавался, а сама плакала, когда я уходил. Гордая до смешного. Письмо носилось в кармане, адрес стёрся, и тогда захотелось написать.

Была ранена в руку. Опять на фронте. Избалованная истеричка. Красивая девушка. Молодчина.

Декабрь 1941.

Снег, снег, леса и бездорожье. Горят деревни.

Одоево. Зашли с Паперником в дом. Жена арестованного. Ему немцы «повязку» надели, и он работал в управе. Это чтоб с голода не помереть... Сволочь. Городской голова — адвокат, сбежал с немцами.

Был бой под Кишеевкой. Лазарь бил из снайперской. Здорово! Метко. Ворвались в деревню. Потом отошли. Когда подползали — деревня кашляла. Гансам не по лёгким наши морозы. Простужаются, гады.

Подпускают идущих по пояс в снегу на 50–60 м. Зажигают крайние дома. Видно как днём. И бьют из пулемётов, миномётов и автоматов. Так они бьют везде.

Бой под Хлуднево.

Пошли опять первый и второй взводы. Бой был сильный. Ворвались в село. Сапёр Кругляков противотанковой гранатой уложил около 12 немцев в одном доме. Крепко дрался сам Лазнюк в деревне. Лазарь говорит, что он крикнул: «Я умер честным человеком». Какой парень. Воля, воля! Егорцев ему кричал: «Не смей!» Утром вернулось 6 человек, это из 33-х.

Испуганная хозяйка. Немцы прошли. Заходим. Обогрелись, поели супец. Немцы здесь всё отобрали. В скатертях прорезали дыры для голов, надели детские белые трусики. Маскируются. Найдём!

Идём в Рядлово. Я выбиваюсь из сил. Лыжи доконали. Отдыхаю.

2-го утром в Поляне. Иду в школу. Лежат трупы Красобаева и Смирнова. Не узнать. Пули свистят, мины рвутся. Гады простреливают пять километров пути к школе. Пробежали... Пули рвутся в школе.

Бьёт наш «максим». Стреляю по большаку. Немцы уходят на Маклаки. Пули свистят рядом.

... Однополчан узнал я в чёрных трупах.
Глаза родные выжег едкий дым.
И на губах, обветренных и грубых,
Кровь запеклась покровом ледяным.
Мы на краю разбитого селенья
Товарищей погибших погребли.
Последний заступ каменной земли —
И весь отряд рванулся в наступленье...

2 января 1942.

Ранен в живот. На минуту теряю сознание. Упал. Больше всего боялся раны в живот. Пусть бы в руку, ногу, плечо. Ходить не могу. Бабарыка перевязал. Рана — аж нутро видно. Везут на санях. Потом довели до Козельска. Там валялся в соломе и вшах.

Живу на квартире нач. госпиталя. Врачи типичные. Культурные, в ремнях и смешные, когда говорят уставным языком.

Когда лежишь на больничной койке, с удовольствием читаешь весёлую мудрость О. Генри, Зощенко, «Кондуит и Швамбранию», braveго солдата Швейка.

А в какой же стадии хочется читать Пастернака? Нет таковой.

Где же люди, искренне молившиеся на него, у которых кровь была пастерначья? Уехали в тыл. Война сделала их ещё слабее.

Мы не любили Лебедева-Кумача, его ходульные «О великой стране». Мы были и остались правыми.

Мы стояли на перекрёстке дорог. Со всех сторон хлестали ветра. Москва была очень далеко.

Железнодорожные рельсы засыпаны снегом. Поезда не ходят с лета. Люди отвыкли уже от гула. Тишина здесь, кажется, усилена этими рельсами.

Был мороз. Не измеришь по Цельсию.
Плюнь — замёрзнет. Такой мороз.
Было поле с безмолвными рельсами,
позабывшими стук колёс.
Были стрелки совсем незрячие —
ни зелёных, ни красных огней.
Были щипы ледяные.
Горячие были схватки
за пять этих дней.

Пусть кому-нибудь кажется мелочью,
но товарищ мой до сих пор
помнит только узоры беличьи
и в берёзе забытый топор.

Вот и мне: не деревни сгоревшие,
не поход по чужим следам,
а запомнились онемевшие
рельсы.
Кажется, навсегда...

4 марта 1942.

Вчера вышел из дома. Пахнет весной. Не заметил её начала.
Завтра мне 20 лет. А что?

Прожили двадцать лет.
Но за годы войны
мы видели кровь
и видели смерть —
просто,
как видят сны.
Я всё это в памяти сберегу:
и первую смерть на войне,
и первую ночь,
когда на снегу
мы спали спина к спине...»

Как быстро Гудзенко переплавлял в стихи пережитое, увиденное, прочувствованное. Фронтовики говорили, что война жизнь уплотняет. За одно мгновение человек порой проживает с десяток лет. Однажды в большом селе Озерна на границе Калужской и Брянской областей я увидел фотографию капитана, командира разведроты. Фотография была прикреплена к свежему памятничку, который установили на свежей могиле внуки и внучатые племянники погибшего офицера. Поисковики отыскивали его останки где-то в поле, в запаханной траншее, нашли медальон, документы, разыскали родных. Фотография была качественная, сделанная, по всей видимости, фронтовым корреспондентом. Все чёточки лица переданы до мельчайших деталей и морщин. Морщины, и ещё впалые щёки, придавали лицу вид суровости и скрытой печали. Это было лицо сорокалетнего мужчины. Красивое, светлое, одухотворённое. Русые волосы, светлые славянские глаза. Скульптурная посадка головы. От него так и веяло: «Мы были высоки, русоволосы...» (Николай Майоров. «Мы». 1940). Когда же я прочитал дату рождения и гибели, был изумлён: капитану в 43-м году, на момент гибели, было всего двадцать шесть лет! Снимок был сделан наверняка в том же 43-м, быть может, в период подготовки к битве на Орловско-Курской дуге. Потому что капитан в гимнастёрке нового покроя и с погонами, введёнными совсем недавно.

У поэта душа распахнута миру. И миру, и войне тоже. Вечная, незаживающая рана, через которую «нутро видно». И тут уж никакой Бабарыка не перевяжет и козельский госпиталь не спасёт...

Странички из дневника:

«3 апреля 1942.

Были в МГУ. Здесь уже нет ничего студенческого. Большинство этих людей не хотят работать, не хотят воевать, не хотят учиться. Они хотят выжить. Выпить. Это единственное, что их волнует. Они не знают войны.

Правда, есть много честных девушек.

Они учатся, работают в госпиталях, грустят о ребятах, ушедших на фронт. Но их ЗДЕСЬ не очень много.

До войны мне нравились люди из «Хулио Хуренито», «Кола Брюньона», «Гаргантюа и Пантагрюэля», «Похождений Швейка» — это здоровые, весёлые, честные люди.

Тогда мне нравились люди из книг, а за девять месяцев я увидел живых братьев — этих классических, честных, здоровых весельчаков. Они, конечно, созвучны эпохе.

Студент-искусствовед. Два дня метель. В воскресенье необходимо было чистить аэродром. Искусствовед заявил: «Работать не буду, у меня воспаление почечной лоханки».

С этого аэродрома поднимались ястребки, защищавшие его тёплую комнату с репродукциями Левитана.

Это уже подлец.

Война — это пробный КАМЕНЬ всех свойств и качеств человека. Война — это КАМЕНЬ преткновения, о который спотыкаются слабые. Война — это КАМЕНЬ, на котором можно править привычки и волю людей. Много переродившихся людей, становящихся героями».

После ранения осколком мины в живот (кто-то из друзей заметил: «пушкинское ранение...»), довольно длительного лечения, а затем приговора врачей: не годен для дальнейшего прохождения воинской службы, — с июня 1942 года служил в редакции газеты ОМСБОНа «Победа за нами!». Был необычайно счастлив, что всё-таки оставлен в строю.

А ведь мог бы восстановиться в институте и продолжить учёбу. Из двух судеб — студент или солдат — поэт выбрал солдата.

Странички из дневника:

«28 апреля.

Были в ИФЛИ и в ГИТИСе. Серьёзные книжники-ифлийцы дрыгают ногами на сцене и поют неаполитанские песенки. Лиц нельзя разобрать. Вся эта масса копошилась в зале, но прямо в глаза не смотрят, лица прячут. Войны не понимают.

Это, конечно, не о всех, но таких много.

12 мая 1942.

Они все боялись фронта. И поэтому просыпались и ложились со страстными спорами:

— Ты отсиживаешься. Я бы...

– Брось, сам трус.

– Мы здесь нужней.

Тупые люди. Кулачки, кусочки.

Девушка учила Овидия и латинские глаголы. Потом села за руль трёхтонки. Везила всё. Молодчина».

Потом, когда солдаты добудут Победу и восстановят мир, и, кому повезёт выжить, придут и приковыляют на костылях домой, вчерашние студенты, наскоро залечив свою почечную недостаточность, встретят солдат с их фронтовыми блокнотами, заполненными стихами и прозой, в редакциях журналов, издательствах и научных учреждений. Они, вчерашние книжники и фокстротчики, будут решать судьбы рукописей, написанных кровью. И лица свои прятать они уже не будут. Потому что в стране царить уже будет новая генеральная линия: довольно писать о войне, советскому читателю нужны произведения, зовущие народ к мирному, созидательному труду. Вот почему из редакционного самотёка довольно легко эти книжники и фокстротчики футболили рукописи Константина Воробьёва, Виктора Курочкина, не подпускали к журнальным страницам Юрия Белаша.

Странички из дневника:

«5 мая 1942.

Вышел из метро. После этого провал. После этого я был сбит авто на площади Дзержинского, и снесли меня в приёмный покой метро.

Пришёл в себя. Забыл всё: откуда, зачем, какой месяц, война ли, где брат живёт. Болит голова, тошнит.

20 мая.

Вчера был у нас Илья Эренбург. Он, как всякий поэт, очень далёк от глубоких социальных корней. Выводы делает из встреч и писем. Обобщает, не заглянув в корень. Он типичный и ярый антифашист. Умён и очень интересно рассказывал. «Мы победим, – сказал он. – И после войны вернёмся к своей прежней жизни. Я съезжу в Париж, в Испанию. Буду писать стихи и романы». Он очень далёк от России, хотя любит и умрёт за неё, как антифашист».

Илья Эренбург потом напишет: «Это был один из первых весенних дней. Утром в дверь моей комнаты постучали. Я увидел высокого грустноглазого юношу в гимнастёрке. Ко мне приходило много фронтовиков – просили написать о погибших товарищах, о подвигах роты, приносили отобранные у пленных тетрадки, спрашивали, почему загибёшь и кто начнёт наступать – мы или немцы. Я сказал юноше: «Садитесь!» Он сел и тотчас встал: «Я вам почитаю стихи».

Я приготовился к очередному испытанию – кто тогда не сочинял стихов о танках, о фашистских зверствах, о Гастелло или о партизанах. Молодой человек читал очень громко, как будто он не в маленьком номере гостиницы, а на переднем крае, где режут орудия. Я повторял: «Ещё... ещё...»

Потом мне говорили: «Вы открыли поэта». Нет, в это утро Семён Гуденко мне открыл многое из того, что я смутно чувствовал. А ему было

всего 20 лет; он не знал, куда деть длинные руки, и сконфуженно улыбался. Одно из первых стихотворений, которое он мне прочитал, теперь хорошо известно... <...> Гудзенко не нужно было ничего доказывать, никого убеждать. На войну он пошёл солдатом-добровольцем; сражался во вражеском тылу, был ранен. Сухиничи — Думиничи — Людиново были для него не строкой в блокноте сотрудника московской или армейской газеты, а буднями. При первом знакомстве он мне сказал: «Я читал, что вы ездили к Рокоссовскому и были в Маклаках. Вот там меня ранили. Конечно, до вашего приезда...»

3.

Об одном бое под Думиничами надо рассказать особо. Этот бой, гибель товарищей поэт не забывал всю войну и после.

В середине января 1942 года четыре отряда ОМСБОНа общей численностью 315 человек был переброшен в район Сухиничей. Здесь держала фронт 328-я стрелковая дивизия 10-й армии Западного фронта. Армия наступала из-под Михайлова. Дивизии были обескровлены. Полки 328-й дивизии имели до полуроты активных штыков каждый. Немцы вначале легко бросали позиции и обжитые опорные пункты, но потом остановились и начали жёстко контратаковать. Иногда во время этих внезапных контратак им удавалось отрезать, окружить слишком вырвавшиеся вперёд советские подразделения и целые полки. В какой-то момент наступление 10-й армии, да и всего Западного фронта начало выдыхаться. Началось противостояние на достигнутых рубежах.

Две наших армии, 10-я и 16-я, по приказу комфронта Г. К. Жукова должны были захватить городок Сухиничи. Тот, кто владел Сухиничами, контролировал важнейшие коммуникации на брянско-жиздринском направлении. Это был калужский Ржев!

Сводный батальон ОМСБОНа, 18 января в район боевых действий, был гораздо сильнее и боеспособнее истощённой, израсходованной за месяц непрерывных боёв и изнурительных маршей 328-й стрелковой дивизии.

Для дальнейших действий батальон разделился на четыре отряда. Пулемётчик Гудзенко до своего ранения входил в боевую группу старшего лейтенанта К. З. Лазнюка. Лазнюк — кадровый пограничник, имел боевой опыт. В этот раз на боевое задание омсбоновцы старшего лейтенанта Лазнюка уходили без пулемётчика Гудзенко. Гудзенко лежал в тыловом госпитале 16-й армии в Козельске. Осколок немецкой мины, который распорол ему живот под Маклаками, в итоге воспрепятствовал участию в рейде и, по большому счёту, подарил ему жизнь. Но именно это потом и мучило поэта.

Первоначально задачей всех четырёх отрядов было перейти линию фронта на участке села Маклаки Думиничского района, а затем развернуть разведывательно-диверсионную работу в ближнем тылу немецких войск в Жиздринском и Людиновском районах. После чего планировалось выйти в брянские леса в партизанскую зону, чтобы не рисковать попасть под огонь на двойной линии фронта.

Но планы вскоре пришлось менять. Во время авианалёта на станцию Брынь погиб почти весь штаб сводного батальона. После чего одна из боевых групп перешла линию фронта в районе Думиничей. Остальные поступили во временное подчинение штабу 10-й армии.

Отряды старшего лейтенанта Лазнюка — 81 человек — и капитана Горбачёва были переданы 328-й стрелковой дивизии «для использования при нанесении ударов по противнику, прорывающемуся на помощь окружённой в Сухиничах группировке немецких войск».

«В ночь с 21 на 22 января, — свидетельствуют местные хроники, — оба отряда ОМСБОН, приданные 328-й дивизии, совместно с одним из её стрелковых батальонов (вернее, того, что от него к тому времени осталось — всего около 30 человек!) приняли участие в неудачном для них бою за деревню Кишеевку Думиничского района. Отряд Лазнюка понёс ощутимые потери: пять человек убитыми и пропавшими без вести, не считая раненых и обмороженных, в результате чего в строю осталось 36 бойцов отряда. Понёс потери и отряд Горбачёва — в его составе осталось не более 50 активных бойцов».

Буквально на следующий день только что вышедшему из боя отряду Лазнюка командир 328-й стрелковой дивизии ставит задачу: сосредоточиться в деревне Гульцово и скрытным марш-броском, пользуясь разрывом в линии фронта, достигнуть деревни Хлуднево, внезапным ударом с юга совместно с подразделениями 328-й стрелковой дивизии выбить из этого опорного пункта противника. По данным разведки, немецкий гарнизон здесь был немногочисленным — до взвода пехоты и миномёты. Через Хлуднево лежал большак на Сухиничи, и эта дорога имела важнейшее значение — по ней запитывался грузами полуокружённый сухиничский гарнизон немцев.

Перед маршем Лазнюк принял решение: так как гарнизон в Хлудневе небольшой, сформировать ударную группу из 27 человек, остальным занять оборону в Гульцеве и ждать их возвращения. Лазнюк оставил тех, кто был простужен и сильно кашлял, кто был ранен и не ушёл в санчасть.

Командир повёл ударную группу к Хлудневу. На промежуточном рубеже у деревни Которь сделали короткий привал. Лазнюк выслал вперёд разведку. Разведчики вскоре вернулись и доложили: в Хлудневе до батальона пехоты, миномёты и четыре танка. Но атаку отменять было нельзя: роты 328-й стрелковой дивизии, согласно разработанной операции, уже должны были занимать исходные для наступления на опорный пункт с фронта. Согласовать с ними отмену атаки не было никакой возможности.

В полночь на 23 января бесшумно подошли к Хлудневу. Бесшумно сняли часовых. Бесшумно рассредоточились по заранее намеченным позициям. По сигналу одновременно в разных концах села забросали гранатами дома, в которых ночевали немцы. Большие и внезапные потери вначале ошеломили противника. Пулемётным огнём омсбоновцы отсекали танкистов, бросившихся к своим боевым машинам. Танки вскоре запылали — их забросали гранатами и бутылками с горючей смесью.

Всё началось удачно. Но вскоре в село начала входить моторизованная колонна, которая на момент начала боя уже была на марше. Немцы

блокировали село и начали сжимать кольцо. Окружённые омсбоновцы какое-то время надеялись на помощь 328-й стрелковой дивизии. Но её подразделения так и не вышли на рубеж атаки...

В неравном бою омсбоновцы уничтожили до ста солдат и офицеров противника. Последним, кто продолжал вести огонь, был боевой товарищ Семёна Гудзенко Лазарь Паперник. Когда немцы подошли вплотную, он вытащил чеку из последней гранаты и разжал скобу...

В живых из группы Лазнюка остались только пятеро. Сам Лазнюк, тяжело раненный в ходе боя. Его вытащили оврагом двое товарищей. Ещё двое, принятые немцами за убитых, ночью уползли из Хлуднева той же спасительной ложиной.

За проявленное мужество и героизм двадцать два погибших бойца ОМСБОНА посмертно награждены орденами Ленина. Вынесшие из боя раненого командира А. П. Кругляков и Е. А. Ануфриев — орденами Красного Знамени. Командир отряда Кирилл Захарович Лазнюк — орденом Ленина. Замполитрука Лазарю Папернику присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

Сохранилось письмо Лазаря Паперника родным: «Привет с фронта. Здравствуйте, мои дорогие! Как я соскучился по вас. Наступила передышка, решил написать несколько строк о себе. Жив, здоров, всем доволен. Вчера дали фрицам так, что памятно им будет надолго. Тем, кто уцелел. А многие так и остались бесславно на снежном поле. На этот раз я бил из снайперской винтовки. Командир похвалил, говорит, хорошо получилось, больше сотни фашистов нашли себе могилу только от нашего взвода. Будем истреблять их беспощадно. Слушайте сообщения Совинформбюро, читайте газеты о наших делах. Мы научились бить врагов! Каждый воин НКВД — это мастер своего дела... В нашей бригаде были журналисты и писатели, писали о нашем подвиге. Читайте газеты... До свидания, крепко целую всех вас. Лазарь».

Весть о гибели товарищей Семён Гудзенко узнал в Козельске.

В конце января 1942 года войска 16-й армии генерала К. К. Рокоссовского вошли в Сухиничи.

4.

Наступил 1943 год. Обстановка на фронтах стала заметно меняться в нашу пользу.

Семён Гудзенко работал военным корреспондентом газеты Степного фронта «Суворовский натиск». Публиковал в газете не только статьи и корреспонденции, но и стихи.

Газета «Суворовский натиск» начала выходить в конце мая 1943 года. Вскоре войска Степного фронта под командованием И. С. Конева в ходе Курской битвы от обороны перешли в наступление, освободили Белгород и Харьков, устремились к Днепру. Степной фронт был преобразован во 2-й Украинский.

Начался заграничный поход Красной армии.

Странички из дневника:

«Венгрия. 28 декабря 1944.

Ракоци – район фашистский. Старый мадьяр с шестого этажа бросил гранату, убил 10 офицеров.

Наш конвоир один ведёт 1000 румын. Он пьян. Один румын берёт его автомат, двое ведут его за руки. (Ну чем не Швейк с конвоирами?)

19 февраля 1945.

Привыкаешь ко всему: в Будапеште уже не волнует, что первые дни не давало уснуть, о чём только в книгах читал в России. Вся экзотика узких переулков, неожиданных встреч с итальянскими и шведскими подданными, монастыри, кино и церкви надоели солдатам, которые как-то этим интересовались. Нам хочется домой. Пусть даже там нет такого комфорта. И на это уже плюют. Хотя раньше с завистью смотрели на белизну ванных комнат, на блеск полов, на массивность или лёгкость мебели. Хочется всем домой, пусть в нетопленную комнату, пусть без всяких ванных комнат, но в Москву, Киев, Ленинград. Это тоска по родине.

21 февраля 1945.

В Кишпеште смотрел американский ковбойский фильм. Стрельба. Убийство. Страшная скука. А зал в бешеном восторге. Я не досидел. Видно, мы воспитаны на более умном и мудром искусстве.

Мадьяр – молодой, здоровый, в шляпе, с дешёвым перстнем. Говорит на ломаном русском. Как-то шутя спросил: «Есть ли в Будапеште ресторан?» Он ответил: «Нет. А в Москве есть». – «Откуда знаешь?» – «Я из Москвы только четвёртый день». Я совсем остолбенел.

Дальше рассказал он, что был взят под Старым Осколом в 1943, сидел в лагере в 40 км от Москвы, был в Горьком и Шапове. Жалуется, что в Венгрии плохо, что в лагере он получал 750 граммов хлеба, а тут четвёртый день ничего не ест. Приехал он в армию, хочет драться с немцами. Вот уже и история.

В Европе солдат привыкает к чистоте, к хорошему белью, к духам. Это, конечно, о тех днях, когда идут бои в больших городах. Но на пути каждого солдата был или будет один город, где он ещё познает прелести и гнусности Европы. Для меня таким городом стал Будапешт. С неизвестностью, монахами, всепоглощающей торговлей, проститутками, быстротой восстановления и пр. и т. п.»

Записи Семёна Гудзенко лаконичные, но ёмкие. И так выпукло и зримо предъявляют нам картины войны и только что наступившего мира, что невозможно оторваться. Хотя уже и довольно бы цитировать...

«29 марта 1945.

Собачонки всех мастей, но все карликовые. Шофёры давят их безбожно. «Та разве то собака, то ж мышка», – сплюнув, говорит водитель.

Во всех квартирах канарейки. Основная работа престарелых дам: подыскивание самца у соседей. Этим, птичьей любовью, они копируют свою, ушедшую и не такую красивую.

Мой хозяин – бывший кельнер. У него медали за прошлую войну. Мне он говорит, что бил в 1914 году итальянцев, а немцам, наверное, хвастал, что бил русских.

В Буде немцы. Артбатарея. Из окон видны солдаты на том берегу. Лёд. Полыньи. Красные парашюты. Немцы сбрасывают своим жратву и гранаты. Внизу открытые настезь магазины. Бери что хочешь. Подхожу к артиллеристу. Смотрю, что он взял: один кусок мыла, флакон одеколona, сигареты. Взял, что нужно, а больше не берёт».

Никогда я не забуду,
сколько буду на войне,
взбудораженную Буду,
потонувшую в огне.

И обломки переправы,
и февральский ледоход,
и Дуная берег правый,
развороченный, как дзот.

И багровое на сером —
пламя в дымных этажах.
И того, кто самым первым
был в немецких блиндажах.

И снова из фронтовой записной книжки поэта и военного корреспондента Семёна Гудзенко:

«Брно. 26–28 апреля 1945.

Лежат убитые немцы. Никто их хоронить не хочет, они прикрыты забором.

Трупы наших солдат. Один по пояс виднеется из окопа. Рядом связка гранат. На груди знак «Гвардия». В кармане фото и документы. Мозговой, 1924 г. р., кандидат ВКП/б/ с 1944, награждён двумя медалями «За отвагу» и орденом Красной Звезды. Был почти всюду. На войне с 1942.

Немцев было много. Они бежали. Лангер остался. Он поражён, что его не трогают. На второй день уже недоволен тем, что солдат взял у него пустой чемодан. Жалуется.

2 мая 1945.

Есть извещение, что умер Гитлер. Это никого не устраивает. Каждый хотел бы его повесить. <...>

Ночь на 9 мая 1945.

С трудом добираемся до Елгавы. Здесь утром были немцы. По пути встречаем много немцев — колоннами и группками. Нет конвоя. Они кланяются, на них не обращают внимания.

Говорят, что Прагу защищают власовцы. Говорят, наоборот, что они восстали против немцев. Одно известно, что есть очаги сопротивления.

Очень не хочется погибнуть в День Победы.

А навстречу везут раненых.

Киев. 29 мая 1945.

Когда мы узнали о конце войны, каждый больше всего боялся умереть. Жизнь после войны солдаты берегут ещё сильнее. Сейчас очень многие хотят

демобилизироваться — находят какие-то старые болезни, ездят на рентген, стонут и кричат. А ещё две недели назад они были бодрыми и подтянутыми офицерами. Всё это не страшно. Пусть хитрят — они победили.

Опять снилась Москва».

5.

И вот они, не погибшие, не сгинувшие на войне поэты, писатели, драматурги и сценаристы, стали возвращаться домой.

Послевоенная жизнь Семёна Гудзенко была наполнена творчеством. Он признан. Почти каждый год выходят его книги.

Личная жизнь тоже устроилась. Женится на дочери генерала А. С. Жадова Ларисе. По образованию Лариса Алексеевна была искусствоведом. В 1951 году у них родилась дочь Катя. Жили они в элитном доме, так называемом Доме Моссельпрома.

Историк литературы Илья Фаликов в одном из своих исследований пишет: «Рассказывают, в Доме Моссельпрома, населённом важными людьми, в основном военачальниками, после войны обитал поэт Семён Гудзенко, который был женат на чьей-то высокородовитой дочке из этого дома, и, когда поэт за полночь приходил в подпитии, его туда не пускал милиционер, постоянно стерегущий драгоценный подъезд.

Образ поэта в чистом виде. Его положение в мире, под звёздным ночным небом».

Тот же Фаликов: «Любопытный факт. Признание догнало фронтовиков через десятилетия после их поэтического начала. Симонов и Твардовский — звёзды войны во время войны. На тот небосклон, как исключение, сразу после войны был допущен из молодых только Семён Гудзенко, пожалуй. Его сверстники созревали долго и своё лучшее создали годы и годы спустя».

После войны Семён Гудзенко какое-то время работал в военных газетах. Ездил по стране. Много выступал с чтением стихов в дальних гарнизонах. В те годы большинство офицеров были фронтовики, и поэта военного поколения везде встречали с особой теплотой. Выступал и в Москве.

Литературовед Виктор Афанасьев вспоминал, как они, московские мальчишки, увлечённые литературой и рассказами о подвигах героев Великой Отечественной войны, стремились попасть на выступления поэтов-фронтовиков в 1945 году: «Пришли с фронта поэты: Семён Гудзенко, Марк Максимов, Виктор Урин, Александр Межиров, Вероника Тушнова, Николай Старшинов, Юлия Друнина и другие. Все в военной форме, молодые. В Москве начались незабываемые вечера поэзии, на которые народ просто ломился. И вот мы собираемся стайкой в Колонном Зале Дома союзов или в Политехническом. Денег у нас нет. Сидим у входа и ждём, когда появятся поэты. Мы знаем, что всех лучше — Семён. И вот он идёт. Мы к нему: «Семён, проведи нас! Попроси контролёршу». — «А что, вы не стихотворцы ли? Вот ты, стихи пишешь?» — спрашивает он меня. «Да». — «Садись, сочини четверостишие». В страшном волнении сажусь, сочиняю. Он прочитал и говорит: «Всё ясно, поэт... Пошли!» Он ведёт всех нас и с улыбкой басом говорит контролёрше: «Пропустите! Поэты!»

В сентябре 1951 года стала донимать старая контузия. Вернулись головные боли. Врачи поставили диагноз: опухоль головного мозга. Две операции не принесли ни избавления от болей, ни, тем более, исцеления.

Семён Гудзенко умер зимой 1953 года на 31-м году жизни в институте нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко. Последние стихи продиктовал лёжа в постели уже не силах держать карандаш.

Молодая вдова Лариса Алексеевна вторым браком вышла за Константина Симонова. Симонов удочерил дочь Семёна Гудзенко Катю и всю жизнь бережно заботился о ней. Екатерина Семёновна Симонова-Гудзенко стала известным учёным, специалистом по истории и культуре Японии.

ПЕРЕД АТАКОЙ

Когда на смерть идут — поют,
а перед этим можно плакать.
Ведь самый страшный час в бою —
час ожидания атаки.

Снег минами изрыт вокруг
и почернел от пыли минной.
Разрыв — и умирает друг.
И значит — смерть проходит мимо.

Сейчас настанет мой черёд,
за мной одним идёт охота.
Будь проклят сорок первый год —
ты, вмёрзшая в снега пехота.

Мне кажется, что я магнит,
что я притягиваю мины.
Разрыв — и лейтенант хрипит.
И смерть опять проходит мимо.

Но мы уже не в силах ждать.
И нас ведёт через траншеи
окоченевшая вражда,
штыком дырявящая шею.

Бой был короткий.
А потом
глушили водку ледяную,
и выковыривал ножом
из-под ногтей я кровь чужую.

1942

* * *

Я был пехотой в поле чистом,
в грязи окопной и в огне.
Я стал армейским журналистом
в последний год на той войне.

Но если снова воевать...
Таков уже закон:
пускай меня пошлют опять
в стрелковый батальон.

Быть под началом у старшин
хотя бы треть пути,
потом могу я с тех вершин
в поэзию сойти.

Действующая армия, 1943–1944

* * *

Я в гарнизонном клубе за Карпатами
читал об отступлении, читал
о том, как над убитыми солдатами
не ангел смерти, а комбат рыдал.

И слушали меня, как только слушают
друг друга люди взвода одного.
И я почувствовал, как между душами
сверкнула искра слова моего.

У каждого поэта есть провинция.
Она ему ошибки и грехи,
все мелкие обиды и провинности
прощает за хорошие стихи.

И у меня есть тоже неизменная,
на карту не внесённая, одна,
суровая моя и откровенная,
далёкая провинция — Война...

БИБЛИОГРАФИЯ

- Стихи и баллады. — М.: Молодая гвардия, 1945.
Дальний гарнизон. — М.: Гослитиздат, 1953.
Стихи и поэты. — М.: Воениздат, 1956.
Избранное. Стихи и поэма. — М.: Советский писатель, 1957.
Стихотворения. — М.: Государственное издательство художественной литературы, 1961.
Армейские записные книжки. — М.: Советский писатель, 1962.
Завещание мужества. — М.: Молодая гвардия, 1971.
Стихи слагались на ходу... — М.: Молодая гвардия, 1990.

НАГРАДЫ

Трудовые:

Медаль «За трудовую доблесть»

Боевые:

Орден Отечественной войны II степени

Орден Красной Звезды

Медаль «За оборону Москвы»

Медаль «Партизану Великой Отечественной войны»

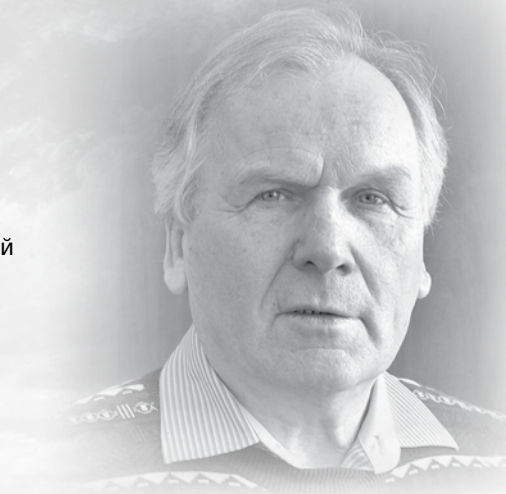
Медаль «За взятие Вены»

Медаль «За взятие Будапешта»

Медаль «За освобождение Праги»

Владимир Обухов

Владимир Михайлович Обухов—искусствовед и художник, эссеист и поэт. Член Союза художников России и Союза российских писателей. Автор многочисленных книг и альбомов. Награждён Золотой медалью Союза художников России. Заслуженный работник культуры Российской Федерации.



ЖИЗНЬ И ЖИВОПИСЬ **(Иван Захарович Пушкарёв)**

Двадцатый век в России был недолог. Его началом стал конец Российской империи. Его концом стало крушение Советского Союза.

В этот век вместились почти вся судьба художника Ивана Захаровича Пушкарёва.

И уж точно вся его художническая судьба.

К искусству он впервые приобщился в годы революции и Гражданской войны. А скончался за несколько месяцев до гибели СССР.

Дата же рождения Пушкарёва — 24 июня 1904 года. Он — уроженец Смоленска. Крещён в смоленской Нижне-Николаевской церкви.

Отец его — Захар Сергеевич Пушкарёв. Мать — Пушкарёва Меланья Фёдоровна.

Чудом сохранилось «Свидетельство о выполнении воинской повинности», выданное Захару Сергеевичу в июне 1902 года.

Из него следует, что «Захар Пушкарёв происходит из мещан Смоленской губернии гор. Красного. Родился 4 сентября 1863 года, исповедания православного».

А значит, и сын его, Иван, по происхождению своему — мещанин.

В Толковом словаре С. И. Ожегова приводится сразу два значения этого слова.

Прежде всего, конечно, мещанин — это «лицо податного сословия, состоящего из мелких домовладельцев, торговцев, ремесленников».

А вместе с тем это — «человек с мелкими, сугубо личными интересами, с узким кругозором и неразвитыми вкусами, безразличный к интересам общества».

Что ж, именно такое, весьма уничижительное, представление о мещанстве издавна и прочно укоренилось в нашем общественном сознании.

Напомню, однако, что слово «мещанин» в ближайшем родстве не только со словом «горожанин», но и со словом «гражданин».

Русское мещанство на протяжении столетий мещанство было чуть ли не главной опорой русской государственности. А уж смоленские мещане и вовсе не раз становились спасителями России, реки крови пролив в боях с войсками литовцев и поляков, с воинством Наполеона.

Придёт время — и Ивану Пушкарёву доведётся защищать, уже от полчищ Гитлера, родной Смоленск, западный форпост страны.

* * *

У судьбы Пушкарёва непростой и чрезвычайно драматичный сюжет. Хоть роман пиши!

А искусство его вполне достойно основательного искусствоведческого изучения.

Но я на старости лет предпочитаю написанию подробных монографий создание словесных мозаик, вместо смальты используя мысли и события.

Жизнь коротка — вот и я пишу всё короче и короче.

К тому же не так уж и много сохранилось свидетельств жизни Пушкарёва — документов, писем, записок.

Правда, мне довелось полтора десятилетия общаться с ним — и в памяти моей сохранились кое-какие его устные рассказы, колоритные, сугубо художнические.

Но нельзя сказать, чтобы Пушкарёв был уж очень разговорчив. Да и рассказывал он обычно не столько о самом себе, сколько о происшествиях, знакомствах, встречах.

В разговорах со мной ни разу не вспомнил он о родителях, о своём детстве, о первых художнических опытах.

Зато однажды неожиданно заговорил о революции.

Об организованной смоленскими большевиками демонстрации, на которой рабочие пели частушки, прославляющие Колчака и осмеивающие Ленина с Троцким.

О трагедии, случившейся во время митинга, состоявшего в местном театре: переполненная людьми галёрка обрушилась на густую толпу, собравшуюся в зале.

Видимо, как раз в эту пору увидел он Троцкого.

Его тогда особенно поразило, насколько хорошо, богато тот был одет.

«Мы, пацаны, все были в рванье, а у него даже плащ был какой-то особенный, прямо-таки свистящий на ветру».

* * *

В начале 1919 года в смоленском Дворце труда открывается студия изобразительных искусств. И уже вскоре преподавателем живописи в ней, да и фактическим её руководителем, стал Владимир Фёдорович Штраних.

Колоритный человек!

Герой Первой мировой войны: георгиевский кавалер. Умудрился из пушки сбить немецкий боевой самолёт.

Крепкий и рослый красавец.

Оригинал: «летом он ходил, — вспоминал известный советский художник К. Дорохов, — в белоснежной косоворотке, с расстёгнутым воротником, в широчайших галифе яркого синего цвета, в белых брезентовых сапогах с красной подмёткой и каблуком. Зимой носил английского сукна военную бекешу и лихо заломленную на затылке офицерскую папаху».

И при всём при этом Штраних — замечательный живописец.

Воспитанник Строгановки и Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Любимейший ученик самого Константина Коровина. А какое-то время и его помощник в работе по написанию декораций для Большого театра.

В пору той работы как раз и сложилась его манера живописания — широкая, обобщённая, на театральный лад экспрессивная.

Вот и своих учеников, студийцев, он заставлял писать этюды широчеными кистями на больших холстах, на мешковине. Приучал их видеть натуру крупно и цельно, строить объёмы мощными, звучными пятнами.

Обучая ремеслу, Штраних обучал искусству: ученические этюды становились зачастую художественно-ценными полотнами. А руководимая им студия, по сути дела, была высшей школой современной живописи.

Именно в этой студии посчастливилось учиться Пушкарёву.

Именно Штраниха считал он своим единственным наставником в художественном ремесле и искусстве.

* * *

Но не только живописное дело осваивает в эту пору Пушкарёв.

Вот передо мной зачётная книжка студента архитектурного факультета Смоленского политехнического института И. З. Пушкарёва, выданная ему 26 мая 1920 года.

Впрочем, уже вскоре этот вуз был переименован.

Стал называться милитаризованным государственным политехническим институтом Западного фронта.

А в самом начале 1922 года и вовсе влился в местный университет.

Учился Пушкарёв тут недолго — менее двух лет.

15 марта 1922 года датируется свидетельство о сдаче им зачётов на втором курсе Смоленского политеха. А уже 4 мая того же года, перебравшись в столицу, он получает удостоверение студента инженерно-мелиоративного факультета Московского межевого института.

Не думаю, что Пушкарёв так уж стремился стать мелиоратором.

Зато он очень хотел перебраться в Москву.

Тем более что некоторые его приятели-студийцы уже обосновались в столице, поступили во Вхутемас.

Казалось бы, и Пушкарёву стоило последовать их примеру — попытаться продолжить обучение искусству живописи в высших художественно-технических мастерских. Но уж очень голодное это было время.

А студенты Межевого института, в отличие от учащихся Вхутемаса, были обеспечены продовольственными пайками.

* * *

Помню, с какой иронией относился на старости лет Пушкарёв к разговорам о сталинских репрессиях.

Сказал как-то: «Ежов? Берия? Ерунда! Это были уже законники».

И стал рассказывать о той Москве, в которой он жил в юности.

По городу опасно было ходить в очках, в инженерной или офицерской шинели: буржуйского вида публика нередко становилась жертвой самосуда пьяных красноармейцев — кого-то топили в Москве-реке, кого-то просто убивали.

Такое вот революционное правосудие.

Особенно же свирепствовали чекисты.

По Москве ходил слух, что Дзержинский уснуть не может, не расстреляв самолично двух-трёх врагов народа.

Лишь однажды молодой Пушкарёв осмелился поглядеть, что это такое — Лубянка.

Добравшись до неё, увидел: никого на улице нет. Ни одного пешехода.

И почти побежал обратно, подальше от чекистского гнезда.

А однажды зашёл к знакомым — по какому-то пустяшному делу. И тут чекисты заявили. Облава!

Хозяев забрали, увезли. Скорее всего, безвозвратно.

Пушкарёва забирать не стали. Видимо, пожалели: на вид он был совсем ещё мальчишка.

* * *

На ту пору «военный коммунизм» был уже вообще-то отменён. Но жизнь всё ещё отчаянно трудна, всё ещё продолжается разруха.

Люди одеваются кто во что горазд. Нищета = норма жизни.

Лишь несколько лет прошло, как Москва стала столицей советского государства. Её население стремительно растёт, новым москвичам, вчерашним провинциалам, приходится жить в изрядной тесноте. А между тем многие столичные здания в полном запустении.

Пушкарёв зашёл однажды в старый особняк.

Была зима. И в пустых залах с выбитыми окнами лежал снег. Всю мебель, когда-то стоявшую тут, растащили. Зато сквозняк шевелил развешенные на стенах картины мастеров «Голубой Розы» и «Бубнового валета».

И совершенно фантазмагорической была тогда инфляция.

Какое-то время Пушкарёв подрабатывал на строительстве Сельскохозяйственной выставки.

Работа каждый день длилась лишь до обеда.

В полдень приходил бухгалтер с большой сумкой, набитой ассигнациями. И выдавал работникам по пачке денег, вроде бы как даже не пересчитывая их.

Деньги следовало оприходовать тут же, сразу: или что-то купить, или успеть положить их на банковский счёт (проценты на вклад устанавливались с учётом инфляции).

В ином случае уже к концу дня деньги эти почти совершенно обесценивались.

* * *

Он видел Ленина в гробу.

Фраза эта звучит трагикомично, даже смешно. Но что было, то было.

Нельзя сказать, чтобы смерть Ильича, вождя мирового пролетариата, уж очень опечалила Пушкарёва. Но тем не менее он принял участие в грандиозном прощании с Лениным.

Полагаю, из любопытства.

Мороз, вспоминал он, был дикий.

Чрезвычайно длинная очередь к телу вождя продвигалась быстро, но долго.

Очень долго.

Боясь отморозить уши, Пушкарёв всё время тёр их.

Тёр — тёр — тёр... Пока не почувствовал под пальцами что-то липкое и тёплое.

Оказалось, что стёр уши в кровь.

Изрядно иззябший, предстал он наконец перед телом Ленина. И крайне удивился: в облике великого вождя не было ничего примечательного.

Ни героического. Ни демонического.

По словам Пушкарёва, это был труп обыкновеннейшего мужичонки = вроде тех пьяниц, чьи фотоснимки на стендах «Не проходи мимо!» вешают.

* * *

Судя по всему, в Межевом институте Пушкарёв учился спустя рукава. Но довольно долго.

Вплоть до ноября 1926 года, когда он был призван на службу в Красную армию.

На протяжении 13 месяцев Пушкарёв — курсант полковой школы при 3-м стрелковом полку 33-й стрелковой дивизии.

Но и по окончании срочной службы он не спешит покинуть армейские ряды — до начала 1929 года числится стрелком в 1-м Ростовском отряде стрелковой охраны Северо-Кавказской железной дороги.

Именно — числится.

Стрелок он — на бумаге. На деле — художник-оформитель.

Изготовитель агитационного ширпотребя.

Но всё-таки в какой-то мере и художник.

* * *

И вот наступил 1929 год — поворотный в судьбе Пушкарёва.

27 сентября этого года Ростовский краевой музей северо-кавказских народов выдал Пушкарёву справку, удостоверяющую, что две его работы — «1) рисунок углём «Максим Горький», 2) акварель «Пейзаж» — вошли в музейное собрание.

И что переданы они в это собрание «как лучшие с выставки, устроенной ВЛКСМ в 1929 году».

То есть с выставки, приуроченной к 10-летию комсомола.

Кстати, как раз в том же 1929 году в Ростове побывал Максим Горький. Выступал перед рабочими Россельмаша. Прочувствованно говорил, проследился даже.

Так что, скорее всего, портрет писателя создан вживую, с натуры. И, судя по всему, мастерски.

Благодаря чему Пушкарёв обрёл признание в кругу местных художников и ценителей искусства. А вскоре смог всерьёз, системно заняться станковой живописью.

Искусство наконец-то становится его профессией.

Уже в 1932 году он вступает во Всероссийский кооперативный союз работников изобразительных искусств (Всекохудожник).

А 15 февраля 1933 года — в профессиональный союз работников искусств СССР (Рабис).

* * *

Всё бы хорошо, да только как раз в это время случился голодомор, захвативший Украину и юг России. В том числе и Ростовский край.

Жизнь Пушкарёва и до того была не слишком сытной. Теперь же ему довелось узнать, что такое — жестокий, убийственный голод.

Правда, в любой ростовской столовой можно было в ту пору совершенно бесплатно получить порцию супа, да ещё и с добавкой. Вот только суп этот был не совсем обычный — всего-то лишь солёный кипяток с приправой из трав и листьев.

А вода всё-таки — не еда.

И Пушкарёва потянуло домой, на родину, в Смоленск.

Конечно, и там жизнь была не сахар. Но голода всё же не было. К тому же в Смоленске жили родичи, близкие и дальние.

Было где остановиться. Было, где голову преклонить.

И вот Пушкарёв уже в Смоленске.

Идёт по родному городу.

Солнце. Весна. Впереди — Первомай.

Идёт и видит: знакомые парни, художники, пишут портреты вождей СССР. Или, точнее, рисуют — в технике «сухая кисть».

Подошёл к ним, поговорил.

И тут кто-то попросил: «Ваня, нарисуй Сталина».

А почему бы и нет?

И нарисовал — быстро, смело, уверенно.

Пожалуй, даже слишком смело, слишком уверенно.

Закончил сталинский портрет, глянул на него и ужаснулся: у вождя — физиономия абрека. Осталось только нож в зубы вставить.

Потому как тени несколько перетемнил.

Надо бы всё переделать да некогда, пора уже портреты над улицей развешивать.

Оставалось одно — ждать, пронесёт или не пронесёт.

Пронесло.

Ночью прошёл дождь. Краски на портрете чуть-чуть размылись, слегка поблели. И Сталин обрёл вид вполне благоприличного вождя: в меру сурового, безмерно мудрого.

А Пушкарёв стал уважаемым смоленским художником.

Благо, как раз в эту пору в Смоленске было организовано отделение Всекохудожника.

* * *

Тогда же в Смоленске открылся Дом искусств — во главе с писателем В. Кудимовым.

Это был клуб, в который входили деятели искусства — чуть ли не во всех его проявлениях.

Например, художник Пушкарёв и поэт Твардовский. Оба, кстати, почти что ровесники.

Как раз в эту пору создавались Твардовским стихи «Сельской хроники», возникла «Страна Муравия». Поэт успел приобрести уже немалую известность. А заодно и репутацию «кулацкого подголоска» и злостного врага советской власти.

Во всяком случае, именно так аттестовала его местная пресса. Причём всё более и более настойчиво и яростно.

Однажды, в самый разгар травли, Пушкарёв забрёл в Дом искусств.

Было многолюдно и довольно-таки шумно.

Вдруг отворилась дверь — и все смолкли.

В дверях стоял Твардовский.

И в звенящей тишине кто-то громко прошептал: «А что? Его ещё не арестовали?»

Твардовский побледнел, развернулся, вышел.

И тотчас же, как утверждал Пушкарёв, отправился на вокзал, уехал в Москву — к другу и покровителю своему Исаковскому.

Стал столичным поэтом, а вскоре, после выхода в свет «Страны Муравии», награждён был орденом Ленина и Сталинской премией.

Вероятно, всё так и было.

* * *

В середине тридцатых годов Смоленская область, именовавшаяся тогда — Западной, включала в себя сразу 124 района! В том числе и немалую часть нынешней Калужской области.

Сама Калуга входила в состав ещё более огромной Московской области, а вот находящийся совсем неподалёку от Калуги Полотняный Завод числился по ведомству Смоленска.

Пушкарёву однажды довелось побывать в этом имении — в 1936 году, в преддверии столетия гибели Пушкина.

Приехал он туда ночью, долго стучал в дверь гончаровского дома, пока не разбудил сторожа. Тот провёл его по парадной лестнице на бельэтаж, предложив ему самому выбрать местечко для ночёвки.

В роскошных, прекрасно сохранившихся залах стояли шкафы, плотно заставленные фолиантами в золотых обрезах. Сохранилась и старинная мебель — вот только совершенно ободранная, с торчащими во все стороны пружинами.

Так что было из чего устроить себе логово для сна.

А с утра Пушкарёв отправился писать этюды. Изобразил въездные ворота гончаровской усадьбы, дорогу в парк...

Пейзажи, надо полагать, удались.

Во всяком случае, в 1937 году, во время юбилейных торжеств, они были экспонированы на пушкинской выставке в Москве.

Разумеется, и сам Пушкарёв побывал на этой выставке.

Полюбовался на собственные работы, прошёлся по залу — и вдруг услышал топот, голоса. По залу шагал Климент Ворошилов — в сопровождении свиты из знаменитых на ту пору художников, ведущих деятелей соцреализма.

Время от времени «первый красный офицер», а по совместительству главный искусствовед страны, солидно и тихо вещал то о Пушкине, то о советском искусстве. А ведущие деятели радостно и громко повторяли каждую его фразу.

Пушкарёву на всю жизнь запомнился облик Ворошилова: «был он не то, чтобы толстый, но уж очень плотный; казалось, ткни его в палец иголкой — кровь фонтаном брызнет».

Кстати, странная это была затея — всенародно праздновать столетие смерти поэта.

Но такое уж было время — странное и страшное.

В начале 1938 года в Смоленск заявился Каганович. И тотчас по его приказу, без суда и следствия, были расстреляны первый и второй секретари смоленского обкома партии (Румянцев и Шильман), председатель местного облисполкома (Ракитин), руководители Московско-Киевской железной дороги (Жуков, Голод, Солдатенко, Жуковский).

Все они были обвинены в связях с врагом народа И. П. Уборевичем, бывшим командующим Западным военным округом.

То есть, надо понимать, в служебных связях с ним: штаб Западного округа располагался в Смоленске.

* * *

В том же 1938 году в Москве были расстреляны бывшие вожди Российской ассоциации пролетарских художников — Л. Вязьменский, Ф. Коннов, Д. Мирлас, А. Северденко и Я. Цирельсон.

Событие ужасное, но для искусства той поры, как это ни дико звучит, отрадное.

Расстрел этот означал, что вынесен смертный приговор и идеологии РАПХ — прежде всего жёсткому разделению советских художников на полноценных пролетариев и неполноценных попутчиков.

Правда, РАПХ была распущена несколькими годами ранее — заодно со всеми другими художественными группировками. Но лишь теперь была

окончательно порушена претензия «пролетарских художников» на руководство искусством.

Полным ходом велось строительство Союза советских художников — поначалу в краевых и областных центрах СССР.

И вступить в этот Союз мог теперь любой художник, не являющийся открытым врагом советской власти. Будь он даже бывшим купцом или бывшим дворянином.

Что уж говорить о выходцах из мещанского сословия.

31 декабря 1939 года возникает Смоленский союз советских художников. Среди организаторов ССХ и его самых первых членов — Пушкарёв.

Такое уж было время; чтобы вступить в Союз художников, надо было создавать, строить его.

* * *

Много лет спустя, в 1967 году, выйдет в свет книга «Художники земли Смоленской» (её авторы — В. Н. Осокин, Б. Ф. Рыбченков, А. П. Чаплин, В. В. Фёдоров).

И есть в этой книге примечательная и странная фраза: «Вернулся в Смоленск из творческой командировки по РСФСР одарённый живописец И. З. Пушкарёв — участник московской отчётной выставки 1940 года».

Казалось бы, что такого необычайного в том, что местный художник вернулся из творческой командировки? Почему это надолго запомнилось?

Как раз потому, что командировка эта стала наградой за успешное участие в отчётной выставке Всекохудожника.

Впрочем, великим успехом стало уже то, что смоленскому художнику было предложено участвовать в коллективном творческом отчёте ведущих столичных мастеров.

Это означало, что Пушкарёв теперь — один из немногочисленных счастливицков, которые связаны товарищескими и договорными отношениями с руководством Всекохудожника, авторитетнейшей организацией, распределявшей огромные денежные средства.

Вот справка, выданная Пушкарёву правлением Смоленского товарищества «Художник»: «средний заработок тов. Пушкарёва составляет — 641 руб. 15 коп.». По тем временам это примерно равно зарплате высококвалифицированного инженера.

А вот официальное письмо от 12 марта 1941 года: «Правление Всекохудожника контрактирует художника И. З. Пушкарёва на 6 месяцев с выплатой ему 759 руб. в месяц».

При этом Пушкарёву предлагается самому определить тему будущей картины. И это — знак уважения и доверия к нему. К его уму. К его таланту.

К этому времени Пушкарёв уже женат.

Передо мной — служебное удостоверение художницы Смоленской областной централизованной библиотеки имени Ленина Нины Григорьевны Способиной, супруги Пушкарёва.

Дата выдачи удостоверения — 21 июня 1941 года.

* * *

Война застала Пушкарёва в Москве.

Возвращаться в Смоленск с пустыми руками он не захотел, забежал в продовольственный магазин. Но опоздал: магазин был пуст — ни покупателей, ни товара.

Впрочем, Пушкарёву чуть-чуть, но повезло.

Зрение у него было цепкое, и он заметил, что на самой верхней полке поблёскивает фольга.

Оказалось, это — шоколад.

Так что в Смоленск Пушкарёв вернулся с шоколадной плиткой.

А там его уже ждала воинская повестка.

Младший лейтенант Пушкарёв отправился на Западный фронт, стал командиром взвода 16-й роты 16-й армии.

А фронт тем временем стремительно смещался на восток.

И уже вскоре Пушкарёв вернулся в родные края: 16-я армия под командованием генерал-лейтенанта М. Ф. Лукина, недоукомплектованная, всего-то из двух дивизий состоящая, была брошена на защиту Смоленска.

Вступила в героическую и жестокую Смоленскую битву, на целый месяц остановив продвижение ударной группы армий Центр к Москве.

* * *

«Как-то утром началась очередная бомбёжка Смоленска. На этот раз была она невиданной силы и жестокости... Вокруг всё было в дыму пожарищ, громыхали разрывы авиабомб, слышались стоны раненых и контуженных. В Сосновском садике у крепостной стены жались друг к другу старики, женщины и дети»...

Это — отрывок из воспоминаний художника П. А. Шматикова.

Вероятно, именно в это утро, в самом начале июля, покинула горящий город Нина Григорьевна Способина — почти без денег, почти без вещей.

К тому же — на последнем месяце беременности.

Кричали матери, потерявшие в отчаянной неразберихе своих детей. Плакали дети...

Уже изрядно, на несколько километров, отойдя с толпой беженцев от Смоленска, Способина обернулась, прощально глянула на него.

Над городом вздымался огненный смерч. И непрерывно длился мощный гул — воедино слились шум гигантского пожара и вой гибнущих людей.

Великое множество горожан сгорело тогда заживо.

Сгорели и полотна Пушкарёва, заодно с графическими листами. Все его художественные труды разом обратились в пепел.

* * *

31 июля 1941 года завершилась Смоленская битва: уже вытесненные из города советские войска последний раз попытались перейти в контратаку, но безуспешно.

Так уж совпало, что как раз в этот день Пушкарёв стал отцом.

Но узнает он об этом лишь спустя четыре года.

Первенца своего, Николая, Нина Григорьевна родила на обочине дороги, по которой брели беженцы.

Стояла дикая жара. Не было ни лекарств, ни чистой воды, ни пелёнок.

Кто-то раздобыл у местных крестьян тряпки — в них и завернули младенца.

Лишь неделю спустя Нина Григорьевна, измученная, вконец изголодавшаяся, кое-как добралась до эвакуационного пункта, попала в роддом.

И даже справку получила, что «она родила живого мальчика».

А 15 сентября её отец, Григорий Григорьевич Способин, получил телеграмму: «Телеграфируйте место нахождения нины адресу действующая армия западное направление полковая почта 220 автосанрот пушкарёв».

Ответа не последовало: уже вскоре автосанвзвод Пушкарёва оказался в окружении.

Сохранилась крохотная бумажка. На ней дата: 8.10.41.

В этот день Пушкарёв попал в плен.

* * *

На оборотной стороне той же бумажки — ещё одна дата: 21.04.45.

День освобождения из плена.

Пушкарёв не то чтобы не любил говорить о жизни своей в немецком плену, — он вообще не говорил на эту тему.

Во всяком случае, со мной или при мне.

Лишь по его отрывочным записям можно догадаться, что примерно через месяц после пленения он оказался в концлагере, располагавшемся где-то на западе Германии, и что освободили его американцы.

Так что, скорее всего, у него была возможность остаться в Западной Европе, дабы не оказаться ненароком на «архипелаге ГУЛАГ». Однако он не побоялся вернуться на Родину.

И приехал напрямик в фильтрационную воинскую часть: 32-й запасной стрелковый полк 12-й запасной стрелковой дивизии.

Где его очень основательно допрашивали — аж до 25 ноября 1945 года, когда младший лейтенант Пушкарёв был уволен в запас.

А не отправился далее на восток — в родной советский концлагерь.

И вот что примечательно: бумажки с записями той поры, с адресами немецких городков и станций, с именами сотоварищей по злосчастью, Пушкарёв сохранил до конца жизни.

Думаю, полагал, что они ещё могут ему пригодиться: вдруг «контора глубокого бурения» почему-либо заинтересуется его долгим пребыванием в далёком зарубежье.

* * *

Пушкарёв вновь в Смоленске. Он — художник гарнизонного Дома офицеров. У него даже собственное жильё есть — комната в шесть метров.

Жить, конечно, тесновато: из эвакуации вернулась жена с ребёнком.

Но всё, как известно, познаётся в сравнении.

Весь Смоленск — в руинах. Смоляне по большей части ютятся в подвалах и землянках.

Впрочем, уже теплится художественная жизнь. И в мае 1946 года открывается достаточно обширная выставка работ смоленских художников.

Экспонируются в основном натурные этюды, к тому же чаще всего любительские. И это, думаю, был очень выигрышный фон для работ Пушкарёва — смело и основательно написанных портретов.

По мнению поэта Н. Рыленкова, автора рецензии на выставку, лучшим из них «по живописной выразительности является аккордеонист, написанный в резкой, энергичной манере, живо передающей характер изображённого лица».

«Аккордеонист» хранится ныне в собрании дочери художника. Этот портрет-тип, портрет-картина, по сути дела, первая послевоенная работа Пушкарёва. И вообще первая — в ряду всех сохранившихся его работ.

Начиная заново, с нуля, свою художническую жизнь, Пушкарёв работает много, работает напряжённо. И, главное, работает умело, сумев быстро восстановить навыки, отчасти, конечно же, утраченные за годы войны.

Следующая областная художественная выставка состоялась в 1948 году. Судя по всему, самой впечатляющей работой на ней была панорама кисти П. А. Шматикова «Пожар Смоленска в 1941 году».

Это изображение «огромного столба взметнувшегося к небу пламени, жутко озарившего охваченный огнями пожарищ Смоленск» — так описан пейзаж в книге «Художники Смоленского края».

Но ни Пушкарёву, ни Способиной увидеть пейзаж Шматикова не довелось: к этому времени они уже перебрались на постоянное жительство в Калугу.

* * *

Вообще-то, казалось бы, им разумнее было б остаться в Смоленске.

Конечно, непросто жить втроём в крохотной комнатёнке.

Но воинское начальство обещало Пушкарёву, что в ближайшие год-два ему будет предоставлена квартира. И обещание это не было пустопорожним.

Сразу после окончания войны советским правительством было принято решение о восстановлении 15 разрушенных городов — и первым в их списке был Смоленск. На строительство жилья в этом городе были выделены огромные денежные средства и масса строительных материалов.

Так ли уж это ужасно — пожить в тесноте не столь уж и долгое время?

А тем не менее уже в конце 1946 года семейство Пушкарёва покидает собственное жильё и начинает скитание по калужским «углам», которое затянется более чем на двенадцать лет.

Можно лишь предполагать теперь, по какой причине это случилось.

Помнится, однажды Пушкарёв сказал мне, что война спасла ему жизнь.

Дело в том, что в предвоенную пору он был вхож в узкий круг единомышленников, всецело доверявших друг другу, а потому не боявшихся вести вольные беседы, делиться крамольными мыслями. И лишь после

войны выяснилось, что один из тех, кто участвовал в этих разговорах, был сексотом.

Секретным сотрудником «интимных органов власти».

По счастью для Пушкарёва, все смоленские архивы были захвачены немцами, а в итоге оказались в США.

Но не исключено, что госбезопасность вновь стала проявлять интерес к художнику, только что вернувшемуся из плена. А он постарался избавить её от лишних хлопот.

* * *

Пушкарёв вступает в Союз советских художников Тулы и Калуги.

Поступает на работу в калужские художественно-производственные мастерские.

Пишет «Охотничий натюрморт», портретные эскизы, пейзажные этюды.

А весной 1953 года — картину «Прощание с вождём»: на большом холсте — лежащий в гробу Сталин и хрупкая девушка с красной гвоздикой в руке.

Торжественно-траурная работа эта, как мне представляется, мыслилась художником как прощание не только со Сталиным, но и со всей эпохой сталинизма.

И уже вскоре он пишет прекрасные «Цветы», преисполненные душевной свободой (работа эта, примечательный образец искусства первых лет «оттепели», была тогда же приобретена калужским художественным музеем).

Что ж, всё самое страшное уже позади.

Жизнь теперь течёт ровно. Но как она тяжела!

Нет своей крыши над головой — и приходится раз за разом снимать жильё.

Несколько лет всё семейство, состоявшее к тому времени уже из четырёх человек, ютилось в углу не слишком уж большой кухни.

Когда жить стало не просто трудно, а просто невыносимо, Нина Григорьевна послала письмо с мольбой о помощи Н. С. Хрущёву, первому секретарю ЦК КПСС.

До Никиты Сергеевича письмо это, конечно же, не дошло — было отправлено обратно, в Калугу, в облисполком. Но пришло-то оно сюда уже из Москвы, из Кремля.

Проигнорировать его местные власти не осмелились.

И в 1959 году в самом низу Тульского переулка, над стыком двух оврагов, выстроен был деревянный одноэтажный двухквартирный дом.

В квартире № 1 обосновалась семья И. А. Павлишака, на ту пору — председателя калужского отделения Союза художников России.

Семейство Пушкарёва поселилось в квартире № 2.

* * *

Начинается наиболее плодотворная пора в художественной деятельности Пушкарёва — на склоне его жизни.

1958 годом датируется картина «Сталевары», лаконичная и монументальная, сходная строем своим с живописью «сурового стиля», ещё только формирувавшегося тогда в Москве.



Портрет архитектора И. Н. Кузьмина.
X., м. *Собрание Калужского музея
изобразительных искусств*



Портрет реставратора Б. В. Дмитриева.
X., м. *Частное собрание*

А вскоре возникает ещё несколько картин — в том числе «Идёт операция» и «Новая роль».

Главное же, начиная с этого времени, Пушкарёв день за днём пишет портрет за портретом — в их числе и очень удачные, чрезвычайно крепкой выделки вещи: «Архитектор Иван Николаевич Кузьмин», «Кубинец Хосе Вальдес Гальванес», «Слесарь С. В. Новиков», «Художник Л. Е. Межеков», «Реставратор Б. В. Дмитриев»...

И, самый ранний из них, «Портрет врача» — Саввы Виноградова, генерала медицинской службы, приятеля Пушкарёва.

* * *

«Художники Калуги», книга 1963 года издания.

Автор — Михаил Михайлович Днепровский.

Самый первый калужский искусствовед, немало лет руководивший местным художественным музеем.

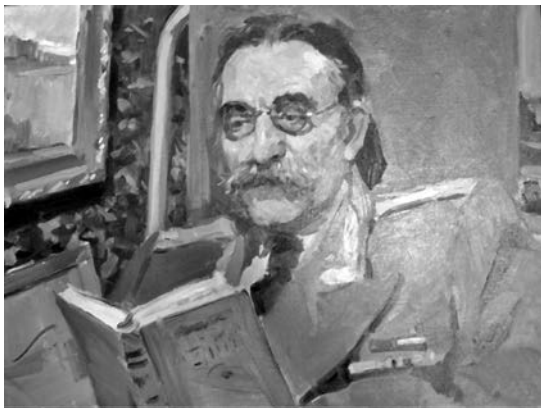
«Преимущественно в области портрета, — пишет он, — работает И. З. Пушкарёв, в прошлом активный член смоленского творческого коллектива, в котором он занимал положение одного из ведущих художников области. Это художник с большими живописными данными, хорошо чувствующий цвет, уверенно и свободно владеющий кистью. На выставках в Калуге он показал несколько превосходных по живописи женских портретов. Из его работ последних лет следует отметить «Портрет врача» (1960), в котором художник хорошо выразил характер и индивидуальные особенности человека. Портрет

написан широко, с артистической лёгкостью, он подкупает красивой и сочной живописью, и лишь некоторая перегруженность фона несколько снижает достоинства этой в общем удачной работы».

«Портрет врача» и впрямь хорош. Причём не только в общем, но и в частностях. Хотя, казалось бы, фон действительно перегружен изображением угла картины в раме и верха шезлонга.

Но портрет написан так широко, так вольно, что все полотно воспринимается как единый красочный массив. И цельность тут достигается равновесием не деталей, а живописных масс.

Насколько я помню, Днепровский несколько настороженно относился к Пушкарёву. Всё-таки тот был для него, коренного калужанина, чужак, смолянин. Тем не менее пушкарёвскую живопись он ценил весьма высоко. Во всяком случае, немалая часть работ Пушкарёва, хранящихся ныне в собрании Калужского художественного музея, приобретена в пору директорства Днепровского.



Портрет врача. X., м. Собрание Калужского музея изобразительных искусств

* * *

Мастерство живописца наиболее полно и чрезвычайно явственно проявляется в портретной живописи.

Очевидно же, что мастерски, художественно изобразить человеческое лицо многократно труднее, нежели берёзку или яблоко.

И дело не только в том, что портретист должен уметь приладить ухо к щеке и глаза к носу — да так, чтобы краски при этом не обратились в грязь.

Надо ещё немало и других задачек правильно решить.

Что ж, Пушкарёв, несомненно, — мастер портретной живописи.

Портреты он писал и широко, и точно, схватывая кистью не только приметы внешности моделей, но и их душевную стать.

Портретные характеристики столь же убедительны и точны, как и сама живопись.

Более того, они нередко разворачиваются в картинное повествование. И возникают портреты-типы — такие как «Слесарь С. В. Новиков». А то и портреты-картины — к примеру, «Новая роль»: портрет артистки Н. Д. Бедлинской, стоящей у зеркала.

В свою очередь, и персонажи сюжетных картин Пушкарёва — работяги, лётчики, врачи — чаще всего портретны.

Другое дело, что душевный строй каждого из этих персонажей обобщается и монументализируется.

А иногда и героизируется.

* * *

«Он колорист, и цвет в его полотнах звучит в едином ключе. Он рисовальщик, и штрих его смел и точен».

Так писал о Пушкарёве журналист Игорь Давыдович Шедвиговский.

И, конечно, он прав.

Надо лишь уточнить: пушкарёвские рисунки исполнены по большей части углём или сангиной. Они — живописны.

А цвет особенно мощно звучит в натюрмортах, в камерных пейзажах Пушкарёва.

Уж тут-то он давал полную волю кисти.

Писал без малейшего напряжения, вроде бы даже небрежно. Мастерски артистично.

Это было для него не столько работой, сколько отдыхом.

И уж несомненно — счастьем.

* * *

«При взгляде на его картины как-то спокойнее становится, даже теплее что ли».

Это уже Владимир Арепьев пишет, художник-поэт, художник-мыслитель.

И вообще — заслуженный художник России.

По его мнению, живопись Пушкарёва родственна старому японскому искусству. «Отсутствие внешних эффектов даёт возможность понять глубокие смыслы изображения — и задуматься, кто изображён так просто и зачем. Невозможно не вспомнить, что картины были написаны в СССР, в уже не существующей стране, в «застойные» брежневские годы. Мы никуда не спешили, понемногу грезили».

«Вот эта естественность живописи Ивана Захаровича сродни чувству, когда идёшь по лесу, смотришь безыскусным взглядом на деревья, сучья на них, на травы, выискивая в них грибы и ягоды. Душа наполняется умиротворённостью. Видно, что эта естественность не поза, не выдуманная концепция, а свойство натуры Ивана Захаровича. При этом Пушкарёв понимал, что он хороший российский мастер».

«Картины немного не закончены, не докомпонованы, не дорисованы. Но в этой незаконченности есть какая-то логика правды. Это делает картину такой доступной зрителю. И позволяет запросто любоваться ей».

«Смотрю на его картины, сюжеты которых просты и логичны. Рассматриваю детали — они гармонично поют тихим голосом, едва намеченные, но правильные по цвету, рисунку и пропорциям. Отхожу от картины — люблюсь большими пятнами, силуэтами, тонами и полутонами. Не всякому художнику дано видеть такую гармонию тонов и цветов — это за долгую трудолюбивую жизнь отшлифовано до совершенства».

«Сами портретируемые сидят в удобных позах, спокойно взирая и словоно говоря зрителю, что всё хорошо! Есть некая гармония в этой пластике. Художник не стремится удивить зрителя. И сам не удивляется. Он просто так видит, так слышит. Так живёт».

«К этому замечательному чувству добавляется великолепное колористическое видение — какое-то по домашнему уютное, сродни ощущению, когда с мороза прислонил замёрзшие руки к натопленной в отцовском доме печи».

«Время как бы замедлило свой бег, оно растворилось в этом ступке простоты и уюта!»

* * *

Как-то, совсем незадолго до смерти, Пушкарёв попросил меня помочь раскрыть ящик со старыми живописными этюдами.

И стал их рассматривать, вместе со мной, — не спеша, обстоятельно, молча. Лишь кивал головой в ответ на мои суждения и оценки.

Был он приметно слаб, но просмотрел все этюды, весьма и весьма многочисленные.

Казалось, что он прощается с ними, с живописью своей.

А когда работы были заново упакованы, тяжело ступая, ушёл к себе, в свою комнатёнку.

Виделся ли я с ним ещё? Вряд ли.

В памяти так и осталось: ушёл навсегда.

* * *

Любое художественное создание — духовный автопортрет его создателя.

В той или иной мере.

Даже если это пейзаж или натюрморт.

Пушкарёв, замечательный портретист, никогда, кажется, не изображал самого себя. Не считал, видимо, нужным обнажать свой душевный мир, не хотел выставляться перед публикой. Уж нарциссизмом он точно не страдал.

Но зато вся его живопись автопортретна — в наивысшей мере.

И как раз потому, что никогда не стремился он к самовыражению, а уж тем более к исповедальности. Что называется, не рисовался. Не вставал в позу — виртуоза ли, мудреца ли.

Прав Арепьев — живопись Пушкарёва совершенно естественная. Да, он рисовал и писал — как жил.

И в работах своих он такой, каким был на самом деле.

Ежедневно, порой ежечасно видя работы Пушкарёва, я вновь и вновь вижу его самого. Не внешний его облик вижу, конечно, а его душевную стать, самую его душу.

Ощущаю его присутствие.

Ощущаю неспешный, но смелый ход мысли и кисти.

Ощущаю его взгляд — цепкий, умный, но и неожиданно простодушный, жадно охватывающий приметы быта и бездонные глубины бытия.

Давно уже нет его на земле. Но вот он, тут, передо мной.

Живы создания — жив, пусть отчасти, и их создатель.

Судьба и личность, жизнь художническая претворились в живопись. А живопись стала жизнью.

Не знаю, вечной ли. Но, несомненно, долгой.



Юрий Холопов

Юрий Васильевич Холопов родился в 1957 году. Окончил Калужский педагогический институт им. К. Э. Циолковского. Работал в школе, областных и межрегиональных газетах, специалистом пресслужбы губернатора Калужской области, методистом Калужского государственного института развития образования. Автор трёх поэтических и семи историко-краеведческих книг. Лауреат областных и общероссийских конкурсов. Член Союза российских писателей. Живёт в Калуге.

ПРИТЧА О БОЛЬШОМ ТАЛАНТЕ

В этом году исполняется 110 лет со дня рождения известного советского композитора, уроженца г. Калуги, Серафима Сергеевича Туликова (1914–2004). О его творчестве сказано и написано немало. Калужанам он больше известен как автор замечательной лирической песни «Здравствуй, милая Калуга». Музыкальный фрагмент этого произведения долгое время был позывным калужского областного радио. Но сегодня нам хотелось бы рассказать о малоизвестной стороне жизни Серафима Сергеевича — о его сотрудничестве с калужской музыкальной общественностью.

* * *

Серафим Сергеевич за свою долгую творческую жизнь побывал во многих городах и странах, но никогда не забывал ни о родной Калуге, ни о калужской творческой интеллигенции. Он всегда стремился помочь землякам, дать им возможность проявить себя в музыкальном искусстве. И это стремление всегда находило живой отклик у самих калужан.

В 2005 году заслуженная артистка России, лауреат Всероссийского конкурса народной песни, солистка Калужской филармонии Нина Константиновна Крылова оставила об этом такие воспоминания:

«Песни Серафима Сергеевича я знала ещё с детских лет. Их часто передавали по радио, когда телевизоров ещё не было в помине. Это очень глубокий композитор, прекрасный мелодист. Но надо сказать, что его песни были по плечу не каждому солисту. Даже в советские времена, когда на природные вокальные данные обращали особое внимание. Произведения Серафима Сергеевича для вокала довольно-таки сложны по своему диапазону, и никакие технические «приспособления» здесь не помогут.

Помню и люблю его прекрасную песню «Любите Россию», которую мне впервые довелось исполнять, как говорится, официально. Спела я её в Калуге в 1970 году на праздничном концерте, посвящённом 25-летию победы



С. С. Туликов



Н. К. Крылова

над фашистской Германией. Эта песня, написанная Серафимом Сергеевичем на слова поэта-песенника Олега Милиявского, стала сразу известна на всю страну. Её пели тогда многие известные советские артисты, а также её можно было услышать в любом сельском клубе в среде художественной самодеятельности.

В семидесятые годы Серафим Сергеевич нередко приезжал в Калугу. Его часто приглашали с концертами в родной город. Он всегда откликался на приглашения и радовал нас, калужан, своими новыми песнями. Нередко это были концерты, на которых совместно выступали и московские, и калужские артисты. Сегодня, к сожалению, это большая редкость.

Однажды, в начале 1974 года, на одном из наших совместных концертов, где мне довелось выступать, ко мне подошёл Серафим Сергеевич и сказал: «Ниночка! Я готовлю в Москве свой юбилейный творческий вечер. Приглашаю вас выступить на нём». Я, конечно, согласилась.

Речь шла о предстоящем концерте в Колонном зале Дома Союзов, посвящённом 60-летию композитора. Готовиться к этому юбилейному концерту пришлось не откладывая ни одного дня, потому что времени оставалось мало. И волновалась я, конечно, очень сильно.

В Москве, в Колонном зале, прошли всего две репетиции. А на юбилейный концерт Серафима Сергеевича приглашены были руководители Министерства культуры страны, известные артисты, и петь предстояло под знаменитый симфонический оркестр, которым руководил Юрий Васильевич Силантьев. На той же сцене со мной должны были выступать Лев Лещенко, Валентина Толкунова, Леонид Сметанников, Николай Гнатюк, Клавдия Шульженко... Так что было из-за чего волноваться.

Спеть предстояло две песни Туликова: «Лишь ты смогла, моя Россия» и «Родимая сторонка». Последняя песня должна была исполняться со сцены впервые. Серафим Сергеевич тогда мне сказал, что написал её специально для меня — солистки из Калуги.

Это был серьёзный экзамен. И я его, как сказали взыскательные слушатели, с честью выдержала. Этот юбилейный концерт Туликова, который тогда транслировался по телевидению на всю страну, но прошёл он отлично, как говорится, на одном дыхании. Меня, певицу из Калуги, зал принял тепло и радушно. Были аплодисменты и много цветов.

Как это бывает всегда, после юбилейного концерта — банкет. За одним большим столом сидели представители Министерства культуры, сам юбиляр, видные деятели культуры, все исполнители песен. Было много поздравлений в адрес юбиляра, много искренних пожеланий.

Помню, как, отвечая на поздравления, с места поднялся сам Серафим Сергеевич и сказал, что нельзя забывать глубинку. Что надо больше внимания обращать на певцов и певиц из провинции, где живёт немало дарований. И тут же привёл конкретный пример: «Вот Нина Крылова из Калуги сумела спеть так, что дай Бог каждому!»...

Позже я вновь была приглашена на концерт с участием симфонического оркестра под управлением Юрия Васильевича Силантьева. Пела песни Серафима Сергеевича, которые исполняла на его юбилейном концерте. Позже к ним прибавилась ещё одна его замечательная песня «Ты промчи меня, зима».

Песни Туликова мелодичны, красивы, глубоки по своему эмоциональному содержанию. В них много душевной теплоты, они несут в себе стихию народной песни. Помню, когда я позже, будучи в составе правительственной делегации, исполнила в ГДР песню Серафима Сергеевича «Половодье», то весь зал встал и аплодировал мне...»

Заслуженная артистка России, лауреат Всероссийского конкурса народной песни, солистка Калужской филармонии Нина Константиновна Крылова много лет активно сотрудничала с оркестром народных инструментов Калужской областной филармонии. В её репертуаре присутствовали песни современных исполнителей и русские народные песни. Хочется думать, что её имя калужане будут долго помнить за её талант и душевную щедрость, как помнят композитора Туликова.

* * *

О своих встречах с Серафимом Сергеевичем также рассказывает бывший заместитель директора департамента культуры и искусства, председатель Калужского отделения Союза композиторов России Александр Иванович Типаков:

«Первая моя встреча с Туликовым состоялась в 1985 году в Калуге. Тогда с некоторым опозданием праздновалось его 70-летие. В эти дни были у него интересные встречи с творческими коллективами нашего города, были концерты, которые проходили в основном в ДК Калужского турбинного завода.

На одном из таких вечеров был и я. Помню, это был очень насыщенный концерт, на нём звучали, практически, все жанры творчества Серафима Сергеевича: его кантата «Приокские рассветы», многие песни в исполнении лучших калужских творческих коллективов и солистов. Выступали лучшие хоры, хоры коллективы, оркестры. Этот вечер отличала удивительная атмосфера

тепла. Зрители горячо приветствовали Серафима Сергеевича, поскольку знали, что он — уроженец Калуги. Сразу же наметилась атмосфера удивительного взаимопонимания между композитором и теми, кто сидел в зале.

Серафим Сергеевич, который был в очень хорошей творческой форме, сам исполнил несколько своих сочинений на рояле. Он лично аккомпанировал хору, исполнявшему его песню «Здравствуй, милая Калуга» и ещё сыграл фрагмент своей замечательной песни «Родина».

После этих творческих вечеров у меня наметились тёплые отношения с ним, которые переросли в дружеские. В 1989 году мне было поручено организовать подготовку концертов, посвящённых 75-летию композитора. Готовились все тщательно, но волнение наше было огромным.

Концерт проходил в концертном зале Калужской областной филармонии. Туда же был приглашён оркестр русских народных инструментов под руководством заслуженного деятеля искусств России Евгения Михайловича Тришина, солисты областной филармонии, камерный оркестр под управлением члена Союза композиторов Гарри Азатова, заслуженная артистка России Эльвира Никифорова, заслуженный артист России Вячеслав Чибисов, заслуженный артист Российской Федерации Александр Бренков, известные коллективы — «Вечерний звон», «Лирическое концертно», солисты из Обнинска.

На этом концерте присутствовали также супруга Серафима Сергеевича — Софья Яковлевна Туликова и дочь — Алиса Серафимовна.

После концерта у меня завязались с композитором достаточно серьёзные творческие отношения. Начну с того, что он очень доброжелательно, с какой-то особой заботой отнёсся к моим произведениям. Я, даже не пытаясь просить его делать какие-либо замечания, оставил ему как композитору композитору (такое бывает нередко) готовящийся к изданию сборник своих произведений. Каково же было моё удивление, когда, приехав к нему домой, в Москву, я получил от Серафима Сергеевича его рукописный анализ всех произведений, входивших в мой сборник. Я был поражён тем, что профессионал высочайшего класса, добровольно, не считаясь со своим временем, сделал полный анализ моей работы. Там были произведения на стихи А. С. Пушкина, в основном — хоровые произведения.

Я, как композитор, знал, что Серафим Сергеевич в своё время проанализировал всю историю хоровой полифонии, а поскольку в моём сборнике находились произведения в основном полифонического склада, то лучшего подарка от судьбы и нельзя было ожидать.



А. И. Типаков

Серафим Сергеевич сделал теоретический анализ каждого произведения, входившего в сборник. Это было серьёзное исследование — пять страниц текста убористым мелким почерком. Для меня его рукопись — бесценный дар.

Практически замечаний, требующих доработки моих произведений, не было. За исключением одного: у меня в готовящемся сборнике были две песни о Стеньке Разине. Как известно, у Пушкина — три песни о Разине, но я использовал только две.

Сам исторический образ атамана Степана Разина, как я понял, для Серафима Сергеевича был, с точки зрения понимания им истории России, не положительным, а скорее, отрицательным. Кстати, и в истории донского казачества личность Степана Разина не пользуется особым авторитетом, хотя сам атаман был исконным донским казаком.

Скорее всего, именно по этой причине Серафим Сергеевич отверг включение в сборник двух сочинений о Разине, но после долгих раздумий я всё-таки оставил одно, где действительно очень развита полифоническая идея. И Серафим Сергеевич со мной согласился. В целом он дал высокую оценку моим хорovým сочинениям. Это меня порадовало, вдохновило и заставило продолжить работу в том же направлении...

Было и другое событие. В 2000–2001 годах департамент культуры и искусства Калужской области занимался подготовкой к празднованию Дня славянской письменности и культуры. Мне, как композитору, повезло, поскольку режиссёрско-постановочная группа театрального агентства при министерстве культуры от Калужской области включила меня в число авторов музыки к этому действию. Звучал во время празднования ряд моих произведений, как на площади Старый Торг, так и на основной площадке возле Калужского музея истории космонавтики, во время заключительного действия под названием «Спаси и сохрани».

Большим симфоническим оркестром Министерства обороны исполнялись мой хорал для оркестра и другие хорové произведения. Там же при заключительном, самом главном действии, при огромном стечении калужан и гостей Калуги, звучала музыка Серафима Сергеевича.

Серафим Сергеевич знал о нашем празднике, знал о том, что на нём будут исполняться его произведения, но не смог присутствовать по состоянию здоровья.

В дальнейшем у нас были и другие творческие контакты с Серафимом Сергеевичем. Меня всегда поражала его удивительная работоспособность. Он постоянно находится в творческом горении, постоянно что-то сочинял, над чем-то работал.

Мне доводилось неоднократно бывать у Серафима Сергеевича в гостях. У него в центре Москвы, была очень уютная квартира рядом с Союзом композиторов России. В квартире Туликова стоял хороший кабинетный рояль «Блютнер», в самом кабинете замечательная библиотека — художественная и нотная. И, что очень ценно, мне всегда это бросалось в глаза, — всё связанное с Калугой (альбомы, краеведческие книги, энциклопедические издания) — все присутствовали в его библиотеке, и, как я понял, он регулярно

читал и просматривал. Он сам говорил: «Я вдохновляюсь этими книгами. Они напоминают мне о моей родине — Калуге».

В Туликове меня пленяли удивительная доброта и гостеприимность. Он очень любил своих земляков и очень внимательно следил за тем, как создавалось в Калуге наше областное отделение композиторов России. А когда состоялось его официальное открытие, он прислал в Калугу своё послание, которое было зачитано председателем Союза композиторов России Владимиром Викторовичем Казениным.

Он написал очень благожелательные слова по поводу выхода в свет сборника произведений калужского композитора Сергея Дусенка (сборника хороших сочинений — обработок русских народных песен).

По какому бы поводу к нему ни обращались, Серафим Сергеевич всегда шёл навстречу и, не обращал внимания на время, мог часами обсуждать проблему, с которой к нему пришли. Это была личность с очень сильным характером — и творческим, и человеческим. Он был совершенно непоколебим в отстаивании своего творческого кредо.

Последнее издание произведений Туликова, вышедшее в свет в 2003 году, — сборник романсов на слова известных русских поэтов. Это замечательные романсы, распевные, имеющие изумительную фактуру и прекрасно выполненную партию рояля...»

* * *

8 декабря 2003 года в областном драматическом театре им. Луначарского состоялось празднование 50-летия Детской школы искусств № 2 имени Серафима Туликова. Праздничному концерту предшествовала официальная часть, на которой выступили губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, директор департамента культуры и искусства Евгений Тришин, городской голова Калуги Валерий Иванов, представители Министерства культуры России, городского управления культуры, выпускники предыдущих лет самой школы искусств...

В адрес юбиляров звучало немало тёплых слов, вручались дорогие подарки, букеты цветов. Чествование Детской школы искусств имени Серафима Туликова в тот день стало настоящим праздником музыки для всех, кто пришёл на этот юбилей. Главными героями дня были, конечно, юные музыканты, которые продемонстрировали своё исполнительское искусство на самом высоком уровне. Изюминкой школы стал оркестр народных инструментов под руководством заслуженного артиста России В. С. Иванова.

Много раз бывал в Детской школе искусств № 2 Серафим Сергеевич Туликов. На первом этаже школы музыкальные педагоги к юбилею композитора организовали его музей. К сожалению, из-за нездоровья Серафим Сергеевич не смог тогда присутствовать на юбилее Детской школы искусств, носящей его имя. Но он передал свои слова приветствия педагогам и учащимся. Ему, патриарху российской песни, было приятно осознать, что родной город Калуга по-прежнему верен своей исторической традиции — давать России настоящих мастеров музыкального искусства.

* * *

Серафим Сергеевич Туликов скончался 29 января 2004 года в Москве. На похороны Серафима Сергеевича в ясный морозный день 4 февраля из Калуги в столицу выехала калужская делегация. Выдающийся композитор-калужанин был похоронен на Ваганьковском кладбище.

В завершение гражданской панихиды в доме московских композиторов прозвучали две песни Серафима Сергеевича Туликова: «Любите Россию» и одна из его самых сокровенных лирических песен «Жизнь моя, любовь моя», посвящённая композитором в дни молодости его доброму другу, жене Софье Яковлевне Туликовой.

Отпевали Серафима Сергеевича Туликова по православному чину в небольшой церкви Ваганьковского кладбища. Молодой батюшка, завершив обряд отпевания, напомнил всем притчу из Священного Писания о работниках, которым хозяин, уезжая надолго из дома, раздал таланты (серебряные монеты). Один от страха потерять, закопал талант в землю, а другой, желая приумножить дар, пустил деньги в оборот, стал больше трудиться, но зато вернул позже приехавшему господину больше, чем получил, чем и снискал доброе слово от хозяина. Трудно было вспомнить более уместную историю.

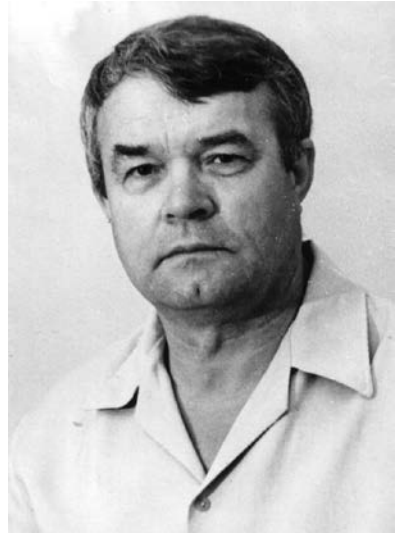
Вряд ли кто теперь может подсчитать, сколько труда и упорства приложил приёмный сын калужского башмачника Сима Туликов, чтобы стать в ряд лучших композиторов СССР — крупнейшей державы мира. Специалистами-музыковедами подсчитано, что композитором Туликовым написано свыше четырёхсот музыкальных произведений. Сколько точно — подсчитать трудно. Ясно одно: дарованные ему от Бога таланты он вернул людям в сотни раз их приумножив — в виде своего неповторимого музыкального творчества. В могилу Серафима Сергеевича легла горсть калужской земли.

Андрей Убогий

АЛЕКСЕИЧ
(Валентин Алексеевич Волков)

Так его называли многие — и не только в нашей, так любившей Волкова, семье. Да и он сам относился к себе именно так, по-простецки — например, когда завершал рассказ о собственной жизни возгласом: «Будь здоров, Алексеич!»

Больше того: упоминая в разговоре кого-либо третьего, он любил из фамилии (звучащей, согласитесь, всегда несколько чопорно и отстранённо) сделать именно отчество. Так, Панфёров у него превращался в «Панфёрыча», Трефилов в «Трефилыча», а Куняев — в «Куняича». И сразу же тот, о ком шёл разговор, становился словно другим человеком — живым, тёплым, близким — вот именно, свойским. Думаю, Алексеич не раз пытался переименовать в добродушное отчество и нашу с отцом казачью фамилию: но Убогих, как и горбатых, может исправить и переделать только одна вещь на свете.



В. А. Волков

А его, Алексеича, страсть обниматься? Вот видишь его коренастую, вразвалку шагающую, фигуру — медвежью походку Волкова знала, кажется, вся Калуга — вот на его привычно-суровом лице расплывается радостная улыбка — вот он, приближаясь, разводит руки, словно собирается применить неотразимый борцовский приём — и вот уж ты крепко прижат к его крепкой груди, а его тяжёлые кисти (как-никак руки деревенского кузнеца!) гулко хлопают тебя по спине, разбивая твою речь приветствия на какой-то отрывистый кашель...

А как он любил и умел пошутить? Не помню ни одной встречи с Волковым — а их было немало — когда бы мы не посмеялись буквально до слёз: и это при том, что печаль была его неотступной подругой и спутницей. Всех его шуток и присказок, разумеется, я не припомню — да и что они стоят без обаяния личности автора? — но уж одна, без сомнения, пройдёт сквозь века. Я про его «Эпитафию» — ту, над которой, уверен, от души посмеялся бы и позавидовал ей сам Роберт Бёрнс:

Я в жизни никому не сделал больно:
Одной лишь девушке — и та была довольна...

И в этом во всё — в тёплом юморе, в игре на гармонии и пении, в страсти к объятиям, в переименовании фамилий в добродушные, свойские отчества — проявлялась сама душа Волкова: душа, так желавшая всех и вся пожалеть, обогреть и утешить. Мир ощутимо теплел рядом с ним; Алексеич был словно печка, что согревает — как солнце — и грешных, и праведных.

Но вот откуда была в нём, помимо его доброты — и такая печаль? Я даже хотел назвать краткие эти заметки «Человек доброты и печали»: потому что именно два эти свойства (или, точнее сказать, состоянья души) наполняли Волкова целиком. Недаром же и завершил Алексеич свой писательский путь книгой именно в жанре «печали»: «Печаль о братьях Киреевских».

На первый-то взгляд, особо печалиться да горевать писателю Волкову было не о чем. Я не знаю другой столь же благоприятной писательской судьбы — как та, которая выпала ему. Двадцатилетним юношей из деревенской кузни попасть сразу в Литинститут и стать профессиональным писателем: такое бывает, наверное, только в сказках про Золушку. («Да, — засмеялся бы, думаю, он, прочитав эти строки — сажи на мне после кузни осталось немало: еле отмылся!») И потом, почти пятьдесят лет, он жил только творчеством: то есть перо кормило его и семью, и обеспечивало хорошим жильём, и создавало ему те почёт-уважение в обществе — коих он, несомненно, заслуживал. Книги у Волкова выходили исправно; даже в годы безвременья — то есть после распада Союза, когда власти стали смотреть на литературу, как на нечто бессмысленно-лишнее — Валентина Волкова всё равно издавали. Похоже, он был последним писателем, издававшимся на «казённые» деньги: видимо, обаяние его личности растапливало даже заскорузлые души чиновников.

Так вот почему при таком внешнем благополучии его писательской жизни — с чела Алексеича не сходили тяжёлые тучи печали? Что он оплакивал — всю свою жизнь?

А оплакивал он два родных себе мира — которые он пережил, и печаль от разлуки с которыми так омрачила его последние годы. Первый мир, в котором он вырос, наладился жить, выбрал суженую по имени Вера — мир, без которого поэт Волков не мыслил, не чувствовал, не существовал — был мир русской деревни. И этот мир исчезал у него на глазах: из пятидесяти жилых домов той деревни Ивановское, какую запомнил и полюбил Валентин Волков, осталось три — один из которых и был родным домом поэта.

А другой мир, исчезнувший ещё неожиданней, чем первый — была та литературная жизнь, в которую молодой Валя Волков окунулся со всем доверием и восторженной пылкостью юности. И это, конечно, был тяжкий удар: целые десятилетия чувствовать себя в литературе, как в многолюдном, удобном и тёплом, добротном отстроенном доме, где всякому пишущему находилась и стол, и кров, где о каждом жильце заботилось, ни много ни мало, само государство — и вдруг оказаться почти что бомжом на руинах, подбирающим, среди обветшалого хлама, какие-то жалкие крохи... Прежний литературный мир рухнул вместе с империей, что его создавала, и уже никогда никому не вернуться туда, где писателя величали «властителем дум», где книжные тиражи достигали немислимых цифр и где рассказ или повесть, напечатан-

ные в каком-нибудь «толстом» журнале, мгновенно оказывались предметом горячего интереса и обсуждения для миллионов читателей — от южного Бишкека до северного Мурманска, и от азиатского Владивостока до европейского Калининграда.

Как же было не горевать Алексеичу, когда он, дважды за жизнь, потерял и опору, и родину — и, кажется, смысл собственного, никому уж не нужного, существования? У него есть стихотворение, передающее именно это вот состояние безопорности, потерянности и недоумения:

Сегодня грязь в реке, и рыбам плохо видно —
Ни берегов, ни омутов, ни дна.
Дождями взбитая, плывёт живая глина,
Живая глина — жабры жжёт она.
Я представляю рыбе положение —
Вдруг потерять пространство пред собой,
И в слепоте не видеть окруженья,
В котором тайно шастает разбой...

Помогла же ему устоять, как писателю и как человеку — та самая русская, полная доброты и печали, душа: которой поэт Волков жил, которую слушал и слышал, и которая, по выражению Тертуллиана, есть «природная христианка». Как сам Волков говорил о своём пути, последние годы жизни он двигался «от земли к небу, и от песни — к молитве».

Думаю, именно эта, народная и природная, христианская составляющая души позволила Алексеичу оставаться таким светлым и тёплым, всегда излучающим доброту, человеком. И в этом — в движении ко Христу — деревенски-крестьянский писатель Валентин Волков был тоже очень народен, естественен, прост; недаром в народном сознании понятия «христианин» и «крестьянин» так близко сходятся.

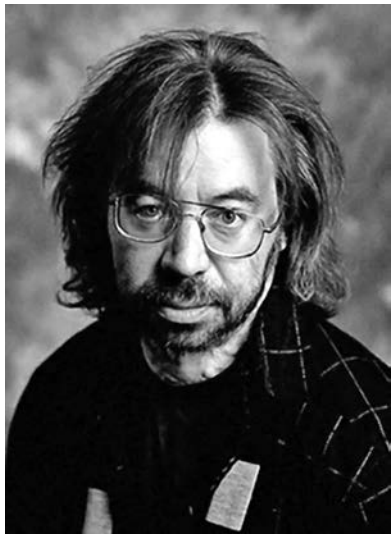
А мы с вами — те, кому посчастливилось знать Алексеича — мы узнали, через его жизнь, личность и творчество, что такое: быть настоящим народным писателем. И, пусть такого звания нет ни в одном официальном реестре чинов; но именно это — «народный писатель» — первым приходит на ум, когда вспоминаешь о Волкове.

Спасибо тебе, Алексеич!

Андрей Убогий

САША ПЛЕТНЁВ
(Александр Борисович Плетнёв)

Принимаясь за эти страницы, я подумал: если бы так получилось, что не мне о Плетнёве, а ему обо мне пришлось писать воспоминания — сильно бы они отличались от того, что пишу сейчас я? Может быть, и не очень-то сильно. Саша, наверное, вспомнил бы те же самые наши с ним встречи, что помню и я, припомнил бы те же самые разговоры, что мы с ним вели;



А. Б. Плетнёв

во всяком случае, сходство наших воспоминаний — моих, только что начатых, и его воспринимаемых — было бы куда больше, чем их различие. Но ведь это же означает, что я принимаюсь сейчас за посмертные записи как бы и о себе самом тоже: воспоминания об ушедшем товарище становятся и некрологом самому же себе. Жутковатая, в сущности, мысль — как и всё, что касается смерти...

Но тогда, когда мы с Плетнёвым познакомились и разговорились впервые — до смерти было ещё далеко. Впереди и вокруг была жизнь: был майский вечер на окраине города — рядом шумело Грабцевское шоссе — и в очереди к пивному ларьку, уже возле окошка, я заметил Плетнёва. Я уже знал, что он — главный режиссёр драмтеатра. А не обратить внимания на Плетнёва было нельзя: живой, умный взгляд

сквозь очки, чёрные кудри до плеч и рубцы от ожогов на шее. Наши взгляды пересеклись, я достаточно бесцеремонно спросил: «Александр Плетнёв?» — он кивнул и пригласил меня занять место в очереди рядом с собой.

В тот вечер на шаткой скамейке за грубым столом мы пили пиво часа, наверное, два или три, до глубоких сумерек — и Саша рассказывал мне свою жизнь. Тогда я впервые узнал и о том, как он горел. Когда ему было четырнадцать лет и он что-то делал возле газовой плиты, полу красной рубахи, в которой был Саша, сквозняком отмахнуло к огню, ткань вспыхнула, и за пять-шесть секунд подросток превратился в пылающий факел. В квартире никого больше не было, горящий Саша выскочил на лестничную площадку и, крича, побежал вверх по лестнице. На счастье, в эту минуту открыл дверь сосед, живший этажом выше. Он увидел жуткую эту картину — несущегося по ступеням, орущего и пылающего подростка — метнулся обратно в квартиру, схватил одеяло и, выскочив снова на лестницу, накрыл им горящего Сашу.

С такими ожогами, какие получил Плетнёв, не выживают. Трудно сказать, почему и как он всё-таки выжил — в течение целого года являясь героем и гордостью ожогового центра больницы имени Склифосовского. Сам Саша считал, что его спасли лыжи. Года за два до того, как всё это случилось, он записался в лыжную секцию, много тренировался, и так «раздышал» свои лёгкие, что даже тяжёлая пневмония, которая обычно и «добывает» ожоговых больных — не смогла его одолеть.

Несколько месяцев Саша пролежал в реанимации, распятый на кровати с раскинутыми в стороны руками и запрокинутой головой: чтобы рубцовые контрактуры, неизбежно возникающие на месте ожогов, не свернули б его навсегда, как зародыша, во внутриутробную позу. Единственное,

что связывало его тогда с внешним миром — была система зеркал, которую Сашин отец развесил по палате с таким расчётом, чтобы Саша мог видеть больничный двор, а там тех, кто пришёл его навестить. Что это были за месяцы и что пережил как сам Саша, так и его родители, чей сын балансировал между жизнью и смертью, — трудно даже вообразить, а не то что об этом писать.

Но несомненно: не будь в Сашиной жизни этих трагических месяцев — не будь опыта умирания, а затем мучительно-долгого возвращения к жизни — мы не знали б того режиссёра Плетнёва, о котором пишем теперь мемуары. Та энергия жизни, что в пятнадцатилетнем подростке обычно расплёскивается вовне — в Саше Плетнёве, одиноко распятом на медицинской кровати, аккумулировалась вовнутрь, сгустившись в ту самую силу, которая позже так действовала на людей и позволяла ему творить с той свободой и дерзостью, какая даётся лишь людям, на личном опыте знающим, где кончается жизнь — а где начинается смерть.

Не это ли самое — то есть долгое пребывание на границе меж жизнью и смертью — вручило ему, как награду, то безошибочно-верное чувство «живого» и «неживого» в искусстве, которое Саше не изменяло? Касался ли наш разговор литературы, или театра, или какого-нибудь человека — критерий «живой-неживой» был едва ли не главным, что звучал из его уст. И если сейчас мы вспомним спектакли, которые Плетнёв поставил за свою жизнь — а их было четыре десятка — то самое главное, что мы можем сказать о них обо всех — это то, что спектакли Александра Плетнёва всегда были очень живыми.

После того разговора возле пивного ларька, о котором я вспомнил, припоминается баня на Маяковке, куда я, большой любитель парной, привёл как-то Сашу. Ему было всё интересно: и печь, и полки, и гул мыльного зала, и разговоры в предбаннике — весь, так сказать, театр калужской парной, который я был рад представить Плетнёву. А мужики-парильщики, помнится, сначала с недоумением косились на Сашу — его жилисто-жёсткое тело было, в буквальном смысле, сшито из лоскутов — а затем с уважением видели, что новичку нипочём самый огненный пар. Действительно: что ему пар, если Плетнёв бывал и не в таких переделках?

После бани опять было пиво — на этот раз в магазине у почты, возле окна, за которым мы видели улицу: дождь, деревья, машины, шагавших людей. Разговор наш, как это нередко бывало, опять шёл о театре. О том, например, что те люди, которые, поодиночке и парами, проходят вон там, за стеклом — эти люди шагают как будто по сцене театра. И было бы здорово поставить спектакль, в котором актёры поочерёдно пересекали бы сцену, переживая, у всех на глазах, короткую жизнь с мимолётным сюжетом — каждый свою, совершенно особую, и в то же время такую типично-знакомую. А потом бы они исчезали из глаз, в закулисы — вот точно так же, как прохожие за оконным стеклом исчезают из наших глаз, только-только успевших немного их разглядеть. Из этой идеи мог бы получиться отличный спектакль — тогда, после парилки, мы были в этом уверены. Ведь,

по сути, все мы, живя свою жизнь, проходим друг мимо друга, как прохожие на тротуаре — в лучшем случае, успевая пожать друг другу руки да сказать несколько малозначительных слов. Жаль, что Саша этот замысел так и не воплотил; в утешение можно сказать только то, что жизнь и сама непрерывно ставит для нас подобный спектакль, в котором мы и актёры, и зрители одновременно.

Может, я был бы и рад видиться с Сашей Плетнёвым почаще, чем это случалось — но разве легко нам вырваться из тех пут обыденности, которые вяжут нас по рукам и ногам? Даже если, улучив время, зайдёшь к Саше в театр — то видишь, как главного режиссёра рвут буквально на части: телефоны звонят непрерывно, в двери его кабинета врываются разные люди — все, как один, с неотложными проблемами — и некогда даже спросить: «Ну как дела, Саша?»

Как-то, правда, мы всё же вырвались из этого театрального коловращения — и оказались на старом калужском автовокзале, под навесом кафе, в уютной вокзальной бездомности и неразберихе. Вообще, Саша очень ценил и, кажется, разделял моё пристрастие к «забегаловкам», «рюмочным» и вокзальным буфетам — к тем бесприютным местам, где мимолётный уют разговора и встречи ощущаешь острее всего. Третьим в нашей компании был коньяк «Белый аист»; и мы отлично тогда посидели, под гулкие хрипы диспетчеров и под гудение отъезжавших автобусов. Хлынул, помнится, ливень, и под наш навес стало засекать брызгами — но разговор занимал нас всё больше, и дождя мы почти не заметили.

А речь тогда шла — хорошо это помню — о главных вещах: о любви и о смерти. У Плетнёва был тренер, тот самый лыжник, благодаря которому Саша укрепил лёгкие и выжил после ожогов; этот тренер, уже умирая от рака, сказал на прощание Саше, тогда неприкаянному скитальцу: «Помни, Плетнёв: у человека должно быть место, откуда его вынесут». Эта странная, в сущности, фраза — не всё ли равно, откуда и как понесут твоё мёртвое тело? — очень, помнится, волновала Плетнёва, и он, подперев лоб руками, повторил её несколько раз. Смысл этой фразы и серьёзность того, как к ней относился Плетнёв, приоткрылись мне только сейчас. Саша, истинный режиссёр, видел всю нашу жизнь, как огромный спектакль, в котором все мы, кто хуже, кто лучше, играем те роли, что нам предначертаны. Играть надо честно, на полной отдаче всех сил, и не портить концовки — в том числе той мизансцены, где героя под траурный марш (или вовсе без всякого марша) проносят в гробу. Беспокоясь даже о том, откуда его понесут, Саша переживал за правильный ход всего действия — действия, превосходящего рамки его собственной жизни и жизненной роли, — то есть, в сущности, он выражал, этим своим беспокойством, согласие с волей Того, кто и ставит спектакль под названием «жизнь».

Это, думаю, самая честная вера — та, что рождается из сердцевины того, чем живёт человек, чему он отдаёт свои силы и душу: в данном случае из профессии театрального режиссёра. Так и врач — если он истинный врач — должен верить в Творца как Врача, учитель — в Творца как Учителя, и даже

сапожник или портной (если он мастер, артист, виртуоз своего ремесла) должен верить в Творца, как Сапожника или Портного — в Того, кто без усталости шьёт и тачает непрочную, зыбкую ткань бытия.

Но мы отвлеклись. Дождь уже перестал, «Белый аист» почти опустел, и разговор наш пошёл о любви и о женщинах — но об этом, пожалуй, писать я не буду. Тем более нашей беседе то и дело мешали. Какие-то люди то подсаживались за наш столик, приставали с вопросами или признаниями, то уходили — и сумбур ситуации всё нарастал: словно действие в театре абсурда. Нарастающий хаос и хмель всё сильнее понуждали меня к бегству — и я, пожав Саше руку, нетвёрдой походкой ушёл за пять минут до того, как Плетнёва забрали в милицию. До сих пор стыдно, что я бросил товарища, не разделив с ним тех двух-трёх часов заточения, которые выпали Саше: потом-то, конечно, его отпустили. Помню, с какой удивлённой печалью посмотрел на меня, уходящего, Плетнёв — ну что же, мол: коли собрался, иди... Но, с другой стороны: должен же кто-то из двух уйти первым? Вот теперь ушёл он, и теперь я, в свой черёд, гляжу ему вслед с печальным недоумением: куда же ты, Саша, так поторопился?..

Предвижу упрёк: отчего в этих воспоминаниях так мало видно самого Плетнёва, а всё перечисляются какие-то выпивки с ним по вокзалам да подворотням? Что ж, попытаюсь исправиться. И сразу же натыкаюсь на сложность: стараясь точнее описать человека, всегда ищешь какую-то формулу — а она, разумеется, всё упрощает, и очень сужает размеры любой живой личности. Но уж если без формул не обойтись, то по отношению к Саше Плетнёву можно сказать: он был романтик. Звучание неких лирических струн для Плетнёва всегда было много важнее той сухой и обыденной прозы, какой говорит с нами жизнь. «Мне важен не замысел, а предчувствие замысла», — не раз с восхищением повторял Саша слова Питера Брука, одного из своих театральных кумиров. А предчувствие, тень, смутный образ, догадка — есть такие же атрибуты романтики, как труба, личина и кинжал есть атрибуты трагедии. Именно звон путеводной лирической ноты отличает спектакли Плетнёва — он является даже не то чтобы их неотъемлемой частью, но их содержанием, сутью, тем самым, ради чего и выстроено всё театральное действие. Ещё одна фраза (не помню уж чья) неизменно приводила Сашу в восторг: «Я хочу ставить пьесу о запахе послевоенных пирожков». Вот именно это — погоня за неуловимым — и было, думаю, творческой сутью Александра Плетнёва.

Здесь нужна оговорка — в защиту лирики и романтизма. Вспоминая Плетнёва, я вижу его лирику и романтизм не как слабость, не как бегство от жизни — но как источник той внутренней силы, которой жив человек. В конце концов, лирика — это отсветы высшего и идеального мира, что падают на дела и предметы реальности и сообщают им некую высшую ценность и неистребимую прочность. Романтик сильнее прагматика — ибо опора его не в повседневности, призрачной и быстротечной, а там, куда не достают суэта, мельтешение и злоба текущего дня.

И вот Саша был внутренне очень силён. Вся его жизнь — жизнь, по сути, аскета, вопросами быта, финансов, житейского благополучия занимавшегося очень мало — подтверждала, что точка опоры Плетнёва, уж точно, лежит вне сомнительных ценностей материального мира. Кто бывал в его однокомнатной холостяцкой квартире, тот сразу чувствовал, что хозяин в ней не столько живёт, сколько просто-напросто ест, спит да отлёживается после изнурительных репетиций в театре.

А как он одевался? Знаменитые плетнёвские сандалии на босу ногу — лишь одна из заметных деталей его характерного облика. Пальто нараспашку, небрежно намотанный шарф, какой-нибудь нарочито дурацкий картуз — и в результате казалось, что он, Плетнёв, словно издевается над собственной одеждой и внешностью. И при всём этом я встречал очень мало людей, одевавшихся столь же органично-естественно. В одежде Плетнёва никогда не было ни обмана, ни умысла, ни стремления приукрасить себя — но выражался он сам, всегда искренний и самобытный.

Но об истинной силе плетнёвского духа мы узнали тогда, когда он заболел. Судьбе (или смерти?) было словно досадно, что пятнадцатилетний Саша Плетнёв, выжив после несовместимых с жизнью ожогов, ускользнул из её цепких лап и тем нарушил её, судьбы (смерти?), планы. И злодейка-судьба вновь решила его испытать. Саше было сорок шесть лет — возраст, как он сам чувствовал, человеческого и творческого расцвета — когда, оказавшись в больнице по поводу гипертонии, он узнал, что его болезнь называется совсем по-другому...

Саша сражался со смертью четыре года. Это была, как я теперь понимаю, его личная «великая отечественная война». За четыре года, уже после того как приговор был подписан — рак в таких стадиях неизлечим, — Плетнёв прожил целую жизнь. Вот спектакли, какие он создавал, уже находясь «на краю»: этот перечень вполне бы составил неплохую «среднестатистическую» режиссёрскую судьбу. «Плоды просвещения», «Сирано де Бержерак», «Дон Кихот», «Брат Чичиков», «Левша» — и, наконец, завершившая его земной путь «Попытка полёта». Не забудем и то, какой след оставили эти спектакли в судьбах калужских актёров. Как минимум, трое из них сыграли в последних постановках Плетнёва свои лучшие роли — те, для которых они, можно сказать, и были рождены. Это Дмитрий Денисов, сыгравший Сирано де Бержерака, это Михаил Кузнецов — Дон Кихот (и я теперь представляю себе Рыцаря Печального Образа уже не в каноническом исполнении Черкасова, а именно в облике Кузнецова) и это Игорь Постнов в роли Чичикова. Не будь этих ролей у прекрасных актёров — их судьба была бы незавершённой, не вполне состоявшейся; но Плетнёв, уже уходя, помог им проявить себя в театре в полную силу.

Но спектаклями дело не ограничилось. Он успел написать ещё книгу о своей театральной судьбе — она называется, как и последний спектакль, «Попытка полёта» — успел провести съёмки фильма с рабочим названием «Жертвы любви» (фильм практически сделан, осталось озвучить его — жаль, если эта работа так и останется незавершённой) и успел приступить

к инсценировке романа Юрия Трифонова «Старик». Литературу Саша вообще знал прекрасно, а прозу Юрия Трифонова любил особенно. Один из трифоновских рассказов, «Путешествие», даже стал у нас чем-то вроде пароля. «На кухне жарили навагу», — бросал мне Саша первую фразу рассказа и был страшно доволен, когда я отвечал ему фразой последней: «Я увидел в зеркале совершенно незнакомое мне лицо».

И ещё в планах Плетнёва был Торнтон Уайлдер: именно о его пьесе «Наш городок» и был последний наш разговор с Сашей. Он позвонил мне за месяц до смерти, уже из Москвы, из больницы, и бодро спросил:

— Знаешь Торнтона Уайлдера?

— Только слышал о нём, — ответил я честно. — Но ничего не читал.

— Прочитай пьесу «Наш городок», — сказал Саша. — Вещь (он немного замялся) пронзительная...

Затем он меня попросил после прочтения пьесы подумать, как можно приблизить её к нашим реалиям — то есть, чтобы действие происходило не в американском городишке начала 20 века, а в современной Калуге — и пообещал, как только сможет, приехать в наш городок, чтобы ставить Уайлдера.

Пьесу я прочитал в тот же день — она, действительно, оказалась очень хорошей — а вот Саша так и не приехал. Главное же в «Нашем городке» — то «пронзительное», о чём говорил Плетнёв — это взгляд на жизнь глазами тех, кто уже умер. В третьем действии пьесы мёртвые, сидя на сцене, продолжают всё видеть и слышать, и понимают жизнь лучше живых — просто в силу того, что они с этой жизнью расстались. И вот то, что нам кажется плоским, обыденным, мелким — с точки зрения смерти вдруг обретает объём, глубину, красоту. Всё в нашей жизни значительно, всё полно тайны и смысла — вот, наверное, то, что хотел передать нам Плетнёв в постановке, которую он так и не осуществил, но зато как бы смог в ней сыграть одну из важнейших ролей. Он действительно умер, и этим сильнейшим поступком, какой только возможен для человека, он заставил нас по-иному взглянуть на свою, пока ещё незавершённую, жизнь.

Да, Плетнёв умел умирать и поэтому умел жить: меж одним и другим в его случае почти не было разницы. «Наука умирать» стала главным уроком, который он нам преподавал. Четыре последние года он жил в непрерывном присутствии смерти: она неотступно стояла у него за плечом. И подвиг Плетнёва именно в том, что он, зная и чувствуя это, как бы выносил смерть за скобки: он продолжал жить и работать, не обращая почти никакого внимания — по крайней мере, на людях — на её страшное и назойливое присутствие. Он как бы отмахивался от собственной смерти — мол, подожди, не мешай, сейчас не до тебя! — и старуха с косою казалась смущённой от такого решительно-твёрдого к ней отношения. Недаром она целых четыре года ждала, пока Саша закончит земные дела; даже с собственной смертью Саша общался, как истинный режиссёр и мужчина — твёрдо диктуя ей, как себя надо вести.

А теперь о «Попытке полёта». По-настоящему, так бы мог называться не только любой из спектаклей Плетнёва, но и любая с ним встреча, любой

разговор — и в конце концов вся его жизнь. «Попытка полёта» — это был его принцип, его главная формула. Недаром спектакль по Ивану Радичкову был любимейшим замыслом Саши на протяжении многих лет — и стал последним плетнёвским спектаклем, который мы с вами увидели: то есть, он стал его завещанием.

Вот и книга, которую он написал, уходя, называется тоже «Попытка полёта». В тех чертежах дирижаблей, которыми перемежается текст, прямо-таки ощущаешь стремление взлететь; но взлететь не в каком-нибудь там экзотически-смутном порыве — а взлететь, так сказать, основательно, опираясь на разум и опыт, на труд ремесла.

В этой формуле, состоящей всего из двух слов: «попытка полёта» — одинаково значимы обе её составляющих; даже, может быть, в слове «попытка» глубины содержания больше. В нём чувствуешь вечную и обречённую незавершённость того, к чему все мы стремимся — незавершённость любви, ожидания, веры, надежды, да и всей, в целом, жизни — в этом слове содержится «пытка» земного пути, всегда и для всех неизменно трагичного. Но в нём же, несмотря ни на что, ощущаешь и неистребимую силу того, что нас побуждает пытаться взлететь — даже зная наверное, что каждая наша такая попытка всё равно завершится падением. Выходит, что здравому смыслу и опыту мы с вами упорно не верим; и вот это неверие в очевидное и неизбежное — оно-то и делает нас в полном смысле людьми.

Впрочем, такие вот рассуждения Саше Плетнёву вряд ли понравились бы. Он был человеком конкретного действия: уж если полёт, пусть всего лишь на сцене — так, будь добр, ухватись за верёвки аэростата, и — криво ли, косо ли — но пытайся взлететь. Тем более что он и сам подавал нам пример: вся жизнь Плетнёва была затяжной попыткой полёта. Он прекрасно, конечно же, знал, чем кончаются все такие попытки — но он знал и то, что без них жизнь превращается в собственную противоположность.

Вот и эти мои воспоминания о Плетнёве — это, конечно, всего лишь попытка. Сквозь них очень смутно виднеется тот живой, очень умный, талантливый, искренний человек, каким был Саша Плетнёв. И, ещё приступая к ним, я уже знал, что они меня разочаруют — но я не мог отказаться от этой попытки, чтоб не предать ни себя, ни Плетнёва, ни нашей с ним дружбы. В конце концов всё, что мы делаем, есть всего лишь попытки, и их результат лучше виден Тому, Кто задумал и ставит спектакль под названием «жизнь».

О ПРОЧИТАННОМ



Ольга Ключкина

ЧЕЛОВЕК УДИВЛЯЮЩИЙ

О Владимире Обухове хочется говорить как-то особо, например, на латыни эпохи Возрождения.

Он — homo mirum, то есть человек удивляющий. Как известно, были гуманисты итальянские, а у нас есть свой, калужский.

Владимир Михайлович Обухов — известный искусствовед, выпускник отделения истории и теории искусства МГУ, автор книг о таких художниках, как Григорий Сорока, Леонид Сойфертис, Илларион Прянишников, Виктор Борисов-Мусатов. Для кого-то полки с изданными им книгами, многочисленными каталогами выставок и научными статьями вполне хвалило бы, чтобы преспокойно почивать на лаврах. Заслуженный работник культуры Российской Федерации, устроитель известных выставок, художник...

Стоп, а вот тут уже можно начать удивляться! Вот уже сорок лет многоуважаемый Владимир Михайлович является вице-президентом так называемой Академии аналитического искусства (АКАНИС), известной в Калуге и далеко за её пределами своим творческим хулиганством, — в её рядах значится даже инопланетянин Оуо Ауди. И вот что интересно: в сообществе всех этих художников-космистов, модернистов, концептуалистов и контравангардистов наш знаток классической живописи чувствует себя как рыба в воде. Он сам пишет замечательные картины и давно принят в Союз художников России, а ещё сочиняет необычные, прямо-таки удивительные тексты.

Одни названия ранних поэм чего стоят: «Чудо Розария Козлоблудина», «Империя сексотов», а необычных по форме и содержанию стихов у него и вовсе великое множество.

Искусствовед и художник Владимир Обухов — homo scripsit, человек пишущий. Член Калужского отделения Союза российских писателей, автор поэтических книг: «Круг подобий», «Строй строк», «Прочнее меди», «Мгновения» и других. И это если не считать многочисленные рукописные издания, которые он в неограниченных количествах сам издаёт на сложенных втрое листах формата А-4, когда хочет познакомить друзей со своими новыми стихами или философскими мыслями.

Как истинный homo cogitans (человек мыслящий, думающий), Владимир Обухов написал трактат «Вселенная как художественное создание. Эскиз неоклассической картины мира», над которым не прекращает работы. А его исследование «Смерть и воскрешение автора. Психология художественного мышления» — тем более всегда в процессе, и тоже постоянно дополняется личным опытом.

Даже палиндромы — стихи, которые можно читать слева направо и наоборот, у Владимира Обухова носят философский характер.

Тот мир — зрим.
Тут
шанс наш.

А палиндромы-пословицы — так это вообще редкий, штучный жанр. «Иного гони, а иного догони» — как вам такие чисто обуховские сочинения?

Казалось бы, чем ещё он нас может удивить? А ведь снова получилось, когда в калужском альманахе «Облака» № 6 появилось произведение Владимира Обухова в прозе «Глаза Луизы». Какой это вообще жанр? Сразу и не скажешь. Может быть, краеведение? Немного похоже: «В Калуге, на пересечении улиц Комарова и Гагарина, стоит диковинное сооружение...» Речь идёт о том, что семья известного русского драматурга XIX века Александра Сухово-Кобылина была тесно связана с Калугой. Или всё-таки историческая беллетристика? История убийства француженки Луизы Симон-Деманш читается как настоящий детектив. Да нет, скорее даже напоминает страницы авантюрного романа, героями которого являются княгиня Наталья Нарышкина — русская жена Дюма-сына, Жорж Санд, выдуманный Сухово-Кобылиным Кречинский с его свадьбой, а где-то вдалеке маячит генерал-губернатор Калужского наместничества Михаил Никитич Кречетников...

Всё как в одном из лучших обуховских палиндромов: «Нет стен». Или в его же поэме «Империя сексотов»:

Привычка моя — сквозь каменные
стены ходить насквозь,
минуя пространства камерные.
Привычка жить на авось,
Не признавая правила...

В общем, привычка у него такая — всех удивлять своей универсальностью. Ну, или творческое кредо, если снова перейти на язык гуманистов эпохи Возрождения. А других слов на латыни я всё равно больше не знаю.

Андрей Убогий

ГЛЯДЯ НА «ОБЛАКА» (вольные мысли)

Перечитал — именно перечитал — многое в шестом выпуске альманаха, и от чего-то представилось, что я смотрю в предосеннее небо (на дворе как раз рыжевато-зелёный, погожий сентябрь) — а в нём проплывает одно пышное облако за другим.

Первое из наплавивших сегодня — стихотворения Вячеслава Некрасова. Удивительна интонация автора: она тепла, жива — и неповторима. И, как с небесным облаком часто не можешь понять, что же именно оно тебе напоминает — женский профиль, слона или крышку рояля? — так и эти стихотворения поворачиваются то одной, то другой стороной, всегда сохраняя свою

самобытность и цельность. В самом деле: что это? Доверительно-свойский разговор приятелей за «рюмкой чая»? Или бытовая беседа односельчан возле калитки, плетня, огорода — беседа о курах, кабанчиках или сараях? А может быть, это — протяжная песня? Да-да, это песня: «Как люблю я огни эти длинные Над уступами нашей земли! А скажи мне, быть может, могли бы мы? Нет, конечно, мой друг, не могли...»

Или стихи Некрасова — это молитва? Да, и молитва: само их движение, их музыкально-взмывающий тон словно возносят нас к золотому, «безгрешному» свету «зари невечерней».

Вот как поэт смог это всё совместить: и простой бытовой разговор «за жизнь», и молитву, и песню? Нет, это надо быть Славой Некрасовым — чтобы из красок и звуков обыденности сотворить сказку. Я хорошо себе представляю ту реальную плоско-болотистую деревню под Петербургом, откуда «родом» большинство стихотворений (Хирвосты — даже чухонское это название звучит то ли насмешливо, то ли ругательно); но я теперь верю: там, в Хирвосты — рай, полный ёжиков и светлячков... Разглядеть и почувствовать в жизни ад может всякий; но задача художника в том, чтобы всюду — в занудстве, унылости, «мусоре» жизни — видеть райские отсветы.

Что, в конце концов, вся наша жизнь? Это путь из рая — в рай. Из рая, который мы потеряли в момент грехопадения, — в рай, который нас ждёт после всех испытаний и на который мы с вами должны уповать по безграничному милосердию Божьему. И вот как раз стихотворения Вячеслава Некрасова — это те маяки, сверяясь с которыми, мы можем знать: да, мы движемся в правильном направлении. Посмотрите: в мире поэта даже куры (а что может быть бестолковее и суетливее кур?) — и те горят отсветами небесных огней:

...А куры движутся умело
В холодных травах ноября,
Без снов, без мыслей — быстро, смело,
Огнём немножечко горя...

А что там за облако наплывает вслед за некрасовским? Да это Марина Улыбышева! (Интересно, что облако Марины, как и облако Славы, прилетело к нам из сибирского Омска: видно, калужскому литературному небосклону любви восточные ветры). «Завтраки с Д.» — ещё одно чудо. Читая эту живую, короткую и энергичную прозу, мы видим: из недр «бытовухи», из сора обыденной жизни рождается — миф. И что теперь нам, калужанам, до знаменитой некогда петербургской «башни поэтов» (символе Серебряного века) — когда у нас появилась своя «кухня поэтов»?

И до чего ж хороши собеседники, что ведут там свои разговоры! Он — основательный идеалист, этакий уютный ворчун — «ретроград и бурбон», как называл сам себя Д. — но на таких всё и держится в мире (который чем дальше, тем более сходит с ума). Она же умна, иронична, тонка, всегда внимательна к собеседнику — и на таких, как она, тоже держится мир. А уж то, что теперь мы имеем ещё и телеверсию разговоров на «кухне поэтов», позволяет надеяться: этот миф будет жить. Недаром же, кстати, Марина — настолько «античный» поэт: перечитайте её «Ахейцев» или «Эвридику».

Но — смотрите! — плывёт ещё одно облако: кучерявое, лёгкое, радостно-светлое — под названием «Дубовая грива». Вероятно, эта «маленькая летняя повесть» навеяна Ольге Ключиной воспоминаниями волжского детства: она в самом деле дышит летней рекой и простором — как и положено облаку. И как на облака мы часто смотрим со светлой улыбкой — нельзя не улыбаться, читая про «острую помидорную недостаточность» или «хронический малиновый недожор», разглядывая нарядных лягушек под душем или слушая пение медведки под луной.

Какая у Ольги хорошая, лёгкая проза! Почитать её — как искупаться в реке, по которой стучат торопливые летние ливни. «Каждая дождевая капля оставляла на воде след, похожий на прозрачную светлую юбочку, и балерины, взявшись за руки, стали кружиться в танце. Но вот дождь заколотил с такой силой, словно хотел пробить Волгу до дна, и на сцене появились балерины в чёрных трико. С каким-то злым отчаянием они подпрыгивали, махали руками и одна за другой исчезали в глубине...»

А что там ещё наплывает из-за горизонта? Впрочем, хорошего понемножку: жизнь зовёт к неотложным делам — нельзя же весь день напролёт наблюдать облака?..

Павел Тришкин

«...ИБО ВЛЮБЛЁН В ЕГО ПОЭЗИЮ»

(обзор стихотворных подборок в альманахе «Облака» № 6)

Прежде чем начать, следует, наверное, предупредить будущего читателя, что произведения одного из авторов альманаха в данной заметке рассмотрены не будут, в силу неких этических нюансов. Если быть откровенным, то причина в том, что этот автор полностью совпадает с автором самой заметки. Как вы понимаете, писать о собственных стихах будет как минимум странно, а по сути — просто неприлично.

После этого лирического отступления, сразу перейдём к делу. Сначала хочется отметить как всегда тонкую и очень бережную работу главного редактора альманаха Александра Васильевича Трунина. В целом выпешдший в 2023 году номер получился. И получился хорошо.

Открывают альманах стихотворения Анны Бахаевой из Мещовска. Думаю, что особенно ценно, автор этот многим из нас совершенно незнаком. Тем интереснее прочитать стихи Анны в самом начале, что несомненно накладывает особую ответственность на автора.

С утра закрою старый календарь —
прощайте, прошлогодние метели.
Всё будет новым: молодой январь,
и одеянье снежное на ели,

и длинный след от новенькой лыжни
с утра моей надеждою проложен.
Как эти перемены нам важны!
Как всякий новизною растревожен!..

Вот небольшой отрывок самого первого стихотворения в подборке. И хотя есть некая ирония в том, что я взял отрывок о переменах, тогда как подборка как раз говорит о полном совпадении поэтики Анны и вкуса главного редактора, самое важное тут не это. Важны спокойствие и высота, стоящие за стихотворениями Анны. Хорошие стихи, в которых без пошлости звучит благодарность Родине, благодарность прекрасному миру. При этом (хотя в подборке вы не найдёте, вероятно, ни одной детали, напрямую отсылающей ко времени и точке происходящего, что многие могут отметить как недостаток), отчего-то прекрасно ощущается, что это про нас, про здесь и сейчас.

Следующая стихотворная подборка альманаха принадлежит перу Вячеслава Некрасова. Сразу отмечу, что в случае с этим автором я не могу соблюдать никакую объективность, ибо влюблён в его поэзию. Поэтому просто приведу здесь одно из стихотворений из подборки и поблагодарю Вячеслава Михайловича за то, что он есть:

Рябина

Следить за судьбою соседа,
Глядеть в голубое окно
И слушать собачьи беседы,
Которых понять не дано.
Давно покраснела рябина,
И в листьях коричневый цвет,
Такая простая картина...
Другой такой в общем-то нет.
А время промчалось так быстро,
Что я и вдохнуть не успел!
Рябины багровые кисти
Я в общем-то даже не ел.
Советовал мне их знакомый,
Рябина — прекрасный сорбент,
Любым организмом искомый,
Другой такой в общем-то нет.
Я вот что скажу вам, ребята...
Деревни такой тоже нет.
Но жил там среди жёлтых закатов
Один удивлённый поэт.

Следующий автор поэтической части альманаха — Инна Теплова:

Начнут фотографировать — смотрю
куда угодно, но не в объектив.
Я специально направляю взгляд
на жирные обойные узоры,

на тощую собаку за окном,
куда угодно, в сторону любую,
но только на фотографа — ни-ни.

Я специально взял этот отрывок. Он лучше всего выражает моё личное впечатление. В альманахе Инна представлена очень разноплановой подборкой и как бы пытается ускользнуть от старания уложить впечатление в стройную картину. Это я тот фотограф, на которого ни-ни. Но я бы не стал говорить, что это плохо. Скорее, наоборот. Представленные в альманахе стихи позволяют сделать попытку поймать взгляд Инны, её пространственные перемещения по стране поэзии. Поймать, уловить, куда и зачем она движется, а потом следить за тем большим путём, который ей предстоит.

Следующий по списку — Владимир Карпенко. Возможно, также далеко не все знают и читали его стихи. И это большая радость, что теперь у многих людей появится возможность познакомиться с творчеством Владимира. Совсем небольшая подборка, искренний разговор поэта с миром и родными, разговор по душам:

Я шёл по дороге лесной,
Отец меня взял за малиной.
И луч, одинокий, сквозной,
Играл золотой паутиной.
Поляны кипрея в цвету,
А в кронах тревожные звуки.
Роняли меня в высоту
Тяжёлые папины руки.

После Владимира мы подбираемся к первому представителю нашей калужской литературной молодёжи.

Стихотворения Дарьи Вавиловой. Дарья сравнительно недавно засияла на нашем поэтическом небосклоне свежей, светлой звёздочкой. Принадлежащая ей по праву часть этого небосклона ещё только заполняется, и свет только-только начинает разгораться над нами, но уже чувствуется, что у автора есть всё, чтобы в скором времени сиять в полную силу:

...Застывшие леса похожи на рассказ
О том, как оборвут предзимье снегопады,
О том, что смерть — лишь сон, и мне б ещё хоть раз
Услышать голос твой, а большего не надо.

Олеся Апрельских. Она уже давно обрела свой голос и теперь смело говорит. Иногда даже кажется — кричит, но шёпотом. Лично моё мнение: голос Олеси будет хорошо слышен и впредь. За это отвечают её стихи. Могу только пожелать ей не останавливаться и продолжать свой поэтический рост, впереди большая дорога. Небольшой отрывок стихотворения:

...да, я выйду за порог,
да, и убегу
в геометрию дорог
и машинный гул,

буду — неродная дочь
 городского льда,
 буду здесь стоять всю ночь,
 может быть, всегда.

Собственно, символично, что следующая подборка стихотворений в альманахе принадлежит Игорю Красовскому. Кажется, ещё совсем недавно об Игоре говорили: молодой поэт, талантливый, с будущим. И вот это будущее перед нами. Тот самый случай, когда можно до начала чтения точно знать — будет интересно. В шестом номере альманаха Игорь представлен всего четырьмя стихотворениями. Всего четырьмя, но большими, и это не только про количество строк, если вы понимаете, о чём я. Мне даже не хочется здесь их разрывать на отрывки, сделаю так: вытащу оттуда несколько строк, как символ, а дальше — читайте!

Не паникуй —
 надвигается время любви.
 Не подделки удобоваримой — любви
 настоящей...

Следующий, на ком я останавливаюсь, — Вадим Шевяков. Вроде бы опять молодёжь, но уже и не поворачивается язык характеризовать его так. Вадим автор сложившийся, местами способный дать сто очков вперёд многим маститым. А возраст — дело наживное. Знаю, что многие у нас его даже немного побаиваются, учитывая особенности непростого характера. И правильно делают. Стихотворения Вадима идут завоёвывать читательские сердца и поэтические поля:

Так устал шататься неприкаянным,
 То бежать, то красться, будто вор.
 Мне бы на пожизненное в камеру
 Любящего сердца твоего.
 Стань моею сумрачной Бастилией,
 Содержи на хлебе и воде —
 Только никогда не отпусти меня
 И не потеряй меня нигде.
 Если же возьмут сердечным приступом —
 Жалкую свободу не приму.
 Я останусь — самым верным призраком,
 Памятником сердцу твоему.

Наконец, мы добрались до последнего поэта в списке. Последнего в списке, но само собой, первого среди равных. Заканчивают поэтическую часть шестого выпуска альманаха «Облака» стихотворения Маргариты Бендрышевой. В данном случае можно как раз сказать о том, что её творчество, наоборот, знакомо очень многим и знакомо заслуженно. К этому знакомству мало что хочется добавлять, все и так знают силу и красоту строк Маргариты. Поэтому закончу обзор её стихотворением, которое мне показалось одним из самых лучших во всём альманахе.

...а ветер таков, что деревья кидают друг в друга
с размаха снежинками. Зима многократной побелкой
до полной безликости дообновляла Калугу
подобно скульптурам в «Орлёнке», а может быть, «Белке».
Фигуры из гипса, сироты заброшенных скверов,
мне встретился нынче один несгибаемый мальчик,
под снежной одеждой, наверно, наряд пионера...
Кого ты там греешь у сердца, промёрзшего напрочь?

Вячеслав Черников

**ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ КНИГИ
ВЛАДИСЛАВА ТРЕФИЛОВА «ВОЛЬНОМУ ВОЛЯ»**

(Калуга: Золотая аллея, 2016)

Шкловский говорил вслед Пушкину, что главное в творчестве не выдумка, а вымысел. Реализм — это ведь не изображение обыденного по принципу «точь-в-точь». Это отображение реальных ощущений. И в этом смысле деление изобразительного искусства, литературы и в любого творчества на направления представляется довольно условным и даже вредным. Потому что, уделяя внимание технической стороне, вивисектор разлагает живой организм на мёртвые части, неспособные вновь стать живым. Только способность передать истинные ощущения позволяет изобразить жизнь со всеми её нюансами. К сожалению, подавляющее большинство анализов ограничивается именно «анатомическими» деталями, интересными и познавательными с точки зрения вивисектора, но совершенно бесполезными для понимания сути творчества.

Поэтому я не буду цитировать и анатомировать текст этой книги, а ограничусь лишь некоторыми мыслями по поводу.

Русская художественная литература богата произведениями, посвящёнными детству, взрослению маленького человека, его открытиям и потерям, радостям и переживаниям... Достаточно вспомнить Л. Толстого и К. Аксакова, В. Катаева, К. Чуковского, М. Горького, Н. Носова, чтобы понять каков уровень этой литературы.

Книга Владислава Трефилова повествует о детстве мальчика в оренбургской глубинке, о начале жизни, о жизни рабочей семьи и дворовых друзьях, об открытиях пространства, лежащего за пределами двора, о школьных буднях и редких праздниках... Но оно не только и не столько о детстве. Оно о каждодневном открытии человеком своих возможностей и целей.

Подробно описывая одну деталь за другой, автор одновременно борется с подробностями. Каждая подробность тщательно взвешена, оценена и проанализирована на важность для замысла и художественность. И когда Трефилов в авторском предисловии говорит о том, что книга рождалась

мучительно и трудно, то это признание не в физической тяжести работы, а удовлетворение и даже гордость итогами творческого процесса.

Мальчик, которого зовут Владимиром, идёт по улице, улица знакома, но уже вечер, и тени наступают со всех сторон, а впереди незнакомый участок и только потом будет конец улицы, он уже виден там, на склоне. Одновременно приводится множество подробностей этой улицы, дороги, домов и заборов, осмысливаются варианты поведения и всё, мы это осознаем гораздо позже, очень важно для понимания глубинного замысла. Но тут автор непрост. Бесчисленные подробности и детали, размышления по поводу того или иного поступка или действия призваны помочь углубиться в смысл действия, но, оказывается, они направляют нас по ложному следу. На самом деле любое подобное описание, да и весь текст — это уничтожение обыденности и за каждым привычным событием или действием скрывается удивление. Чтобы понять эту тонкость, надо всего-навсего помнить о том, что каждое слово, каждая фраза, каждое событие автором тщательно продумано, найдено и проанализировано. Результат этого анализа (в разговоре Трефилов называет это препарированием, но и в этом определении скрывается только намёк) и подаётся читателю в виде якобы простого описания. Вроде бы он просто вспоминает своё детство и жизнь всех как у всех. Этой жизнью автор не восхищается и не осуждает. Он её как бы охватывает взглядом и мыслью сразу со всех сторон (эта способность божественна и не каждому дана) и отстранённым описанием подаёт её нам как что-то настолько привычное, что и внимания не требует. Читатель попадает под гипнотическое воздействие авторской ворожбы и недоумевает: что это?

Многие скажут: скукота... А автор готов к такому выводу. Потому, что на самом деле он тестирует нас на чуткость и способность к открытиям новизны и чуда в обыденности, потому, что за словами и фразами сюжетного повествования скрывается взгляд и пронзительное мирооткрытие человеком огромности и непредсказуемости мира, природы, событий. И себя.

Великий художник Пикассо прочёл «Войну и мир» будучи уже далеко немолодым человеком. И роман ему не понравился — «слишком много подробностей». Потом он понял: «все они нужны». То есть он сначала воспринял чужое искусство по законам своего, но сумел преодолеть это непонимание и осознать законы искусства другого.

Эта история учит нас относиться к творчеству так, как указывал Пушкин: по закону, им самим (художником. — *В. Ч.*) созданным. Надо учиться познавать мир, созданный художником. Подробности нужны все. Пикассо это понял. Он был гений. Нам надо быть хотя бы терпеливыми и внимательными. Надо уметь наслаждаться словом. И тогда мы тоже сможем получать от творчества художников наиболее полное, хотя часто и противоречивое, представление о мире реальном и о мире, сотворённом искусством.

Мир вокруг мальчика реален и осязаем. Но одновременно он виртуален, да и вся сюжетная линия пунктирна и непрямолинейна. Она закручена в спираль, в пружину, которая таит в себе огромность энергии, которую физики называют потенциальной и которая может распрямиться в любой момент.

Эта огромность внутренней энергетики раскрывается в якобы случайных вещах, вырванных из описательной последовательности, что и переводит реальный мир в виртуальный, в мир чувств и мыслей Владимира.

Итак, существует мир, окружающий мальчика, мир всех. Он привычен. В нём живут пацаны и таинственные девчонки, ходят на работу взрослые, ругаются и радуются, дерутся и празднуют...

Есть мир мальчика, его размышлений, его открытий. Он параллелен реальности. Он виртуален. Мир этот наполнен такими далями, которые трудно осознать, которые приводят в смятение не только мальчика, но и нас: неужели и мы способны так мыслить и рассуждать.

Но существует и ещё одна реальность, которую не сразу осознаёшь, хотя казалось бы, именно эту реальность мы и должны сразу принять как главную, — это мир автора. И этот мир одновременно реален и виртуален. Он размазан по времени. В нём одновременно присутствует взгляд нашего современника, умудрённого знанием перипетий жизни и судьбы мальчика и его окружения, и взгляд человека изнутри повествования.

Некоторые друзья и коллеги Трефилова с удивлением отмечают осязаемость памяти автора о своём детстве. «Как много ты помнишь?» — удивляются. И невдомёк им, что это память чувств оказывается у Трефилова так выразительна. Он и не помнит всех деталей той жизни, он их ощущает и чувствует. Он их никогда и не переставал ощущать. Он живёт в этом мире давно, а сейчас просто помогает нам осознать, что ничто не прерывается и не исчезает бесследно, если мы тоже научимся так чувствовать.

Трефилов не желает удивлять. Он сознательно и целенаправленно, — скажу — вдумчиво — увлекает нас в обыденность. Но эта та самая обыденность, эта та самая ерунда, о которой Маяковский сказал, что через неё понимаешь большое!

Жизнь неожиданна. Жизнь мудра. Она мудрее всех философий и учений. Потому, что жизнь это единственная реальность.

На лошадке, запряжённой в санки, подъезжает отец мальчика. Мальчик садится к отцу, и они едут «по округлостям земли», укрытой недавно выпавшим снегом...

Это описание поездки напоминает мне древнерусские миниатюры и картины Петрова-Водкина. Округлости земли, вселенские дали, улица деревни, за которой ничего нет, потому что всё скрыто туманной дымкой; бездонной глубины небо, которого как бы и нет, но оно есть и нависает незримо над всей этой неохватной ни взглядом, ни мыслью, — ширью... Мне кажется в этом описании выражена суть замысла автора: мы живём в вечности, которая живёт сама по себе, но все мы составляем её значимую часть. Каждый из нас. Мгновение и вечность в этом понимании суть одно и то же.

Думаю, автор так прямо об этом не рассуждал, не думал, но так и проявляется истинный талант, когда за простыми словами, мазками, звуками неожиданно, даже для самого творца, рождается образ такой мощи, такой правды, такого обобщения. И тогда возникает понимание этого произведения как поэзии чувств. Именно как поэму в прозе я и воспринимаю эту удивительную книгу моего давнего товарища Владислава Трефилова.

Так уж устроены люди, что творчество своего знакомого всегда и непременно проецируют на его обыденную жизнь. И вердикт часто оказывается уничижительным. За примером далеко ходить не надо: Мусоргский и Федотов, Венечка Ерофеев и Пирасманишвили для своих соседей и современников представлялись людьми потерявшимися в пространстве и во времени, прожигателями и неудачниками. А они, оказывается, продолжали развиваться как личности. Только это развитие скрыто от посторонних глаз коконом творчества. Кокон прорван, и в мир впорхнуло ещё одно удивительное творение.

«Вначале была картина, — словно во сне. Ослепительный день, ослепительно зелёная трава. Наверху склона молодые отец и мама сидят в траве, весёлые и счастливые. И они с сестрёнкой тут же, — вьются вокруг, кружатся, словно бабочки, беззаботно смеются, заливаются...

Где это было, когда?.. Может быть ещё до того, как он появился на свет? Может быть, это было в раю, откуда мы все появляемся? Но возвращаемся ли мы туда потом?»

Так начинается эта книга. И она ещё продолжается!

P.S. Своё произведение Трефилов определил как повесть. Хотел назвать — лирико-философское повествование — я отговорил, хотя это определение ближе к истине. Но самым верным, по-моему, стало бы определение этого произведения как поэмы или поэтической прозы.

СТОЛЕТНИЕ

(Н. Панченко, Б. Окуджава, А. Авдонин, И. Калинин, О. Бушко)



Недавно мне попалось фото, на котором я узнал лица калужских литераторов. Да, тогда все они были калужскими. 1954 год. В центре Николай Панченко, Булат Окуджава, Александр Авдонин. Слева неизвестный, справа сотрудник газеты «Молодой ленинец» П.Шпилёв. Обратил внимание на год рождения: Н. Панченко и Б. Окуджава одногодки. Добавим к этим именам Ивана Калинина и Олега Бушко. Все они появились на свет сто лет назад. Чуть раньше — в 1923-м — родился А. Авдонин.

Их поколение понесло самые большие потери в Великой Отечественной войне. Оставшись в живых, они стали голосом своего поколения, по-своему выразив страшный и героический опыт фронтовых лет, энтузиазм «оттепели», настроения и нравственные искания семидесятых годов и последующего времени.

Николай Васильевич Панченко (1924–2005) родился и вырос в Калуге. Стихи начал писать в восьмилетнем возрасте, и уже в 1938 году появилась в местной прессе его первая публикация. В армию был призван в 1942 году, служил в пехоте, а затем в частях, обслуживающих аэродромы. Получил тяжёлое ранение, две контузии. Некоторые стихи, написанные в это время, публиковались в армейских газетах. Но самые пронзительные строки, в которых отражён весь трагизм военных будней, появились в печати только через несколько десятилетий.

После окончания войны окончил Калужский учительский институт и Высшую партийную школу. Возглавлял областную газету «Молодой ленинец» — газета считалась смелой для своего времени. А с 1961 года работал редактором Калужского книжного издательства — именно тогда стал инициатором издания альманаха «Тарусские страницы». Позже в одном из интервью Николай Панченко вспоминал: «Это был настоящий прорыв в литературном процессе. На этих страницах к читателю пришли — кто впервые, кто-то на совсем новом качественном уровне, кто-то после многолетнего забвения — Казаков, Заболоцкий, Трифонов, Коржавин, Слуцкий, Корнилов, Цветаева, Окуджава, Самойлов, Максимов, Балтер и многие другие».



Н. В. Панченко

Альманах показался власти слишком свободным и подвергся жёсткой критике. Вскоре после этого Н. Панченко покинул Калугу, переехал в Москву, где окончил Высшие государственные литературные курсы и был принят в СП СССР. За свою жизнь поэт выпустил четырнадцать книг, много переводил, выступал как правозащитник.

Евгений Евтушенко в своих воспоминаниях отметил важнейшую черту личности и творчества поэта: «Когда выступал Панченко, воцарялась тишина. Он говорил с поразительной психологической и исторической зрелостью: это была прекрасная устная проза, воспринимавшаяся как ненавязчивое *преподавание совести*. Оно было и в его стихах».

БАЛЛАДА О РАССТРЕЛЯННОМ СЕРДЦЕ

Я сотни вёрст войной протопал.
С винтовкой пил.
С винтовкой спал.
Спущу курок — и пуля в штопор,
и кто-то замертво упал.
А я тряхну кудрявым чубом.
Иду, подковками звеня.
И так владею этим чудом,
что нет управы на меня.
Лежат фашисты в поле чистом,
торчат крестами на восток.
Иду на запад — по фашистам,
как танк — железен и жесток.
На них — кресты
и тень Христа,
на мне — ни Бога, ни креста:
— Убей его! —
и убиваю,
хожу, подковками звеня.
Я знаю: сердцем убиваю.
Нет вовсе сердца у меня.
А пули дулом сердца ищут.
А пули-дуры свищут, свищут.
А сердца нет,
приказ — во мне:
не надо сердца на войне.
Ах, где найду его потом я,
исполнив воинский обет?

В моих подсумках и котомках
для сердца места даже нет.
Куплю плацкарт,
и скорым — к маме,
к какой-нибудь несчастной Мане,
вдове, обманутой жене:
— Подайте сердца!
Мне хоть малость! —
ударюсь лбом.
Но скажут мне:
— Ищи в полях, под Стрием, в Истре,
на польских шляхах рой песок:
не свист свинца —
в свой каждый выстрел
ты сердца вкладывал кусок.
Ты растерял его, солдат.
Ты расстрелял его, солдат.
И так владел ты этим чудом,
что выжил там, где гибла рать.
Я долго-долго буду чуждым
ходить и сердце собирать.
— Подайте сердца инвалиду!
Я землю спас, отвёл беду. —
Я с просьбой этой, как с молитвой,
живым распятием иду.
— Подайте сердца! — стукну в сенцы.
— Подайте сердца! — крикну в дверь.
— Поймите! Человек без сердца —

куда страшней, чем с сердцем зверь.
 Меня «Мосторг» переоденет.
 И где-то денег даст кассир.
 Большой и загнанный, как демон,
 без дела и в избытке сил,
 я буду кем-то успокоен:
 — Какой уж есть, таким живи. —
 И будет много шатких коек

скрипеть под шаткостью любви.
 И где-нибудь, в чужой квартире,
 мне скажут:
 — Милый, нет чудес:
 в скупом послевоенном мире
 всем сердца выдано в обрез.

1944 г. Автору 20 лет

Булат Шалвович Окуджава (1924–1997).

Детство и отрочество его сопровождалось трагическими событиями в семье. Отец, два его брата и сестра были расстреляны в 1937–1941 годах. Мать провела в лагерях 9 лет. Позже все реабилитированы.

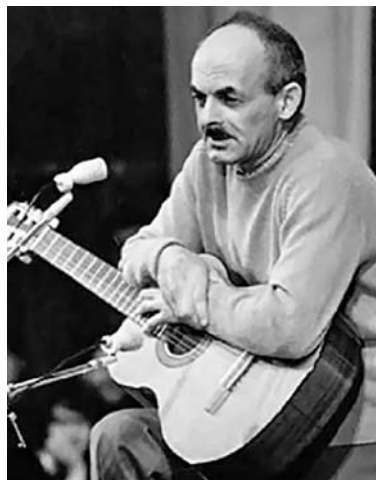
В октябре 1942 года восемнадцатилетний Булат Окуджава отправлен на фронт, служит миномётчиком в кавалерийском полку. В декабре того же года ранен. И после госпиталя оставлен радистом в артиллерийской бригаде, прикрывавшей в этот период границу с Турцией и Ираном.

После окончания Тбилисского университета в 1950 году был направлен по распределению в Калужскую область. Около трёх лет работал учителем. Затем — в газете «Молодой ленинец» заведовал отделом пропаганды.

Первые стихи публиковались ещё в годы военной службы в гарнизонной газете. В Калуге в 1956 году вышел его первый сборник «Лирика». В «Тарусских страницах» была опубликована повесть «Будь здоров, школяр».

В 1959 году поэт переехал в Москву.

Свои стихи он любил петь под гитару, из этого родилась авторская или бардовская песня, ставшая со временем в СССР необычайно популярной. Всего Окуджава написал и исполнил около двухсот песен.



Б. Ш. Окуджава

* * *

А мы с тобой, брат, из пехоты,
 А летом лучше, чем зимой,
 С войной покончили мы счёты —
 Бери шинель, пошли домой!

Война насгнула и косила,
 Пришёл конец и ей самой.
 Четыре года мать без сына —
 Бери шинель, пошли домой!

К золе и к пеплу наших улиц
Опять, опять, товарищ мой,
Скворцы пропавшие вернулись —
Бери шинель, пошли домой!

А ты с закрытыми очами
Спишь под фанерною звездой.
Вставай, вставай, однополчанин, —
Бери шинель, пошли домой!

Что я скажу твоим домашним,
Как встану я перед вдовой?
Неужто клясться днём вчерашним —
Бери шинель, пошли домой!

Мы все — войны шальные дети,
И генерал, и рядовой,
Опять весна на белом свете —
Бери шинель, пошли домой!



А. Н. Авдонин

Александр Николаевич Авдонин (1923–1993) родился в с. Лопатино Тарусского уезда Калужской губернии. Среднюю школу окончил в Тарусе. Далее — война. Сержант Авдонин, дивизионный радист, прошёл с боями Украину, Молдавию, освобождал Румынию, Болгарию, Югославию, Австрию. После демобилизации заочно окончил МГУ. Работал первым секретарём Тарусского райкома ВЛКСМ, редактором одной из районных газет Калужской области. В середине 1950-х — заведующий отделом в газете «Молодой ленинец».

Первые стихи напечатаны в 1947 году в газете Южной группы войск «Советский воин». Начиная с 1958 года регулярно выходили книги стихов. Был ответственным секретарём Калужской областной организации Союза писателей.

* * *

Ну как, скажите, это пережить?
Четыре года под огнём.

И всё же
Твержу себе: пора войну забыть,
А сердце вот забыть её
не может.

Перед глазами,
как в кошмарном сне,

Опять, опять и выстрелы,
и взрывы.
И если было чудо на войне,
То чудо в том,
что мы остались живы.

Иван Михайлович Калинин (1924–2015) родился в деревне Вяжички ныне Барятинского района Калужской области в крестьянской семье. В 1940 году поступил в Елецкое художественное училище, но успел окончить только первый курс, так как началась война.

В армию призван в 1942 году, сражался на разных фронтах, был сапёром, полковым разведчиком и бронбойщиком. Участвовал в Сталинградской битве. Освобождал Молдавию, Румынию и Болгарию. Был несколько раз ранен, но, несмотря на это, прошёл всю войну и окончил её в звании сержанта.

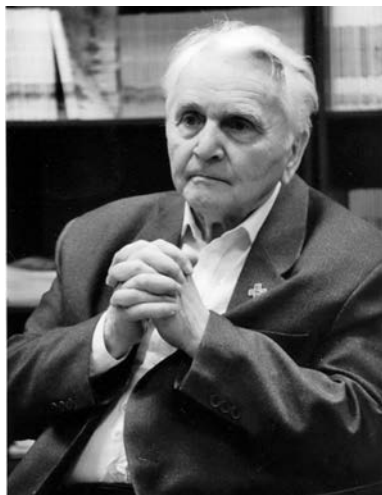
После войны продолжил учёбу в художественном училище в Ельце. В записных книжках фиксировал свои наблюдения и размышления, вёл дневник. Эти записи стали основой для ложных обвинений в антисоветской деятельности. В 1951 году арестован, приговорён к 10 годам лагерей и 5 годам высылки.

Освобождён в мае 1955 года. В 1956 году обустроился в Калуге, работал учителем рисования и черчения, окончил Московское художественное училище памяти 1905 года по специальности театрального художника. Работал художником-декоратором и оформил более сорока спектаклей в Калужском областном драматическом театре и Театре юного зрителя. Автор эмблемы Калужского театра юного зрителя.

В 1976 году был реабилитирован.

После освобождения ничего не писал, не сочинял. «Остерегался» — как сам он признаётся в автобиографии. И только в 90-е годы в калужской прессе и в некоторых литературных сборниках начали публиковать его рассказы, притчи и воспоминания. В 2004 году вышла его книга «Настоящий контрреволюционер?». В 2005 году был принят в Союз российских писателей. В 2009 году вышел второй том этой книги. Впоследствии опубликовал книги «Пьесы» (2011) и «Происки судьбы» (2014).

«Наши воины, хоть и измотанные в длительных сражениях, так поднатерели в боях, что сражались умело и отчаянно. Каждый из нас решил для себя драться до последнего патрона, до последней гранаты... и дрались из последних сил! Горели их танки, бежала пехота...Какая сила духа держала нас, я не знаю, но мы выдержали!»



И. М. Калинин



О. М. Бушко

Олег Михайлович Бушко (1924–2009) родился в Краснодаре в семье партийного деятеля, в прошлом комиссара и командарма Гражданской войны. В 1935 году отец был арестован. В 1942-м умер в лагере, и в этот же год Олег Бушко, окончив десятилетку, как сын «врага народа» был отправлен на спецлеспоповал. Но вместе с несколькими друзьями, желавшими сражаться за Родину, бежал в Москву, где добился отправки на фронт. Участвовал в освобождении Донбасса, Украины, затем — Молдавии, Румынии.

Первые стихи были опубликованы в армейской печати в 1944 году. В 1953 году окончил Литературный институт. Жил в Смоленске, выпустил здесь свою первую книгу «Начало». После того как осложнились отношения с партий-

ным руководством области, в 1968 году перебрался в Калугу. Здесь много писал, но калужские книги начали выходить только с 1982 года.

Ценно мнение А. Т. Твардовского об О. Бушко, переданное в письме жены поэта Марии Илларионовны Твардовской: «А. Т. не ошибся в Вас, когда писал о Вас как о человеке серьёзном, думающем, живущем не с готового, а ищущем своих слов для своей мысли...»

* * *

Это я был на бронеплощадке —
Долговязый, робкий, молодой?..
Немцы клали в шахматном порядке
Мины —

неминуемой бедой.

Справа, слева, спереди и сзади...
Вот сейчас!..

А нам уйти нельзя.

И несмелым быть не смел я, глядя,
Как смелы вокруг меня друзья.
И с тех пор

к любой неожиданной схватке

Подготовлен я минутой той:

Это ж я был на бронеплощадке —
смелый,

сильный,

статный,

молодой!

СОДЕРЖАНИЕ

К 225-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А. С. ПУШКИНА

В Полотняный – к Пушкину *А. Трунин* 3

СТИХИ И ПРОЗА

<i>Вячеслав Некрасов</i>	
Из сборника «Семечки синичкам» <i>Рассказы</i>	10
<i>Анна Бахаева</i>	
Превозмогая убыль... <i>Стихи</i>	20
<i>Андрей Убогий</i>	
Дым	23
<i>Дмитрий Кузнецов</i>	
Голос скрипки в дробь барабанной <i>Стихи</i>	40
<i>Ольга Клюкина</i>	
Сновидение молодой женщины <i>Рассказы</i>	42
<i>Владимир Карпенко</i>	
Свет изначальный <i>Стихи</i>	55
<i>Юрий Убогий</i>	
Овраг <i>Повесть</i>	57
Стрижи только в небе <i>Из дневника писателя</i>	87
<i>Ольга Шилова</i>	
Неси меня, текущее мгновенье... <i>Стихи</i>	97
<i>Ольга Ерёмкина</i>	
Угра <i>Отрывок из романа</i>	102
<i>Виктор Чернявский</i>	
Душа жива. И ей светло <i>Стихи</i>	110
<i>Юлия Рахаева</i>	
Ивушка <i>Рассказ</i>	115
<i>Игорь Красовский</i>	
Соседи <i>Стихи</i>	123
<i>Павел Никиткин</i>	
Охота на вепря <i>Рассказы</i>	130
<i>Александр Капцов</i>	
Золотая рыбка <i>Рассказы</i>	138

ПОЭТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПОЭТА

<i>Анатолий Сенин</i>	
Ветры родных косогоров <i>Стихи (предисловие В. Некрасова)</i>	143

РЕТРО-ДЕТЕКТИВ

<i>Георгий Куликов</i>	
Единственная версия <i>Повесть</i>	146

И СМЕХ И ГРЕХ

<i>Вадим Мальцев</i>	
Успели вовремя! <i>Рассказ</i>	190

ЭТО НАДО ПОТОМКАМ

<i>Евгений Чертовских</i>	
Жизнь прожить...	196
<i>Наталья Тихонова</i>	
Путь военного хирурга	261

СЛОВО, ИСКУССТВО, СУДЬБА

<i>Сергей Михеенков</i>	
Семён Гудзенко. «Я был пехотой в поле чистом...»	286
<i>Владимир Обухов</i>	
Жизнь и живопись (Иван Захарович Пушкарёв)	303
<i>Юрий Холопов</i>	
Притча о большом таланте	320

ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

<i>Андрей Убогий</i>	
Алексеич (Валентин Алексеевич Волков)	327
Саша Плетнёв (Александр Борисович Плетнёв)	329

О ПРОЧИТАННОМ

<i>Ольга Клюкина</i>	
Человек удивляющий	338
<i>Андрей Убогий</i>	
Глядя на «Облака» (вольные мысли)	339
<i>Павел Тришкин</i>	
«...Ибо влюблён в его поэзию» (обзор стихотворных подборок в альманахе «Облака» № 6)	341
<i>Вячеслав Черников</i>	
Заметки на полях книги Владислава Трефилова «Вольному воля»	345

ЮБИЛЕЙНЫЕ СТРАНИЦЫ

Столетние (Н. Панченко, Б. Окуджава, А. Авдонин, И. Калинин, О. Бушко)	349
--	-----

ОБЛАКА

КАЛУЖСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ

Выпуск 7

В оформлении обложки использованы работы О. А. Кузьминовой
«Снег на меня ложится...» из серии «Посвящение Юнне Мориц»
и лист 2 из серии «Формула пейзажа»

Редактор-составитель *А. В. Трунин*
Художественный редактор *М. А. Улыбышева*
Компьютерная вёрстка *С. И. Захаров*
Корректор *Н. Г. Любомудрова*

Издатель Захаров С. И. («СерНа»)
Тел. +7(910)914-95-30, e-mail: sergei-zah@mail.ru

Подписано в печать 04.04.24. Формат 70×100¹/₁₆.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Объём 22,25 п. л.
Тираж 500 экз. Зак. 54

Отпечатано в типографии «Наша Полиграфия»
г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, 126
Лиц. ПЛД № 42–29 от 23.12.99
Тел. (4842) 77-00-75

В седьмом выпуске калужского литературного альманаха «Облака» опубликованы произведения двадцати четырёх авторов, живущих на Калужской земле или связанных с ней своей биографией и творческими узами. Вместе с поэтическими подборками и прозой разных жанров в книге много места занимает тема прошлого, открывающая возможность вместе с героями воспоминаний осмыслить прожитые страной годы.

